This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

BUHR A

a39015 01810837 6b

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817
LIBRARIES
374433

№ 30/1

КНИГА
Степана ЛОГИНОВА
г. Екатеринбургъ

ИЗЪ КНИГЪ
ВАСИЛІЯ
ЛОГИНОВА.
НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОЗВРАТИТЬ.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817
LIBRARIES
374433

№ 309/л

сія

КНИГА

Степана ЛОГИНОВА

г. Екатеринодаръ

Общество спичечныхъ фабрикъ «Анонимъ»
Екатеринодаръ

ИЗЪ КНИГЪ
ВАСИЛІЯ
ЛОГИНОВА.
НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОЗВРАТИТЬ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ ДВИЖЕНІЯ

РУССКАГО НАРОДА

Общество спичечныхъ фабрикъ * Анонимное
Библіотека

9(47)
М79
12432
9(47)
М792
9(47)
М79
Отд
Кр
Mordovtsev, Daniil Lukich.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ ДВИЖЕНІЯ

РУССКАГО НАРОДА

ИСТОРИЧЕСКІЯ МОНОГРАФІИ

Д. МОРДОВЦЕВА

Общество окончечныхъ фабрикъ и ремесленъ
Учреждено въ Ленинградѣ
1918 г.
Отсрочный
340
5F7153
1p30L
807
Ин.37185.

Томъ II

Разбойничій атаманъ Беркутъ. — Груня, атаманъ разбойниковъ.—Одинъ изъ Лже-константиновъ. — Типы современной понизовой вольницы.—Безучастіе русскаго народа въ паденіи Польши.—Южнорусскій народъ подъ польскимъ владычествомъ.

Отдел хранения
Гос. Публ. Библиотеки
им. В. Г. Белинского
г. Свердловск

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева

1871

DK
183
.M83
v.2

Въ Типографіи М. Хана, Болотная № 5

exchange
Lib of Congress
-1-71
95503-293

I

РАЗБОЙНИЧІЙ АТАМАНЪ БЕРКУТЪ.

I

Неоспоримо, что историческая жизнь каждаго народа слагается не только сообразно суммѣ обстоятельствъ, обусловливающихъ тотъ или другой ходъ политическаго и гражданскаго развитія даннаго народа, но и соотвѣтственно его внутреннему характеру, вырабатываемому, въ свою очередь, совокупностью историческихъ, географическихъ и климатическихъ условій мѣстности. Неоспоримо также и то, что вслѣдствіе этихъ же причинъ долженъ существовать и законъ исторической наслѣдственности. Этимъ закономъ условливается извѣстная степень послѣдовательности въ преслѣдованіи народомъ тѣхъ или другихъ традиціонныхъ народныхъ цѣлей, послѣдовательность въ рѣшеніи тѣхъ или другихъ историческихъ задачъ, наконецъ извѣстная послѣдовательность въ симпатіяхъ и антипатіяхъ народныхъ. Какъ существуетъ наслѣдственность народныхъ историческихъ преданій, также точно нельзя оспаривать въ каждомъ народѣ существованія историческихъ преданій отдѣльныхъ сословій, какъ и преда-

DK
183
.M83
v.2

Въ Типографіи М. Хана, Болотная № 5

Lib of Congress
1-1-71
895503-293

I

РАЗБОЙНИЧІЙ АТАМАНЪ БЕРКУТЪ.

I

Неоспоримо, что историческая жизнь каждаго народа слагается не только сообразно суммѣ обстоятельствъ, обусловливающихъ тотъ или другой ходъ политическаго и гражданскаго развитія даннаго народа, но и соотвѣтственно его внутреннему характеру, вырабатываемому, въ свою очередь, совокупностью историческихъ, географическихъ и климатическихъ условій мѣстности. Неоспоримо также и то, что вслѣдствіе этихъ же причинъ долженъ существовать и законъ исторической наслѣдственности. Этимъ закономъ условливается извѣстная степень послѣдовательности въ преслѣдованіи народомъ тѣхъ или другихъ традиціонныхъ народныхъ цѣлей, послѣдовательность въ рѣшеніи тѣхъ или другихъ историческихъ задачъ, наконецъ извѣстная послѣдовательность въ симпатіяхъ и антипатіяхъ народныхъ. Какъ существуетъ наслѣдственность народныхъ историческихъ преданій, также точно нельзя оспаривать въ каждомъ народѣ существованія историческихъ преданій отдѣльныхъ сословій, какъ и преда-

ній родовыхъ, и даже семейныхъ. Одинъ народъ, по закону исторической наслѣдственности, бережетъ свою славу какъ народа воинственнаго, другой унаслѣдовалъ меркантильныя качества предковъ, третій унаслѣдовалъ піетизмъ историческихъ родичей. Преданія одной фамиліи прославляютъ фамильную гордость, другой — фамильную честность и неподкупность, третьей — фамильную красоту; есть наслѣдственныя добродѣтели, есть и наслѣдственные пороки, какъ наслѣдственны темпераменты, иногда и болѣзни. По наслѣдству переходитъ кретинизмъ; колтунъ (plica polonica), унаслѣдованный отъ родителей и не проявившійся на мѣстѣ родины, проявляется за тысячи верстъ отъ родимой мѣстности.

Законъ исторической наслѣдственности положенъ въ основу не только всей исторіи русскаго народа, но и отдѣльныхъ мѣстностей Россіи, подтверждая тѣмъ какъ остроумныя теоріи Дарвина о наслѣдственности видовыхъ признаковъ и качествъ, такъ и подмѣченную Боклемъ вытекаемость извѣстнаго историческаго склада въ томъ или другомъ народѣ изъ суммы климатическихъ и географическихъ вліяній. Исторія средняго и нижняго Поволжья отличается особеннымъ складомъ: съ самыхъ древнихъ временъ Волга служила ареной, на которой разыгрывались драмы, немыслимыя въ остальныхъ мѣстностяхъ Россіи. На Волгу обыкновенно выходили со своей удалью новгородскіе „ушкуйники“ и, нарыскавшись по широкому раздолью, пограбивъ тамъ, гдѣ могли, а иногда натерпѣвшись горя и неудачъ, возвращались въ Великій Новгородъ. На Волгѣ гулялъ Стенька Разинъ ([1]). На Волгѣ

([1]) См. Монографію Н. И. Костомарова.

началась и разыгралась страшная драма прошлаго вѣка — Пугачевщина. На Волгѣ появлялись самозванцы и до Пугачева и послѣ него; тутъ поймали и Богомолова (1), и Ханина (2). На Волгѣ Суворовъ ловилъ Заметаева (3). По Волгѣ рыскала понизовая вольница до конца прошлаго вѣка: атаманы и разбойники, Брагинъ, Зубакинъ (4), Шагала (5) и др. закончили собой циклъ разбойнаго періода Поволжья, такъ что въ нынѣшнемъ столѣтіи упражнялись въ Поволжьѣ только воровскія шайки, для которыхъ военный катеръ былъ уже грозою, тогда какъ предшественники ихъ безбоязненно грабили караваны судовъ и также безбоязненно нападали на города и селенія. Неумѣренный разгулъ, неумѣренная широкость натуры, неумѣренная порывчатость страстей, воля и безволье, а иногда бѣдность и нерасхлебное горе, крѣпостничество, неумѣренное давленіе власти — все это были причины, которыя такъ сказать выдавливали изъ массъ, населявшихъ Поволжье, или самыя лучшія и даровитыя единицы, которыя, очертя голову, бросались на Волгу и погибали потомъ въ тюрьмахъ, подъ кнутами и въ Сибири, или самый грязный и жалкій отстой этой массы, или самыхъ несчастныхъ, которые, не видя спасенья дома, думали найти его въ разбойничьихъ шайкахъ.

Вообще исторія Поволжья въ прошломъ вѣкѣ представ-

---

(1) См. «Самозванецъ Богомоловъ» въ Парусѣ за 1859 г. № 1.

(2) См. «Самозванецъ Ханинъ» въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1861 г.

(3) См. «Заметаевъ» въ Русскомъ Дневникѣ за 1859 г. №№ 7 и 8.

(4) См. «Атаманъ Брагинъ и разбойникъ Зубакинъ» въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1862 г.

(5) См. «Понизовая вольница» въ Русскомъ Словѣ за 1860 и 1861 гг.

имѣетъ много интереса. Въ этой исторіи видно, какъ укладывалась въ гражданскія формы полудикая масса, какъ мало по малу порядокъ бралъ верхъ надъ разгуломъ и вольницей. Всякій разъ, когда я проѣзжаю по Волгѣ на пароходѣ со всѣми удобствами, представляемыми современной ѣздой, я никакъ не могу помириться съ мыслью, что по этой самой Волгѣ, 80 — 90 лѣтъ тому назадъ, на косныхъ лодкахъ разъѣзжали ватаги ободранной вольницы съ разгульными пѣснями, останавливая всякое плывущее по Волгѣ судно и собирая дань съ проѣзжающихъ, и мнѣ съ трудомъ вѣрится, что какихъ нибудь 70 — 80 лѣтъ назадъ рѣка эта была притономъ разбойныхъ шаекъ: вмѣсто пароходныхъ свистковъ раздавались по Волгѣ сигнальные свистки атамановъ и есауловъ, вмѣсто конторъ пароходныхъ обществъ разсѣяны были по берегу, въ скрытыхъ мѣстахъ, по овражкамъ и лѣснымъ возвышенностямъ, притоны или станы разбойные.

Разбирая архивныя дѣла прошлаго вѣка, преимущественно о поволжскихъ разбойникахъ, я близко ознакомился съ характеромъ жизни того времени. Но архивныя дѣла не могли въ такой полнотѣ нарисовать передо мной картину этой жизни, какъ она могла сохраниться въ памяти народа, и я старался изучить это время въ разговорахъ со стариками, которые дорожатъ воспоминаніями или того, что ими лично пережито, или того, что они слышали когда-то отъ людей, еще болѣе старыхъ. Съ однимъ изъ такихъ стариковъ я случайно познакомился въ прошломъ году на пароходѣ, во время моей лѣтней поѣздки по Волгѣ, и отъ него узналъ такія подробности о занимающей меня эпохѣ, какихъ не могъ вычитать ни въ какихъ архивныхъ дѣлахъ.

На пароходѣ я познакомился съ однимъ преподавателемъ

русской исторіи, который ѣхалъ въ Казань. Какъ преподаватель русской исторіи, мой знакомый завелъ, конечно, р о предметѣ, который его интересовалъ, и тутъ, само со разумѣется, разговоръ перешелъ къ моимъ монографіямъ о самозванцахъ и поволжскихъ разбойникахъ (мой новый знакомый раньше узналъ отъ кого-то на пароходѣ мою фамилію и, можетъ быть, изъ любезности завелъ разговоръ о „Пугачевщинѣ“ и „Понизовой вольницѣ“). Мы долго толковали, сидя на палубѣ и покуривая, потому что ночи были хороши, а духота въ каютѣ мало располагала ко сну. Нашъ разговоръ не былъ безплоденъ. На кормѣ парохода, гдѣ мы вели отъ скуки историческую бесѣду, расположился какой-то проѣзжій старичекъ, который, какъ я узналъ послѣ, отправлялся странствовать по святымъ мѣстамъ въ Россіи, и если позволятъ обстоятельства, то намѣревался пробраться и за границу, на Аѳонъ и т. д. Старикъ этотъ заинтересовался нашимъ разговоромъ, и я съ нимъ познакомился потомъ довольно коротко. Это былъ дорогой собесѣдникъ. Всю дорогу отъ Казани до Нижняго я говорилъ съ нимъ, особенно когда всѣ на пароходѣ укладывались спать, и словоохотливый старикъ раскрылъ передо мной всѣ сокровища своей памяти. Все, что онъ разсказывалъ, это были такіе историческіе матеріалы о концѣ прошлаго вѣка, какихъ я не могъ нигдѣ вычитать и ни отъ кого прежде не слыхалъ въ такой полнотѣ. Жалѣю только, что, не будучи стенографомъ, я не могъ записывать его бесѣдъ дословно, хотя и старался набросать на бумагу то, что онъ мнѣ передавалъ такъ словоохотливо. Разсказывалъ онъ о событіяхъ прошлаго вѣка не по личной памяти (потому что ему было самому лѣтъ подъ семьдесятъ только), а по разсказамъ, слышаннымъ имъ въ

ствѣ отъ дальняго родственника, слѣпаго звонаря въ рахани, который самъ въ молодости гулялъ въ понизовой ьницѣ, пока ему не выжгло порохомъ глаза отъ разрыва стараго ружейнаго ствола.

Изъ главныхъ атамановъ понизовой вольницы старикъ мой слышалъ отъ слѣпаго звонаря о Заметаевѣ, котораго онъ называлъ *Заметайломъ*. О прочихъ атаманахъ и разбойникахъ онъ не зналъ, а если и зналъ, то именъ ихъ не помнилъ, за то разсказалъ мнѣ съ эпическою полнотою подвиги той шайки, и не одной, а нѣсколькихъ, въ которыхъ подвизался слѣпой звонарь, котораго звали Васильком (1).

Пошелъ онъ въ шайку, какъ и большая часть ра бойниковъ, по нуждѣ. Василька хотѣли отдать въ солдаты—и онъ бѣжалъ, потому что считалъ назначеніе его на очередь несправедливымъ, такъ какъ былъ единственнымъ сыномъ и кормильцемъ у своей старушки-матери. Убѣжавъ изъ Астрахани, онъ направился ко взморью, гдѣ думалъ пристать батракомъ къ какой нибудь рыболовной ватагѣ или побродить нѣсколько мѣсяцевъ по взморью, какъ вообще бродятъ бѣглые, чтобъ къ осени пробраться на Донъ, гдѣ была въ то время вольная жизнь. Такъ онъ бродилъ нѣсколько дней, питаясь рыбой, которую ловилъ руками. Надо замѣтить, что когда Волга спадаетъ послѣ весенняго разлива, то въ поемныхъ мѣстахъ, въ небольшихъ котловинахъ, остается вода вмѣстѣ съ рыбою. По мѣрѣ того какъ убавляется вода въ

---

(1) Безъ сомнѣнія, это имя малороссійское: Василій—Василёкъ. По Волгѣ въ то время много бродило малороссіянъ, разсѣявшихся по Россіи по уничтоженіи Запорожской Сѣчи. Этихъ бродягъ и переселенцевъ называли «черкасами».

этихъ котловинахъ отъ дѣйствія солнца, оставшаяся въ котловинахъ рыба становится добычею людей и птицъ: бакланы, бабы и прочія водяныя птицы ходятъ обыкновенно по берегу этихъ котловинъ и таскаютъ рыбу, которой дѣваться некуда. Даже вороны въ это время пожираютъ беззащитныхъ карасей и другую мелкую рыбу. Вмѣстѣ съ бакланами и воронами питался рыбой и Василекъ, съ тою только разницею, что пойманную имъ рыбу онъ пекъ на огнѣ, который разводилъ при всякомъ удобномъ случаѣ — или когда его мучилъ голодъ, или когда терзали комары, которые въ той мѣстности являются ужасными мучителями.

На третій или на четвертый день, когда Василекъ ловилъ себѣ на ужинъ рыбу въ одной изъ баклужекъ, невдалекѣ послышались голоса и конскій топотъ. Василекъ поспѣшилъ спрятаться въ ближайшіе камыши, но его выдали слѣды ногъ, которые онъ оставилъ на иловатой землѣ около баклужи. Онъ увидѣлъ трехъ всадниковъ, одного съ ружьемъ за плечами, а прочихъ съ казацкими дротиками и арканами. Подъѣзжая къ баклужѣ, они замѣтили слѣды и по слѣдамъ добрались до спрятавшагося Василька. Тотъ бросился бѣжать, но всадники грозили застрѣлить его изъ ружья, а когда онъ не послушался ихъ угрозы, одинъ изъ всадниковъ подскакалъ къ нему на довольно близкое разстояніе и захватилъ бѣглеца арканомъ, какъ хватаютъ въ табунѣ одичавшую лошадь. Арканъ едва не задавилъ Василька, но скоро его освободили отъ веревки и стали разспрашивать, кто онъ и откуда и куда держитъ путь и что намѣренъ дѣлать. Василекъ признался во всемъ. Тогда одинъ изъ всадниковъ сказалъ ему:

— Ты, я вижу, братъ, скоро съ чёртомъ покумишься... хочешь къ намъ?

— Куда?

— Служить вольной волюшкѣ, да своей башкѣ, да нашему атаманушкѣ.

— А вы кто такіе, добрые люди?

— Мы не воры, не разбойнички, понизовые добрые молодцы: пашемъ мы землю, да не сохой, а конскими копытами, сѣемъ мы пулями летучими, поливаемъ не дождичкомъ, а кровью горячею, а часомъ и слезою горькою.

Оказалось, что неизвѣстные люди принадлежали къ шайкѣ атамана Сиваго Беркута, который производилъ разбои по всему нижнему Поволжью.

О происхожденіи этого атамана разсказчикъ не могъ сообщить мнѣ ничего положительнаго. Самый разсказъ, какъ я его слышалъ и записалъ болѣе замѣчательныя мѣста, носитъ на себѣ характеръ эпичности; въ иныхъ мѣстахъ разсказъ переходитъ въ область фантастическаго, сказочнаго, что всегда бываетъ, когда какое либо событіе становится достояніемъ народной памяти. Лица, дѣйствительно существовавшія, окружаются такою обстановкою, въ созданіи которой уже участвовала фантазія, которая и воспроизводитъ картины и даже факты по традиціоннымъ эпическимъ формамъ. Такою сверхъестественною обстановкою окружена личность Стеньки Разина, какъ напримѣръ въ разсказѣ о томъ, что еще въ дѣтствѣ, будучи кашеваромъ у одного поволжскаго атамана, маленькій Стенька, во время нападенія на разбойничій станъ непріятеля, ловилъ руками летавшія въ него пули и бросалъ ихъ обратно въ тѣхъ, которые по немъ стрѣляли, или въ разсказѣ о томъ, какъ Стенька плавалъ по

Волгѣ на простой кошмѣ. Такими же эпическими орнаментами народная память обставила атамана Заметаева, котораго, впрочемъ, самъ Суворовъ и графъ Панинъ въ изданныхъ тогда манифестахъ называли „чудовищемъ.“ Заметаевъ представляется иногда въ видѣ метлы, которая выметала все и всѣхъ, кто нападалъ на этого разбойника. Пугачевъ тоже, по народному разсказу, приведенному мною въ моей статьѣ „Пугачевщина“ (1), заговаривалъ царскія пушки, которыя и не могли стрѣлять по немъ. Въ область вымышленнаго переходитъ иногда и разсказъ о Сивомъ Беркутѣ. Сивый Беркутъ—это прозвище атамана, его народное имя. Самые разбойники называли его батюшкою „Назарычемъ.“ Прозвище это дано ему по наружности: голова и борода его были бѣлы какъ снѣгъ, и объ немъ говорили, что онъ „сѣдой какъ лунь.“

Сивый Беркутъ предводительствовалъ, какъ видно, значительною партіею. Изъ напечатанныхъ уже мною, на основаніи архивныхъ дѣлъ, свѣдѣній о поволжскихъ разбойникахъ видно, что нѣкоторыя шайки простирались до 200 человѣкъ, и, по мѣрѣ надобности, атаманы собирали всѣ свои партіи, а иногда распускали ихъ по домамъ, иногда же отряжали въ отдѣльныя экспедиціи въ самомъ небольшомъ числѣ людей. Вся шайка собиралась обыкновенно только въ крайнихъ случаяхъ,—или когда нужно было дѣлать отчаянное нападеніе на военные разъѣзды, или же брать штурмомъ караваны, защищаемые отрядами солдатъ. У Сиваго Беркута были притоны по всему нижнему Поволжью, а иногда онъ

---

(1) Вѣстн. Европы за 1866 г. кн. I.

— Ты, я вижу, братъ, скоро съ чёртомъ покумишься... хочешь къ намъ?

— Куда?

— Служить вольной волюшкѣ, да своей башкѣ, да нашему атаманушкѣ.

— А вы кто такіе, добрые люди?

— Мы не воры, не разбойнички, понизовые добрые молодцы: пашемъ мы землю, да не сохой, а конскими копытами, сѣемъ мы пулями летучими, поливаемъ не дождичкомъ, а кровью горячею, а часомъ и слезою горькою.

Оказалось, что неизвѣстные люди принадлежали къ шайкѣ атамана Сиваго Беркута, который производилъ разбои по всему нижнему Поволжью.

О происхожденіи этого атамана разсказчикъ не могъ сообщить мнѣ ничего положительнаго. Самый разсказъ, какъ я его слышалъ и записалъ болѣе замѣчательныя мѣста, носитъ на себѣ характеръ эпичности; въ иныхъ мѣстахъ разсказъ переходитъ въ область фантастическаго, сказочнаго, что всегда бываетъ, когда какое либо событіе становится достояніемъ народной памяти. Лица, дѣйствительно существовавшія, окружаются такою обстановкою, въ созданіи которой уже участвовала фантазія, которая и воспроизводитъ картины и даже факты по традиціоннымъ эпическимъ формамъ. Такою сверхъестественною обстановкою окружена личность Стеньки Разина, какъ напримѣръ въ разсказѣ о томъ, что еще въ дѣтствѣ, будучи кашеваромъ у одного поволжскаго атамана, маленькій Стенька, во время нападенія на разбойничій станъ непріятеля, ловилъ руками летавшія въ него пули и бросалъ ихъ обратно въ тѣхъ, которые по немъ стрѣляли, или въ разсказѣ о томъ, какъ Стенька плавалъ по

Волгѣ на простой кошмѣ. Такими же эпическими орнаментами народная память обставила атамана Заметаева, котораго, впрочемъ, самъ Суворовъ и графъ Панинъ въ изданныхъ тогда манифестахъ называли „чудовищемъ.“ Заметаевъ представляется иногда въ видѣ метлы, которая выметала все и всѣхъ, кто нападалъ на этого разбойника. Пугачевъ тоже, по народному разсказу, приведенному мною въ моей статьѣ „Пугачевщина“ (1), заговаривалъ царскія пушки, которыя и не могли стрѣлять по немъ. Въ область вымышленнаго переходитъ иногда и разсказъ о Сивомъ Беркутѣ. Сивый Беркутъ — это прозвище атамана, его народное имя. Самые разбойники называли его батюшкою „Назарычемъ.“ Прозвище это дано ему по наружности: голова и борода его были бѣлы какъ снѣгъ, и объ немъ говорили, что онъ „сѣдой какъ лунь.“

Сивый Беркутъ предводительствовалъ, какъ видно, значительною партіею. Изъ напечатанныхъ уже мною, на основаніи архивныхъ дѣлъ, свѣдѣній о поволжскихъ разбойникахъ видно, что нѣкоторыя шайки простирались до 200 человѣкъ, и, по мѣрѣ надобности, атаманы собирали всѣ свои партіи, а иногда распускали ихъ по домамъ, иногда же отряжали въ отдѣльныя экспедиціи въ самомъ небольшомъ числѣ людей. Вся шайка собиралась обыкновенно только въ крайнихъ случаяхъ, — или когда нужно было дѣлать отчаянное нападеніе на военные разъѣзды, или же брать штурмомъ караваны, защищаемые отрядами солдатъ. У Сиваго Беркута были притоны по всему нижнему Поволжью, а иногда онъ

---

(1) Вѣстн. Европы за 1866 г. кн. I.

пробирался и къ самому Саратову. Станы эти состояли большею частію въ зёмлянкахъ, вырываемыхъ на берегу Волги, особенно же въ лѣсныхъ оврагахъ, а иногда въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Волги, но такъ, чтобы, выйдя изъ землянки, можно было обозрѣвать Волгу на далекое разстояніе. Одинъ изъ такихъ становъ, который называютъ станомъ Стеньки Разина, мы осматривали нынѣшнимъ лѣтомъ съ г. Вс. Крестовскимъ во время проѣзда его черезъ Саратовъ. Станъ этотъ находится вблизи Увѣка, въ 12 верстахъ отъ Саратова. На Увѣкѣ видны слѣды развалинъ древняго татарскаго города, который, по своему положенію, господствовалъ надъ всею окрестною Волгою. На Увѣкѣ было мѣстопребываніе одного изъ сановниковъ повелителя Золотой Орды. На Увѣкѣ былъ даже монетный дворъ, такъ что между отыскиваемыми на развалинахъ этого города татарскими монетами попадаются и такія, которыя чеканились въ самомъ Увѣкѣ. Около этого-то Увѣка одинъ изъ овраговъ называютъ „Стенькинымъ оврагомъ“ и въ оврагѣ этомъ указываютъ „Стенькину пещеру“. Пещера эта въ настоящее время уже обвалилась, но по остаткамъ можно судить о ея устройствѣ. Надо предполагать, что ходъ въ пещеру былъ изъ глубины оврага, поросшаго лѣсомъ, да кромѣ того изъ пещеры шелъ подземныхъ ходъ вверхъ, въ видѣ продушины, въ которую однако могъ пролѣзть человѣкъ. Ходъ этотъ остался до настоящаго времени, между тѣмъ какъ самая пещера обвалилась. Для наблюденія за тѣмъ, что дѣлается на Волгѣ, стоило только пробраться къ выходу изъ этого подземнаго хода и тогда открывался видъ на Волгу и на Саратовъ, который оттуда видѣнъ какъ на ладони, за 12 верстъ. Разбойники слѣдовательно могли слѣдить какъ за движеніемъ каравановъ по

Волгѣ, такъ и за тѣмъ, что происходило въ Саратовѣ, а равно и за движеніями командъ, отъѣзжавшихъ отъ саратовской пристани для поимки и преслѣдованія разбойничьихъ шаекъ. Лодки, принадлежавшія разбойничьимъ шайкамъ, прятались обыкновенно по высокимъ камышамъ, на взморьѣ, когда шайки кочевали ниже Астрахани у самаго Каспійскаго моря; шайки же, не заходившія въ море, скрывали свои лодки по такъ называемымъ „воложкамъ“ или по протокамъ Волги, тоже поросшимъ камышемъ и тальникомъ. Но иногда разбойничьи станы или притоны находились и въ самыхъ селеніяхъ, особенно по хуторамъ, разсыпаннымъ въ степной мѣстности нижняго Поволжья, между Волгою, Дономъ, Иловлею и Медвѣдицею.

II.

Василекъ попалъ въ шайку Сиваго Беркута. Но новичка не прямо провели въ станъ Назарыча, такъ какъ Василекъ могъ бѣжать изъ полона и выдать мѣсто нахожденія шайки и самый притонъ ея, а подвергли его разбойничьему искусу. Искусы эти были различные—или какъ экзамены въ ловкости вновь поступающихъ въ шайку, или какъ испытаніе ихъ вѣрности. Василька, прежде чѣмъ представить въ станъ, подвергли предварительному искусу.

Трое разбойниковъ, принадлежавшихъ къ шайкѣ Назарыча, возвращались въ станъ изъ Астрахани. Они ѣздили туда, по порученію атамана, закупать порохъ и свинецъ, а между тѣмъ подъ рукою развѣдать — не готовится ли отъ

тамошняго коменданта высылка воинскихъ людей въ море для преслѣдованія и поимки воровскихъ шаекъ. Разбойники имѣли въ городѣ соумышленниковъ, которые узнавали отъ приказныхъ людей, за „посулы и взятки“, о предстоящихъ командировкахъ воинскихъ разъѣздовъ, о составѣ командируемыхъ отрядовъ, о размѣрахъ вооруженія и о времени отправленія въ путь. Въ этотъ разъ, какъ оказалось, посланные отъ Назарыча провѣдали, что для поимки разбойниковъ снаряжается значительная партія, хорошо вооруженная, ружьями и пушками, на трехъ военныхъ лодкахъ. Экспедиція снаряжалась экстренно, такъ что Беркутъ не могъ приготовиться, чтобъ встрѣтить ее съ подобающею честью.

Посланные поэтому спѣшили въ станъ съ нерадостными извѣстіями, хотя успѣли запастись свинцомъ и порохомъ.

Искусъ, назначенный для Василька, состоялъ въ слѣдующемъ: Вблизи отъ того мѣста, гдѣ захватили Василька, находилась рыболовная ватага какого-то астраханскаго купца. Ватаги эти служили какъ сборнымъ пунктомъ для рыбаковъ, ловившихъ рыбу въ Каспійскомъ морѣ и по взморью, такъ и заведеніемъ для приготовленія къ посолу, сушкѣ, для приготовленія рыбныхъ издѣлій, клею, для солки икры и проч. На ватагахъ жили купеческіе приказчики съ рабочими; тамъ же хранились рыболовныя снасти, припасы. Ватаги, въ виду нападенія со стороны разбойниковъ, нерѣдко вооружались пушками и вообще представляли достаточную защиту какъ отъ бродящихъ шаекъ разбойниковъ, такъ и отъ кочевавшихъ по взморью калмыковъ и киргизовъ. Васильку поручено было такимъ образомъ, для испытанія его ловлости и надежности, пробраться въ слѣдующую же ночь на ватагу и увести находящуюся тамъ лошадь, на которой онъ долженъ былъ

ѣхать въ станъ. Никогда, говорилъ потомъ Василекъ, не испытывалъ онъ такого страха, какъ при этомъ первомъ воровскомъ опытѣ. Хотя ночь была темная, но онъ долженъ былъ пробираться къ ватагѣ ползкомъ; страхъ его увеличивался еще и тѣмъ, что онъ положительно незнакомъ былъ съ мѣстностью. Почти всю ночь онъ ползалъ вокругъ ватаги, не зная съ которой стороны подойти; онъ подползалъ къ самой водѣ, путался въ травѣ, спугивалъ спящую птицу, и только трещащіе карастели помогли ему тѣмъ, что за ихъ трещаньемъ онъ самъ не слыхалъ производимаго имъ шума. Къ счастью его, лошадь ходила вблизи ватаги, спутанная, и своимъ фырканьемъ дала ему знать о мѣстѣ, гдѣ она паслась. Съ трудомъ Василекъ успѣлъ схватить лошадь, но тутъ предстоялъ трудъ провести лошадь такъ, чтобъ по звяканью желѣзныхъ путъ на ватагѣ не могли догадаться о томъ, что лошадь уводятъ. Для этого Василекъ употребилъ часть своего платья, которымъ онъ опуталъ желѣза такъ, что звукъ, производимый ими, былъ глухой и не могъ долетать до ватаги. Опутавъ платьемъ желѣза и обмотавъ лошадь своимъ поясомъ, Василекъ благополучно привелъ ее уже предъ разсвѣтомъ къ ожидавшимъ его, въ ближайшей котловинѣ, и всю ночь не спавшимъ разбойникамъ.

— Молодца! говорили разбойники: ты, парень, видно, нашего поля ягода. А любишь Авдотью Воеводишну?

— Какую?

— Бурлацкую тетку, что всѣхъ насъ веселитъ, приголубливаетъ и спать съ собой укладываетъ.

— Такой не знаю.

— Такъ знай же, дурова голова.

При этомъ одинъ изъ разбойниковъ отвязалъ висѣвшій у

сѣдла боклагъ и горлышко его приставилъ къ губамъ Василька.

— Цѣлуй Авдотью Воеводишну до семи разъ, сказалъ онъ: больше не моги.

Василекъ понялъ, что Авдотьей Воеводишной разбойники называли водку. Ему позволили выпить только семь глотковъ изъ боязни, чтобъ онъ не опьянѣлъ.

Къ вечеру слѣдующаго дня они пріѣхали къ своему стану. Станъ былъ недалеко отъ моря, на берегу одного изъ лѣвыхъ рукавовъ Волги, между лѣсомъ и высокими камышами, закрывавшими лодки, причаленныя къ берегу. Чтобы дать знать о своемъ приближеніи разбойники, подали сигналъ.

— Пугу! пугу! закричалъ одинъ изъ разбойниковъ, подражая крику филина.

Отвѣта не послѣдовало. Постоявъ нѣсколько минутъ, они опять закричали:

— Пугу! пугу! (1)

Отвѣта опять не было.

— Коли заснулъ часовой — будетъ ему худо.

Они стали тихонько пробиваться къ тому мѣсту, гдѣ долженъ былъ находиться часовой. На самомъ возвышенномъ мѣстѣ, откуда видъ открывался на всю окрестность, дѣйствительно сидѣлъ часовой, съ головою, прикрытой высокими травами, и спалъ.

— Пугу! чертовъ сынъ, крикнули ему почти на ухо разбойники.

— Стой: закричалъ тотъ въ испугѣ, но узнавъ своихъ,

---

(1) Такой же сигналъ употребляли и запорожцы. Не оттуда ли заимствовала его и шайка Беркута?

продолжалъ: что засвѣтла запугали, дьяволовы филины! Али не видите, что тамъ дымъ—кашу варятъ: время, стало свободное—могли и прямо ѣхать.

— То-то же; а коли скажемъ атаману, задастъ онъ тебѣ поранку.

— Сказывай, аспиды.

Атаману, однако, не сказали объ оплошности часоваго.

Станъ, въ который привели Василька, былъ временнымъ притономъ разбойниковъ, въ которомъ они останавливались на роздыхъ, когда предпринимали экспедиціи вверхъ по Волгѣ до Астрахани и далѣе этого города. Разсказчикъ не могъ сказать мнѣ подробностей, по которымъ я могъ бы воспроизвести картину разбойничьяго притона. Только наружность атамана глубоко врѣзалась въ памяти Василька:

„У атамана волосы на головѣ и бородѣ сѣдые, сѣдые, какъ у владыки астраханскаго. Ростомъ не великъ, приземистъ, коренастъ. Лице доброе такое и глаза таково ласково смотрятъ, что никто не сказалъ бы, что это атаманъ.“

Но интереснѣе всего—обрядъ посвященія въ разбойники. Тутъ, по видимому, соблюдалась какая-то форма, родъ присяги.

— Какъ тебя зовутъ? спросилъ атаманъ вновь приведеннаго.

— Василькомъ.

— Откуда родомъ?

— Изъ Астрахани.

— Какъ попалъ сюда—охотой или неволей?

— Бѣжалъ по нуждѣ, отъ рекрутчины, а теперь иду охотой.

— Души не губливалъ?

— Не губливалъ?

— А коли придется, погубишь?

— Коли нужда заставитъ—погублю.

— Присягнешь служить мнѣ вѣрой и правдой.

— Присягаю.

— Молись на всѣ четыре стороны.

Василекъ помолился.

— Говори за мной: присягаю не щадить живота моего за атамана и товарищей; попадусь въ полонъ, никого не выдавать; будутъ бить—стану молчать; будутъ истязать—стану молчать; рѣзать будутъ—буду нѣмъ какъ рыба; а нарушу присягу—быть мнѣ убиту какъ собакѣ.

Василекъ повторялъ за атаманомъ. Тѣмъ кончилась присяга.

Привезенныя изъ Астрахани вѣсти заставили разбойниковъ на другой день къ ночи покинуть свой станъ.

Не мало было тревоги съ этой перекочевкой. Надо было лодки прибрать къ мѣсту—и возни съ ними было на полдня: иную въ камыши, въ самую глубь затаскивали, другую на берегъ вывозили и въ лѣсу прятали, землей зарывали. И стали потомъ снаряжаться въ путь: конные коней сѣдлаютъ, въ торота пожитки привязываютъ, а пѣшіе лапти да сапоги налаживаютъ. У кого ружье—ружье беретъ, у кого пистолетъ—тотъ пистолетъ за поясъ вдѣваетъ аль въ голенище засовываетъ; у кого нѣтъ ничего тотъ беретъ ножъ и дубину. Къ ночи всѣ наши товарищи снарядились.

— На долго-ль намъ, братцы, станетъ хлѣба и соли, спрашиваетъ атаманъ.

— Не надолго, батюшка Назарычъ.

— Не призанять ли намъ, братцы, хлѣба-соли на сосѣдской ватагѣ?

— Инъ призанять, коли твоя милость будетъ.

„И пошли мы это въ ночь на ватагу, и ни одной души человѣческой не погубили на ватагѣ: взяли хлѣбъ-соль, призаняли силкомъ съ полдюжины ружей да пистолетовъ, а пушекъ, что были на ватагѣ, мы не брали, потому намъ съ ними возиться было не съ руки, за тѣмъ что шли мы въ степь. А потому мы на ватагѣ ни одной души человѣческой не погубили, что захватили ватажныхъ врасплохъ, когда тѣ спали. Оцѣпили мы это ватагу стѣною, и атаманъ гаркнулъ на нихъ:

— Вставайте, ребята, рыбу ловить, икру солить, балыки провѣшивать.

Повскакали ватажные, какъ угорѣлые, и не знаютъ, на которую ногу ступить.

— Кто пришелъ? спрашиваетъ хозяинъ.

— Самъ Беркутъ пришелъ, принимай гостей.

Побѣлѣлъ хозяинъ, какъ полотно, и говоритъ:

— Милости просимъ, Назарычъ: не вели только своимъ молодцамъ шалить, а я тебя угощу на славу.

— Спасибо на добромъ словѣ, хозяинъ; я къ тебѣ не гостемъ пришелъ, а заемщикомъ.

— Что угодно твоей милости?

— Одолжи въ займы хлѣба-соли: раздобуду—отдамъ, а теперь моимъ молодцамъ ѣсть-пить нечего.

— Бери, Назарычъ, что надобно, только не обижай и насъ, не разоряй въ конецъ.

— Добрыхъ людей я не разоряю: что возьму, съ лихвой отдамъ, попомни мое слово.

Отдел хранения
Гос. Публ. Библиотеки
им. В. Г. Белинского

А слово держалъ атаманъ крѣпче крестнаго цѣлованья: что сказалъ, то сдѣлаетъ. Такого честнаго человѣка и не бывало, какъ и свѣтъ стоитъ. А погрозилъ наказать кого, такъ изъ земли выроетъ, изъ воды вытащитъ, а накажетъ. Сердце у него было доброе, жалостливое: увидитъ бродягу голоднаго—напоитъ, накормитъ, ребенка маленькаго не обидитъ. А провинился кто, не послушалъ его слова—убьетъ какъ собаку. И боялись же его товарищи пуще огня, а любили такъ, какъ и отца роднаго не любливали.

Распрощавшись съ ватагою, пошли мы въ самую степь, къ большому стану атаманскому. Горько мнѣ было идти въ далекую сторону незнакомую. Ѣхалъ я на вороном конѣ своемъ, ѣхалъ, пригорюнившись. Ѣхали мы тихо: кто ѣхалъ, кто пѣшій шелъ, только лошади подъ нами пофыркивали. А ночь была тихая, весенняя, хоть бы травой ковылемъ колыхнуло въ полѣ. Только журавли на болотцахъ голосъ другъ дружкѣ изрѣдка подавали, да дергуны дергали. И атаманъ ѣхалъ, призадумавшись, хоть бы слово съ кѣмъ промолвилъ. Вспомянулась мнѣ тутъ и родимая сторона, и други пріятели, и мать, что осталась одна одинешенька. Вспала мнѣ на память и сердечная зазнобушка: провожая меня въ бѣги, горько плакала, къ ногамъ припадала, слезно приговаривала: „на кого ты меня, мой сердечный другъ, покидаешь? привалилъ ты мое сердечушко гробовымъ камнемъ тяжелымъ—засохну я безъ тебя, желанный мой, какъ былина одинокая. Не видать тебя больше моимъ глазамъ каріимъ, не обнимать тебя моимъ рукамъ бѣлыимъ, запекутся, поприсохнутъ губы мои, не цѣлуючи тебя, ненаглядный мой.“ И змѣей тоска сосала сердечушко мое, такъ бы и легъ въ сыру землю, такъ бы и разшибся о земь въ степи нѣмой.“

III.

Что удалось мнѣ записать, хотя не дословно, при самой передачѣ мнѣ этого разсказа, дѣйствительно носитъ на себѣ характеръ эпичности. Таковъ разсказъ о стычкѣ съ кабардою, какъ говорилъ мнѣ разсчазчикъ, а, можетъ быть, и съ калмыками, которые кочевали въ то время въ астраханскихъ степяхъ. Когда шайка направлялась такимъ образомъ въ глубь степей къ большому атаманскому стану, то, по словамъ разсказчика, повстрѣчались съ кабардою, съ которою и завязали драку.

„И была пальба великая (говорилъ разсказчикъ), и тянулась та пальба три дни и три ночи. На первый день и на первую ночь у Сиваго Беркута хватило и пуль и пороху; на второй день и вторую ночь у Беркута пуль не хватило, и сталъ Беркутъ тѣ пули изъ глины катать, слюкою смачивать, и дѣлались тѣ пули отъ той Беркута слюны крѣпче свинцовыхъ, и тѣ глиняныя пули пѣли и гудѣли, какъ пчелы въ роевищѣ. А кабарда все напирала пуще прежняго. На третій день и третью ночь у Сиваго Беркута не хватило пороху, и сталъ Беркутъ тотъ порохъ изъ песку дѣлить: возьметъ Беркутъ песку пригоршню, всыпетъ въ лядунку, дунетъ Беркутъ на ту лядунку, проговоривши слово такое, и станетъ тотъ песокъ порохомъ, и горитъ тотъ порохъ въ ружьѣ огнемъ жупельнымъ, и бьетъ кабарду по двѣ и по три однимъ выстрѣломъ. И стала кабарда къ вечеру третьяго дня силу тратить, а въ полночь толмача выслала, и говоритъ толмачъ:

— Добрые молодцы! кто межъ вами наѐбольшій?

— Я наѐбольшій, говоритъ Беркутъ, атаманъ Сивый Беркутъ.

— Атаманъ Сивый Беркутъ и вы, добрые молодцы! бились мы три дня и три ночи, много пролили крови человѣческой, а ни та, ни другая сторона не одолѣла: не лучше ль будетъ помѣряться силами вашему и нашему наѐбольшому?

— Ладно, говоритъ Назарычъ, высылайте своего наѐбольшаго.

„И выѣхалъ изъ кабарды наѐбольшій на кабардинскомъ конѣ, съ двухсотсаженнымъ арканомъ въ торокахъ, и говоритъ батюшкѣ Назарычу:

— Будемъ сражаться арканами: кто кого съ сѣдла стащитъ, тотъ и одолѣлъ.

— Ладно, говоритъ Беркутъ, будемъ сражаться арканами.

„И разъѣхались Беркутъ и кабардинскій наѐбольшій на три версты и пустили вскачь своихъ коней: на двухъ стахъ саженяхъ кабардинскій наѐбольшій пустилъ арканомъ, засвисталъ арканъ по воздуху свистомъ человѣческимъ. Беркутъ — не будь плохъ — подвернулся подъ сѣдло и очутился подъ брюхомъ лошади, и зацѣпилъ тотъ арканъ за шею лошадь Беркутову. Не выдержалъ арканъ конской силы, лопнулъ арканъ на лошадиной шеѣ, какъ нитка подопрѣлая. Тогда разъѣхались въ другой разъ, и на двухъ стахъ саженяхъ атаманъ пустилъ своимъ арканомъ, и засвисталъ арканъ по воздуху свистомъ человѣческимъ. Кабардинскій наѐбольшій подвернулся подъ брюхо лошади, только правая нога торчала на лошадиной спинѣ, и зацѣпилъ арканъ за эту ногу: лопнула подпруга на кабардинскомъ конѣ, и потащилъ Бер-

кутъ кабардинскаго нàбольшаго на арканѣ, какъ бревно гнилое. И взмолился кабардинскій нàбольшій:

— Не тащи меня по полю, атаманъ разбойничій, не разбивай моей головы объ сыру землю.

— Я не атаманъ разбойничій: я удалый добрый молодецъ—берегу свою волюшку, страхъ даю людямъ недобрымъ, господамъ немилостивымъ, судьямъ неправеднымъ, да воеводамъ—грабителямъ. Будешь меня помнить?

— Буду помнить, пока на землѣ живу.

— Закажи всей кабардѣ не трогать Сиваго Беркута.

— Закажу кабардѣ, закажу другу и недругу.

„И отпустилъ Назарычъ кабардинскаго нàбольшаго на волю. И разступилась кабарда передъ добрыми молодцами, и поѣхали добрые молодцы дальше въ степь, къ большому стану атаманскому.“

Гдѣ былъ этотъ станъ, разсказчикъ не могъ указать, хотя и сообщилъ мнѣ, со словъ Василька, описаніе этого притона. Станъ этотъ, какъ видно, не составлялъ разбойничьяго притона, такъ что вся шайка не могла въ немъ помѣститься. Это была большая пещера, вырытая въ степномъ оврагѣ, вѣроятно, въ родѣ той, какую мнѣ удалось нынѣшнимъ лѣтомъ видѣть около Увѣка. Станъ этотъ замѣчателенъ былъ тѣмъ, что въ немъ останавливался атаманъ для роздыха; тамъ же большую часть времени проводила его любовница съ нѣсколькими другими женщинами, принадлежавшими къ шайкѣ. Станъ этотъ оберегали поочередно наряжавшіеся туда изъ шайки люди, которые привозили въ станъ провизію, сообщали атаманской любовницѣ вѣсти о Назарычѣ, когда тотъ былъ въ отсутствіи. Въ этомъ станѣ все, что было добыто шайкою, какъ-то: деньги, разныя вещи, обыкновенно „дуванились“

(т. е. дѣлились) между членами шайки, и если не проматывались и не пропивались тотчасъ же, то оставались въ этомъ станѣ на сбереженіи до поры до времени.

Имя атаманской любовницы было Горпина. Какъ это имя, такъ и много другихъ обстоятельствъ говорятъ въ пользу того мнѣнія, что основаніе шайкѣ Беркута положено было чуть-ли не кѣмъ либо изъ запорожцевъ или изъ „черкасовъ.“ Со времени разрушенія Запорожской Сѣчи украинская вольница разбрелась по всей Россіи: такъ изъ архивнаго дѣла, на основаніи котораго я собралъ главныя свѣдѣнія о самозванцѣ Ханинѣ, видно, что въ интригѣ, затѣянной Ханинымъ, не малое участіе принимали запорожцы. Малороссіяне попадались во всѣхъ шайкахъ, бродившихъ по Волгѣ. Запорожцы были записные разбойники и перенесли свое ремесло на Волгу, гдѣ еще до нихъ гуляла понизовая вольница: въ числѣ главныхъ лицъ въ понизовой вольницѣ я могу указать на Шагалу, Дехтяренка. Въ скопищѣ Пугачева также немало было малороссіянъ. Коровка, одинъ изъ первыхъ, которые выдвинули Пугачева, когда тотъ еще не былъ извѣстенъ и не имѣлъ денегъ, также былъ малороссіянинъ. Неудивительно, въ такомъ случаѣ, малороссійское происхожденіе и самаго Беркута, у котораго, какъ можно заключать по имени, и любовница была малороссіянка. Горпина — это Аграфена.

Малороссійскихъ гайдамаковъ напоминаетъ шайка Беркута и тѣмъ, что атаманъ любилъ возить съ собой и пѣсенника, который, подобно украинскимъ гуслярамъ, забавлялъ шайку смѣшными пѣснями, веселыми прибаутками и сказками. Особенно часто заставлялъ атаманъ своего пѣсенника пѣть пѣсню „о грѣшной душѣ.“

„Ѣдутъ добрые молодцы по глухимъ степямъ, ѣдутъ да трубки покуриваютъ, а за атаманскимъ конемъ тащится пѣсенникъ Фока — дворовый человѣкъ — и жалобно приговариваетъ:

Почему же ты, душа, грѣхи угадываешь?
Потому я, душа, грѣхи угадываю,
Что жила я на вольномъ на свѣту,
Много душа Богу сòгрѣшила,
Я по свадьбамъ, душа, много хаживала,
Свадьбы звѣрьями оборачивала,
Въ евтихъ во грѣхахъ Богу не каялася;
Еще душа Богу сòгрѣшила,
По игрищамъ душа много хаживала,
Подъ всякія игры много плясывала,
Самаго сатану воспотѣшивала,
И во евтихъ во грѣхахъ Богу не каялася;
Еще душа Богу сòгрѣшила,
Напилася душа зелена вина,
Отъ зелена вина душа пьяна была,
Померла душа безъ покаянія,
Безъ того ли безъ попа безъ духовнаго.»

Все это заставляетъ предполагать, что, быть можетъ, и самъ атаманъ былъ однимъ изъ тѣхъ гайдамаковъ, которые, послѣ смерти Гонты и Желѣзняка, разбрелись не только по Украинѣ, но и по Поволжью.

IV.

„Недолго пробыли разбойники въ атаманскомъ станѣ (продолжалъ разсказчикъ): на Волгу имъ идти не приходилось, потому что тамъ стерегли ихъ воинскія команды, что наря-

жены были астраханскимъ комендантомъ; въ степи тожъ оставаться было непригодно, потому степь — ни добычи достать не откуда, ни кормиться нечѣмъ, да и сидѣть сложа руки не любилъ атаманъ. Взялъ онъ свою полюбовницу, побралъ остальныхъ бабъ, засыпали землею входъ въ землянку и пошли на промыслы. Порѣшили идти къ Дону, чтобъ середи лѣта всею шайкою собраться на Волгѣ, къ тому времени, когда по Волгѣ будутъ идти караваны къ Макарью и отъ Макарья. А какъ всею шайкою-то нагрянуть на Донъ значило бы всполошить весь Донъ, то атаманъ и распустилъ свою команду: иди, значитъ, куда глаза глядятъ да ноги тащутъ, только начальству не попадайся; а попался — умѣй отвѣтъ держать. Только Василька атаманъ не отпустилъ отъ себя: боялся, значитъ, что, какъ человѣкъ новый, непривычный, то не надѣлалъ бы хлопотъ.

— Ты куда, говоритъ, думаешь путь держать?

— Да и самъ я, батюшка, не знаю, куда мнѣ и голову-то приклонить.

— А въ Астрахань, говоритъ, тянетъ?

— Тянетъ.

— Такъ оставайся же ты со мной... И меня, говоритъ, тянуло когда-то домой, да пообтерпѣлся, теперь никуда не тянетъ.

И разбрелась эта ватага по бѣлу свѣту. Кто пошелъ навѣстить сродниковъ, у кого сродники, кто побрелъ въ знакомыя мѣста къ благопріятелямъ, а у кого не было ни сродниковъ, ни пріятелей, тотъ пошелъ слоняться по торгамъ, по базарамъ. У кого была лошадь—продалъ; у кого за душой не было ни синя пороха, тотъ пошелъ на промыслы—гдѣ стянуть, гдѣ поработать батракомъ у добрыхъ

людей, пока не прошла гроза комендантская и пока атаманъ-батюшка не созвалъ своихъ добрыхъ молодцевъ.

Осталось съ атаманомъ всего только пятеро: самъ атаманъ съ полюбовницей, да есаулъ Григорій Иванычъ, да пѣсенникъ Фока, да еще одинъ товарищъ, да Василекъ. Есаулъ былъ человѣкъ бывалый, живалъ онъ на Яикѣ и на Кубани, хаживалъ и на Донъ, перехаживалъ и за русскую границу къ раскольникамъ въ слободу Вѣтку, былъ у Пугача, какъ и Казань брали, какъ и Саратовъ грабили, а какъ подъ Царицыномъ Пугача разбили, то Григорій Иванычъ и пробрался въ Астрахань, а тамъ попалъ и къ Беркуту. Есаула мало кто любилъ, его всѣ боялись, потому былъ крутой человѣкъ. За то атаману онъ былъ правою рукою; поѣхать ли куда, подкупить ли кого изъ подъячихъ въ городѣ, провѣдать ли что дѣлается на Волгѣ, что пишутъ межъ собой коменданты да воеводы на счетъ поимки разбойниковъ, перехватить ли на дорогѣ нарочнаго съ бумагами, чтобъ, напоивши, тѣ бумаги у него вынуть, — на все это онъ былъ мастеръ. Атаманъ ему вѣрилъ и слушалъ его.

— Какъ думаешь, Иванычъ, спроситъ бывало атаманъ: можно теперь молодцамъ погулять по Волгѣ, караваны провѣдать?

— Можно-то можно, да намедни я былъ въ Саратовѣ и встрѣтилъ тамъ на базарѣ знакомаго человѣка — подъячій изъ воеводской канцеляріи: такъ сказывалъ, что воевода далъ секретное предписаніе, чтобъ караваны, что пойдутъ къ Макарью, провожать воинскимъ людямъ. А тѣ воинскіе люди, сказывалъ, будутъ скрыты въ самыхъ судахъ съ ружьями и всякими воинскими припасами, чтобъ коли наши

ребята обступятъ караванъ, такъ имъ не мѣшать входить на суда, а когда взойдутъ да закричатъ—„сарынь на кичку!“ такъ тутъ всѣхъ и переколятъ да перестрѣляютъ воинскія команды.

— Такъ, значитъ, нельзя и пошалить нашимъ ребятамъ?

— Теперь нельзя, а послѣ будетъ можно. Да и безъ Волги найдется дѣло, скажетъ бывало.

— А какое?

— Да такое: въ Черномъ Яру знакомый человѣчекъ сказывалъ, господскій человѣкъ—пили вмѣстѣ въ питейномъ домѣ,—такъ сказывалъ, что ихъ баринъ повезетъ на дняхъ въ Астрахань большую казну, да только конвой съ нимъ будетъ.

— Какъ великъ конвой?

— Да всего, сказывалъ, пятнадцать человѣкъ.

— Такъ тутъ думаешь можно?

— Кажись, можно.

Только не любилъ никто этого есаула, и слушались его только ради атамана. А задумай онъ самъ сколотить шаечку, такъ ни одна душа къ нему не пошла бы, потому, слава о немъ прошла дурная: человѣкъ не честный, а атаманъ былъ честнѣйшій человѣкъ.

Распустивъ шайку, атаманъ отвелъ свою Горпину въ знакомое село и сдалъ на руки знакомымъ людямъ, чтобъ поберегли, пока не воротится. Самъ же онъ съ есауломъ да другими тремя задумалъ ѣхать къ Макарью. Ѣздилъ онъ туда, почитай, каждое лѣто, въ самую ярмарку. А ѣздилъ онъ, сказываясь купцомъ. Да не къ одному Макарью ѣздилъ онъ назвавшись купцомъ, онъ разъѣзжалъ бывало и по деревнямъ, гдѣ господа жили, то хлѣба будто бы поторго-

вать, то шерсть закупить, а самъ все вывѣдаетъ, ко всему присмотрится, да послѣ когда нибудь и нагрянетъ:

— Узнаете, говоритъ, купца, что былъ у васъ тогда-то?

— Узнаемъ, говорятъ.

— Такъ отдавайте же, говоритъ, всѣ ваши денежки, что не добромъ нажили, съ христіанскихъ душъ лупливали.

— Люди!

— Не зовите людей — тамъ только мои люди, а ваши перевязаны.

Обдѣлавши все, что ему нужно, придетъ прощаться съ господами!

— Вотъ вамъ на разживу да на пропитаніе: не поминайте лихомъ купца Сиваго Беркута.

А лютъ былъ атаманъ на раззореніе большихъ господъ: „я самъ, говоритъ, по ихъ милости маялся.“ Житье-то имъ въ ту пору было привольное, только мужикамъ было тяжко жить. За то мужиковъ и щадилъ атаманъ, первое потому, что съ нихъ взять было нечего, а второе потому, что сердце имѣлъ жалостливое, хоть и былъ разбойникъ. А кто попадался въ руки есаула, особливо изъ чиновныхъ, того поминай какъ звали.

Пріѣзжаетъ разъ есаулъ въ одно село. Зашелъ въ кабакъ и сидитъ—калякаетъ съ мужиками.

— Кто у васъ баринъ? спрашиваетъ.

— У насъ нѣтъ, говорятъ, барина.

— А кто же?

— Барыня.

— А живется вамъ хорошо?

— Гдѣ тамъ хорошо! развѣ не видишь, что у насъ ни кола, ни двора—въ разоръ разорила.

— А богатая госпожа? спрашиваетъ.

— Когда небогатая! вотчина въ пять сотъ душъ да земли и угодій видимо невидимо.

— Гдѣ-жъ она живетъ?

— Да здѣсь и живетъ, въ своей усадьбѣ, вонъ тамъ около церкви большія хоромы.

И задумалъ тогда есаулъ погубить эту барыню, а деньги себѣ взять.

Спустя сколько тамъ времени, ничего не сказавши атаману, онъ взялъ съ собой съ полдюжины молодцовъ и ночью нагрянулъ на это село. Мужики спятъ. Онъ къ усадьбѣ опять, только въ одномъ окошечкѣ теплится лампадка, глядь — сидитъ старушка, не спитъ отъ безсонницы, должно быть, и догадался есаулъ, что это барыня. Они прямо къ ней: не успѣла она крикнуть, какъ ей завязали ротъ, скрутили ее и унесли за село. Тамъ развязали, дали вздохнуть.

— Сказывай, гдѣ деньги?

— Нѣту, денегъ, батюшки.

— Врешь! сказывай, а то удушимъ.

Старуха упрямится. Ее стали давить за горло. Взмолилась старушка.

— Пустите душу на покаянье — все скажу.

Отпустили горло — передохнула.

— Гдѣ деньги?

— Нѣтъ денегъ, въ городъ отослала.

Ее опять стали давить и давили до тѣхъ поръ, пока барыня не сказала, что деньги спрятаны въ сундукѣ, въ спальной.

„Пошли за сундукомъ, а ее караулили за селомъ. При-

несли сундукъ. Открыли—и нашли въ немъ денегъ самую малость, а все больше старая мѣдная посуда.

— Ты насъ обманула? спрашиваетъ Григорій.

— Нѣтъ, батюшка, не обманывала—больше нѣтъ денегъ.

— Мужики сказывали, у тебя много денегъ.

— Солгали мужики—ничего у меня нѣтъ.

— А кто жъ разорилъ мужиковъ?

— Не я, батюшка, видитъ Богъ—не я.

— Такъ денегъ не дашь?

— Нѣту, голубчикъ.

— Пеленай ее, старую вѣдьму.

Старухѣ связали руки на груди.

— Связывай ноги.

Связали.

— Клади въ сундукъ.

Уложили старуху въ сундукъ, а мѣдь выбросили.—„Запирай сундукъ.“ Заперли замкомъ. „Копай яму.“ Выкопали—и зарыли въ этой ямѣ сундукъ съ старухой. Только ее и видѣли.

Какъ узналъ объ этомъ атаманъ, никогда съ той поры безъ себя не пускалъ есаула,—ужъ не въ мѣру лютый былъ человѣкъ.

V.

Всѣ эти разсказы не представляютъ ничего неправдоподобнаго, особенно при ближайшемъ знакомствѣ съ эпохою, о которой идетъ рѣчь. Разбои возможны только тамъ, гдѣ вся жизненная обстановка обусловливаетъ такой ненормаль-

ный ходъ дѣлъ. Бродягами наполнена была вся Россія, потому что бродягою дѣлался всякій, кому тяжело было жить: преслѣдуемый закономъ раскольникъ гдѣ могъ спасаться?— въ бѣгахъ. Незаплатившій оброка крестьянинъ изъ боязни попасть въ Сибирь или въ солдаты—дѣлался бродягою. Плохой урожай хлѣба въ селеніяхъ—опять бродяжничество. Въ каждомъ селѣ были свои бродяги, а потому и въ каждомъ селѣ были пристанодержатели. Бродяжничество истребить было невозможно. Принимались всевозможныя мѣры къ пресѣченію этого зла—и ничто не помогало. Когда въ высшихъ правительственныхъ сферахъ поднимались вопросы объ уничтоженіи бродяжничества, всякій подавалъ свое мнѣніе, указывались разныя средства къ истребленію и поимкѣ бродягъ— и все напрасно. Неудивительно, что Храповицкій, по своему положенію при государынѣ близко знавшій всѣ предпринимавшіяся противъ бродяжничества мѣры, не одобрялъ ни одной. Для поимки бродягъ существовали особыя сыскныя команды, и эти команды ровно никого не ловили. „Бѣглеца командою искать нельзя: ему одна дорога, а командѣ сто; надобно, чтобъ обыватели не держали въ селеніяхъ и ловили,“ говоритъ по этому случаю Храповицкій въ своихъ „Запискахъ.“ А какъ сдѣлать, чтобъ обыватели не только не давали у себя притона бѣглымъ, но и ловили бы? Въ то время это было рѣшительно невозможно, во первыхъ потому, что бѣглыхъ и бродягъ ужъ слишкомъ было много и каждое селеніе принимало своихъ, а во вторыхъ и потому, что бѣглецы, не принятые на ночлегъ, очень хорошо умѣли платить за недостатокъ гостепріимства: на селеніе, не принявшее ихъ, они пускали „краснаго пѣтуха,“ а иногда подбрасывали къ селу мертвое тѣло, что накликало на обыва-

телей судъ, допросы „съ пристрастіемъ плетей и батожьевъ,“ какъ тогда выражались въ офиціальныхъ бумагахъ, и дѣло кончалось тѣмъ, что селеніе разорялось, если не разбойниками, то подъячими „съ омраченными душами.“

Съ другой стороны озлобленіе народа противъ „благородныхъ,“ выразившееся въ пугачевщинѣ, не улеглось и послѣ разыгравшейся въ Поволжьѣ драмы. Правда, на крестьянъ обращали больше вниманія, чѣмъ прежде, но все же ихъ офиціально называли „подлымъ народомъ“ и обращались съ нимъ соотвѣтственно этому названію. Все еще оставались такіе субъекты, которые, какъ извѣстный „уѣздный дворянинъ“ въ новиковскомъ „Живописцѣ,“ горько жаловались: „эхъ, перевелись-ста старые наши большіе бояре: то-то были люди, не только что со своихъ, да и съ чужихъ кожи драли. То-то пожили да поцарствовали, какъ сыръ въ маслѣ катались: и царское, и дворянское, и купецкое, все было ихъ; у всѣхъ кромѣ Бога отнимали; да и у того чуть тако не отнимывали...“ Неудивительно, что озлобленный бродяга, въ родѣ помянутаго есаула Григорья Иваныча, могъ запереть въ сундукъ нелюбимую народомъ помѣщицу и зарыть живою въ землю.

Всѣ эти разсказы, впрочемъ, характеризуютъ эпоху—это ихъ главное достоинство. Это такая эпоха, что чѣмъ пристальнѣе въ нее вглядываешься, тѣмъ отраднѣе смотришь въ будущее, тѣмъ болѣе вѣришь во всепобѣждающую силу времени и въ неуклонность поступательнаго хода человѣческихъ обществъ къ лучшему. Если въ 80 лѣтъ такъ измѣнилось Поволжье, то нельзя не имѣть глубокаго убѣжденія, что слѣдующія за нами 80 лѣтъ сдѣлаютъ то, чего мы и ожидать еще не смѣемъ, какъ не смѣли ожидать, конечно, люди, жив-

шіе въ концѣ прошлаго вѣка, чтобъ было теперь то, что мы видимъ.

Для историка дороги эти разсказы, какъ ни много въ нихъ сказочнаго, неправдоподобнаго: тутъ дорогъ и фактъ и колоритъ, въ какомъ является этотъ фактъ въ памяти народа.

„Покончивъ у Макарья что было нужно, продолжалъ разсказчикъ, атаманъ прибылъ со своими товарищами въ станъ, гдѣ условились собраться къ концу лѣта. Шайка была почитай-что въ сборѣ, только многихъ не досчитывались: иной, говорятъ, попалъ въ острогъ за безпись менность и другія провинности, другой пойманъ на воровствѣ, третьяго видѣли, какъ за конвоемъ солдатскимъ собиралъ милостыню себѣ и другимъ колодникамъ на пропитанье, четвертый опился, иной пропалъ безъ вѣсти. А въ походъ все-таки надо было снаряжаться: „работы будетъ не мало, братцы,“ говоритъ атаманъ, „да и пожива будетъ не малая.“ Повытащили изъ камышей лодки, пособрали весла, снарядили снасти, осмотрѣли ружья и пистолеты—и выплыли въ море, чтобъ рукавами пробраться къ Астрахани, а тамъ, прокравшись мимо города, выйдти въ Волгу. Вѣтеръ былъ попутный, кругомъ море, ни души человѣческой не видно, ребята лежатъ себѣ да разсказываютъ, гдѣ кто былъ, что видѣлъ, какихъ бѣдъ натерпѣлся, а на атаманской лодкѣ пѣсенникъ затянулъ любимую атаманову пѣсню:

Еще душа Богу сòгрѣшила:
Середы и пятницы не пащивалась,
Великаго говѣнія не гавливалась,
Заутрени и вечерни просыпывала,
Въ воскресный день обѣдни прогуливала,

Въ полюшкахъ душа много хаживала,
Не по праведну землю роздѣливала,
Я межу черезъ межу перекладывала,
Съ чужой нивы земли украдывала —
Въ этихъ грѣхахъ Богу не каялася
И отцу духовному не сказывала...

Прогребли и Астрахань, выбрали только самую темную ночь. Ѣхала лодка за лодкой, чтобъ не подать виду. Много выше Астрахани атаманъ велѣлъ лодкамъ причалить къ берегу: тутъ-то и хотѣли выждать, когда отъ Макарья будутъ плыть караваны съ товарами да съ казной. Долго ждали, потому — вѣтра стояли низовые и караваны запоздали въ дорогѣ. Только разъ на зорѣ показалась разшива, за ней другая. Издали запримѣтили часовые эти разшивы и сказываютъ атаману:

— Вонъ издалеча суда видны: что прикажешь дѣлать?

— Обождемъ. Только чтобъ все было готово.

Разшивы поровнялись съ разбойниками.

— Не тѣ, сказалъ атаманъ: обождемъ еще.

Ждали цѣлый день, все „не тѣ, да не тѣ.“ Къ вечеру опять приходятъ часовые:

— Плыветъ судно у того берега; что дѣлать?

— Пускай его сблизится.

Сблизилось судно. Посудина большая, богатая. На носу стоитъ мужикъ въ красной рубахѣ и на шляпѣ алая лента.

— Она и есть, сказалъ атаманъ: ребята въ лодки — на работу.

А потому узналъ атаманъ, на какое судно нападать, что у Макарья онъ вызналъ самаго богатаго хозяина и вывѣдалъ, что поѣдетъ онъ съ деньгами. А чтобъ знать, на

какомъ суднѣ онъ поѣдетъ, атаманъ договорился тамъ съ однимъ человѣкомъ, чтобъ наняться ему къ этому самому хозяину на судно, и когда судно подъѣдетъ къ урочищу, гдѣ атаманъ съ шайкою хотѣлъ выжидать каравановъ, мужикъ этотъ будетъ стоять на носу — въ красной рубахѣ и съ алой лентой на шляпѣ. Какъ сговорились, такъ оно и сдѣлалось.

И была тутъ свалка не малая. Какъ увидѣлъ хозяинъ бѣду неминучую, велѣлъ стрѣлять изъ пушки, что была на суднѣ. А стрѣлять никто не умѣлъ: что ни выпалитъ, все мимо да мимо, то въ воду, то на берегъ. А лодки все ближе и ближе. Стали бурлаки палить изъ ружей, опять мимо, потому плохіе стрѣлки. Пустили по заряду и съ лодокъ: а какъ угодила одна пуля въ бурлака, какъ повалился онъ на палубу, всѣ бурлаки ничкомъ полегли, одинъ только хозяинъ, да сговоренный атаманомъ мужикъ, да приказчикъ стрѣляютъ—и все даромъ. А лодки ужъ у борта, прицѣплялись къ завознѣ, атаманъ кричитъ:

— Стой, коли живота жаль.

— Бросай якорь, а то всѣхъ перерѣжемъ, вопитъ есаулъ.

А межъ тѣмъ разбойники по завознѣ взбирались на судно, а другіе по рулю лѣзли на бортъ. А бурлаки лежатъ, только Богу молятся.

— Кидай якорь, вопилъ есаулъ и выстрѣлилъ въ кучу бурлаковъ.

Поднялись бурлаки и бросили якорь. Судно стало, а разбойники ужъ распоряжались на суднѣ, какъ у себя дома— кто искалъ пожитковъ, кто рылся межъ тюками, нѣтъ ли цѣнныхъ товаровъ. Хозяинъ стоялъ ни живъ ни мертвъ.

— Давай деньги, приступалъ есаулъ.

— Помилуй, родимый, какія у меня деньги — всѣ въ товарѣ.

— Подавай, не то положу на мѣстѣ.

Атаманъ кричалъ: „не губить никого, ребята!“

Хозяинъ въ ноги атаману, плачетъ, молится:

— Не вели губить души христіанской — все отдамъ, только не вели убивать.

Долго возились на суднѣ, пока не вынудили хозяина отдать всю казну. Казны было не мало. Пока таскали въ атаманскую лодку мѣшки съ серебромъ да мѣдью, атаманъ велѣлъ принести къ нему бурлацкіе паспорты. А паспорты брали затѣмъ, чтобъ при нуждѣ раздать ихъ разбойникамъ, коли примѣты были подходящія. „А теперь, говоритъ атаманъ, вяжи бурлаковъ по рукамъ и по ногамъ.“ Перевязали бурлаковъ снастями и снесли всѣхъ въ мурье, гдѣ и положили на рогожкахъ, чтобъ помягче было лежать. А вязали бурлаковъ къ тому, чтобъ они не бѣжали съ судна и не оповѣстили гдѣ слѣдуетъ о грабежѣ, пока разбойники не успѣли проплыть Астрахань и выйдти на взморье. Хозяина атаманъ велѣлъ запереть въ казенкѣ. Когда вели его къ казенкѣ, повалился онъ въ ноги атаману:

— Смилуйся, атаманъ честной! не пусти меня по міру. Разорилъ ты меня—и не поправиться мнѣ до смерти. Отдай мои деньги—буду вѣкъ за тебя Богу молиться.

— А семья у тебя есть?

— Есть, батюшка, жена и дѣтишки махонькія, малъмала меньше. Не губи сиротъ.

— А къ бурлакамъ милостивъ былъ? спрашиваетъ атаманъ.

— Милостивъ, милостивъ, батюшка, какъ дѣтей родныхъ берегъ.

И повели хозяина къ бурлакамъ въ мурье. И спрашиваетъ ихъ атаманъ:

— Не было ли вамъ, ребята, какого притѣсненья отъ хозяина?

— Было, батюшка: тѣснилъ насъ, голодомъ морилъ, заработанныхъ денегъ не давалъ. Обижалъ насъ всю-то путинушку.

— Неправое говорятъ, видитъ Богъ, неправое, плакался хозяинъ: чѣмъ я васъ тѣснилъ? когда морилъ? Ѣли вы сколько душенькѣ угодно, спали всю путинушку отъ самаго Макарья.

— Не вѣрь ему, кормилецъ, жидомору эдакому. Онъ отъ отца роднаго отречется.

— Такъ не жди-жъ отъ меня пощады, хозяинъ, сказалъ атаманъ и велѣлъ запереть его въ казенку.

Заперли хозяина вмѣстѣ съ приказчикомъ, набрали товару, сколько могли захватить, взяли и харчей, муки, крупъ, пороху, забрали ружья, что были на суднѣ—и отправились на берегъ. И осталось судно середи Волги, пока не наѣхалъ новый караванъ и не освободилъ заключенныхъ въ тюрьмѣ.

Разбойники же, послѣ этого подвига, успѣли опять пробраться въ свой станъ, что на взморьѣ, гдѣ и подѣлили награбленное („дуванъ подувапили“, какъ это значилось на разбойничьемъ языкѣ).

VI.

Много лѣтъ потомъ, по разсказамъ Василька, бродила шайка Беркута, переходя изъ одной мѣстности въ другую.

Она исколесила все нижнее Поволжье. Не всегда экспедиціи ея были удачны; нерѣдко разбойники были разгоняемы, особенно когда не всѣ были въ сборѣ или когда не предводительствовалъ ими самъ атаманъ. Но, при всѣхъ своихъ поживахъ, шайка часто терпѣла недостатокъ, потому что правильнаго хозяйства разбойники не любили, а все, что было награблено ими, всякій излишекъ послѣ „дувана" проматывался каждымъ разбойникомъ отдѣльно. Ни денегъ, ни имущества вообще не жалѣли. При безденежьѣ и безхлѣбьѣ, а также на зимы, разбойники расходились большею частью по землямъ войска донскаго, гдѣ и нанимались въ батраки, а иногда шли въ поденную работу—косить траву, убирать хлѣбъ, пасти скотъ и проч. О паспортахъ на Дону не особенно заботились и потому всякаго страннаго человѣка принимали и считали это даже богоугоднымъ дѣломъ.

Малыми партіями разбойники пробирались въ самую глубь Волги, заходили въ Черный Яръ, въ Царицынъ, въ Саратовъ и держали иногда притонъ въ Жигуляхъ.

Безъ нужды, по видимому, убійствъ не дѣлали, и это строго запрещено имъ было отъ атамана. Только разъ самъ атаманъ дозволилъ себѣ жестокость, и на это были особенныя причины.

Навѣдавшись однажды къ своей любовницѣ, которая оставлена была имъ въ одной изъ донскихъ станицъ у знакомаго казака, онъ узналъ отъ этой женщины, что его хотятъ схватить и что виновникомъ этого былъ станичный атаманъ, котораго Беркутъ не задобрилъ подарками, когда оставлялъ въ станицѣ свою любовницу. Станичный атаманъ былъ такъ неостороженъ, что подговаривалъ къ этому и

любовницу разбойника, говоря, что за поимку Беркута дадутъ значительную сумму денегъ, какъ за одного изъ важныхъ атамановъ разбойнической шайки (1). Для этого онъ приставилъ особаго „малолѣтка“ (молодаго казацкаго сына, еще не бывшаго въ очередной службѣ и отправлявшаго разныя казенныя порученія) къ тому дому, гдѣ жила Горпина. Малолѣтокъ этотъ долженъ былъ извѣстить станичнаго атамана, когда пріѣдетъ Беркутъ къ своей любовницѣ. Но послѣдняя переманила на свою сторону малолѣтка, и когда пріѣхалъ Беркутъ, станичнаго атамана никто не извѣстилъ объ этомъ. Но Беркутъ простилъ бы станичнаго атамана и послѣ всего этого, еслибъ не провѣдалъ, что атаманъ записалъ въ станичномъ правленіи примѣты этого разбойника съ цѣлью довести объ этомъ до свѣдѣнія войсковаго правленія.

Тогда Беркутъ тихонько уѣхалъ изъ станицы и возвратился съ другими разбойниками съ намѣреніемъ наказать станичнаго атамана и взять бумагу, на которой записаны были его примѣты. Въ тотъ день, когда Беркутъ пріѣхалъ въ станицу со своими товарищами, всѣ почти казаки и казачки той станицы находились въ полѣ, потому что въ этотъ день назначенъ былъ станичный покосъ.

При общинномъ пользованіи землею и покосами казаки обыкновенно каждую весну, когда поспѣетъ трава, выѣзжали

---

(1) Закономъ было положительно опредѣлено, сколько выдавать награды тому, кто представитъ разбойника: такъ за атамана велѣно было давать изъ казны 30 руб., за простаго разбойника 10 руб., между тѣмъ за пристанодержателя отпускалось изъ казны 50 руб., хотя бы его представилъ самъ разбойникъ. Полн. Собр. Закон. т. XVI № 11750.

всей станицей въ поле съ самаго ранняго утра, гдѣ, при станичномъ атаманѣ и старикахъ, происходилъ дѣлежъ луговъ, а потомъ казаки начинали косить—или каждый свою полосу отдѣльно, или же составлялся общественный, станичный покосъ, такъ что участіе въ работѣ принимала вся станица, не исключая атамана.

Пріѣхавъ въ станицу и узнавъ, что всѣ казаки и атаманъ на покосѣ, Беркутъ тотчасъ распорядился слѣдующимъ образомъ: онъ раздѣлилъ пріѣхавшую съ нимъ небольшую партію разбойниковъ на двѣ части, одна часть должна была сжечь станичное правленіе —и это дѣло онъ поручилъ есаулу. Слѣдовало такъ поджечь домъ, чтобъ изъ него нельзя было ничего спасти и чтобъ сгорѣли всѣ находившіяся въ немъ бумаги. Другихъ разбойниковъ онъ оставилъ при себѣ. Затѣмъ онъ послалъ на покосъ малолѣтка, приставленнаго къ Горпинѣ, и велѣлъ звать въ станицу атамана, какъ бы отъ имени станичнаго писаря, который послалъ малолѣтка къ атаману затѣмъ, что будто бы изъ войсковаго правленія получена нужная бумага и что поэтому присутствіе въ правленіи станичнаго атамана необходимо.

Малолѣтокъ исполнилъ все, какъ было приказано. Съ покоса атаману предстояло проѣхать небольшимъ лѣсомъ, и въ этомъ то лѣску засѣлъ Беркутъ съ своими товарищами. Когда станичный атаманъ поровнялся съ ними, они выскочили изъ засады, схватили его, завязали ему ротъ, чтобы онъ не кричалъ, и привязали къ лошади, на которой и увезли вдаль отъ станицы. Въ тоже время Беркутъ отправился за своей любовницей и велѣлъ ей тотчасъ идти съ собою.

Когда станичный атаманъ былъ взятъ и отвезенъ далеко отъ станицы къ небольшому хуторку, стоявшему на отшибѣ,

когда прибылъ туда и самъ Беркутъ съ любовницей и малолѣткомъ, есаулъ тоже исполнилъ свое порученіе: станичное правленіе (безъ сомнѣнія, крытое соломой, какъ почти всѣ дома въ донскихъ станицахъ) вспыхнуло со всѣхъ четырехъ сторонъ. Поджигатели успѣли скрыться, пока казаки возвращались съ покоса тушить пожаръ, и соединились съ партіей своего начальника. Тогда началась расправа надъ станичнымъ атаманомъ. Въ хуторѣ, къ которому пріѣхалъ Беркутъ со своимъ плѣнникомъ, какъ въ большей части донскихъ хуторковъ, на ту пору никого не было, потому что хозяинъ хуторка со всѣмъ своимъ семействомъ отправился тоже на покосъ. Тутъ то сняли станичнаго атамана съ лошади и стали допрашивать.

— Ты за что хотѣлъ меня выдать? спрашивалъ Беркутъ.

— Неправда, на меня наговорили, отвѣчалъ чуть живой отъ страха станичный атаманъ.

— Нѣтъ, правда: ты самъ меня подущалъ, говорила Горпина.

Атаманъ запирался.

— Говорилъ, что когда я выдамъ его, ты возьмешь меня замужъ.

— Правда, правда, подтверждалъ малолѣтокъ: я самъ видѣлъ, какъ и примѣты писарь записывалъ.

— Обѣщалъ сдѣлать меня офицершей, продолжала Горпина.

Атаманъ молчалъ. Свидѣтели были на лице. Онъ стоялъ со связанными руками. Но когда Горпина, уличая его, подошла къ нему довольно близко, онъ бросился на нее, сбилъ ногами на землю и кинулся на нее съ намѣреніемъ иску-

сать ей лице. Его удержали. Беркутъ потерялъ терпѣніе и рѣшился жестоко наказать его.

Около хуторка, на пригоркѣ, стояла вѣтряная мельница. Беркутъ велѣлъ туда вести своего плѣнника. Тамъ его привязали руками въ одному изъ крыльевъ мельницы, и такъ какъ въ этотъ день былъ вѣтеръ, то мельницу пустили въ ходъ. Мельница замахала крыльями, и вмѣстѣ со взмахомъ крыльевъ поднимался и опускался привязанный къ крылу станичный атаманъ.

Тогда Беркутъ отъѣхалъ на небольшое разстояніе и прицѣлился въ несчастнаго.

— Вотъ тебѣ царская награда за атамана, сказалъ онъ, выстрѣливъ въ повѣшеннаго на крыльяхъ мельницы.

Потомъ, обратясь къ есаулу, сказалъ: „стрѣляй и ты.“ Тотъ выстрѣлилъ.

— Вотъ тебѣ царская награда за есаула.

Потомъ далъ ружье своей любовницѣ и велѣлъ тоже стрѣлять. Та выстрѣлила...

— Это отъ твоей жены, отъ офицерши.

Затѣмъ велѣлъ стрѣлять всѣмъ разбойникамъ.

— Пропадай-же ты, собака.

А мельница все махала крыльями, и несчастный все мотался на этихъ крыльяхъ, то поднимаясь, то опускаясь.

Разбойники уѣхали и долго еще оглядывались назадъ и видѣли, какъ махали крылья мельницы и какъ на этихъ крыльяхъ моталось человѣческое тѣло.

VII.

Извѣстность, все болѣе и болѣе пріобрѣтаемая Беркутомъ, дѣлала небезопаснымъ пребываніе его шайки какъ въ нижнемъ Поволжьѣ, такъ и на Дону. Многіе уже знали о немъ, другіе видѣли его лично; ограбленныя имъ жертвы разносили о немъ вѣсти изъ города въ городъ. Примѣты его уже были извѣстны, такъ какъ наружность этого разбойника не могла не бросаться въ глаза. Послѣ сожженія станичнаго правленія и варварскаго истязанія станичнаго атамана о разбойникѣ сильно заговорили на Дону и, безъ сомнѣнія, „промеморіи“ и „ордера“ разсыпались на счетъ его личности изъ одной канцеляріи въ другую. Но онъ продолжалъ оставаться на Волгѣ, потому что въ другихъ мѣстахъ не могло предстоять ему такого полнаго разгула для дѣятельности, какъ на этой рѣкѣ и на взморьѣ. Въ случаѣ же крайней опасности онъ могъ пробраться на Кубань или въ заволжскія степи.

Разъ весной вывелъ онъ свою шайку на промыслъ. Шайка была не вся въ сборѣ—всего только двѣ лодки. Положено было ограбить рыболовныя ватаги, которыя были на той сторонѣ взморья, такъ какъ разбойники провѣдали, что съ весной навезено на ватаги много припасовъ, пороху, всякой провизіи и отчасти денегъ.

„Точно сердце мое сказывало, что быть бѣдѣ (говорилъ объ этой экспедиціи Василекъ). Ѣхали мы на веслахъ, держась камышей, чтобъ не запримѣтили насъ ни съ берега, ни

съ моря. Атаманъ сидѣлъ тоже невеселый, будто и онъ чуялъ, что ждетъ его острогъ. Выѣхали мы ночью, и хоть ночь была свѣтлая, только ужъ такая-то невеселая, такая страшная, что и сказать нельзя. Кажись бы, не въ первый разъ ѣхать и не знать, куда угодитъ твоя буйная головушка, а было такъ боязно, такъ сердце ныло, что хоть съ лодки да въ море. Камыши этакъ шелестятъ страшно, точно перешептываются межъ собой, точно сказать хотятъ, что вотъ-де ѣдутъ разбойники-душегубцы, что запродали они сатанѣ души свои христіанскія, что ждетъ ихъ и на этомъ и на томъ свѣтѣ мука вѣчная, тутъ — острогъ, Сибирь да висѣлица, а тамъ море огненное. Шелестятъ, шелестятъ камыши, тотно живые на насъ верхушками своими киваютъ, да иной разъ птица взлетитъ въ камышахъ, утка крякнетъ другой уткѣ, что вотъ-де душегубцы ѣдутъ. Вѣтерокъ это съ моря вѣетъ - вѣетъ, да вдругъ и стихнетъ, точно испугается насъ, проклятыхъ людей, и обойдетъ насъ боязно, а тамъ опять заговоритъ съ камышами, такъ что морозъ по кожѣ ходитъ. Глянешь на небо—и тамъ страшно да невесело: молчитъ небо, ничего не говоритъ, а все видятъ звѣзды—очи божьи, видятъ, какъ мы крадемся души человѣческія губить, и глядятъ на насъ во всѣ глаза звѣзды, не украдешься, не ухоронишься отъ нихъ. А вода кругомъ и подъ лодками темная, темная...

Ѣдемъ (говоритъ) мы этакъ, всѣ молчимъ; и сердце ноетъ и у всѣхъ, кажись, ныло оно, потому всѣ и молчали. И то сказать, вспала мнѣ на сердце родная сторонушка. Забывать было ужъ я началъ ее, забывалъ и мать родимую, все рѣже и рѣже вспоминалъ о своей зазнобѣ горькой, о своей Дарьюшкѣ, что, провожая меня въ бѣги, Дарья горько плакала,

къ ногамъ припадала, слезно приговаривала: на кого ты меня, мой сердечный другъ, покидаешь? Привалилъ ты мое сердечушко гробовымъ камнемъ тяжелымъ, засохну я безъ тебя, желанный мой, какъ былина одинокая. Не видать тебя, больше моимъ глазамъ каріимъ, не обнимать тебя моимъ рукамъ бѣлыимъ, запекутся, поприсохнутъ губы мои алыя, не цѣлуючи тебя, ненаглядной мой... Забывалъ, все забывалъ я и Дарью забывалъ, да въ ту послѣднюю весну Богъ привелъ повидать и сторону родимую, и зазнобу мою — отравушку смертную, только мать была ужъ въ сырой землѣ... Повидалъ, все вспомянулось, и глаза каріи, и руки бѣлыя— и вотъ потому ныло мое сердце, потому не мила мнѣ стала жизнь вольная, разбойная.

На утро, говоритъ Василекъ, налетѣла на насъ команда воинская. Какъ изъ земли выросла. Пафъ, пафъ... Пробило атаманскую лодку ядромъ, стала лодка тонуть.

— Не робѣй, ребятушки! кричитъ атаманъ: шапками воду выливай, кафтанами пробойну затыкай.

— Пали, кричатъ съ командирской лодки, съ казенной.

И стали въ насъ жарить картечью словно орѣхами. Видимъ мы бѣду неминучую.

— Ребятушки, на весла! загребай, чтобъ весла ломались—не угонится за нами проклятой.

А тотъ все палитъ, все палитъ, да все ближе, ближе.

— Стой! кричитъ: потоплю въ морѣ.

— Топи, говоритъ атаманъ.

А въ лодку его вода ручьемъ бѣжитъ, а лодка все глубже и глубже тонетъ.

— Сдавайся, кричитъ команда,—не то картечью засыплю... Давайся живой въ руки!

— Бери, говоритъ атаманъ, и стрѣляетъ въ командира. А атаманская лодка все глубже и глубже садится, а тотъ все ближе и ближе... Бросилъ атаманъ ружье, выпалилъ изъ пистолетовъ, побросалъ и ихъ въ море, выпалили всѣ мы, сталъ атаманъ скидать съ себя кафтанъ, скинули и всѣ, что были въ его лодкѣ, и кинулись въ море, вплавь... Только мы и видѣли атамана въ этотъ день...

Я, говоритъ Василекъ, былъ въ другой лодкѣ, не въ атаманской. Мы ударили на весла и полетѣли птицей. Съ нами былъ есаулъ. Успѣли мы пристать къ берегу, кинулись въ камыши—и поминай какъ звали!

Натерпѣлись же мы, говоритъ онъ, муки въ этихъ камышахъ окаянныхъ. Видѣли мы изъ камышей, какъ атамана взяли, долго не давался, нырялъ въ море, что твой нырокъ, а все-таки взяли—веревку накинули на шею и словно бѣлугу вытянули на бортъ. Живымъ взяли, добыча-то ужъ больно крупная, высокаго полету птица. И другихъ похватали точно утенятъ послѣ матки; иные пошли ко дну—рыбу ловить, не выдержали, потонули. А мы по камышамъ словно выхухоли разсыпались, лови насъ въ камышахъ-то! Лодку нашу взяла съ собой воинская команда, а мы остались, да натерпѣлись же голоду, пока не выбрались къ жилымъ мѣстамъ, подальше отъ взморья.

Неудачливое, говоритъ, выпало намъ лѣто, такое неудачливое, что и сказать нельзя. Прослышали мы послѣ, что атаманъ нашъ сидитъ въ астраханскомъ острогѣ за тремя замками, и порѣшили мы съ есауломъ выслободить его изъ неволи, потому что есаулъ зналъ всѣ входы и выходы, были у него и межъ подъячими благопріятели, и въ острогѣ были

знакомые, пивалъ со всѣми, хлѣбъ-соль по кабакамъ важивалъ, а съ иными добычей дѣлился. Вотъ и порѣшили мы украсть атамана, благо сами были на волѣ. Провѣдали мы, что и другіе наши товарищи сидятъ въ томъ же острогѣ— ждутъ, пока судъ надъ ними кончится, и погонятъ ихъ въ Сибирь, исполосовавши всѣ спинушки. Мало по малу перебрались мы въ Астрахань: кто на пристани работаетъ, на судахъ, кули стаскаетъ, кто лѣсъ пилитъ, дрова рубитъ, а кто и подъ окнами да на базарахъ Лазаря распѣваетъ — надо же было кормиться, а съ нашими паспортами куда сунешься? Все паспорты чужіе — у кого каріе глаза, у того въ паспортѣ голубые, кто курносъ, тотъ въ паспортѣ длинноносъ, кто двѣнадцати вершковъ, тотъ въ паспортѣ малорослъ.

Видался я и съ Дарьей—да не объ ней теперь рѣчь... Видались мы и съ товарищами своими, что сидѣли въ острогѣ. Выводили ихъ то на работы, то за Христовымъ подаяніемъ подъ конвоемъ, а иной разъ и въ колодкахъ, либо какъ собакъ сворами, навязавши по пяти и шести и по десяти человѣкъ на канаты (1).

— Подайте несчастненькимъ колодникамъ Христа ради, говорятъ бывало.

— Богъ подастъ.

А ты проходишь бывало, видишь — свой братъ, вмѣстѣ горе мыкали, комаровъ да мошекъ своимъ тѣломъ кормили, а бывало и счастье знавывали, проходишь себѣ, глазомъ на-

---

(1) Въ прошломъ вѣкѣ, когда проводили партіи арестантовъ, то навязывали ихъ на канаты, чтобы удобнѣе было конвоировать ихъ.

кинешь пріятеля, и онъ тебя накинетъ, да и сунешь ему въ шапку копеечку.

— Помолись, скажешь, за здравіе раба божія Ивана Назарыча (это атамана-то нашего).

Спаси его, Господи, говоритъ, отъ всякой болѣсти.

А тамъ, смотрятъ колодники, наши-то смотрятъ, какъ проводятъ ихъ по базару, сидитъ это божій человѣкъ, убогенькій, сидитъ съ чашечкой и поетъ стихъ „о грѣшной душѣ“:

Почаму ты, душа, грѣхи угадываешь?
Потому я, душа, грѣхи угадываю,
Что жила я на вольномъ на свѣту,
Много душа Богу согрѣшила,
Я по игрищамъ, душа, много хаживала,
Подъ всякія эти игры много плясывала...

А это былъ не божій человѣкъ, не убогенькій, а нашъ товарищъ, пѣсенникъ Фока — дворовый человѣкъ. Напустилъ онъ на себя убожество, чтобъ въ острогъ не попасть.

Атамана мы только своего не видѣли, потому какъ онъ главный и сидѣлъ за тремя замками, такъ его и не водили по городу за милостыней, а сидѣлъ онъ въ колодкѣ и въ наручняхъ день и ночь. Только есаулъ провѣдалъ его камору, да выслободить его нельзя было изъ той каморы, потому кругомъ часовые. Одинъ Фока потѣшалъ его своими пѣснями: проходитъ бывало мимо острога, всякъ видитъ — идетъ божій человѣкъ, убогенькій, съ сумою за плечами, а подходитъ Фока къ острогу и затянетъ любимую атаманскую пѣсню:

Почаму ты, душа, грѣхи угадываешь?

VIII.

Проходитъ мѣсяцъ, проходитъ другой, а атаманъ съ товарищами все сидитъ въ острогѣ. Слышимъ отъ подъячихъ— судъ идетъ строгій, допросъ за допросомъ, ни въ чемъ не винится, не выдаетъ никого. Допрашивали одного, допрашивали и на очной ставкѣ съ товарищами—ничего не возьмутъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Далѣ слышимъ отъ подъячихъ, что назначенъ „пристрастный допросъ“ (1): священникъ усовѣщивалъ, судьи грозили, а тамъ — батоги и плети съ разстановкой. Ничто не помогло. Только послѣ допроса какъ увидѣли мы своихъ молодцовъ, когда ихъ вывели въ городъ, на канатѣ, за сборомъ милостыни, такъ и узнать нельзя было: краше въ гробъ кладутъ—такъ истомили ихъ допросами. Думаемъ, плохо будетъ не вынесутъ пристрастія, покажутъ на насъ,—вотъ и порѣшили съ есауломъ выкрасть атамана, а коли можно и товарищей. И начали мы это изъ сосѣдняго пустыря вести подкопъ подъ острогъ. И потрудились же мы съ этимъ подкопомъ, не приведи Богъ! Начали копать осенью, ночью, землю въ шапкахъ уносили въ другое мѣсто, выкопали не мало, а какъ пошли дожди — все и залило, что мы выкопали; прахомъ

---

(1) «Пристрастнымъ допросомъ» на офиціальномъ языкѣ того времени назывался допросъ съ остраскою—таже пытка: не сознавшагося сѣкли и тѣмъ вымогали у него признаніе. Это значило допрашивать «подъ пристрастіемъ плетей и батожьевъ».

пошла работа. Надо было ждать, пока дожди уймутся, а ждать боязно, того и гляди все вывѣдаютъ да и насъ накроютъ за работой, хоть мы послѣ работали поодиночкѣ: залѣзетъ одинъ въ нору какъ сурокъ, да и копается тамъ весь день, а на ночь другой лѣзетъ на его мѣсто и опять копается. Копалъ и я: роешься тамъ бывало и слышишь, какъ надъ тобой люди ходятъ, топотъ лошадиный слышишь, колеса стучатъ надъ тобой, а ты сидишь какъ въ сырой могилѣ, все копаешься, думаешь—назвался грибомъ, такъ полѣзай въ кузовъ. Копали мы эдакъ мѣсяца полтора: слышимъ, подъ острогъ подошла наша подземная дорожка. Тихо тихо стало надъ тобой, точно и взаправды тебя живаго въ землю зарыли. И говоритъ это есаулъ:

— Спасибо, братцы, докопались подъ камору.

— Докопались, говоримъ: а что дальше будетъ?

— То дальше будетъ, говоритъ, что надо атаману вѣсть подать, чтобъ готовъ былъ.

— А какъ подать? спрашиваемъ.

— Какъ подать!... кинемъ жребій, кому изъ насъ въ острогъ идти.

— Какъ идти?

— Да такъ: кому вынется жребій, тотъ и иди въ острогъ, говори, что я-де такой и такой, хочу-де показаніе дать на разбойниковъ, что сидятъ въ острогѣ. А какъ возьмутъ въ острогъ, тамъ и выбирай случай увидѣть атамана, когда его выводятъ на общій дворъ провѣтриться, шепнуть ему: „не шуми-де, когда услышишь шумъ подъ поломъ въ твоей каморѣ...“ А тамъ выручимъ и того, кто пойдетъ туда по жребію.

— Ладно, говоримъ: кидай жеребій.

Кинули. И выпалъ жеребій Фокѣ, дворовому человѣку, пѣсеннику. А божьему человѣку всюду пробраться легче: я-де божій человѣкъ, юродивый, самъ на себя наклепалъ спасенія ради, чтобъ во Христову память помучиться напрасно.

Такъ и сдѣлали. И пошелъ Фока въ острогъ. Навѣсилъ, это, на себя сумки, взялъ посохъ, да и пошелъ. Идетъ, а самъ поетъ:

Почаму ты, душа, грѣхи угадываешь?
А потому я, душа, грѣхи угадываю,
Что жила я, душа, на вольномъ на свѣту,
Много я, душа, Богу согрѣшила.

Подходитъ это къ острогу, идетъ къ воротамъ, а часовой его не пускаетъ. „Господи Исусе Христе сыне божій, помилуй насъ,“ говоритъ Фока.—„Аминь,“ говоритъ часовой, потому былъ набожный.

— Пусти меня, говоритъ Фока, пусти, добрая душа, ради спасенья.

— Куда тебя пустить, божій человѣкъ?

— Да въ храмъ спасенья.

— Какой это храмъ? это острогъ, говоритъ часовой.

— Храмъ, говоритъ Фока. А тамъ опять за свои юродскіе стихи, опять запѣлъ:

Ай же ты (поетъ), мати Марія,
Пречистая дѣва, Пресвятая!
Гдѣ же ты ночесь ночевала?
Во градѣ во Ерусалимѣ,
Во божьей церквѣ за престоломъ,
Страшенъ я сонъ во сняхъ видала,
Будто я сына спородила,
Въ свято крещенье крестила,

Во пелены пеленовывала,
Во пелены камчатыя,
Во пояса шелковые...
Кто бы тотъ сонъ приразсудилъ?
Кто бы мнѣ тотъ сонъ приразсказалъ?
Провѣщится тутъ младой вьюношъ,
Вьюношъ—сынъ возлюбленный:
«Ай же ты, мати Марія!
Пречудная дѣва, Пресвятая!
Самъ я евтотъ сонъ приразскàжу
Самъ я евтотъ сонъ приразсужу:
Быть мнѣ-ка, матушка, распяту,
Ко кресту пригвождёну,
Въ руцѣ мнѣ гвоздьё вколотятъ,
Въ нози мои гвоздьё забиваша,
Копіемъ бока у меня прободоша,
Тростью мою, матушка, главу убиваша,
Совсѣмъ меня, матушка, присрамляша...

Заслушался это часовой его стиховъ, собрались и другіе часовые, тамъ и народъ понабрался: глядь-ко, говорятъ, божій человѣкъ. „А Фока, дворовый человѣкъ, свое твердитъ: „пусти, да пусти въ острогъ — скажу я, говоритъ, слово такое судьямъ, что спасибо и тебѣ будетъ.“

Пробрались это и мы межъ народомъ, смотримъ, что будетъ, какъ Фока попадетъ въ острогъ. Вышелъ изъ острога самъ начальникъ:

— Что тутъ за гвалтъ? говоритъ.

— Да вотъ божій человѣкъ въ острогъ просится.

— Что за дуракъ!

— Да юродивый—одно слово святой человѣкъ.

А Фока въ ноги начальнику: пусти да пусти въ острогъ.

Я, говоритъ, души человѣческія губливалъ, мнѣ тамъ надо быть. А самъ опять поетъ:

Жилъ былъ славной богатъ человѣкъ,
Сладкую пищу богатой воскушалъ,
Дорогу одежду богатой возносилъ,
Нищимъ, убогимъ не подавалъ,
По пути ходящихъ тепломъ не огрѣвалъ,
Во гроби лежащихъ не провожалъ,
Во тюрьмы сидящихъ не провѣщалъ.
Заводится у богатаго чесной пиръ,
Пошелъ богатый гостей называть,
Вышелъ богатый за широки ворота—
Передъ воротами Лазарь лежитъ,
Передъ широкими убогій человѣкъ

Народъ все больше и больше валитъ къ острогу.

И велитъ начальникъ разогнать народъ, велитъ онъ гнать и Фоку. А Фока кричитъ:

— Возьми меня! я души губливалъ: не возьмешь, самъ отвѣтишь.

Испужался начальникъ, потому — народъ слышитъ, и велѣлъ Фоку пустить въ острогъ; а Фока поклонился на всѣ четыре стороны, да и опять за свое:

Почаму ты, душа, грѣхи угадываешь!

И закрылись за Фокой ворота тюремныя. А народъ вслѣдъ ему: „Божій человѣкъ, святой человѣкъ! ради спасенья самъ на себя муки накликаетъ—юродствуетъ..,“

IX.

Такимъ образомъ подъ острогъ былъ сдѣланъ подкопъ и Фокѣ удалось предувѣдомить арестантовъ, что товарищи на-

мѣрены выручить ихъ. Подкопъ былъ подведенъ подъ двѣ или подъ три камеры, такъ что оставалось только выбрать по половицѣ, чтобы попасть въ подземелье. Когда арестанты были на ночь заперты по камерамъ, есаулъ, пробравшись подъ камеру атамана далъ ему объ этомъ знать. Но съ поломъ не могли сладить въ одну ночь; въ эту ночь подготовили только, чтобъ въ слѣдующій разъ можно было вынуть половицы.

На слѣдующую ночь побѣгъ дѣйствительно состоялся: атамана провели въ подземелье перваго; за нимъ пошли и другіе арестанты. Бѣжалъ и Фока. Но когда все это происходило, одинъ изъ часовыхъ услышалъ шумъ въ камерахъ: немедленно вошли часовые и нѣкоторыхъ изъ арестантовъ успѣли схватить. Въ числѣ пойманныхъ былъ и есаулъ, который хотя и кинулся на часовыхъ съ ножомъ, хотя даже и ранилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, однако былъ схваченъ и связанъ. Такъ какъ онъ былъ взятъ на мѣстѣ преступленія и оказался главнымъ виновникомъ въ побѣгѣ арестантовъ изъ острога, да кромѣ того его уличили и во многихъ другихъ преступленіяхъ, то судъ надъ нимъ окончился въ слѣдующей веснѣ. По слѣдствію открылось, что онъ производилъ разбои и убійства въ разныхъ мѣстностяхъ Поволжья, начиная отъ взморья до Жигулевыхъ горъ, около Самары, а потому его и присудили къ обыкновенному въ то время наказанію: *бить кнутомъ во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ производилъ разбои.*

Въ архивныхъ дѣлахъ прошлаго вѣка я встрѣтилъ случай подобнаго наказанія;—это наказаніе разбойника Заметаева. Но въ разсказѣ о наказаніи есаула Григорья Иванова встрѣчается одно особенное обстоятельство, о которомъ

я ничего не находилъ въ архивныхъ дѣлахъ. Заметаева велѣно было подвергнуть публичной казни, именно жестокому тѣлесному наказанію во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ чинилъ разбои. Постановленіе суда должно было быть исполнено буквально; но какъ Заметаеву присуждено было слишкомъ жестокое наказаніе, которое никакія человѣческія силы не могли вынести, то послѣ первой же экзекуціи онъ могъ умереть. Является вопросъ: возили ли его, уже мертваго, по другимъ городамъ и наказывали и тамъ трупъ разбойника, чтобы въ точности исполнить приговоръ верховнаго суда? Этого вопроса мнѣ не могли разрѣшить архивныя дѣла. Но разсказъ о казни есаула Григорія Иванова положительно подтверждаетъ, что надъ этимъ разбойникомъ приговоръ суда былъ исполненъ буквально.

„Перво-на-перво (говорилъ разсказчикъ) наказывали его въ Астрахани. Народу было видимо не видимо. Вывели это его изъ острога съ барабаннымъ боемъ, посадили на телѣгу лицомъ къ заду, чтобъ сидючи такъ вспоминалъ онъ свою прошлую жизнь и свои грѣхи великіе: душегубство, воровство и всякія преступленія. Въ острогѣ его напутствовалъ священникъ—какъ обыкновенно готовятъ къ смерти—прочелъ отходную, исповѣдалъ и причастилъ. Прочитавши отходную, какъ по усопшемъ, ему дали въ руку восковую свѣчку зажженную, и съ этой свѣчкой онъ самъ провожалъ себя въ могилу. Тутъ же на телѣгѣ, у ногъ его, стоялъ и гробъ—чтобъ въ этотъ гробъ и положить его послѣ смерти... Въ барабанъ били глухо, глухо, а по сторонамъ ѣхали верховые—народъ разгоняли. Привезли это его на площадь, привязали къ позорному столбу. А на груди у него висѣла черная доска, а на доскѣ той бѣлымъ написано было: *раз-*

бойникъ и душегубъ. Постоялъ это онъ у столба, а тамъ отвязали, и поклонился на всѣ четыре стороны. И положили его на кобылу: сколько ни билъ его палачъ, ни разу не вскрикнулъ, ни разу не охнулъ и не взмолился. Ужъ такая была сила крѣпкая. Вытерпѣлъ онъ все, что ему прописано было, всталъ съ кобылы, попросилъ воды и говоритъ къ народу:

— Здравствуйте, православные; не чаялъ я съ вами повидаться, а вотъ Богъ привелъ... А гробъ-атъ мой кому-нибудь другому пригодится.

„Дальше ему не дали говорить. Повезли въ острогъ, а гробъ все стоялъ съ нимъ рядомъ на телѣгѣ... Черезъ сколько тамъ дней повезли его изъ Астрахани подъ конвоемъ; и сидѣлъ онъ на той же телѣгѣ, а рядомъ съ нимъ гробъ стоялъ. Въ гробъ этотъ его клали на ночь спать, а по бокамъ стояли часовые съ ружьями. Привезли его въ Черный Яръ—въ острогъ: изъ острога опять на площадь и опять наказали также, какъ въ Астрахани. И тутъ, говорятъ, выдержалъ, только на спину и глядѣть было страшно: мясо, голое мясо, такъ что и кости бѣлыя видно было изъ-за мяса... Кнутья-то были ужъ больно жгучіе, цѣпкіе: какъ ударитъ это палачъ вдоль спины да потянетъ кнутомъ, такъ полоса мяса и отвалится. Только ужъ въ Черномъ Яру, говорятъ, все молчалъ, а какъ всталъ съ кобылы—сказалъ къ народу: „простите, православные, помолитесь за меня окаяннаго.

„Изъ Чернаго Яру повезли его еще дальше—въ Царицынъ. А гробъ все стоялъ на телѣгѣ...

„Выдержалъ и въ Царицынѣ. Только когда въ Царицынѣ привязали его къ позорному столбу, оглянулся онъ по

сторонамъ и сказалъ: „прощай, родимая сторонушка! тутъ я на свѣтъ родился, тутъ и умру... Эхъ, мать моя, матушка бѣдная! зачѣмъ ты спородила меня горькаго, зачѣмъ выкормила? задушила-бъ ты лучше меня махонькаго, легче-бъ мнѣ было...

„Сказываютъ, мать-старуха стояла на площади—слышала эти слова: узнала сына по голосу, да такъ и упала.

„Однакожъ не умеръ и въ Царицынѣ—оклемался. Полечили его тамъ и повезли дальше. А гробъ все стоялъ рядомъ съ нимъ... Пошла вслѣдъ за сыномъ и мать, да недолго пришлось идти старухѣ. Дорогой заболѣлъ арестантъ, тяжко заболѣлъ, можетъ больше потому, что мать видѣлъ, видѣлъ, какъ убивается она, не отходитъ отъ конвоя, слѣдомъ за телѣгой сколько верстъ тащилась. Заболѣлъ это онъ и двигаться не можетъ, а его все везутъ дальше: еще не все наказанье исполнено, надо было и въ Саратовѣ казнь претерпѣть. Собрался умирать—его и положили въ гробъ, да тутъ ужъ и мать къ нему подпустили... Не вынесъ больше—умеръ дорогой. А дорога дальняя, жаркая. Лежитъ въ гробу мертвое тѣло, а около мертваго тѣла сидитъ старуха-мать, мухъ отъ мертвеца отгоняетъ, чтобъ въ сынѣ черви не завелись... Какъ помѣшанная была старуха, только не плакала, а все молча глядѣла на мертваго сына, все мухъ отгоняла... Часовымъ даже страшно было ѣхать рядомъ.

„Пріѣхали въ Саратовъ. Повезли гробъ съ мертвецомъ на площадь—надо было законъ исполнить. Вынули мертвеца изъ гроба, а въ мертвецѣ ужъ черви завелись—не уберегла и мать, потому—лѣто, жары... Вынули, положили мертвое тѣло на кобылу—такъ палачъ отказался наказывать... Выискался тутъ въ толпѣ какой-то, говорятъ, подъячій, про-

пащая голова—у него рука поднялась на мертвое тѣло! Взялъ кнутъ—и наказалъ... Такъ народъ-то чуть въ клочки его не разорвалъ.

„Зарыли мертвое тѣло, говорятъ, гдѣ-то въ оврагѣ, такъ чтобъ и мать не видала. Дальше Саратова не повезли—исполнили законъ. Только, говорятъ, мать-старуха, все ходила за городомъ, все искала сына и въ оврагахъ рылась—ничего не нашла... Такъ и помѣшалась...

Разсказъ этотъ видимо созданъ народной фантазіей, хотя, конечно, въ дѣйствительности ничего подобнаго не существовало. Разсказъ доходитъ до возмутительнаго собственно вслѣдствіе подробностей; но я не счелъ себя вправѣ опустить его, такъ какъ въ разсказѣ этомъ всего рельефнѣе выражается взглядъ народа на „доброе старое время“, которое онъ безсознательно считаетъ временемъ много хуже настоящаго, хотя и говоритъ, что въ старину было лучше. А это уже утѣшительный фактъ. Чѣмъ лучше, сравнительно, настоящее, тѣмъ болѣе мрачными красками рисуетъ народная фантазія прошлое, потому именно, что оно уже прошло и не воротится. Какъ вспоминаетъ народъ о великанахъ-мамаяхъ, которые когда-то душили русскій народъ, ставя на ладонь по десятку и болѣе человѣкъ и придавливая другой ладонью, какъ вспоминаетъ народъ о лѣшихъ и упыряхъ, которыхъ прежде было больше, чѣмъ теперь, такъ вспоминаетъ онъ нынѣ и о разбойникахъ прошлаго вѣка и, не возмущаясь, прикрашиваетъ въ своихъ разсказахъ подробности о ихъ жестокости и о постигавшихъ ихъ казняхъ. Не знаю, дѣйствительно ли существовалъ въ прошломъ вѣкѣ обычай доканчивать исполненіе судебнаго приговора надъ преступниками, не вынесшими положеннаго числа ударовъ, т. е. сѣчь мертвое тѣло, но

народъ положительно убѣжденъ, что такой обычай существовалъ, и я нерѣдко слышалъ подтвержденіе этого разсказа. Да наконецъ и архивное дѣло о казни разбойника Заметаева положительно доказываетъ, что такой обычай существовалъ. А всѣми этими фактами, какъ и народными разсказами, историкъ пренебрегать не долженъ, а иначе онъ никогда не будетъ въ состояніи вѣрно судить о томъ, на сколько настоящее лучше прошедшаго и дѣйствительно ли лучше. Ужъ конечно лучше, даже ужъ потому одному, что *теперь не только мертвыхъ не сѣкутъ по судебному приговору, но даже и живыхъ не сѣкутъ по суду...*

X.

Послѣднія похожденія самого атамана и его шайки ограничиваются экспедиціей на лѣвое прибрежье Каспійскаго моря. Послѣ того какъ Беркутъ и его соумышленники посидѣли въ астраханскомъ острогѣ и освободились изъ него, поплатившись самымъ дѣятельнымъ и незамѣнимымъ своимъ членомъ, есауломъ, имъ уже рѣшительно невозможно было оставаться на Волгѣ, а еще менѣе около Астрахани. Примѣты атамана и большей части разбойниковъ стали всѣмъ извѣстны: сѣрая голова Беркута не могла уже нигдѣ укрыться, тѣмъ болѣе, что она была уже оцѣнена. Проѣздъ по Волгѣ понизовой вольницы все болѣе и болѣе стѣснялся разъѣздными командами, положившими начало „гардъ-каютамъ“, еще недавно наблюдавшимъ за спокойствіемъ на Волгѣ и

лишь нѣсколько лѣтъ назадъ уступившимъ мѣсто катерамъ водяной комуникаціи министерства путей сообщенія.

Разбойники прошлаго вѣка, ставшіе историческими лицами, въ нынѣшнемъ вѣкѣ замѣнились мелкими воришками. „Понизовая вольница“ отживала свой вѣкъ, какъ отживало самое прошлое столѣтіе свою пору. Начались новые порядки—о поволжскихъ разбойникахъ остались одни преданья. Жигулевскія горы интересуютъ проѣзжающихъ на пароходахъ своею картинностью, а эта картинность и отчасти дикая красота увеличиваются въ глазахъ путешественника при воспоминаніи о томъ, что эти самыя Жигулевскія горы долгое время были самымъ главнымъ притономъ для нашихъ русскихъ, поволжскихъ пиратовъ или „понизовой вольницы.“

Однимъ словомъ, „доброе старое время“ проходило, наставало новое, время. Другими словами: отживали свой вѣкъ остатки варварства, умирали остатки дикаго—и возрождалось новое лучшее. Цивилизація вступала въ свои права, хотя, къ сожалѣнію, еще не вполнѣ вступила, такъ что Волга до сихъ поръ напоминаетъ намъ „понизовую вольницу“... Все же теперь, сравнительно, лучше, чѣмъ было прежде.

Беркутъ со своей шайкой такимъ образомъ долженъ былъ оставить Волгу: въ Европѣ ему уже нечего было дѣлать; надо было перебираться въ Азію.

И атаманъ Беркутъ перебрался въ Азію.

Бѣжавъ изъ тюрьмы, Беркутъ и остатки его шайки бѣжали и изъ самой Астрахани. Атаманъ, перебившись кое-какъ зиму у любовницы, которая считала его уже погибшимъ, къ веснѣ собралъ свою шайку въ станъ на взморьѣ; тамъ они розыскали уцѣлѣвшія лодки, поправили ихъ, запаслись кой-какой провизіей и пустились на лѣвую сторону

каспійскаго взморья. Думали пробраться на устье Урала, къ Гурьеву-городку.

Разсказъ объ этой послѣдней экспедиціи Беркута также носитъ на себѣ печать эпичности, и потому я постараюсь передать его, хотя приблизительно, въ тѣхъ выраженіяхъ, въ какихъ успѣлъ записать со словъ разсказчика.

„Выѣхали они въ море и пустились на востокъ, на перерѣзъ этого самаго моря. Боялись держаться берега, чтобъ опять не нагрянула на нихъ воинская разъѣздная команда. Ѣдутъ это они день, ѣдутъ другой—больше работаютъ на веслахъ, потому-тишь въ морѣ, не колыхнется. Долго ѣхали, давно покинули берегъ, а все земли не видать: только море да небо, небо да море, да въ морѣ иногда рыба вскинется и опять уйдетъ въ море. Къ вечеру втораго дня стали наступать тучки, потянулъ вѣтерокъ, они подняли паруса—шибко бѣгутъ, рады, скоро земля будетъ. Вѣтерокъ крѣпче и крѣпче, а въ сумерки нагрянула такая туча, что и свѣту божьяго не видно. Убрали паруса—страшно, того и гляди опрокинетъ. А тутъ налетѣлъ шквалъ и начало бросать ихъ изъ стороны въ сторону, какъ щепки. И стали ходить по морю горы—это валы,—одна гора выше другой, а подъ горами пропасти, одна пропасть глубже другой. Взнесетъ эту лодку на гору—вотъ такъ и думаютъ, что броситъ ихъ валомъ съ этой горы въ пропасть... А попали въ пропасть, такъ вотъ такъ и думаютъ, что сойдутся горы и раздавятъ ихъ совсѣмъ съ лодками. Побросали весла—сидятъ, ждутъ смерти, а иные и Богу стали молиться, никогда не молившись. Одна работа осталась—выливать воду, когда захлеснетъ валомъ. А тамъ опять шквалъ—опрокинуло одну лодку: кто успѣлъ схватиться за край, тотъ держался, а кто

не успѣлъ, того и голоса больше не слыхали: гдѣ они подѣлись, одинъ Богъ знаетъ, а въ темнотѣ ничего не видно было, потому-ночь настала, да и отъ тучъ то мракъ. Кричатъ другъ дружкѣ—и голоса вѣтеръ не доноситъ, пропадаютъ голоса въ морѣ... Еще набѣжалъ шквалъ, другую лодку опрокинуло, тамъ третью. Что было дальше, сами они не помнили ужъ ничего, каждый самъ объ себѣ думалъ, держась за край лодки. И носило ихъ такъ до самаго утра, а къ утру прибило къ берегу: одну лодку тамъ, другую тамъ...

„Много разбойниковъ потонуло... Какіе раньше опомнились, пошли по берегу искать другъ дружку: и нашли на берегу не одно мертвое тѣло. Откачивали, откачивали—иныхъ откачали, а другихъ такъ и кинули. Нахлебалась воды и Горпина, атаманская любовница, такъ ее успѣли откачать. Какъ начался шквалъ, такъ атаманъ привязалъ ее къ себѣ за поясъ веревкой, оттого она и была все съ нимъ—такъ онъ ее и на берегъ вынесъ съ собой. Ну, ее откачали. Нахлебался соленой воды и Фока, дворовый человѣкъ, а какъ только очунялъ, такъ и заладилъ свое:

Почаму ты, душа, грѣхи угадываешь?..

„Ужъ такой несообразный человѣкъ былъ этотъ Фока!

„Вырыли потомъ ямы въ пескѣ и зарыли туда утопленниковъ, и безъ и безъ креста ладону, безъ попа и безъ савана.

„И натерпѣлись же они муки на томъ на песчаномъ берегу, пока добрались до Гурьева-городка. Да не рады были, что и добрались то до Гурьева. Тутъ былъ ихъ конецъ.“

— Почему? спросилъ я разсказчика.

— Да потому, что въ Гурьевѣ-городкѣ не то что разбой большой есть, какъ на Волгѣ, а и воровать-то было нечего да и негдѣ.

— Что жъ дальше было съ Беркутомъ?

— Да что! помаялся, помаялся, попыталъ счастія, кинулся на Яикъ—не везетъ, только казаки рыбу ловятъ, а купечества и дворянства духомъ не пахнетъ,—взялъ и бросилъ все. Посадилъ только одного казака въ дупло, да тѣмъ и покончилъ.

— Какъ въ дупло посадилъ?

— Да такъ... Приходитъ это онъ въ Гурьевѣ къ одному казаку, въ работники ужъ хотѣлъ идти, а казакъ какъ увидѣлъ его да и спрашиваетъ: „какой такой ты есть человѣкъ? Ужъ не тебя ли де ищутъ! Бумага, говоритъ, изъ Астрахани получена: велѣно перехватить разбойника, сѣдой какъ лунь, твои всѣ примѣты.“ Беркутъ такъ и сякъ, видитъ, дѣло плохо, не до работниковъ ужъ,—съ грѣхомъ пополамъ убрался отъ казака. Какъ не будь плохъ, да и оповѣсти. Вотъ за это-то Беркутъ и посадилъ его въ дупло.

— Да какъ же онъ это сдѣлалъ?

— Поймалъ на рыболовствѣ—выслѣдилъ его... Приходитъ это къ нему въ шалашъ вмѣстѣ съ Фокой да съ Васильком. Что тебѣ, говоритъ дали, за то, что оповѣстилъ обо мнѣ? Казакъ молчитъ—догадался. „Такъ берите-жъ, говоритъ, его на осину!“ А осины не случилось близко, а былъ только тополь старый, престарый, дуплястый: дупло такое, что человѣку пролѣзть можно. Взяли они этого казака да и опустили въ дупло внизъ головой—такъ и задохся... Послѣ того Беркутъ ужъ и въ Гурьевѣ не оста-

вался — пропалъ безъ вѣсти, и никто объ немъ больше не слыхалъ.

— А Фока?

— Фока такъ и остался въ Гурьевѣ—пошелъ въ юродивые и съ утра до вечера пѣлъ на площади:

Почаму же ты, душа, грѣхи угадываешь?..

— А Василекъ?

— Василекъ воротился въ Астрахань—кинулъ свое ремесло, да послѣ ослѣпъ: порохомъ выпалило оба глаза.

Къ какимъ именно годамъ прошлаго вѣка относятся похожденія шайки Беркута, съ точностью опредѣлить невозможно: но что явленіе это слѣдуетъ пріурочить ко времени, непосредственно слѣдовавшему за Пугачевщиной, это несомнѣнно. Объ есаулѣ Григорьѣ Ивановѣ положительно говорится, что прежде поступленія въ шайку Беркута онъ былъ въ толпѣ Пугачева—былъ и при взятіи Казани, и при разграбленіи Саратова, и при пораженіи Пугачева подъ Царицыномъ (безъ сомнѣнія, это говорится о послѣднемъ пораженіи самозванца не подъ Царицыномъ, а гораздо ниже этого города). Слѣдовательно, время, въ которое разбойничала на Волгѣ и по Каспійскому взморью шайка Беркута, съ увѣренностью можно отнести къ осьмидесятымъ или девяностымъ годамъ прошлаго вѣка. Такимъ образомъ Беркутъ дѣйствовалъ почти одновременно съ атаманомъ Брагинымъ и разбойникомъ Зубакинымъ, дѣло о которыхъ производилось почти до конца XVIII столѣтія. Насъ не должно удивлять извѣстіе о томъ, что есаулъ Беркута, Григорій Ивановъ, погибшій такою ужасною смертью, находился въ тайныхъ сношеніяхъ съ подъячими разныхъ городовъ и отъ нихъ получалъ своевременныя извѣстія о го-

товившихся противъ разбойниковъ экспедиціяхъ. Это было въ нравахъ того времени: мѣстнымъ властямъ предписывалось „недреманнымъ окомъ“ смотрѣть за разбойниками и истреблять ихъ всѣми мѣрами; но власти допускали злоупотребленія, и даже очень крупныя. Подлинное архивное дѣло объ атаманѣ Брагинѣ и разбойникѣ Зубакинѣ положительно свидѣтельствуетъ, что въ связи съ этимъ атаманомъ были не только духовныя лица, помѣщики и помѣщицы, но даже *войсковой атаманъ* бывшаго волжскаго войска, атаманъ весьма извѣстной фамиліи, о которой я теперь впрочемъ умолчу. Точно также въ тайныхъ сношеніяхъ съ понизовою вольницею находились и другія тогдашнія поволжскія власти: все это въ „доброе старое время“ было возможно.

Всѣ эти явленія—неизбѣжные продукты времени и обстоятельствъ. Они должны войти какъ матеріалъ въ исторію русскаго народа и при всемъ томъ не должны ложиться пятномъ на страницы этой исторіи. Народъ, который, при извѣстной жизненной обстановкѣ, выдѣлялъ изъ себя Пугачевыхъ, Заметаевыхъ, Брагиныхъ, Зубакиныхъ, Богомоловыхъ, Долотиныхъ, Ханиныхъ и всю массу понизовой вольницы, этотъ народъ, черезъ 80 лѣтъ, выдѣляетъ уже изъ себя представителей земства, которые управляютъ общественными и весьма сложными дѣлами не хуже тогдашнихъ воеводъ и комендантовъ крѣпостей. Вообще только при сравненіи съ прошлымъ вѣкомъ могутъ рельефно выступить лучшія стороны нынѣшняго времени и только при этомъ сравненіи можно будетъ видѣть, *что* пройдено и *какъ* пройдено: потому выяснить во всей полнотѣ исторію извѣстной болѣзни въ государствѣ, подготовить такъ сказать скорбный листъ на-

рода за прожитое имъ время и показать этотъ народъ въ болѣе здоровомъ состояніи—это не послѣдняя задача для историка.

Вотъ именно чѣмъ я оправдываю мое пристрастіе (хотя, говорятъ, люди, работающіе для исторической науки, не должны быть пристрастны: а развѣ кромѣ исторіи въ чемъ нибудь другомъ пристрастность дозволительна?) къ наиболѣе темнымъ явленіямъ изъ нашего прошлаго; вотъ почему я отдавалъ преимущественное вниманіе не героямъ, не полководцамъ прошлаго вѣка, не государственнымъ дѣятелямъ, которыхъ заслуги уже достаточно оцѣнены, а самозванцамъ и разбойникамъ съ ихъ атаманами и есаулами. Чтобы помочь движенію, надо непремѣнно знать что препятствуетъ этому движенію; а не зная препятствія, мы и не отстранимъ его.

Поэтому я не отказываюсь вывести на сцену еще какихъ нибудь атамановъ и разбойниковъ, неизвѣстныхъ исторіи.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что когда я слушалъ разсказы о похожденіяхъ Беркута, меня особенно поразило одно обстоятельство: разсказчикъ, передавая мнѣ возмутительныя сцены изъ „добраго стараго времени,“ оставался, по видимому, совершенно равнодушнымъ къ тому, что сообщалъ мнѣ. Точно онъ говорилъ мнѣ сказку. Когда мы подъѣзжали къ Макарьеву, я невольно замѣтилъ, глядя на этотъ городъ:

— Вотъ и здѣсь былъ Беркутъ, и есаулъ тутъ былъ, и Василекъ, и Фока, „дворовый человѣкъ.“

— Да, точно были.

— Ну, времячко же было! Нечего сказать, хорошо жилось тогда людямъ.

— А лучше, чѣмъ теперь, хладнокровно замѣтилъ мой спутникъ.

— Какъ лучше?

— Да въ старину все было лучше.

— Помилуйте! невольно воскликнулъ я: мертвыхъ-то людей сѣкли.

— Что-жъ за бѣда? а все лучше, чѣмъ живыхъ.

— Да теперь ужъ и живыхъ не сѣкутъ... по суду не сѣкутъ, замѣтилъ я.

— Ну, это точно правда... А все же тогда было лучше.

— Да чѣмъ? разбойники то лучше?

— Что жъ разбойники? За то были тогда и угодники... Святыхъ сколько было въ старину, мощей сколько! а теперь ни угодниковъ, ни разбойниковъ...

Признаюсь, я долженъ былъ замолчать передъ такой логикой.

II

ГРУНЯ,

АТАМАНЪ РАЗБОЙНИКОВЪ.

Не даромъ схоластически-школьная мудрость говоритъ, что жизнь — лучшій учитель. Только и тяжела же ферула этого педагога, а еще тяжеле его грубая рука. Боже мой! да гдѣ же та жизнь, о которой мы мечтали въ университетѣ, гдѣ та дѣятельность, къ которой мы, глупые мальчики, рвались со всѣмъ жаромъ молодаго увлеченья? Какая тоска, какая разъѣдающая и гнетущая скука въ этой практической жизни! Но вѣдь это малодушіе, это, наконецъ, недобросовѣстно съ моей стороны такъ рано падать духомъ. Или въ самомъ дѣлѣ правы старики, называя вздоромъ всѣ эти красивыя, по видимому благородныя порыванья молодой мысли, которая, въ сущности, оказывается и не мыслью даже, а какимъ-то глупымъ, химическимъ соединеніемъ фантазіи и сангвиническихъ инспирацій неубродившагося организма? Бѣдные,

*

жалкіе мальчики, мнѣ и васъ жаль, какъ жаль теперь самого себя. Въ эти майскія, безсумеречныя петербургскія ночи, готовясь къ экзаменамъ — какъ увлекательно, но тѣмъ не менѣе и съ достаточной солидностью мы рисовали предстоящую намъ жизненную дѣятельность, борьбу, далекія побѣды, почти невидимыя, недосягаемыя, но все же побѣды; торжество тѣхъ прекрасныхъ началъ, къ которымъ мы прильнули со всей силой молодой, неиспорченной, чуткой, на все отзывчивой природы. А какія глупыя, а все же милыя дѣти мы были! Вѣдь цѣлыя ночи напролетъ мы бились надъ разрѣшеніемъ спорныхъ и важныхъ для насъ практическихъ вопросовъ. Практическихъ!... Да, мы тогда вѣрили въ ихъ практичность и примѣнимость, мы вѣдь и холодно, трезво, разсудочно могли рѣшать предстоявшіе намъ жизненные вопросы, рѣшать строго-математически, по законамъ человѣческой логики. Э! скучно... Мы одного не знали: мы не догадывались, что жизнь-то, практика-то, эта мизерная, эта промзглая жизненная опытность держится на законахъ анти-логическихъ,—и вотъ наши логическіе выводы оболванились, встрѣтили полнѣйшее фіаско въ этой дрябленькой жизни, и теперь приходится недоумѣвать и спрашивать себя: кто-же сумасшедшій? Мы, или эти всѣ?—Впрочемъ, все это и глупо до крайности, и до крайности смѣшно, хоть мнѣ что-то уже давно не смѣется. Можетъ быть, вся бѣда въ томъ, что я попалъ въ это стоячее болото, заросшее колючимъ рѣзакомъ и цѣпкими, некрасивыми порослями, такъ что даже воду болотную всколыхнуть нельзя, нельзя прогрести этой зелени, плавающей на поверхности, чтобъ зачерпнуть горсть чистой воды. Да, можетъ быть, я одинъ такой счастливецъ. Все можетъ быть. Вѣдь всѣ мои товарищи

разбрелись въ разныя мѣста, кто по Россіи, кто за-границу, кто остался въ Петербургѣ жить этой лихорадочной, чисто-захлебывающейся жизнью. А завидовать имъ — глупо, потому что этимъ дѣла не поправишь. Мы думали стать лицомъ къ лицу съ народомъ, войти органически въ его жизнь, слиться съ нимъ. Можетъ быть, многіе изъ нашихъ и вошли въ эту міровую жизнь, слились съ нею, да я-то не вижу здѣсь народа. Впрочемъ чѣмъ же казачки въ ихъ неуклюжихъ кубилекахъ, чѣмъ казачата съ ихъ красными, засаленными околышами и босыми икрами, чѣмъ эти старые казаки въ ситцевыхъ чекменяхъ и въ башмакахъ—чѣмъ они не народъ?

Впрочемъ, все же мнѣ представляется, что тамъ, въ Россіи, больше жизни, чѣмъ здѣсь, по этимъ мертвымъ станицамъ и хуторамъ. Точно все окаменѣло тутъ и замерло, какъ въ окаменѣломъ сказочномъ царствѣ. Все спитъ или тоскуетъ безсознательно. Вонъ тамъ, на колокольнѣ, на верхушкѣ креста сидитъ ворона и высматриваетъ, куда бы улетѣть изъ этого мертваго царства. Вонъ и бѣленькое облачко ошибкой попало сюда, занесенное вѣтромъ, и не хочетъ остановиться надъ нами, проносится надъ этимъ классическимъ уголкомъ застоя, мертвенности и скуки. Мухи скучаютъ по стѣнамъ. Воздухъ, сонный, скучаетъ. А развѣ не вѣковой сонъ и не вѣковая скука слышатся въ этой монотонной пѣснѣ старой казачки, которая вонъ тамъ, подъ повѣтью, прядетъ на своей скрипучей самопрялкѣ черную волну и выводитъ безконечную, какъ скука, нитку? Вѣтряная мельница, которую я вижу изъ своего скучнаго окна, затосковалась на своемъ пригоркѣ и какъ безумная машетъ крыльями, точно желаетъ сказать своимъ нѣмымъ маханьемъ:

„вонъ, вонъ отсюда, живые люди! проходите мимо этого мертваго царства.“ Вонъ и свинья тоскливо хрюкаетъ подъ окномъ, точно силится вымолвить: „да какая же скука тутъ, милыя сестрицы, вѣрьте моему честному слову...“

Да и не выходитъ у меня изъ головы эта бѣдная Груня-разбойница, эта великая сила, задавленная неотвратимымъ ходомъ жизни и дикою, безобразною, безпощадною обстановкою.

Эта же старая казачка, что прядетъ тамъ подъ повѣтью и поетъ свою тоскливую, за сердце хватающую пѣсню, вводя безконечную, какъ скука, нитку, разсказала мнѣ объ этой бѣдной Грунѣ-атаманѣ разбойниковъ.

— Что за красота-то была, болѣзный мой, Грунюшка-то наша! Что за сердце-то было золотое!... такъ погубили злые люди за сердечушко неотходчивое.

— А Петръ Дроновъ? Что съ нимъ сталось?

— Ушелъ, голубчикъ мой, на Кубань по другой очереди, да и не вернулся.

— Что-жъ, умеръ?

— Нѣтъ, не умеръ, а пострѣленъ пулею вражьею... Умираючи, наказывалъ однополчанамъ-станичникамъ: „выньте вы, братцы мои, пулю изъ моей раны смертной, отвезите эту пулю отъ меня моей молодой женѣ, да всей станицѣ Заполянской — мертвый-де Петя Дроновъ съ того свѣта кланяется.“

— И привезли станичники?

— Привезли, родимый.

Груня эта была казацкая дочь, родомъ изъ Заполянской станицы, на Медвѣдицѣ.

Росла она у матери-казачки одна одинешенька. Отецъ

умеръ на Кубани, гдѣ отправлялъ очередную казацкую службу. Станичники привели отъ него коня осиротѣлаго со всею казацкою сбруею: сѣдло, пику, шашку, новый чекмень, киверъ, лядунку съ пулями, да нагайку — все привезли станичники и отдали Груниной матери. Грунѣ прислалъ отецъ красную шелковую ширинку.

— Пускай-де жена не ждетъ меня—выходитъ замужъ за другаго, тому и сбруя моя пойдетъ.

— Носи, Грунюшка, ширинку — не забывай отца: онъ былъ добрый казакъ, сказали станичники.

И Груня долго плакала. И съ тѣхъ поръ чѣмъ-то враждебнымъ представлялась ей Кубань невѣдомая, какимъ-то царствомъ тѣней, откуда никто не возвращается...

Представляется мнѣ Груня хорошенькой, тихой, задумчивой дѣвочкой, какъ изображала мнѣ ее старуха Власьевна. Подростала Груня, и все красивѣе становилось ея смуглое, чернявое личико. Въ хороводахъ она не пѣвала, гулять не любила, а всѣ въ ней души не чаяли, и старые, и молодые. Идетъ Груня по улицѣ — вся станица на нее любуется. Стоитъ Груня въ церкви, не шелохнется, какъ свѣчечка передъ образомъ, такая тихая, свѣтлая — и грѣшитъ молящаяся въ церкви станица, чаще, чѣмъ бы слѣдовало, на Груню поглядывая.

И изъ этой-то тихой, задумчивой дѣвочки вышелъ атаманъ разбойниковъ...

На семнадцатомъ году Груню постигло несчастье, да такое, котораго ея „неотходчивое“ сердце не могло пережить.

Груня полюбила своего сосѣда, казака Петра Дронова. Любилъ Груню и Дроновъ— да кто ее не любилъ во всей станицѣ? Дронова услали на Кубань отбывать казацкую оче-

редь, а Груня, съ тоски по немъ, сдѣлалась преступницей, да не только преступницей, а разбойничьимъ атаманомъ.

I.

Послѣ этого предисловія въ моей записной книжкѣ слѣдуютъ наброски разсказа, со словъ казачки Власьевны, о *Грунѣ, атаманѣ разбойниковъ*. Будучи занесенъ съ университетской скамьи, съ Васильевскаго острова, въ Медвѣдицкія станицы войска донскаго, я интересовался народною жизнью и, какъ аномальное явленіе этой жизни, я записалъ разсказъ о женщинѣ-разбойникѣ.

Въ настоящее время, послѣ цѣлаго ряда напечатанныхъ мною монографій о разбойникахъ, разбойничьихъ атаманахъ и самозванцахъ, разсказъ этотъ получитъ уже значеніе историческаго очерка. Притомъ онъ долженъ имѣть еще большее значеніе уже и потому, что ни въ „Понизовой вольницѣ," ни въ другихъ моихъ монографіяхъ о народныхъ смутахъ, о выдѣленіи изъ массы русскаго народа такихъ субъектовъ, какъ Пугачевъ, Заметаевъ, Шагала, Брагинъ, Зубакинъ и другіе разбойники и самозванцы, женщина еще ни разу не являлась прямымъ и активнымъ участникомъ въ тѣхъ нравственныхъ безобразіяхъ, до которыхъ доводили русскаго человѣка или горькая жизнь, давившая его и додавившая до заглушенія въ себѣ всѣхъ человѣческихъ качествъ, или распущенность воли, или полное отсутствіе честныхъ инстинктовъ.

Однимъ словомъ, женщина не являлась до сихъ поръ не-

посредственнымъ дѣятелемъ въ подвигахъ понизовой вольницы, какъ она является, хотя изрѣдка, въ исторіи всѣхъ народовъ, или какъ Юдиѳь, жертвующая самымъ дорогимъ для женщины чувствомъ ради спасенія отечества и отрѣзывающая голову усыпленному ея ласками полководцу-сластолюбцу, или какъ Аспазія, силою своего ума двигающая политику Греціи и волю Перикла не туда, куда тянула народная воля, или какъ Месалина, съ помощью физической красоты и нравственнаго безобразія заправляющая Римомъ. Іоанна д'Аркъ, Марѳа Борецкая, Екатерина Медичи, а съ другой стороны Жоржъ Зандъ, г-жа Пфейферъ—такихъ историческихъ женщинъ много, хотя несравненно меньше, чѣмъ историческихъ мужчинъ, потому что женщина, вслѣдствіе своего физическаго и нравственнаго—сравнительно съ мужчиной—малосилія, не завоевала до сихъ поръ себѣ того почетнаго мѣста въ исторіи человѣчества, какое завоевалъ себѣ мужчина умомъ, упругостью воли, вѣрностью самому себѣ и своимъ завѣтнымъ убѣжденіямъ.

Какъ бы то ни было, женщина является чѣмъ то безцвѣтнымъ въ исторіи человѣчества. Умъ ея, постоянно расплывающійся въ мелочахъ, скользящій только по поверхности, не создалъ ничего великаго ни въ наукахъ, ни въ искуствахъ, а если и создалъ, то, въ сравненіи съ созданіями мужчины; это такое ничтожество, что, въ массѣ добытаго человѣчествомъ добра, добро, добытое женщиною, какъ-то жалко стушевывается. Но мы хотѣли бы вѣрить, что будущая женщина будетъ не та, какова женщина прошедшая и настоящая.

Такъ и во всемъ.

Само собою разумѣется, что въ исторіи народа, мало развитаго, женщина еще болѣе стушевывается. Неудивительно,

что мы не видимъ прямаго участія женщины въ смутной исторіи понизовой вольницы.

Рядомъ съ Пугачевымъ упоминаются его жены и наложницы—и только. Все, что осталось отъ первой жены самозванца въ исторіи—это ея показаніе, что мужъ ея „лицомъ сухощавъ, во рту верхняго спереди зуба нѣтъ, который онъ выбилъ саласками... на обѣихъ грудяхъ были провалы... на лицѣ желтыя конопатины... самъ собою смугловатъ...“

Рядомъ съ атаманомъ Беркутомъ стоитъ его любовница Горпина—тоже лице совершенно безцвѣтное. Всѣ ея дѣянія состояли въ томъ, что, по приказанію Беркута, она выстрѣлила изъ ружья въ повѣшеннаго на крыльяхъ мельницы станичнаго атамана, да во время бури на Каспійскомъ морѣ, когда потопило всѣ разбойничьи лодки, вытащена была на берегъ, привязанная веревкой къ поясу Беркута (1).

Въ богомоловскомъ бунтѣ въ Царицынѣ является женщина просто какъ сплетница, и какъ сплетницу, безъ толку болтавшую о дѣлахъ политической важности, ее наказали совершенно поженски, т. е. „дабы она перестала непристойные плодить разговоры, велѣно было учинить ей публичное, съ барабаннымъ боемъ, жестокое плетьми наказаніе и сверхъ того, подрѣзавъ платье, яко нетерпимую въ обществѣ, чрезъ профосовъ выгнать за городъ метлами.“

Женщина эта была Авдотья Яковлевна Васильева (2).

Въ исторіи самозванца Ханина женщина является доносчицей. Восемнадцатилѣтняя Прохорова прельстилась обѣща-

---

(1) Разбойничій атаманъ Беркутъ.

(2) Самозванцы и понизовая вольница (Богомоловъ) I, стр. 94.

ніями Ханина и, хотя „по усильству,“ однако отдалась ему, желая быть императрицей. Но когда ее схватили и стали допрашивать, она всѣхъ выдала—и Ханина, обѣщавшаго сдѣлать ее царицей, и священника съ сыномъ, привезшихъ Прохорову къ самозванцу, и прочихъ заговорщиковъ (1).

Въ исторіи атамана Брагина помѣщица капитанша Агишева рисуется въ какихъ-то странныхъ отношеніяхъ съ этимъ атаманомъ разбойниковъ, но опять-таки и Агишева является личностью безцвѣтною (2).

Жены или любовницы пугачевскихъ полковниковъ, Иванова и Каменскаго, какъ Варвара Ивойлова, просто разъѣзжаютъ съ этими разбойниками въ ихъ колясках и даже при допросахъ на этихъ женщинъ никто не обращалъ вниманія (3).

Но вотъ, среди безцвѣтныхъ женщинъ изъ народа, является лице живое, энергическое, сильное. Вся отдавшись одной исключительной привязанности, на что способны только натуры не мелкія, не дюжинныя, эта женщина изъ скромной, робкой, стыдливой дѣвушки становится преступницею. Пошлая жизнь въ скучной станицѣ съ ея мелкими интересами не измельчала этой цѣльной натуры. Свое глубокое горе она начала мстить на людяхъ, которые были прямою или косвенною причиной ея горя.

Это Аграфена Вершилова или, какъ ее называли въ станицѣ, „Груня, разбойница“ (4).

---

(1) Ibid. Самозванецъ Ханинъ.

(2) Ibid. Атаманъ Брагинъ и разбойникъ Зубакинъ. II, стр. 203 и друг.

(3) Пугачевскій полковникъ Ивановъ.

(4) Личность эта принадлежитъ къ разряду тѣхъ, самымъ цѣль-

Исторія ея бѣдствій, а потомъ преступленій начинается съ тѣхъ поръ, какъ ея жениха, казака Дронова, нарядили въ очередь.

— Мы были съ Груней въ станичномъ сборѣ, когда нашихъ станичниковъ въ походъ наряжали, говорила Власьевна:—бѣлый какъ полотно сидѣлъ Дроновъ на конѣ, а еще бѣлѣй его стояла моя Груня... И мое сердце переболѣло, глядючи на эти проводы. Реву-то сколько было, не приведи Богъ! Иной казакъ ребятенка своего на конь подымаетъ, цѣлуетъ и креститъ, а мать на лошадиной гривѣ виснетъ, стремена да сапоги мужнины цѣлуетъ, да плачетъ, а атаманъ, Богъ ему судья, знай покрикиваетъ: „живѣй, атаманы-молодцы, живѣй въ походъ снаряжайтесь“...

„Ударили въ колокола — выступать, значитъ, рявкнули бабы да ребятишки, не вытерпѣлъ Дроновъ, сошелъ съ коня, да такъ и повалился въ землю передъ всею станицею да передъ стариками:

— Не губите, родимые! ослобоните отъ очереди на годъ, двѣ очереди отслужу разомъ, только дайте годъ пожить въ станицѣ.

— Труситъ Дроновъ, прошипѣлъ атаманишка.

Вспылилъ Дроновъ.

— Дроновъ не трусъ, говоритъ: въ Дроновѣ сидѣли пули бусурманскія, на Дроновѣ рубцы отъ ранъ еще не зажили, а ты своимъ жирнымъ тѣломъ въ камышахъ комаровъ кормилъ, комарамъ служилъ.

нымъ типомъ между которыми является извѣстная „Василиса Мелентьева“, атаманъ разбойниковъ, а потомъ жена царя Ивана Грознаго.

А Груня все молчитъ да трясется какъ осиновый листъ.

— Дадимъ льготу Дронову, говорятъ старики, онъ казакъ хорошій.

— Не дамъ ему льготы, говорилъ атаманъ, начальство не велитъ.

Вскочилъ Дроновъ на конь, глянулъ на Груню, перекрестился—только его и видѣли...

А Груня такъ и опустилась на-земь.

— Что, говорю, Грунюшка?

— Тошно мнѣ, говоритъ.

— Пойдемъ домой, болѣзная.

„Приподняла ее и повела ко двору; съ тѣхъ поръ стала моя Груня сама не своя, такъ и загубила свою душеньку чистую.“

Въ жизни Вершиловой начался тяжкій переломъ. Сосредоточенная, нѣсколько дикая по природѣ, она еще болѣе стала удаляться людей и вся отдалась своей тоскѣ, своему нерасхлебному горю. А тутъ, по вечерамъ, съ улицы доносятся тоскливыя пѣсни, въ которыхъ казачки оплакиваютъ свою разлуку съ милыми и надрывается „несутерпчивое, загорлашливое“ сердце дѣвушки отъ этихъ пѣсенъ, въ которыхъ каждое слово рѣжетъ и холодитъ и давитъ душу—

Да гдѣ-жъ тому статься,
Чтобъ съ нами видаться?
Да гдѣ тому сбыться—
Назадъ воротиться?...

И казаки дѣйствительно не возвращались, а Вершилова все болѣе и болѣе тосковала. Прежде богомольная, она еще съ большей силой предалась молитвѣ; но только не могла видѣть атамана.

Такъ прошло болѣе мѣсяца. Со сборной станицы воротились нѣкоторые казаки и казачки, которыя провожали въ походъ своихъ станичниковъ. Всѣмъ привезли по поклону. Къ инымъ пришли письма, а въ иныхъ письмахъ уже была „прописана строка черная,“ по казацкому выраженью. Это значило, что письма извѣщали о смерти того или другаго казака.

Привезли поклонъ и Грунѣ отъ Дронова.

— Земно кланяется тебѣ, матушка, и тебѣ, Грунюшка... Велитъ ждать черезъ три года.

— А здоровъ онъ, соколъ ясный? спрашиваетъ старуха-мать.

— Да кажись не хвораетъ, только невеселъ: чуетъ, видно, сердце его, что не видать ему родимой колокольни.

— А изъ сборной станицы еще не выходили? спрашиваетъ Груня, а сама, такъ и слышно, слезами захлебывается, только не изъ глазъ льются эти слезы, а свинцомъ горячимъ на душу падаютъ.

— Нѣту, болѣзочка, говорятъ, не выходили, смотры да ученья идутъ.

На другое утро, говорила Власьевна, пришла ко мнѣ Груня, а я и спрашиваю.

— Что, Грунюшка, какъ тебѣ можется?

— Не можется мнѣ, Танюшка, тяжко мнѣ.

— Помолись Богу, говорю.

— Молилась, говоритъ, не отводитъ Богъ отъ души горя моего тяжкаго.

— Не убивайся, говорю, соколушка моя: терни, какъ я терплю, и мой соколъ ясный за тридевять земель улетѣлъ, а я жду его.

— Я не такая, говоритъ, я окаянная... Я пойду его на Кубань искать.

Сколько я ни уговаривала ее, такъ и осталась на своемъ: „пойду хоть на край свѣта, а найду его... Не найду, все равно пропадать.“

Подумала, подумала я, да и порѣшила идти съ нею до сборной станицы, до Усть-Медвѣдицы: тамъ, въ монастырѣ, думаю, вмѣстѣ Богу помолимся: можетъ и отпадетъ отъ сердца Груни змѣя лютая, тоска черная.

Пошли мы съ ней, а съ нами пошли и старушки иныя на богомолье. Съ Груней мы были ровесницы, дружно жили, такъ и горе и радость дѣлили пополамъ. Только радостей-то Груниныхъ не пришлось мнѣ дѣлить, а слезы глотали вмѣстѣ.

И словно что попритчилось Грунѣ съ того самаго времени... Идемъ это мы большой станичной дорогой, далеко ушли отъ Заполянъ, идемъ тихонько, а Груня все молчитъ, все думаетъ, да вдругъ и спроситъ:

— А что, Таня, наши станичники ѣхали по этой дорогѣ?

— Ѣхали, говорю.

— А не затерлись слѣды его лошади?

— Какъ не затереться—давно затерлись.

И опять молчитъ, опять думаетъ.

— А видѣлъ онъ нонѣ эту тучку, Таня, что надъ нами идетъ?

— Можетъ и видѣлъ, говорю.

— А солнушко это видѣло его?

— Видѣло.

И опять молчитъ...

Чрезъ сколько тамъ дней дошли мы до Усть-Медвѣдицы.

Только не застали ужъ своихъ станичниковъ, вышли, и слѣдъ простылъ... Услыхала это Груня, ничего не сказала, точно каменная стала. Я и говорю ей:

— Пойдемъ же, Грунюшка, въ монастырь, Богу помолимся.

Она ничего, молчитъ... Взяла я и за руку, словно малое дитя, и повела.

А въ монастырѣ тамъ есть Христосъ — въ тюрьмѣ сидитъ. Образъ не образъ это, а сидитъ Христосъ, словно живой какъ есть человѣкъ, и на головѣ у него, у батюшки, терніе колючее, и кровь течетъ по его личику, и такой худой, худой, да скорбный...

Какъ увидѣла Груня Христа-то заключеннаго, и стала около него какъ вкопанная, не отходитъ, что ни дѣлай ей. И подходитъ это къ ней старица-монашечка, да и говоритъ:

— Али ты, раба божія, Христа, во узахъ заключенна, испужалася?

— Нѣту, матушка, не Христа она во узахъ заключенна испужалася, а есть у ней горе на сердцѣ, такъ отъ того горя ей словно попритчилось, говорятъ наши старушки.

— Такъ молись, говоритъ Грунѣ старица: всякое горе какъ рукой сниметъ.

— Молись, Грунюшка, говорю я ей, а у самой руки, ноги дрожатъ, глядючи на Христа во узахъ заключенна.

— Положи, болѣзная, говоритъ старица, Христу три земныхъ поклона, да отслужи молебенъ Богородицѣ, заступницѣ всѣхъ скорбящихъ, это тоже помогаетъ...

Такъ нѣтъ, ничто не помогло!.. Видно, ужъ такъ ей, горемычной, на роду было написано.

Не успѣли мы выйти изъ монастыря, какъ увидѣли по

дорогѣ казаковъ много. Ѣдутъ это они и поютъ нашу казацкую пѣсню:

Какъ и былъ я малешунекъ, былъ глупешунекъ,
Отецъ-мать любилъ, на рукахъ носилъ,
А теперь-то я сталъ на возрастѣ,
Сталъ конемъ владать, изъ ружья стрѣлять,
Изъ любимой своей изъ винтовочки...

А пѣсню эту любилъ пѣвать онъ, Грунинъ-то женихъ Дроновъ... Какъ услыхала она эту пѣсню, какъ ударится бѣжать за казаками—насилу я ее догнала.

А въ ту-жъ ночь Груня пропала — словно въ воду канула....

Какъ оказалось впослѣдствіи, Аграфена дѣйствительно рѣшилась пробраться на Кубань и, во что бы то ни стало, найти своего жениха. Изъ разсказа Власьевны видно, какъ много вынесла эта бѣдная дѣвушка, прежде чѣмъ дошла до того озлобленія, съ которымъ она дѣйствовала въ послѣдующіе недолгіе годы своего существованія. Ей, какъ и разсказчицѣ, Кубань представлялась какою-то таинственною, баснословною страною, которая, какъ сказочный Буянъ-островъ, стоитъ далеко-далеко, за синимъ моремъ. Чтобъ попасть на Кубань, нужно было пройти черезъ страну бусурманскую, мимо земли Песьихъ-Головъ... Тамъ стоятъ снѣговыя горы, а на этихъ горахъ сидятъ черкесы, мимо которыхъ ни звѣрь не прорыскиваетъ, ни птица не пролетываетъ.

Всѣ эти ужасы не остановили Аграфену и едва-ли это не единственный примѣръ, что семнадцатилѣтняя дѣвушка русская, хотя бы даже казачка, рѣшилась пуститься въ такой невѣдомый, сказочный міръ изъ верховыхъ медвѣдиц-

кихъ станицѣ, которыя сами казаки называютъ донскою Камчаткою. Притомъ же она шла безъ всякаго письменнаго вида, безъ гроша денегъ въ карманѣ. На это нужно было слишкомъ много чувства, слишкомъ много воли и, какъ оказывается, эта-то воля и сидитъ въ такихъ тихихъ, робкихъ, задумчивыхъ, сосредоточенныхъ личностяхъ, какова была Аграфена: нравственные богатыри прячутся большею частью подъ скромною, повидимому, робкою наружностью, тогда какъ, съ другой стороны, развязная общительность всегда прикрываетъ собой пустоту содержанія.

Само собою разумѣется, что молодая казачка не знала дороги на Кубань, а разспрашивать объ этой дорогѣ она считала не безопаснымъ. Сторона, гдѣ была эта таинственная Кубань, представлялась ей тамъ, гдѣ помѣщало ее чисто-народное воззрѣніе. Съ самаго дѣтства она помнила, откуда бывало мать ожидала ея покойнаго отца.

— Скоро онъ, родная, пріѣдетъ? спрашивала, бывало, маленькая Груня свою мать.

— Когда листъ въ саду на деревьяхъ пожелтѣетъ, да птицы вонъ туда полетятъ на зиму.

— А откель, родная, намъ ждать его?

— Да откель ласточка весной прилетаетъ, дитятко.

Это значило, что казаки должны были воротиться осенью къ своимъ домамъ, а казачки ждали ихъ съ той стороны, откуда весной налетали къ нимъ птицы, на зиму перебиравшіяся въ теплые края.

Тамъ-то, гдѣ зимовали птицы, думала Груня найти своего жениха—слишкомъ неопредѣленныя географическія и топографическія указанія!

Такимъ образомъ для своей станицы Груня Вершилова

пропала безъ вѣсти. Долго плакала объ ней мать, долго молилась, долго ждала, а Груни все нѣтъ, и вѣстей объ ней никто не приноситъ. Всѣ думали, что въ Усть-Медвѣдицѣ, въ ночь исчезновенія, она бросилась въ Донъ. Объ ней жалѣла вся станица, потому что не было существа симпатичнѣе и любимѣе этой дѣвушки. Вотъ прошло лѣто, прошла осень, прошла и холодная зима, засыпавшая снѣгомъ станицу и ея скромныя, неживописныя окрестности, къ зимѣ птицы улетали въ теплые края, на Кубань; съ весной онѣ опять начали тянуться съ юга—а Груни все нѣтъ.

Наконецъ однажды, съ партіей арестантовъ, пересылавшихся въ Сибирь, пригнали въ станицу молодую дѣвушку и подвезли прямо къ станичной избѣ.

— Это что за краля съ вами? спросилъ станичный атаманъ конвойныхъ казаковъ.

— Бродяга, ваше благородіе.

Атаманъ не узналъ Груни—такъ она измѣнилась.

— Откель ты родомъ? спросилъ онъ.

— Откель и ты...

— Что ты брешешь, паскуда?

— Не я брешу, а брешетъ станичный песъ да станичный атаманъ.

Атамана это озадачило. Онъ ударилъ ее. Дѣвушка не трогалась съ мѣста.

— Говори, кто ты?

— Твоя смерть, отвѣчала арестантка.

— Господи Іисусе Христе, помилуй насъ!

Атамана бросило въ холодъ отъ этихъ словъ бродяги.

— Заковать ее, да посадить въ арестантскую, закричалъ онъ.

— Да, кажись, это Груня Вершилова, замѣтилъ станичный писарь.

— А! узнали, воронье проклятое!

— Такъ это ты!

— Была когда-то я, а теперь не я...

Это уже была дѣйствительно не прежняя Груня. Горе, скитанье по чужой сторонѣ, голодъ, сидѣнье въ разныхъ острогахъ въ качествѣ бродяги—озлобили ее. Это была сильная натура. Несчастье задавило въ ней добрые инстинкты, и въ ней проснулись инстинкты злые, разрушительные. Видъ родной станицы, грубое обращенье съ ней станичнаго атамана шевельнули въ ней, безъ сомнѣнія, такія чувства, затрогивать которыя было не безопасно. Въ ней, конечно, разомъ проснулись и воспоминанія прежняго, а эти воспоминанія влагали въ уста станичнаго атамана такія слова: „Труситъ Дроновъ... Не дадимъ Дронову льготы“... Въ глазахъ Аграфены виновникомъ всѣхъ ея несчастій былъ станичный атаманъ, и на него-то обратились главнымъ образомъ ея мстительныя силы.

По соблюденіи всѣхъ законныхъ формальностей, Аграфену возвратили къ матери. Когда ее выпускали изъ станичной избы изъ-подъ караула, атаманъ имѣлъ неосторожность вновь оскорбить ее.

— Прощай, Грунюшка, сказалъ онъ: не поминай лихомъ.

Аграфена молчала.

— Петръ Дроновъ тебѣ кланяется, ѣдетъ къ намъ на зиму съ молодой женой.

— Ладно, отвѣчала Аграфена: женю и я тебя отъ живой жены—будешь помнить меня сваху, змѣя подколодная.

Аграфена опять поселилась у матери. Только прежняя,

лихая, счастливая жизнь не возвращалась къ нимъ больше.

— Увидала и я Груню (говорила мнѣ Власьевна), только ужъ лучше бы и не видать ее; не та ужъ была эта Груня, словно чужая она стала...

— А мы, Грунюшка, говорю, ужъ и поминали тебя, за упокой твоей душеньки молились.

— Спасибо, Таня, говоритъ: моя душенька и то никакъ успокоилась.

— А гдѣ была ты?

— Далеко была я, говоритъ: была тамъ, куда воронъ костей не заноситъ.

— А его видѣла?

— Видѣла... Нашла я его въ Черкаскомъ городу... Узналъ онъ меня, голубчикъ... А что дальше было, не спрашивай, говоритъ, меня, не буди змѣю, что спитъ подъ сердцемъ.

— Что же ты, милая, говорю, не пошла съ нимъ на Кубань? Не бралъ?

— Охъ, кабы не бралъ, а то бралъ, на рукахъ бы, говоритъ, донесъ меня до самой Кубани, да вотъ нашъ-то лиходѣй, станичный атаманъ прислалъ туда грамоту, что бѣжала-де дѣвка безъ виду, такъ просилъ прислать по этапу, коли найдутъ.

— Такъ тебя и взяли? говорю.

— Взяли, повезли, а я съ дороги бѣжала... Тамъ меня опять поймали, въ острогъ посадили... Я изъ острогу бѣжала—опять поймали, опять посадили... Повезли оттель—я бѣжала въ третій разъ... Эхъ, да что говорить-то, душу надрывать: побывала я во всѣхъ острогахъ, а ужъ его не видала... Ну, да добро! лиходѣй-то нашъ здѣсь.

Считая такимъ образомъ станичнаго атамана главнымъ и единственнымъ виновникомъ всѣхъ своихъ несчастій, Аграфена давно обдумывала планъ мести, и планъ этотъ созрѣлъ въ ея головѣ еще дорогой, когда ее вели вмѣстѣ съ другими пересыльными арестантами въ Заполянскую станицу. Острожная жизнь, постоянное обращеніе съ арестантами и жажда, во чтобы то ни стало добиться своего, посвятили ее во всѣ тайны острожной политики. Притомъ же пересыльные арестанты, вмѣстѣ съ которыми ее гнали на родину, оказались какъ хорошими совѣтниками, такъ и помощниками для приведенія къ исполненію задуманнаго ею плана мести. Узнавъ, что ихъ путь лежитъ черезъ Заполянскую станицу, гдѣ Аграфена должна была получить свободу, арестанты уговорили ее помочь ихъ побѣгу съ условіемъ что они будутъ готовы идти за нее въ огонь и въ воду.

Аграфена согласилась на ихъ предложеніе. На другой же день, по своемъ освобожденіи, она явилась въ станичную избу вечеромъ и, какъ бы въ благодарность за ласковое съ нею обращеніе казаковъ, караулившихъ ее въ станичной избѣ, она предложила имъ угощеніе. Послали за водкой. Приведенные съ нею въ Заполяны арестанты еще не были отправлены далѣе, потому что у нѣкоторыхъ изъ нихъ, во время пути, сильно разболѣлись ноги, потертыя кандалами, и они не могли идти дальше.

Аграфена скоро споила караульныхъ казаковъ, которыхъ было всего только двое. Раньше полночи казаки уснули мертвецкимъ сномъ и арестанты могли свободно выйти изъ караулки при станичной избѣ. Аграфена сама выпила для храбрости.

Арестантовъ было семь человѣкъ. Не медля ни минуты,

Вершилова повела ихъ прямо къ дому станичнаго атамана, который стоялъ недалеко отъ станичной избы и расположеніе котораго было очень хорошо знакомо Вершиловой. При входѣ на дворъ атамана, на арестантовъ бросилась было собака, но тотчасъ же была задушена сильными руками этихъ разбойниковъ. Войдя въ курень, который былъ, вслѣдствіе патріархальной простоты, не запертъ, разбойники наткнулись на вѣстоваго казака, которыми большею частью бываютъ малолѣтки, а когда тотъ закричалъ было, Вершилова приказала его связать, и несчастный малолѣтокъ, съ завязаннымъ ртомъ, брошенъ былъ подъ лавку.

Шумъ разбудилъ атамана.

— Кто тамъ? спрашивалъ онъ.

— Твоя смерть пришла за тобой, отвѣчала Вершилова.

— Это ты, Груня?

— Не я, а Петръ Дроновъ пришелъ звать тебя на свадьбу.

По знаку Вершиловой, арестанты бросились на атамана и лишили его возможности защищаться и кричать. Вершилова сняла съ себя кушакъ, которымъ былъ подпоясанъ ея кубилекъ, и, показывая его атаману, говорила:

— Вотъ твоя невѣста—я къ тебѣ сватовъ привела.

Устроивъ изъ кушака петлю, она собственноручно надѣла ее на шею атамана.

— Вѣшай его, собаку.

Въ потолкѣ было вбито кольце для вѣшанья колыбели— и въ это кольце продѣли другой конецъ кушака. На этомъ кольцѣ и повѣшенъ былъ станичный атаманъ.

Одинъ изъ участвовавшихъ въ этомъ убійствѣ разбойниковъ, пойманный впослѣдствіи въ сосѣдней станицѣ, пока-

зывалъ на допросѣ, что Вершилова сама тянула за кушакъ, на которомъ висѣлъ атаманъ, и приговаривала изъ извѣстной казацкой пѣсни:

Милый, потяни, душа-радость, потяни!
Милый потянулъ, старый ноги протянулъ:
Руками мотаетъ—будто чешется,
Зубы оскалилъ—будто дражнится,
Слюни распустилъ - будто бѣсится.

По совершеніи убійства начался грабежъ въ атаманскомъ домѣ. Деньги и все цѣнное было взято, кандалы на арестантахъ разбиты, чтобъ звяканьемъ своимъ не разбудили кого, когда разбойники станутъ проходить по станицѣ. Пограблена была и одежда, какая нашлась въ домѣ. Малолѣтка-вѣстоваго Вершилова приказала раздѣть до-нага, чтобъ въ его казацкое платье нарядиться самой. Она дѣйствовала, по видимому, подъ вліяніемъ какого-то опьяненія. Сами разбойники, по сознанію одного пойманнаго изъ нихъ, чувствовали какой-то неопредѣленный страхъ, глядя, какъ эта молодая дѣвушка съ такимъ присутствіемъ духа распоряжалась этимъ страшнымъ убійствомъ и при всемъ томъ у нея доставало духу шутить. Когда въ атаманскомъ куренѣ все было покончено, она, проходя мимо связаннаго вѣстоваго, спрашивала его:

— Узнаешь меня, Лекса?

Вѣстовой молчалъ, какъ потому, что лежалъ съ завязаннымъ ртомъ, такъ и потому, что, полумертвый отъ страху, едва-ли могъ произнести хоть одно слово.

— Кланяйся старикамъ и всей Заполянской станицѣ отъ Груни Вершиловой, продолжала она, скажи старикамъ

отъ меня спасибо за то, что Петру Дронову льготы просили. Скажи, чтобъ выбирали другаго станичнаго атамана— этотъ-де въ люлькѣ качается.

Такъ какъ семейство атамана находилось на хуторѣ и атаманъ жилъ въ станицѣ съ однимъ вѣстовымъ, то разбойники могли свободно распоряжаться въ его домѣ. Уходя со двора, они увели съ собой и хозяйскихъ лошадей, предварительно осѣдлавъ ихъ. Они захватили и вооруженіе, какое находилось у атамана и при вѣстовомъ казакѣ. Выбравшись за станицу, они поймали еще нѣсколько лошадей, пасшихся на лугу, и тотчасъ скрылись въ сосѣднемъ лѣсу на берету рѣки Медвѣдицы.

Въ лѣсу разбойники сдѣлали роздыхъ, „подуванили“ между собой добычу, переодѣлись, кто могъ, въ пограбленное казацкое платье, осѣдлали лошадей, у кого нашлось сѣдло, и не медля собрались въ путь.

Дѣвушка также преобразилась въ казака. Она надѣла на себя снятое съ вѣстоваго малолѣтка платье—чекмень и широкіе шаровары съ краснымъ лампасомъ; прицѣпила къ боку шашку, надѣла на себя лядунку и заткнула за поясъ пистолетъ.

Разбойники не могли не удивляться, глядя на эту дѣвушку.

— Ай да Груня! исполать тебѣ, красная дѣвица! кричалъ одинъ разбойникъ.

— Красная дѣвица—лучше яснаго сокола: и намъ волю дала, и себя унесла, говорили другіе.

— Чѣмъ же мы тебя будемъ жаловать, красавица?

— По гробъ живота мы тебя не забудемъ.

— Веди насъ — мы съ тобой и на черта и на ангела пойдемъ!

— Такъ будешь же ты нашимъ атаманомъ-полковникомъ.

Груня, какъ почти всѣ казачки, умѣла ѣздить верхомъ. Въ отсутствіе отца, во время лѣтнихъ работъ, она помогала матери и нерѣдко отгоняла въ табунъ лошадей, сидя верхомъ на своемъ савраскѣ. Она умѣла хорошо плавать и нѣсколько разъ сряду могла переплыть Медвѣдицу, не чувствуя утомленія. Развиваясь на дикой свободѣ, бѣгая по лѣсу, она умѣла ловко лазить по деревьямъ, особенно когда нужно было набрать тополевыхъ сережокъ или достать гнѣздо иволги, ремеза, сизоворонки.

Для Груни такимъ образомъ не рѣдкость была верховая ѣзда. Когда разбойники были готовы, молодой атаманъ-дѣвушка скомандовалъ: „на конь;“ разбойники сѣли на коней; умѣстилась на казацкомъ гнѣздѣ и Груня.

Къ утру разбойники были далеко отъ станицы. Передъ ними открылась степь, та степь, по которой въ прошломъ вѣкѣ расхаживали партіи понизовой вольницы, начиная отъ партій Разина, Заметаева, Шагалы, Брагина и кончая шайкою Беркута, который разстрѣливалъ повѣшеннаго на крыльяхъ вѣтреной мельницы одного станичнаго атамана. Степь эта довольно ровная, плоская возвышенность, съ одной стороны упирающаяся въ нагорный поволжскій берегъ, съ другой наклоняющаяся къ Медвѣдицѣ и донскому бассейну и перерѣзываемая небольшими рѣчками, изъ которыхъ самая значительная Иловла, впадающая въ Донъ ниже Медвѣдицы. Изъ всѣхъ историческихъ данныхъ, какъ прошлаго, такъ и XVII вѣка, видно, что мѣстность эта была въ осо-

бенности любима разбойниками, чему помогали самыя условія мѣстности.

При впаденіи Иловлы въ Донъ эта послѣдняя рѣка такъ близко подходитъ къ Волгѣ, что перешеекъ, отдѣляющій эти двѣ большія рѣки русскаго царства, имѣетъ ширины не болѣе 60 верстъ. Такъ какъ и Волга, и Донъ съ давнихъ временъ представляли широкое поле для разгула всякой вольницы, голытьбы и безпокойнаго казачества, то этимъ рыскающимъ людямъ всегда являлась необходимость перебираться съ одной рѣки въ другую. А какъ вольница большею частью совершала свои походы на лодкахъ, то и необходимо было иногда перетаскивать лодки съ Волги на Донъ и обратно. Но тащитъ лодки сухимъ путемъ черезъ волжско-донской перешеекъ, гдѣ нынѣ проведена волжско-донская желѣзная дорога, на разстояніи 60 верстъ, было, само собою разумѣется, неудобно и положительно невозможно. Тогда рѣчка Иловла бралась какъ бы за соединительный каналъ и по ней вводили изъ Дона лодки къ верховьямъ Иловлы, а тамъ уже оставалось нѣсколько верстъ, чтобъ переволочь лодки сухопутно въ рѣчку Камышинку, впадающую въ Волгу у самаго города Камышина.

Такимъ способомъ перетаскивалъ съ Дона въ Волгу свои лодки Ермакъ, покоритель Сибири. Этимъ же путемъ переводилъ съ Дона на Волгу свою голытьбу Стенька Разинъ. Рѣчки эти — Иловка и Камышинка теперь обмелѣли, потому что уничтожены лѣса, росшіе въ этой мѣстности и удерживавшіе влагу, и по Иловлѣ, какъ и по Камышинкѣ, никакимъ лодкамъ ѣздить невозможно.

Память о переѣздахъ разбойниковъ по этимъ рѣчкамъ

осталась только въ народныхъ пѣсняхъ, изъ которыхъ въ одной говорится:

Что пониже города Саратова,
А повыше было города Царицына
Протекала, пролегала мать-Камышинка-рѣка,
Какъ съ собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга,
Она устьицемъ впадала въ Волгу-матушку-рѣку.
Что по той-ли быстринѣ, по Камышинкѣ-рѣкѣ,
Выплывали, выгребали пятьдесятъ легкихъ струговъ
Воровскихъ казаковъ.

Въ другой поется:

Какъ плывутъ тутъ, выплываютъ два нарядные стружка,
Хорошо были стружечки изукрашены,
Они копьями, знаменами будто лѣсомъ поросли;
На стружкахъ сидятъ гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, все донскіе казаки,
Да еще-ли гребенскіе, запорожскіе и т. д.

Для соединенія Волги съ Дономъ Петръ Великій думалъ связать каналомъ съ помощью шлюзовъ Камышинку съ Иловлою; но дѣло это не удалось, какъ извѣстно изъ документовъ того времени. По народному же преданію, строитель этихъ работъ (англичанинъ Перри), поморивъ цѣлыя тысячи солдатъ тяжкою работою и голодомъ, видя неуспѣшность своихъ работъ, велѣлъ запречь тройку коней и съ тройкой бросился съ крутаго берега въ Волгу.

Такимъ образомъ, вслѣдствіе географическихъ и историческихъ условій, Иловла и вся волжско-донская плоская возвышенность, по которой кое-гдѣ разсѣяны одинокіе ху-

тора, удобные притоны для бѣглыхъ, была особенно любима всякаго рода вольницею.

Туда-то направилась и небольшая шайка, предводительствуемая атаманомъ-дѣвушкой.

Опьяненіе послѣ перваго убійства не прошло въ этой молодой преступницѣ. Она какъ бы вошла во вкусъ и искала новыхъ сильныхъ ощущеній. Разъ упавшая такъ низко, она не могла подняться, а катилась все ниже по наклонной плоскости, какъ обыкновенно бываетъ съ людьми, разъ сошедшими со своей дороги или разъ поддавшимися какой либо слабости, пороку, увлеченію. Одного убійства было для нея недовольно и, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, она искала новыхъ жертвъ. Это видно изъ того, что она рѣшилась во что бы то ни стало придушить всю семью атамана, которая жила на хуторѣ.

Удачное бѣгство изъ подъ караула, удача въ грабежѣ, чувство свободы, охватившее разбойниковъ при выѣздѣ въ открытую степь, все это должно было располагать ихъ къ веселости.

Приближаясь къ хутору, къ которому вела ихъ атаманъ-дѣвушка, разбойники затянули приличную случаю пѣсню:

Вылетали не двѣ стадушки, черныя галушки—
Малолѣточки съ Дону въ походъ пошли...
Впереди нашей армеюшки мятель перепархивала,
Молодой нашъ полковничекъ поразъѣзживалъ...

— Эхъ, всѣмъ бы, кажись, взялъ нашъ полковничекъ, и удалью, и посадкой молодецкою, да только усъ у него долго не пробивается, да коса черная изъ подъ шапочки виднѣется, шутятъ разбойники.

— Знаю, знаю я сама, атаманы-молодцы, что надо бы горю помочь, да первому-то горю не поможешь—такъ безусымъ молодцомъ и останусь, а косу-то мою дѣвичью не для кого беречь—сама отрѣжу.

Съ пѣснями и съ шутками, среди бѣла дня, шайка въѣхала на хуторъ. Въ степи разбойники никого небоялись. Они знали, что казачьи хутора не богаты народомъ: живутъ тамъ больше бабы и дѣти, а гдѣ у кого есть батракъ другой, такъ вооруженная шайка съ двадцатью батраками справится.

Жена атамана и трое дѣтей находились въ это время на огородѣ. Батракъ и работница были въ куренѣ и занимались по хозяйству.

— Здравствуй, матушка-атаманша, сказала Аграфена, слѣзая съ коня—принимай гостей.

— Милости просимъ, родимые: откелѣ вы?

— Отъ мужа поклонъ привезли.

— Здоровъ ли онъ? все ли благополучно въ станицѣ?

— Нѣтъ, матка, не все благополучно, отвѣчалъ одинъ изъ разбойниковъ—мыши кошекъ стали ѣсть, воробьи коршуновъ ловятъ, на станичной колокольнѣ кобыла повѣсилась, а твоя свинья атаманомъ обродилась—вотъ бѣды какія настали въ станицѣ!

— Что ты, родимый, видано ли это!

— Какъ не видано, коли свинья твоего мужа грудью кормитъ, въ зыбкѣ качаетъ...

Атаманша догадалась, что ее дурачатъ, и испугалась: она увидѣла, что одинъ изъ пріѣхавшихъ, самый младшій по наружности, схватилъ ея четырехлѣтняго сына и, не смотря

на крикъ ребенка, тащилъ къ колодцу. Не успѣла она вскрикнуть, какъ ребенокъ полетѣлъ въ колодецъ.

— Пропадай ты, змѣево отродье! вскричала Вершилова, бросая ребенка.

Отчаянная мать бросилась къ Вершиловой—но было уже поздно: ребенокъ только вскрикнулъ и дѣтскій голосъ замеръ, глухо отдаваясь въ глубокомъ колодцѣ. Черезъ секунду или двѣ послышался глухой всплескъ воды—и снова все стихло.

— Что ты сдѣлалъ, окаянный! кричала мать, бросаясь къ Вершиловой.

Но обезумѣвшая Вершилова расправлялась уже съ другой жертвой. Она накинулась на десятилѣтнюю дочь атамана, тоже находившуюся въ огородѣ, повалила ее на землю и душила руками за горло. Мать бросилась спасать свою дочь. Завязалась борьба и въ этой борьбѣ едва-ли осталась бы побѣдительницей молодая разбойница, еслибъ ея подчиненные не подоспѣли къ ней на помощь.

— Стрѣляй въ нее, въ толстую! она задушитъ нашу красавицу.

— Не стрѣляй! тащи ее за косы...

И, схвативъ за косы тучную жену атамана, разбойники потащили разомъ всѣхъ этихъ трехъ женщинъ, потому что онѣ крѣпко держались другъ за друга: руки Вершиловой закоченѣли вокругъ шеи атаманской дочери, а руки атаманши впились въ тѣло Вершиловой.

Одному изъ разбойниковъ пришла въ голову ужасная, звѣрская мысль...

— Раздеремъ ее на двое!

— Ладно...

— Бери за правую! тащи за лѣвую! натягивай!

И разбойники всѣми силами начали раздирать несчастную женщину. Но та не выпускала изъ рукъ своей жертвы. Ужасная борьба продолжалась впрочемъ недолго. Сила четырехъ здоровыхъ мужчинъ сдѣлала свое дѣло...

— Шабашъ!. разчахнули...

— Разодрана.

— А! небось, выпустила нашу красавицу.

Несчастная женщина была, дѣйствительно, разодрана. Но и Вершилова лежала безъ памяти—она лишилась чувствъ...

Разбойники недолго пробыли на атаманскомъ хуторѣ. Они успѣли сдѣлать все, что для нихъ нужно было. Атаманскія дѣти убиты. Жена атамана разодрана. Меньшой сынъ ея, двухлѣтній ребенокъ, взоткнутъ на острую огородину. Хуторъ ограбленъ—все цѣнное и удобопереносимое взято. Только батракъ и работница были пощажены.

Тутъ же Вершилова разсталась съ своей косой: никто уже не могъ теперь заподозрѣть въ ней дѣвушку.

Но послѣ этихъ двухъ страшныхъ преступленій на нее опять напала тоска. Все, къ чему она такъ жадно рвалась въ послѣднее время, исполнено. Чувство мести удовлетворено—и опять впереди она не видѣла ничего кромѣ безотрадной жизни. Дорога на родину была для нея заперта. Цѣлей въ жизни не оставалось никакихъ.

Такъ по крайней мѣрѣ я объясняю то нравственное состояніе, которое разсказчица обрисовала словами: „тосковать стала.“

Дѣйствительно, до совершенія убійства ее могло поддерживать чувство мести, злоба. У нея все-таки была цѣль въ жизни. Теперь она опять возвращалась къ тому нравственному состоянію, которое толкало ее идти на Кубань, въ

страшныя, невѣдомыя страны, лишь бы только найти то, что было для нея дороже всего на свѣтѣ. Она тосковала днемъ, тосковала ночью, тосковала безъисходною тоской. Къ старому, незабываемому горю, къ воспоминаніямъ горькимъ прибавились страшныя воспоминанія совершенныхъ преступленій. По ночамъ къ ней являлся задавленный атаманъ, синій, страшный, съ высунутымъ языкомъ—и все зоветъ ее на станичный сборъ, на проводы Петра Дронова. И днемъ, и ночью у нея какъ будто гдѣ-то тамъ въ мозгу звучали и слова и напѣвъ пѣсни—

Руками мотаетъ—будто чешется,
Зубами оскалилъ—будто дражнится,
Слюни распустилъ—будто бѣсится...

А тамъ приходитъ къ ней жена атамана, и все плачется, все приговариваетъ: „отдай мнѣ моихъ дѣтей, отдай!.. Я отдамъ тебѣ Петра Дронова...“ И слышится ей голосъ, дѣтскій, знакомый голосъ, выходящій изъ колодца: „Груня, вынь меня отсюда... Мнѣ холодно...“ А тамъ слышится другой дѣтскій голосъ: „Груня! сними меня съ огородины.... Видишь—птицы мнѣ глаза выклевали... Вѣтромъ мои бѣлыя косточки сушитъ... Сними меня, зарой меня...“ И приходитъ къ ней по ночамъ Петръ Дроновъ, и манитъ ее къ себѣ такъ ласково, такъ любовно, и она не можетъ встать: тяжелые камни навалены ей прямо на сердце.... Налетаютъ черные вороны со всѣхъ сторонъ, берутъ ея косу отрѣзанную и вьютъ изъ нея гнѣздо, и каркаютъ вороны такъ страшно, говорятъ человѣческимъ голосомъ: „гдѣ твоя дѣвичья коса? Зачѣмъ ты отняла ее у Петра Дронова?..“

Но ея желѣзное здоровье все выдержало. Она продолжала путь со своей шайкой.

Желая развлечь свою любимицу, разбойники звали ее на Волгу. Вершилова согласилась—ей было все равно куда ни идти, потому что кромѣ этихъ разбойниковъ у нея никого не оставалось на свѣтѣ. Разбойники любили и берегли ее. Лучшій кусокъ они несли своему „полковничку.“ Въ холодъ они отдавали ей свои бешметы, чтобъ укрыть и согрѣть ее. Своими дѣйствіями они уже располагали сами, но если о чемъ нибудь попроситъ ихъ молодой „полковничекъ,“ они все исполняли безпрекословно. Но ихъ молодой „полковничекъ“ продолжалъ тосковать, потому что мысль пробраться на Кубань не покидала Груню. Она не рѣшалась только сказать объ этомъ своимъ буйнымъ, хотя до нея лично ласковымъ товарищамъ.

Поволжскія похожденія этой шайки, какъ видно, не отличались ничѣмъ особеннымъ, такъ что Вершилова особенно объ нихъ и не разсказывала, тѣмъ болѣе, что эти похожденія только косвенно входили въ исторію ея собственной жизни.

Наступила зима. Надо было подумать о томъ, какъ бы перебиться до весны, чтобъ съ первой зеленью вновь пуститься на промыслы.

— Намъ-то все равно, говорили бродяги—мы на зиму и въ батраки наймемся, да какъ намъ быть съ нашимъ полковникомъ?

— Гдѣ вы, тамъ и я, отвѣчала имъ дѣвушка, а безъ васъ я пропаду.

— Нѣтъ, голубушка, мы твоего добра во-вѣкъ не забудемъ: ты намъ волю дала, черезъ тебя мы свѣтъ увидали,

такъ и мы тебѣ отслужимъ службу вѣрную—каждый волосъ твой беречь будемъ.

— Спасибо вамъ, братцы, дѣлайте, какъ знаете.

Вотъ и межъ разбойниками, родной ты мой, есть добрые люди (замѣтила при этомъ Власьева). Искра-то божья и въ зломъ сердцѣ, какъ въ золѣ уголекъ, теплится: коли есть чему горѣть — искорка не погаснетъ, грѣть будетъ сердце человѣческое, только раскопай ты эту золу, да найди искорку... И зачѣмъ-то люди злые бываютъ, подумаю я грѣшная? Зачѣмъ-то мы другъ друга губимъ да рѣжемъ, когда можно жить въ мирѣ да согласіи? Вотъ хоть бы и Петръ Дроновъ, али Груня моя болѣзная — съ чего имъ бѣда злая приключилась? Не пойди Дроновъ на линію, не погубила бы Груня свою голову распобѣдную. А какъ Дронову нейти на линію? Слышь, надо воевать съ бусурманами... Охъ, ужъ эти мнѣ войны, прости Господи! За что люди рѣжутся? Какъ подумаю я, грѣшное это дѣло—войны, грѣшное, касатикъ мой. Вотъ къ примѣру сказать: убьетъ человѣкъ человѣка—его въ острогъ, а тамъ въ Сибирь. А на войнѣ убьетъ—крестъ за это. Бусурмана-то, слышь, не грѣшно убить. А вотъ у насъ какъ-то одинъ казакъ—Струевъ—некрещенаго калмыка убилъ—такой же бусурманъ—такъ въ Сибирь пошелъ... Нѣтъ, что ни говори, касатикъ, грѣшное это дѣло война: вонъ и моего покойничка убили въ Аршавѣ поляки...

— На чемъ бишь, я, касатикъ, остановилась?

— Да на томъ, какъ Груня собиралась со своими молодцами зимовать.

— Точно, точно... Спасибо вамъ, говоритъ, братцы, дѣлайте, какъ знаете...

Такимъ образомъ для своего зимовья разбойники отыскали

въ степи заброшенную землянку, въ которой можно было устроиться и тепло, и уютно. Землянючка была тѣсная, такъ что въ ней можно было помѣститься троимъ, а потому остальные члены шайки должны были на зиму пристроиться къ мѣстамъ.

Какъ видно изъ архивныхъ дѣлъ прошлаго вѣка, шайки понизовой вольницы, собиравшіяся полнымъ комплектомъ весной, на зиму всегда по большей части расходились. Наша паспортная система всегда представляла возможность бродячему люду найдти пріютъ не тамъ, такъ здѣсь. Иной разъ разбойникъ перебивался всю зиму поденной работой въ какомъ либо городѣ, переходя изъ дома въ домъ, и никто не спрашивалъ у него, по какому виду онъ живетъ. Еще безопаснѣе было пристроиться въ батраки на какомъ нибудь хуторѣ или на казацкомъ хуторѣ. Притомъ же, пристанодержателей было вездѣ мало какъ вольныхъ, такъ и невольныхъ. Къ вольнымъ принадлежали фрамые или вольные [illegible] вольныхъ, участвовавшіе съ нею въ ея [illegible] и имѣвшіе свои дома, а также разнощики, или [illegible] или безпаспортнаго человѣка — [illegible] Къ невольнымъ пристанодержателямъ принадлежали тѣ, которые смотрѣли [illegible] на разнообразныя [illegible] и [illegible] въ [illegible]. За наружныя убѣжища разбойники могли [illegible] мѣста разбойника или убить [illegible], или [illegible] домъ, или [illegible] къ нему [illegible].

Этимъ [illegible] способомъ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] вольницы. [illegible] [illegible] [illegible] Брошъ, Бефутъ и [illegible] Хвилъ, Путчеръ.

Къ этому способу прибѣгли и члены шайки, которою начальствовала странная дѣвушка—героиня нашего очерка.

Бродяги продали своихъ лошадей, а вырученныя деньги припрятали къ веснѣ. Сбрую и вооруженіе они снесли въ землянку и также припрятали тамъ. Пятеро изъ нихъ разбрелись по иловлинскимъ хуторамъ, а одинъ даже пробрался въ медвѣдицкія станицы, гдѣ и былъ впрочемъ пойманъ. Вершилова съ двумя остальными бродягами поселилась въ землянкѣ, гдѣ и провела цѣлую зиму. Провизію добывали сами разбойники, иногда отправляясь за хлѣбомъ въ сосѣдднія поселенія, а мясную пищу добывали стрѣльбой: у нихъ такимъ образомъ почти каждый день были жареные на угольяхъ зайцы, тетерева и другая птица. На охоту нерѣдко ходила съ ними и Груня, которая умѣла владѣть ружьемъ, какъ любой казацкій стрѣлокъ. Въ землянкѣ устроенъ былъ очагъ, на которомъ бродяги и готовили себѣ пищу, разводя огонь только по ночамъ изъ предосторожности, чтобы дымъ, подымающійся отъ землянки, не привлекъ вниманія сосѣднихъ обывателей. Длинные зимніе вечера и скучные однообразные дни бродяги коротали то за разсказами о разныхъ приключеніяхъ изъ жизни каждаго разбойника, то за сказками...

Но, при всемъ томъ, Вершилова продолжала тосковать, хотя страшные сны все рѣже и рѣже ее безпокоили и страшные призраки убитыхъ рѣже навѣщали ее. Иногда, при вьюгахъ и метеляхъ, когда землянку заносило сугробами снѣгу, она не выходила изъ своего логовища по цѣлымъ днямъ и тогда, въ уединеніи, она начинала тосковать еще болѣе, и чѣмъ ближе время подходило къ веснѣ, тѣмъ неотвязчивѣе преслѣдовала ее мысль—пробраться на Кубань.

— Что ты, болѣзочка, растосковалась опять? спрашивають бывало бродяги—аль нездоровится?

— Нѣту, братцы.

— Али сторону родимую повидать пожелала.

— Э! Кого мнѣ тамъ видать-то?.. Мать, поди, давно въ землѣ.

— Ну, потерпи до весны—веселѣй будетъ.

И она сама ждала весны и едва раннія птицы потянулись съ далекаго юга, она уже окончательно не въ силахъ была выносить своей тюремной жизни. Птицы летѣли оттуда, гдѣ она создала свой рай и свою муку, гдѣ, по ея представленіямъ, мыкалъ горе Петръ Дроновъ. Въ далекомъ синемъ небѣ, въ морозномъ воздухѣ, летятъ съ юга гуси, и ей кажется, что именно съ того мѣста летятъ они, гдѣ Дроновъ поилъ свою лошадь. Каждую ночь онъ опять сталъ приходитъ къ ней, и сны эти также мучили ее, какъ тѣ страшные призраки, отъ которыхъ она избавилась.

Эта тоска доводила ее до того, что она начала пить, лишь бы забыться чѣмъ нибудь, лишь бы смутные сны не тянули ее туда, куда пробраться было невозможно.

Къ веснѣ начали навѣщать ихъ остальные члены шайки, уговариваясь, куда направить имъ свой путь, куда вновь нести свои буйныя головы. Иные предлагали пробраться „въ Русь,“ но большинство было того мнѣнія, что на Руси въ незнакомыхъ мѣстахъ было бы не безопасно дѣйствовать, особенно когда у нихъ на рукахъ женщина. Иные думали пройти на Донъ, но опять это мнѣніе не всѣми было поддержано на томъ основаніи, что тамъ, безъ сомнѣнія, повсюду разосланы ихъ примѣты и сыскныя начальства

приняли самыя энергическія мѣры, чтобы отыскать убійцъ станичнаго атамана.

— Спросимъ, говорятъ бродаги, нашего полковничка: куда прикажешь путь держать?

— А куда вы, туда и я за вами, братцы.

— Домой хочешь?

— Мало ли что хочется, а не все можется. Въ Русь нельзя, на Донъ нельзя — такъ не пройти ли въ чужія земли?

— А кто въ чужія земли дорогу знаетъ?

— Я знаю, отозваля одинъ глуповатый казакъ: я въ Аршавѣ бывалъ, я и въ Питерѣ караулы держивалъ—такъ мнѣ ли не знать, гдѣ эти чужія земли.

— А на Кубани бывалъ? спросила Груня.

— Бывалъ, говоритъ казакъ.

— Такъ не пойти-ли намъ на Кубань, говоритъ Груня, тамъ, сказываютъ, житье вольное. Ужъ коли птица туда на зиму летитъ, такъ стало тамъ хорошо.

— А на кубань, такъ на Кубань!

Кто въ Кубани не бывалъ,
Тотъ горя не знаетъ:
Мы въ Кубани побываемъ
И горе спознаемъ...

— Какъ вымолвилъ онъ, говоритъ Груня, эти слова, такъ меня точно кто ножемъ подъ сердце ударилъ.

II.

Такимъ образомъ рѣшено было идти на Кубань.

Ужъ и точно эта Кубань — проклятая сторона!.. Сколько-то тамъ казацкихъ бѣлыхъ косточекъ полегло, сколько

крови казацкой пролито, сколько слезъ горькихъ выплакано! Гдѣ ни станетъ конь копытомъ — бѣлая кость человѣчья подъ копытомъ хруснетъ; гдѣ ни взглянетъ изъ-подъ земли травка зеленая—корешкомъ-то своимъ она кровь человѣчью сосетъ... Все-то кровь, все-то слезы!

И въ эту-то сторону проклятую поѣхала моя Груня — горя искать... Мало ей было того горя, что слѣдомъ за ней ходило, на вороту висѣло, въ сердцѣ гнѣздо свило и дѣтей вывело! Такъ нѣтъ, пошла! Ѣдутъ это они день, ѣдутъ другой, ѣдутъ третій—и счетъ днямъ потеряли. Попришпорили своихъ коней, сами поморились — а все нѣтъ конца. Стелется тебѣ степь безъ конца, ни деревца, ни травки, только солнышко встаетъ безъ лучей кровавое, горячее. Ни коня напоить, ни самому засохшую душу пойломъ отвѣсти— хоть ложись да умирай. Не видно въ степи ни души человѣческой, ни звѣря, ни птицы. Страшно стало Грунѣ...

— Гдѣжъ, говоритъ, конецъ нашимъ мукамъ будетъ?

— Потерпи, говорятъ, мы и сами измаялись.

— Сначала-то была у нихъ провизія, а тамъ и провизіи не стало. Голодаютъ день, голодаютъ другой, а тамъ и невтерпежъ стало.

— Кинемъ, говорятъ, жеребій, кому своего коня отдавать—станемъ конину ѣсть.

— Убейте, говоритъ Груня, меня, и коня моего возьмите.

Что ты, родная, говорятъ, за толь тебя убьемъ, что черезъ тебя мы волю спознали?

— Хороша-де воля—конину ѣсть.

— А лучше, говорятъ, чѣмъ въ неволѣ сидѣть.

— Ну, инъ будь по вашему, говоритъ.

— Кинули жеребій. Убили коня. Съѣли. Пить нечего...

Господи! что за мука-то была, сказывала Груня, такъ и разсказать нельзя... Черезъ сколько тамъ дней добрели они до какой-то рѣчки — ожили. А тамъ попался имъ и хуторокъ на отшибѣ. Заѣхали на хуторокъ: думаютъ, отдохнуть маленько, да поразспросить про дорогу на Кубань. Нашлись добрые люди—приняли ихъ, накормили.

— Говорятъ, ѣдемъ-де на Кубань, въ очередь, да съ пути сбились...

— И малолѣточка-то съ собой везете? спрашиваютъ хозяева.

— Веземъ, говорятъ, за отца пошелъ охотой.

— Да какой же молоденькій онъ у васъ, сказываютъ, а жаль было покинуть родимую сторону?

— Жаль, говоритъ... А далеко, говоритъ, до Кубани осталось?

— Мы и сами не знаемъ, тѣ-то говорятъ.

— Злоба тутъ взяла Груню: сколько маялись, сколько сердце переныло, а все конца не видать... Прожили они на хуторѣ недѣли съ двѣ, отдохнули, а тѣмъ временемъ у нихъ четыре лошади пало. Надо было лошадей добывать, надо было искать табуновъ, чтобъ какъ ни на есть украсть лошадей. Добыли и лошадей, собрались въ путь и простились съ хозяевами.

— И вотъ опять началось мыканье по бѣлу свѣту...

Дѣйствительно, мыканье это продолжалось, по словамъ разсказчицы, безконечно долго. Въ какихъ мѣстностяхъ бродили эти люди, изъ разсказа не видно. Только до Кубани они не добрались, можетъ быть потому, что съ волжско-донскаго перешейка они взяли слишкомъ влѣво и потому должны были скитаться по Кумской степи, гдѣ въ семидесятыхъ

годахъ прошлаго столѣтія бродила шайка Заметаева, въ то время когда Панинъ и Суворовъ думали найти ее на Волгѣ. Изъ разсказа можно заключить, что подходили они къ какому-то морю и всего скорѣй, что подходили они къ побережью Каспійскаго моря.

Въ этихъ безполезныхъ и утомительныхъ переходахъ опять захватила ихъ зима. Сами бродяги стали тяготиться такой жизнью, но выхода изъ нея все-таки и не было, и потому надо было подумать о средствахъ къ обезпеченію новой зимовки.

Пуще прежняго стала томить тоска молодую преступницу.

— Убейте меня, нерѣдко говорила она, обращаясь къ товарищамъ.

— За что убивать? Безъ тебя намъ, болѣзочка, еще тошнѣй будетъ.

И бродяги начали рыть просторную землянку, въ которой могли бы помѣститься семь человѣкъ. Землянку вырыли, покрыли камышомъ и землей — и опять потянулись скучные, однообразные зимніе дни. Лошади паслись на подножномъ корму, потому что тамошнія степи не глубоко покрываются снѣгомъ, и привычныя лошади, пробивая копытами снѣгъ, достаютъ траву изъ-подъ снѣга и такимъ образомъ прокармливаются зиму. Нерѣдко бродяги, со своимъ молодымъ „полковничкомъ,“ дѣлали довольно далекія экскурсіи въ степь и одинъ разъ имѣли довольно жаркое дѣло съ калмыками, которыхъ, въ числѣ 10 или 15 человѣкъ, они встрѣтили въ степи. Разбойники остались побѣдителями, и при этомъ дѣвушка-разбойникъ изъ своего собственнаго ружья застрѣлила калмыка, который едва не накинулъ ее арканомъ.

— Ай да дѣвка! такого полковничка мы и на царской службѣ не видали, говорили разбойники.

Ну, а время-то все идетъ да идетъ... отъ скуки ли, отъ горя ли спозналась тутъ Груня съ однимъ, что съ нею-то были. Точно ей кто память замѣтилъ, знать приспѣла пора дѣвкѣ замужъ идти, дѣтей родить. И не диво — дѣвкѣ осьмнадцатый годъ. А нашъ бабій вѣкъ коротокъ, не то что волосъ, а дѣвій вѣкъ короче того: шестнадцать лѣтъ дѣвка въ соку, а къ двадцати годамъ ужъ и соку-то поубавилось, дѣвка засидкой слыветъ, засидѣлась: ей двадцать лѣтъ говорятъ—стара. А годокъ другой за двадцать перевалило ужъ и парни обходятъ. Вотъ и спозналась Груня съ однимъ — забыла Петра Дронова: все равно-де убивица ему не пара, такъ за одно пропадать...

И точно, пропала моя Груня...

Къ веснѣ ужъ товарищи стали замѣчать, что съ полковничкомъ ихъ что-то не ладно. Стали на смѣхъ подымать.

— А полковникъ-то нашъ, говорятъ, забрюхатѣлъ.

Груня слышитъ—молчитъ: что супротивъ правды скажешъ?

— А ну-ка, полковничекъ, на коня влѣзешъ?—говоритъ одинъ, смѣется.

— А что, братцы, если не ровенъ часъ у насъ, съ калмыками опять баталія выйдетъ, да полковникъ нашъ обродится! Вѣдь калмыки испужаются?

— Испужаются.

Груня все молчитъ.

— Да что вы смѣетесь?.. Обродится нашъ полковникъ, намъ же лучше: нашего полку прибудетъ.

— Точно... Да вотъ что бѣда: чекмень-то на ней ужъ не сходится.

Смѣются: а у нея точно кто льду подъ сердце подкладываетъ. А тотъ, кто въ бѣду дѣвку ввелъ, не заступится, потому и надъ нимъ смѣются.

— Няньчить будешь полковничьяго сына. Грудью аль соской кормить будешь?

— А пеленки-то кто станетъ мыть?

Опостылѣла такая жизнь Грунѣ, на свѣтъ бы божій не глядѣла. Ужъ и на Кубань ее не тянуло, ужъ и Дроновъ ей, кажись, не милъ сталъ, потому совѣсть мучила: знамо, супротивъ кого мы не чисты, того не любимъ... Такъ-то и съ Груней... А тутъ съ весной надо было опять въ путь собираться, работы искать—опять мыкаться.

Мыкались они цѣлое лѣто. Пробрались къ Дону. А тамъ, къ концу лѣта, приспѣли и роды: пришлось ободиться середь степи, на голой землѣ. Жаль стало молодцамъ-то и родильницу, и младенца, чѣмъ онъ виноватъ? И стали они за ними ухаживать, и пеленали-то ребенка—такъ съ рукъ на руки и переходилъ пострѣленокъ. Изъ рубахъ пеленокъ надѣлали, няньчили, гулили его, а родильницѣ такъ всѣ въ глаза и глядѣли. Да недолго промаялся ребенокъ, ручищами ли его своими карявыми захватали, такъ ли что попритчилось—только умеръ, и крестить не привелось.

А какъ встала Груня на ноги, задумала бросить эту жизнь разбойную. А куда идти? Чаще и чаще опять сталъ приходить къ ней по ночамъ Дроновъ, точно живой стоитъ, да таково жалостно смотритъ. „Груня, говоритъ, куда ты дѣвала свою косу дѣвичью? зачѣмъ не дождалась меня“?

Мы однако не намѣрены передавать здѣсь всѣхъ мелкихъ подробностей разсказа, слышаннаго нами отъ помянутой старухи-казачки. Подробности эти большею частью относятся

къ ея героинѣ, какъ къ женщинѣ, но не къ атаману разбойниковъ. Между тѣмъ одинъ изъ разаказанныхъ ею эпизодовъ мы не въ состояніи пріурочить ни къ какому либо времени, ни къ какому либо мѣсту, тѣмъ болѣе, что всѣ народные разсказы даже о событіяхъ новѣйшихъ, даже о фактахъ о своей собственной жизни нерѣдко носятъ на себѣ отпечатокъ эпичности и легендарности. Таково народное міровоззрѣніе. Напримѣръ, 18 декабря 1868 года, совершена въ Саратовѣ казнь надъ убійцами полковницы Лобко съ дочерью (русскія газеты, какъ извѣстно; разнесли объ этомъ происшествіи разнообразныя, нерѣдко преувеличенныя и изукрашенныя цвѣтами народнаго творчества подробности — опытный знатокъ народной поэзіи и вообще міровоззрѣнія русскаго народа не безъ труда можетъ отличить въ нихъ эпичность и легендарность отъ дѣйствительно совершившихся фактовъ). Преступники, какъ извѣстно изъ газетъ, сдѣлали на народъ впечатлѣніе наиболѣе рельефными сторонами своихъ личностей: въ Богословскомъ видѣли *человѣка*, загубившаго себя, вслѣдствіе неудачно сложившагося строя какъ его личной жизни, такъ и жизни общества, въ которое онъ толкнутъ былъ такъ сказать своимъ рожденіемъ; въ Сергіевскомъ же видѣли преимущественно *преступника*, съ проявленіями туповатости и какой-то деревянности, для котораго убить человѣка если не плевое дѣло, то во всякомъ случаѣ такое, что надъ нимъ долго задумываться нечего. Первый такимъ образомъ привлекалъ къ себѣ общія симпатіи; второй — нѣтъ. Какъ только надъ ними была совершена казнь и народъ увидѣлъ, какъ они оба, убитые наповалъ ружейными выстрѣлами, свалились въ вырытыя для нихъ могилы, въ толпѣ уже создался эпическій

разсказъ, будто убитъ одинъ Богословскій, а Сергіевскій не убитъ: онъ зналъ такое слово, что пули его не тронули, и въ то время, когда, вслѣдъ за раздавшимися выстрѣлами, изъ Богословскаго брызнула кровь фонтанами, изъ Сергіевскаго кровь не пошла.

По словамъ старухи-казачки, разбойники имѣли „страженіе съ русскими солдатами,“ и послѣдніе были побѣждены, но гдѣ и когда происходила эта стычка, старуха не могла намъ объяснить, предполагая, что все это происходило „въ Россіи.“

Повстрѣчались это они съ русскою командою. Солдаты идутъ лавой, ружья на перевѣсъ, а наши то ѣдутъ шагомъ, пѣсни поютъ:

Вылетали не двѣ стадушки, черныя галушки—
Малолѣточки съ Дону въ походъ пошли:
Впереди нашей армеюшки мятель перепархивала,
Молодой нашъ полковничекъ поразъѣзживалъ....

Груня-то впереди ѣдетъ, нагайкой помахиваетъ.

— Стой, кричатъ солдаты—что за люди?

— Славные денскіе казаки, говорятъ наши — а вы что за люди?

— Мы русскіе солдаты—за вами въ погоню посланы..

— Прочь музланы, съ дороги! кричатъ наши.

— Стой, чига востропузая! говорятъ солдаты—мы васъ застрѣлимъ.

— А мы васъ дротиками поколемъ, мужиковъ неотесанныхъ...

И началась тутъ баталія... Наши-то пиками ихъ колютъ, а они-то штыками отбиваютъ, да все пуще напираютъ. Бились это они часъ, бились другой, никто одолѣть не можетъ.

А тамъ стали солдаты и одолѣвать нашихъ — потому ихъ больше было. А бѣжать казакамъ не хочется, стыдно. Вотъ и говоритъ одинъ изъ нашихъ:

— Спѣшимтесь, атаманы-молодцы.

— Снѣшимтесь...

— Снимемъ-ка чекмени.

— Ладно, снимемте.

День-то былъ жаркій—ну, и сняли. Пустили коней схватились въ рукопашную. И налѣтелъ на Груню солдатъ страшеннаго роста, такъ, кажись, и раздавитъ бѣдную. Схватились они: какъ зацѣпитъ это онъ ее своими ручищами за воротъ рубахи, такъ всю рубаху и снялъ съ нее, остались одни рукава на рукахъ. Стыдно стало Грунѣ, потому, почти голая у солдата въ ручищахъ. Да какъ увидитъ солдатъ-то, что у него въ рукахъ дѣвка, а не казакъ, испужался и кричитъ:

— Утекай, братцы, спасайте души христіанскія! Это не казаки, а черти-оборотни: у моего-то подъ рубахой бабьи груди.

Какъ услыхали это солдаты, испужались, побросали ружья — и бѣжать!

Ужъ и смѣялись-же потомъ наши надъ глупыми русскими. Такъ и кончилось сраженіе, а все потому, что съ ними была Груня.“

III.

Между тѣмъ въ Заполянской станицѣ послѣ бѣгства арестантовъ изъ станичной избы и убійства станичнаго атамана ничего не знали, гдѣ Аграфена Вершилова и что съ ней. Никто не сомнѣвался, что она была виновницей всѣхъ страшныхъ происшествій, послѣдовавшихъ за бѣгствомъ арестан-

товъ. Прежде всего малолѣтокъ, бывшій вѣстовымъ у повѣшеннаго станичнаго атамана, показалъ, что онъ видѣлъ Вершилову въ числѣ преступниковъ, истязавшихся, надъ атаманомъ, и что Вершилова надѣвала даже петлю на повѣщеннаго. Онъ же показалъ, что Вершилова, уходя изъ атаманскаго куреня, велѣла малолѣтку кланяться старикамъ и сказать имъ, чтобъ они выбирали другаго станичнаго атамана. Потомъ съ атаманскаго хутора явились батракъ и работница и также показали обо всѣхъ ужасахъ, совершенныхъ на хуторѣ бѣглыми арестантами, между которыми находилась женщина въ казацкомъ платьѣ (батракъ и работница были нанятые и потому—не знали въ лице Вершилову). Наконецъ зимой, въ Раздорской станицѣ, пойманъ былъ бродяга, въ которомъ узнали одного изъ арестантовъ, присланныхъ въ Заполяны вмѣстѣ съ Аграфеной Вершиловой. Отъ этого арестанта узнали, что они изъ станичной избы дѣйствительно были освобождены Вершиловою и совершили тѣ преступленія, въ которыхъ ихъ подозрѣвали съ полной достовѣрностью.

Само собою разумѣется, что разбойниковъ искали по всѣмъ окрестностямъ, но найти не могли. И разбойники, и Аграфена Вершилова какъ въ воду канули. Притомъ же, по словамъ разсказчицы-старухи, новый станичный атаманъ не особенно настаивалъ на розыскѣ, опасаясь, вѣроятно, чтобъ и его не постигла участь его предмѣстника.

Какъ бы то ни было, нѣсколько лѣтъ о Вершиловой въ станицѣ не было, что называется, ни слуху ни духу. Предполагали было сначала, что она пробралась на Кубань къ своему бывшему жениху, Дронову. Но Дроновъ воротился въ станицу, по миновеніи срока очередней службы, а о Верши-

ловой могъ только сказать, что видѣлъ ее въ послѣдній разъ въ Черкасскѣ, когда партія ихъ шла на Кубань, и что тамъ она была остановлена мѣстными властями за безписьменность.

Дроновъ все узналъ о своей бывшей невѣсткѣ и долго горевалъ, потому что онъ съ дѣтства любилъ ее, маленькую носилъ на рукахъ, няньчилъ ее въ отсутствіе матери, каталъ ее верхомъ съ собой на лошади, когда Грунѣ было года четыре. Когда ребенокъ подрасталъ, Драновъ училъ ее лазить по деревьямъ, доставалъ ей лучшія птичьи яйца, самыя свѣжія и вкусныя ягоды, училъ ее наконецъ ѣздить верхомъ на лошади. Когда дѣвушка была на возрастѣ, онъ полюбилъ ее какъ невѣсту и только ждалъ, пока можетъ повести ее подъ вѣнецъ. Но въ это время, какъ мы видѣли, его нарядили въ числѣ очередныхъ казаковъ на Кубань, и его намѣреніе не исполнилось.

Дроновъ считалъ свою бывшую невѣсту умершею и потому рѣшился жениться, хотя долго не могъ забыть маленькую Груню. Притомъ ему было давно за тридцать, а въ домѣ у него не было хозяйки — онъ и женился. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ его опять нарядили въ очередную службу, и онъ оставилъ дома молодую хозяйку.

О послѣдующей странной судьбѣ дѣвушки-разбойника разскащица передавала мнѣ подробности, въ характерѣ и колоритѣ которыхъ также нѣсколько просвѣчиваетъ нѣчто легендарное.

Годовъ черезъ пять послѣ того, какъ пропала безъ вѣсти Груня, пошли мы въ Усть-Медвѣдицу въ монастырь Богу помолиться. Я уже была за мужемъ и у меня было трое своихъ ребятишекъ. Пошла я молиться за своего-то: онъ тоже

былъ наряженъ въ Грузію и въ ту весну прислалъ мнѣ грамотку и поклонъ, что все-де у него благополучно и велѣлъ о своемъ здравіи Владычицѣ помолиться. Пришла я это въ монастырь, подхожу къ Христу, что въ узахъ-то заключенъ, Батюшка, сидитъ, подхожу, да вспоминаючи, какъ около этого самаго Батюшки-Хруста мы молились и плакали давно когда-то съ Груней,—заплакала. Стою это я, молюсь и плачу. Вотъ и подходитъ ко мнѣ черничка, вся въ черномъ, да такая-то худая да печальная, подходитъ и приглядывается ко мнѣ. Я себѣ знай молюсь, земные поклоны кладу Христу, во узахъ заключенну. Походила, походила вокругъ меня черничка, вижу, хочетъ что-то сказать, да видно не хочетъ помѣшать мнѣ молиться, а тамъ, когда я стала подходить къ Богородицѣ, заступницѣ всѣхъ скорбящихъ, подошла ко мнѣ и черничка.

— Здравствуй, говоритъ, Таня.

Какъ услышала я это — испужалась: думаю, святая женщина — въ душу мою проникла, мысли мои угадала я имя мое ей ангелъ на ухо шепнулъ. Молчу, а страшно стало.

— Здравствуй, говоритъ опять, Танюша: молись Господу Богу за насъ, грѣшныхъ.

— Помолись, говоритъ, за меня, святая душа.

— Нѣтъ, говоритъ, не мнѣ за тебя молиться, грѣшницѣ окаянной... Аль ты не узнаешь меня?

— Не знаю, говорю, матушка.

— Не изъ Заполянской-ли ты станицы? говоритъ.

— Изъ Заполянъ, говорю матушка.

— А не знавала-ли ты тамъ, говоритъ, дѣвушку Аграфену Вершилову?

— Знавала, говорю.

Какъ сказала это, да взглянула на нее попристальнѣе, такъ у меня руки и ноги задрожали, въ глазахъ потемнѣло... Вижу, стоитъ предо мной Груня — это она и была черничка-то.

— Грунюшка! говорю, болѣзочка моя!..

А она мнѣ на это:

— Стой, Таня! Аль ты не видишь, что стоимъ мы, грѣшныя, передъ Христомъ, во узахъ заключеннымъ! Мірскимъ грѣшнымъ рѣчамъ здѣсь не мѣсто... Помолися, говоритъ, Господу Богу, что привелъ насъ свидѣться на этой землѣ, да пойдемъ въ мою келейку, ко мнѣ, грѣшницѣ окаянной, нераскаянной.

И повела она меня послѣ въ свою келейку. Разсказала она мнѣ тамъ о всѣхъ грѣхахъ своихъ великихъ и, разсказывая, горько, горько плакала. Говорила она мнѣ, какъ и атамана нашего убила, какъ и всю семью его загубила. Говорила она, какъ и разбои держала, какъ горе мыкала съ разбойниками по невѣдомымъ землямъ, какъ новымъ тяжкимъ грѣхомъ ее нечистый попуталъ, какъ она забыла жениха своего, спозналась съ убивицами—все, все разсказала. У меня волосъ дыбомъ становился, слушаючи ее. Разсказала она мнѣ, голубушка, какъ потомъ раскаялась она, въ монастырь пошла—да не принимаетъ Господь ея покаянія. Каждую-то тебѣ ночь, говоритъ, вижу я проводы Петра Дронова, и говоритъ онъ мнѣ: „не жди меня, Аграфена, не суженая ты мнѣ, не суженъ я тебѣ...“

И стала она потомъ меня о нашей станицѣ разспрашивать, о матери своей покойницѣ, о нашемъ житьѣ-бытьѣ. А что съ Дроновымъ—о томъ не спроситъ. Думаю, не хочетъ узнать. Заговорила я сама объ немъ: Петръ Дроновъ, го-

ворю, къ Троицѣ грамотку прислалъ молодой женѣ своей... Точно обожгла я ее этимъ словомъ.

— Женѣ! говоритъ.

— Женѣ, говорю. Грунюшка.

— А давно онъ женился? говоритъ, — а на самой лица нѣтъ, руки ломаетъ.

— Да передъ очередью, говорю, пришелъ съ Кубани, какъ ты пропала, пождалъ, пождалъ тебя, да и женился. А долго, говорю, бѣдный, тосковалъ по тебѣ.

— Долго? говоритъ.

— Долго.

Простилась я въ тѣ поры съ Груней, а на другой день обѣщала прійдти въ монастырь помолиться и ее навѣстить.

— Приходи, говоритъ.

Подхожу на другой день къ монастырю, вижу — рыбаки подъ самымъ монастыремъ въ Донъ невода да приволоки закидаютъ. Монашенокъ-черничекъ на берегу много, суетятся, бѣгаютъ: думаю, не утонулъ-ли кто?

— Чего, говорю, добрые люди, ищете!

— Утопленницу, говорятъ, матушка: черничка одна утопилась... Бросилась это въ Донъ, круги—только и видѣли.

— Да что съ ней? говорю.

— Да Богъ ее знаетъ—все тосковала покойница, тосковала съ тѣхъ поръ, какъ въ монастырь пришла.

— А кто такая? спрашиваю.

— Да сестра Антонида.

Потужила, потужила я о горемыкѣ, да и пошла къ келейкѣ Груниной.... Узнаю — она-то и утопилась: она-то и была сестра Антонида...

Что со мной было, какъ я это узнала — и сказать не

Фабрика Спичечных

умѣю. Плакала, плакала я, чуть глазъ не выплакала. Прихожу въ церковь и глазъ не смѣю поднять на Христа-Батюшку, что во узахъ-то заключенъ сидитъ. Думаю, видѣлъ онъ все, что было межъ мной и Груней, и сдается мнѣ, что головкой своей, въ терніяхъ-то колючихъ, онъ качаетъ, Батюшка, коритъ меня. Такъ-то мнѣ тяжко было, такъ тяжко, что и ноги отказывались служить мнѣ.

Пробыла это я въ монастырѣ съ недѣлю, молилась за упокой рабы божіей Аграфены; а тамъ, слышу, въ станицѣ вынули изъ воды мертвое тѣло—въ Каптюгѣ, межъ кустовъ застряло, такъ и вынули оттуда. Думаю, не Груня-ли. Прихожу въ станичную избу, лежитъ подъ рогожкой мертвецъ: открыла рогожку—и подобія человѣческаго не вижу на лицѣ. Раки-то все лице изъѣли, глаза повыѣли до костей. А на шеѣ крестъ святой цѣлъ, а на крестѣ что-то привязано. Стала смотрѣть, анъ въ тряпицѣ завернута землица. Узнала я Грунинъ крестикъ, да и землицу свою родную узнала. Когда въ первый разъ шла она со мной въ монастырь въ Усть Медвѣдицу Дронова искать, навязала она, болѣзочка, родной землицы на крестъ: „умру, говоритъ, въ чужой сторонѣ—со своей землицей лягу.“

Такъ не удалось лечь и въ могилу-то съ родной землицей. Сняли съ нея крестъ и землю взяли. И похоронили ее безъ благословенія божія.

Ужъ видно такъ на роду ей написано было, болѣзочкѣ.

IV.

Разсказъ этотъ слышанъ нами въ войскѣ донскомъ, въ пятидесятыхъ годахъ. Сообразуясь съ лѣтами разсказчицы,

которая была очень стара, хотя не смотрѣла дряхлою, и которая была ровесницею Аграфены Вершиловой, можно съ основательностью предположить, что событія разсказа относятся къ началу нынѣшняго столѣтія, къ тому слѣдовательно времени, когда понизовая вольница уже окончательно вымирала какъ на Волгѣ, такъ и на Дону.

Какъ мы выше замѣтили, намъ не приходилось встрѣчать въ архивныхъ дѣлахъ прошлаго вѣка, относящихся къ исторіи понизовой вольницы, указаній на то, чтобы женщина принимала прямое участіе въ дѣяніяхъ понизовой вольницы, какъ она принимаетъ нѣкоторое участіе, иногда прямое, но большею частью косвенное, въ политическихъ дѣлахъ образованныхъ государствъ и, помимо семейнаго круга, въ дѣлахъ общественныхъ. Само собою разумѣется, что все это обусловливается самымъ положеніемъ женщины, степенью ея развитія и ея поломъ. Въ настоящее время кругъ дѣятельности женщины расширяется. На низшей степени развитія человѣческихъ обществъ женщина была или рабою, или работницею. Въ средніе вѣка рыцарски-сентиментальныя отношенія къ женщинѣ сдѣлали то, что изъ полезной, хотя грубой, рабыни она превратилась въ деликатнѣйшее, но безполезнѣйшее и невѣжественнѣйшее существо, которое только ражало дѣтей и коптило небо. Женщина не думала ни о трудѣ, ни о развитіи. Когда нагрянулъ практическій, въ высшей степени требовательный девятнадцатый вѣкъ, женщина увидѣла себя въ самыхъ унизительныхъ отношеніяхъ къ мужчинѣ и увидѣла это только потому, что немножко развилась: она увидѣла, что ничего не завоевала для себя прочнаго и основательнаго, какъ завоевалъ мужчина. Она все надѣялась, по старой привычкѣ, что все хорошее для

нея завоюетъ мужчина. Мужчина завоевалъ себѣ относительную свободу, мужчина много сдѣлалъ въ наукахъ, мужчина удержалъ и власть въ своихъ рукахъ. Увидя себя въ незавидномъ положеніи, женщина стала укорять мужчину, что онъ ее держитъ въ рабствѣ и невѣжествѣ, что онъ не даетъ ей труда, онъ не позволяетъ ей дѣйствовать. Женщина потребовала эмансипаціи. „Возьми, говоритъ мужчина, какъ я самъ все это взялъ: что дается, то непрочно; прочно только то, что берется. Что дано, то можетъ быть и отнято; а что взято, то только и можетъ быть удержано.“

Такимъ образомъ чѣмъ неразвитѣе общество, тѣмъ менѣе женщина проявляется какъ дѣятель. Неудивительно, что мало проявлялась она тамъ, гдѣ только исключительныя личности изъ народа могли проявлять себя или со стороны силы творческой, или со стороны силы разрушительной. Въ своихъ историческихъ трудахъ мы, вслѣдствіе неоднократно высказанныхъ нами соображеній, обратили наше исключительное вниманіе на проявленіе въ русскомъ народѣ послѣдней изъ двухъ вышепоименованныхъ силъ. Само собою разумѣется, что всего менѣе можно ожидать отъ русской женщины обнаруженія этой послѣдней силы, какъ мало ожидалось до сихъ поръ отъ нея обнаруженія и первой.

Вотъ почему въ архивныхъ дѣлахъ, касающихся исторіи понизовой вольницы, мы почти не встрѣчали женщины, а если и встрѣчали ее, то или какъ жену, или какъ любовницу, или какъ мать, или какъ пристанодержательницу, или наконецъ какъ доносчицу.

Въ вышеприведенномъ нами разсказѣ мы встрѣчаемъ женщину дѣятелемъ или такимъ факторомъ разрушительной си-

лы, какими были Разинъ, Пугачевъ, Заметаевъ, Шагала, Беркутъ.

Въ бытовой народной поэзіи, собственно въ числѣ разбойныхъ пѣсенъ, женщина опять таки является не дѣятелемъ, а какъ мать, сестра, любовница и вообще „красна дѣвица.“ Женщина большею частью сидитъ дома. Иногда ее разбойники берутъ въ плѣнъ, но не очень дорого цѣнятъ это пріобрѣтеніе. Такъ въ одной изъ имѣющихся у насъ пѣсенъ, изъ неизданнаго сборника (1), добрый молодецъ, разбойничекъ, растужился и разгоревался вотъ о чемъ: разбойничали удалые добрые молодцы по Волгѣ и по Сурѣ; награбили они много добра и начали дуванить это добро: кому досталось золото, кому кунья шуба, кому золотой перстень, а одному доброму молодцу *ничего не досталось*—досталась ему одна красная дѣвушка. Вотъ тутъ-то и растужился, и разгоревался удалъ-добрый молодецъ и говоритъ, что въ разбоѣ онъ былъ первый, а въ дуванѣ (дѣлежѣ) сталъ послѣднимъ. Онъ утѣшился только тогда, когда красная дѣвица сказала, что у нея есть и кунья шуба въ восемьсотъ рублей, и золотой перстень въ девятьсотъ рублей. Тутъ-то возрадовался удалъ-добрый молодецъ, бросился дѣвушкѣ на бѣлую грудь и цѣловалъ ея бѣлыя рученьки (2).

---

(1) Сборникъ этотъ составленъ изъ пѣсенъ, собранныхъ въ саратовской губерніи А. Н. Мордовцевою.

(2) Вотъ эта любопытная пѣсня, относящаяся къ исторіи понизовой вольницы и выясняющая собою отчасти характеръ этой вольницы:

Разыгралась, разбушевалась Сура-рѣчка,
Она устьицемъ упала въ Волгу-матушку,
На устьицѣ выросъ частъ ракитовъ кустъ,
У кустика лежитъ бѣлъ горючъ камень,

Но чаще всего въ циклѣ разбойныхъ пѣсенъ женщина является любовницей. Добрые молодцы женъ не имѣютъ, а если и имѣютъ, то бросаютъ ихъ или совсѣмъ, или на время походовъ. Въ походѣ они забавляются красными дѣвицами, которыя попадаются имъ въ руки. Только одно лице во время разбойничьихъ экспедицій можетъ имѣть при себѣ женщину-любовницу — это атаманъ. Такъ у Стеньки Разина была любовница, плѣнная княжна персидская, которую онъ, во время гульни, бросилъ въ Волгу, какъ бы въ благодарность за то, что Волга дала ему и силу, и богатство, и славу. У Пугачева (хотя онъ и не принадлежитъ къ народнымъ типамъ поизовой вольницы) было нѣсколько любовницъ. Любовницы были у Ханина и у Беркута. Послѣдній не только не бросалъ своей Горпины въ Волгу, но напро-

---

А у камышка сидятъ все разбойники,
Сидятъ-то они, дуванъ дуванятъ:
Да кому-то изъ нихъ что достанется.
Кому золото, кому серебро,
Кому кунья шуба, кому золотъ перстень,
Одному доброму молодцу ничего не досталося,
Доставалась ему одна красна дѣвушка.
Какъ растужится, разгорюется удалъ-добрый молодецъ.
«Во разбоѣ-то я у васъ первый былъ,
Во дуванѣ-то я у васъ послѣдній сталъ.»
Какъ возговоритъ ему красна дѣвушка:
«Ты не плачь, удалъ-добрый молодецъ!
У меня, у красной дѣвицы, есть кунья шуба,
Кунья шуба стоитъ восемьсотъ рублей,
Еще есть у меня, у дѣвушки, золотой перстень:
Золотъ перстень стоитъ девятьсотъ рублей.»
Какъ возрадуется удалъ-добрый молодецъ,
Что бросился ей на бѣлую грудь,
Цѣловалъ ея бѣлыя рученки.

тивъ, во время бури на Каспійскомъ морѣ спасъ ее съ опасностью своей собственной жизни. „Атаманова полюбовница“ — большею частью „есаулова родная сестрица (1)

Въ разбойничьихъ шайкахъ, по народной поэзіи, замѣчается присутствіе только дѣвушки; женщина — мать; она сидитъ дома, съ дѣтьми, у нея меньше удали, чѣмъ у свободной дѣвушки, да женщину и сами разбойники неохотно бы взяли съ собой. Имъ нужна красная дѣвица. Для дѣвушки больше досуга и гулять и дѣло дѣлать: у нея нѣтъ на рукахъ семьи. Оттого и въ современной жизни, въ развитомъ обществѣ, факторомъ общественной жизни является большею частію дѣвушка: есть дѣвушка-студентъ, есть дѣ-

---

(1) По Волгѣ, ниже Нижняго, выше Лыскова изъ рѣчки Терженки выплываетъ разбойничья лодка всѣмъ изукрашенная, парусами изувѣшенная, ружьями изуставленная, на кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ, на носу стоитъ есаулъ съ багромъ, по краямъ лодки добры-молодцы, середи лодки бѣлый шатеръ, въ шатрѣ—шелковый коверъ, подъ ковромъ—золота казна.

На казнѣ сидитъ красна-дѣвица,
Есаулова сестра родная.
Атаманова полюбовница,
Она плачетъ, какъ рѣка льется,
Въ возрыданьи слово молвила:
«Не даромъ-то мнѣ сонъ привидѣлся!
Ужъ какъ бы у меня красной дѣвицы.
Распаялся мой золотой перстень,
Выкатился дорогой камень,
Расплеталась моя коса русая,
Выплеталась лента алая,
Лента алая, ярославская. —
Атаману быть застрѣлену,
Есаулу быть повѣшену,
Добрымъ молодцамъ срубятъ головы,
А мнѣ, дѣвушкѣ, во тюрьмѣ сидѣть.

вушка-акушерка, дѣвушка-докторъ, дѣвушка-переплетчица, дѣвушка-писательница, дѣвушка-членъ рабочей женской асоціаціи (въ Германіи), членъ артели. Это женщина — факторъ силы творческой, созидающей, той силы, благороднымъ представителемъ которой до сихъ поръ былъ почти исключительно одинъ мужчина. На этой женщинѣ покоятся надежды нашего вѣка, и эта женщина должна доказать, если захочетъ или съумѣетъ, что она составляетъ такую же полезную половину человѣчества, какъ и мужчина. Но есть женщина факторъ другой силы, разрушительной. Это такая женщина, каковы между мужчинами факторы разрушительной силы —Пугачевъ, Разинъ, Заметаевъ, Беркутъ. Къ числу этихъ женщинъ принадлежитъ Аграфена Вершилова. Въ частной жизни женщины-факторы этой послѣдней силы суть— въ малой степени — всѣ тѣ, которыя смотрятъ на жизнь и назначеніе женщины со средневѣковой точки зрѣнія и — кромѣ дѣтей ничего не созидаютъ.

Вершилова принадлежитъ къ чисто-народнымъ типамъ. Это рѣдкій экземпляръ активнаго фактора силы разрушительной. Даже въ народной поэзіи нѣтъ такого экземпляра. Правда, въ имѣющемся у насъ сборникѣ пѣсенъ г-жи Мордовцевой есть подобнаго рода экземпляръ—это „красна дѣвица-душа Пелагеюшка,“ но экземпляръ этотъ ужъ слишкомъ отвратителенъ.

Эта пѣсня о разбойницѣ Пелагеюшкѣ говоритъ:

Какъ по морю, морю синему,
По синю морю, по Каспійскому,
Тутъ плыветъ новъ черный корабль,
Объ трехъ древахъ кипарисовыхъ,
Объ двѣнадцати тонкихъ парусахъ,

Полотняныхъ шитыхъ бранымихъ;
За корабликовъ плыветъ лодочка,
Легка лодочка, самолеточка,
Хорошо лодка изукрашена:
Молодцами вся изусажена.
Какъ на лодочкѣ девять молодцовъ,
А десятая — красная дѣвица,
Красна дѣвица-душа Пелагеюшка,
Она плакала — слезно плакала,
Никто ее не уговариватъ,
А ни батюшка, а ни матушка;
Унимаютъ ее девять молодцовъ,
Уговариваетъ атаманъ съ ружьемъ,
Крѣпко спрашиватъ есаулъ съ копьемъ:
«Ты не плачь, не плачь, красна дѣвушка,
»Не тужи ты, дочь отецкая,
«Или мало тебѣ злата серебра?
»Иль не стало у тебя платья цвѣтнаго?
— «Ужъ и какъ мнѣ не плакати:
Съ изманехоньку я въ гульбу пошла,
Лѣтъ пятнадцати я въ разбой пошла,
А шестнадцати душегубала:
Выходила я на дороженьку,
Я встрѣчала свово отца съ матерью,
Отецъ съ матерью возмолилися,
Во рѣзвы ноги мнѣ поклонилися:
Не губи ты насъ, младъ разбойничекъ!
Ужъ и нѣтъ у насъ, ни злата, ни серебра.
Я не слушала слова слезнова —
Погубила я отца съ матерью.
Я зарѣзала брата роднаго,
Брата роднаго, однокровнаго.
Я гналась за нимъ по дикой степи,
Поймала его во дубровушкѣ.
Я брала его за русы кудри,

Ударила его объ сыру землю,
И зарѣзала его вострымъ ножичкомъ,
И я вынула сердце съ печенью —
На ножѣ сердце встрепенулося,
А я, дѣвушка, усмѣхнулася»!
Всѣ разбойнички ужасалися—
Въ сине море покидалися (1).

Изъ этой пѣсни можно видѣть, насколько „дѣвушка Пелагеюшка“ отвратительнѣе Груни Вершиловой. Въ Вершиловой много человѣческаго: въ ней загублены были хорошія силы; она возбуждаетъ симпатію. Злые инстинкты ея вызваны были неправдой и злобой людскою. Привязанность ея была слишкомъ глубока, какъ глубока была ея натура, и оттого глубокимъ оказалось противоположное любви чувство, которое изъ глубины ея глубокой натуры какъ бы насильно вытянули. А до того это было добрѣйшее, симпатичнѣйшее, робкое существо. Она же потомъ и сознала всю глубину своего нравственнаго паденія. Впрочемъ и дѣвушка Пелагеюшка плакалась о своихъ звѣрствахъ, но звѣрства ея, по видимому, ничѣмъ не оправдываются.

---

(1) Варіантъ: Всѣ разбойнички удивилися,
Красной дѣвушкой похвалилися!
Есть чѣмъ хвалиться!...

ОДИНЪ ИЗЪ ЛЖЕ-КОНСТАНТИНОВЪ.

I.

Историческое прошлое русскаго народа вообще не богато свѣтлыми воспоминаніями. Вслѣдствіе ли того, что все историческое коллективное существованіе народа, обставленное вообще непривѣтливою обстановкою, втеченіе тысячи лѣтъ не представляло для него ничего рельефно-выдающагося или поражало взоръ одними лишь темными рельефами, вслѣдствіе ли того, что свѣтлыя стороны исторической жизни этого народа, которыхъ у него вообще, сравнительно, было не въ мѣру мало, всегда менѣе глубоко врѣзываются въ народную память, чѣмъ стороны темныя, — только у народа осталось свое дѣленіе исторіи на періоды, несогласное съ дѣленіемъ историковъ, именно дѣленіе „по бѣдамъ.“ Періодъ отъ періода своей исторіи онъ помѣчаетъ поясненіями въ родѣ того, что такая-то бѣда случилась до голоднаго или послѣ голоднаго года, что такое-то горестное событіе совершилось до или послѣ моровой язвы. Оттого народъ занесъ на страницы своей неписанной исторіи преимущественно такія эпохи, какъ „злая татарщина,“ „юрьевъ день,“ пугачовщина, черная немочь, кровавыя войны послѣдняго времени, первая и вторая холера, голодные года,

поголовное бѣгство на Яикъ и на Дарью-рѣку для исканія воли и льготъ, потомъ бѣгство въ Анапу и за Кавказъ — тоже для спасенія отъ лиха. Такіе исключительные факты изъ своей исторической жизни онъ вносилъ въ свою скудную фактами исторію подобно тому, какъ древніе лѣтописцы заносили въ свои хроники преимущественно печальныя свѣдѣнія о войнахъ, о моровыхъ повѣтріяхъ, о повсемѣстныхъ пожарахъ, о набѣгахъ половцевъ, о явленіи на небѣ „хвостатыхъ“ звѣздъ или звѣздъ „копейнымъ образомъ,“ объ истеченіи крови и слезъ изъ глазъ иконъ, о явленіи на небѣ огненныхъ шаровъ, кровавыхъ солнцевъ, о засухахъ и неурожаяхъ, о разныхъ чудесныхъ знаменіяхъ, затѣмъ что всѣми этими знаменіями по преимуществу предвѣщались народныя бѣдствія.

У народа, такимъ образомъ, составилась своя собственная исторія, весьма однообразная и бѣдная содержаніемъ, часто до утомительности монотонная, заключенная въ узкія рамки собственно народнаго неширокаго міровоззрѣнія. Оттого, какъ есть у народа свое дѣленіе исторіи на періоды „по бѣдамъ,“ такъ есть у него свои любимцы, свои герои, свои историческіе дѣятели, оцѣнка которыхъ самимъ народомъ положительно расходится съ оцѣнкою ихъ исторіею писаною. У народа есть свои громкія имена, свои великіе люди, и въ силу того, что у него есть свои историческіе дѣятели, народъ повидимому не знаетъ и знать не хочетъ великихъ людей нашей писаной исторіи, можетъ быть потому, что наши великіе люди для него лично, непосредственно ничего не сдѣлали, а если и сдѣлали что-либо хорошее, то это хорошее, вслѣдствіе сцѣпленія разныхъ неблагопріятныхъ историческихъ условій, еще не дошло до народа.

До настоящаго времени наши знанія народной исторіи были обратно пропорціональны нашимъ познаніямъ въ исторіи политическихъ интригъ другихъ государствъ, въ лѣтописяхъ династическихъ перемѣнъ, нескончаемыхъ кровавыхъ войнъ между королями и безкровныхъ войнъ между дипломатами, стоившихъ тоже крови, въ лѣтописяхъ успѣховъ и неудачъ разныхъ полководцевъ, однимъ словомъ всего, что̀ дѣлается вообще помимо народа, хотя не безъ тяжкаго давленія на народъ.

У русскаго народа есть, кромѣ того, любимые пріемы коллективныхъ дѣйствій, выработанные въ немъ историческими условіями, а также извѣстные, любимые пріемы въ его коллективныхъ движеніяхъ, когда онъ желаетъ выразить этими движеніями свой протестъ или существующему порядку, или ходу исторической жизни, для него невыносимому.

Къ такимъ пріемамъ, которые составляютъ какъ бы историческую черту въ русскомъ народѣ, принадлежитъ самозванство, къ коему русскій народъ прибѣгалъ во всѣ смутныя или тяжелыя эпохи своего историческаго существованія. Явленіе это, рѣдко замѣчаемое у другихъ народовъ, объясняется особымъ складомъ нашей государственной жизни, при которомъ протестъ существующему порядку или нестерпимому злу могъ исходить изъ народа не отъ имени этого самаго народа, какъ бы отрицавшаго въ себѣ историческое право протеста, но отъ имени другой силы, признававшей за собою право протеста. Оттого всякій разъ, когда народъ протестовалъ, онъ какъ бы не имѣлъ *своего* знамени, а шелъ за знаменемъ силы, въ идеѣ сходной и тожественной съ тою силой, противъ которой онъ протестовалъ. Въ XVII-мъ вѣкѣ онъ шелъ за знаменемъ убитаго царевича и его именемъ требо-

валъ признанія своихъ правъ, равно какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ шелъ онъ за знаменемъ умершаго императора и отъ его имени требовалъ облегченія своей участи.

Были у народа и избранныя имена царскія, и только къ этимъ избраннымъ именамъ пріурочивалось самозванство, тогда какъ другихъ царскихъ именъ самозванцы не принимали. Цѣлый рядъ самозванцевъ носилъ имя царевича Димитрія. Другой рядъ самозванцевъ—Степанъ малый черногорскій царь Богомоловъ, Кремневъ, Пугачовъ, Ханинъ и еще нѣкоторые—принимали на себя имя императора Петра III, тогда какъ другихъ царскихъ именъ не принимали. И на это были у народа свои причины: онъ принималъ черезъ своихъ самозванцевъ, царское имя только такой особы, кончина которой почему либо казалась для него или сомнительною или покрытою чѣмъ-либо таинственнымъ.

Въ нынѣшнемъ вѣкѣ такимъ именемъ въ исторіи русскаго народа является имя великаго князя Константина Павловича. Связанныя съ именемъ этого великаго князя, декабрскія происшествія 1825-го года, сомнѣнія, возбужденныя декабристами относительно правъ вступленія на престолъ великихъ князей Константина или Николая Павловича, и другія связанныя съ этими событіями обстоятельства, извѣстія о коихъ проникали въ народъ въ извращенномъ видѣ, были, безъ сомнѣнія, причиною того, что имя великаго князя Константина Павловича явилось тѣмъ знаменемъ, подъ которое обыкновенно становился народъ въ сомнительныхъ случаяхъ своей исторической жизни и особенно въ то время, когда обстоятельства вынуждали его къ тому или другому протесту.

Такимъ образомъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ русскіе самозванцы

стали принимать имя великаго князя Константина Павловича, какъ въ XVIII-мъ или XVII-мъ вѣкѣ они принимали имена или императора Петра III или царевича Димитрія.

Въ августовской книжкѣ „Вѣстника Европы за 1862 годъ помѣщена статья г. Середы, въ которой, на основаніи одного архивнаго дѣла и народныхъ преданій, разсказывается о появленіи въ Оренбургской губерніи, въ 1845-мъ году, Лже-Константина. Крестьянскія волненія въ этомъ краѣ, усмиренныя жестокимъ наказаніемъ виновныхъ, породили въ народѣ убѣжденіе, что для разслѣдованія правоты крестьянъ непремѣнно долженъ пріѣхать „царевъ сродникъ,“ и дѣйствительно въ скоромъ времени появилась тамъ таинственная личность, въ простой солдатской шинели, которая и выдавала себя за великаго князя Константина Павловича. Хотя принятыя мѣстнымъ начальствомъ мѣры и остановили волненіе въ самомъ началѣ и хотя Лже-Константинъ скрылся, однако въ народѣ осталась увѣренность, что Константинъ живъ и рано ли, поздно ли, приметъ дѣятельное участіе въ судьбѣ бѣдныхъ крестьянъ.

Такая увѣренность крестьянъ не была мѣстнымъ появленіемъ и не составляла принадлежности крестьянъ одной Оренбургской губерніи. Напротивъ, убѣжденіе въ томъ, что Константинъ князь живъ и придетъ на спасеніе угнетенныхъ, такъ глубоко засѣло въ умы народа, что онъ лелѣялъ его до самой крестьянской реформы, именно до 19-го февраля 1861 года. Разскажемъ объ одномъ подобномъ самозванцѣ, явившемся въ Саратовской губерніи.

Въ 1826-мъ году, во время рождественскихъ святокъ, въ селѣ Ошметовкѣ появилась неизвѣстная личность, съ ко-

торою находились два солдата. По селу стали ходить слухи, что личность эта называетъ себя „непозволительнымъ именемъ“ и что находящіеся при ней солдаты „всѣхъ въ томъ увѣряютъ.“ Таинственная личность также одѣта была въ солдатское платье, но находящіеся при ней солдаты видимо оказывали ей „великое почтеніе, какое подобаетъ высокому лицу.“ Въ селѣ стали говорить, наконецъ, что таинственный человѣкъ, одѣтый въ солдатское платье, былъ „самъ царевичъ“ и что другіе солдаты были переодѣтые генералы. Пріѣхали они изъ сосѣдняго села на тройкѣ, и привезшій ихъ ямщикъ, на вопросъ крестьянъ, кого онъ привезъ, отвѣчалъ: „я привезъ вамъ благодать: ежели съумѣете заслужить, то вамъ великое добро будетъ.“ Крестьяне изъ любопытства стали толпиться около той избы, въ которой остановились пріѣзжіе, и все село встревожилось странными слухами, ходившими на счетъ пріѣзжихъ. Сельскія власти, неудомѣвая какъ имъ дѣйствовать и въ то же время боясь отвѣтственности въ случаѣ какого-либо недосмотра, на другой день отправились къ пріѣзжимъ. Тѣ сидѣли въ это время въ избѣ и пили чай. Когда староста вошелъ въ избу, его пригласили сѣсть и угостили чаемъ. Староста долго не смѣлъ приступить къ разспросамъ. Наконецъ онъ рѣшился коснуться этого щекотливаго дѣла стороной, боясь навлечь подозрѣніе или „какимъ своимъ неумысліемъ“ обидѣть пріѣзжихъ, въ случаѣ если они „точно знатныя лица, какъ объ оныхъ сказывали.

— Кто вы такіе будете? спросилъ староста.

— Кто мы будемъ, про то Богъ вѣдаетъ, а кто мы были, объ тѣмъ знаютъ въ Петербургѣ, отвѣчалъ одинъ изъ

стали принимать имя великаго князя Константина Павловича, какъ въ XVIII-мъ или XVII-мъ вѣкѣ они принимали имена или императора Петра III или царевича Димитрія.

Въ августовской книжкѣ „Вѣстника Европы за 1862 годъ помѣщена статья г. Середы, въ которой, на основаніи одного архивнаго дѣла и народныхъ преданій, разсказывается о появленіи въ Оренбургской губерніи, въ 1845-мъ году, Лже-Константина. Крестьянскія волненія въ этомъ краѣ, усмиренныя жестокимъ наказаніемъ виновныхъ, породили въ народѣ убѣжденіе, что для разслѣдованія правоты крестьянъ непремѣнно долженъ пріѣхать „царевъ сродникъ,“ и дѣйствительно въ скоромъ времени появилась тамъ таинственная личность, въ простой солдатской шинели, которая и выдавала себя за великаго князя Константина Павловича. Хотя принятыя мѣстнымъ начальствомъ мѣры и остановили волненіе въ самомъ началѣ и хотя Лже-Константинъ скрылся, однако въ народѣ осталась увѣренность, что Константинъ живъ и рано ли, поздно ли, приметъ дѣятельное участіе въ судьбѣ бѣдныхъ крестьянъ.

Такая увѣренность крестьянъ не была мѣстнымъ появленіемъ и не составляла принадлежности крестьянъ одной Оренбургской губерніи. Напротивъ, убѣжденіе въ томъ, что Константинъ князь живъ и придетъ на спасеніе угнетенныхъ, такъ глубоко засѣло въ умы народа, что онъ лелѣялъ его до самой крестьянской реформы, именно до 19-го февраля 1861 года. Разскажемъ объ одномъ подобномъ самозванцѣ, явившемся въ Саратовской губерніи.

Въ 1826-мъ году, во время рождественскихъ святокъ, въ селѣ Ошметовкѣ появилась неизвѣстная личность, съ ко-

торою находились два солдата. По селу стали ходить слухи, что личность эта называетъ себя „непозволительнымъ именемъ“ и что находящіеся при ней солдаты „всѣхъ въ томъ увѣряютъ.“ Таинственная личность также одѣта была въ солдатское платье, но находящіеся при ней солдаты видимо оказывали ей „великое почтеніе, какое подобаетъ высокому лицу.“ Въ селѣ стали говорить, наконецъ, что таинственный человѣкъ, одѣтый въ солдатское платье, былъ „самъ царевичъ“ и что другіе солдаты были переодѣтые генералы. Пріѣхали они изъ сосѣдняго села на тройкѣ, и привезшій ихъ ямщикъ, на вопросъ крестьянъ, кого онъ привезъ, отвѣчалъ: „я привезъ вамъ благодать: ежели съумѣете заслужить, то вамъ великое добро будетъ.“ Крестьяне изъ любопытства стали толпиться около той избы, въ которой остановились пріѣзжіе, и все село встревожилось странными слухами, ходившими на счетъ пріѣзжихъ. Сельскія власти, неудомѣвая какъ имъ дѣйствовать и въ то же время боясь отвѣтственности въ случаѣ какого-либо недосмотра, на другой день отправились къ пріѣзжимъ. Тѣ сидѣли въ это время въ избѣ и пили чай. Когда староста вошелъ въ избу, его пригласили сѣсть и угостили чаемъ. Староста долго не смѣлъ приступить къ разспросамъ. Наконецъ онъ рѣшился коснуться этого щекотливаго дѣла стороной, боясь навлечь подозрѣніе или „какимъ своимъ неумысліемъ“ обидѣть пріѣзжихъ, въ случаѣ если они „точно знатныя лица, какъ объ оныхъ сказывали.

— Кто вы такіе будете? спросилъ староста.

— Кто мы будемъ, про то Богъ вѣдаетъ, а кто мы были, объ тѣмъ знаютъ въ Петербургѣ, отвѣчалъ одинъ изъ

солдатъ;—но только не тотъ, который „отъ нихъ за кого-либо *иного* почитаемъ былъ.“

Этотъ „иной“ сидѣлъ молча и читалъ какую-то книгу. Послѣ оказалось по слѣдствію, что это были „святцы церковной печати.“

Староста, между тѣмъ, далъ понять таинственнымъ гостямъ, что съ него начальство очень строго взыщетъ, если онъ по своей „крестьянской темнотѣ“ сдѣлаетъ что-ли не такъ, какъ законъ велитъ.

— Я вамъ дамъ другіе законы - легкіе, сказалъ тотъ, который читалъ книгу, а потомъ спросилъ:—кто у васъ губернаторъ?

Староста назвалъ фамилію губернатора.

— Вашего губернатора я знаю, сказалъ читавшій книгу проѣзжій: - онъ у меня бывалъ во дворцѣ, въ Петербургѣ.

Такъ показывали на слѣдствіи, при допросахъ, сельскія власти названнаго села. Десятскій же Архиповъ показалъ, что дѣло происходило не совсѣмъ такъ. Когда староста спросилъ пріѣзжихъ: „Кто вы такіе?“—тѣ отвѣчали:

— Не вамъ насъ спрашивать и не намъ вамъ отвѣчалъ.

Когда же староста настаивалъ на томъ, чтобъ они сказали о себѣ правду, а иначе онъ будетъ отвѣчать передъ начальствомъ и губернаторомъ, тотъ, котораго считали главнымъ между пріѣзжими, сказалъ:

— Я вашего губернатора въ бараній рогъ согну.

Въ другой разъ на какое-то замѣчаніе десятскаго о губернаторѣ, онъ высказалъ „съ сердцемъ“:

— У меня въ Петербургѣ такіе, какъ вашъ губернаторъ, у порога стоятъ и, стоя на одной половицѣ, руки по швамъ держутъ.

Понятно, что все это ставило сельскія власти въ большое недоумѣніе, и „отъ робости“ они не знали, что имъ дѣлать, какъ потомъ показывали на допросахъ. Хотя они не вполнѣ вѣрили словамъ проѣзжихъ, однако, не могли, да и не смѣли уличать ихъ въ обманѣ, во-первыхъ, потому что не знали, какъ это сдѣлать, а во-вторыхъ, потому что, по своей „крестьянской темнотѣ,“ могли предполагать въ проѣзжихъ дѣйствительно что-либо важное. Они боялись настойчиво требовать отъ нихъ доказательства того, кто они такіе, и въ то же время соображали, что если эти люди пріѣхали свободно изъ сосѣдняго села, и если въ томъ селѣ не только ихъ не остановили, но привезшій ихъ ямщикъ говорилъ даже, что „привезъ благодать,“ то, быть можетъ, и въ самомъ дѣлѣ тутъ кроется какая-нибудь „благодать.“ Самовольнымъ же задержаніемъ или арестованіемъ неизвѣстныхъ людей они, какъ имъ казалось, могли навлечь на себя великую бѣду, логда проѣзжіе не стѣсняясь говорили, какъ власть имѣющіе, что имъ ничего не стоитъ согнуть въ бараній рогъ губернатора и что губернаторы у нихъ въ Петербургѣ дальше порога ступить не смѣютъ.

Какъ бы то ни было, сельскія власти села Ошметова не приняли никакихъ мѣръ къ задержанію подозрительныхъ людей и вообще, какъ видно, не обратили на это обстоятельство особеннаго вниманія. Однако, какъ оказалось по слѣдствію, крестьяне довольно горячо приняли извѣстіе о томъ, что къ нимъ въ село пріѣхалъ царевичъ, хотя тѣмъ не менѣе понимали, что это важное для нихъ событіе слѣдуетъ до поры до времени хранить въ тайнѣ, какъ это имъ и приказано было отъ мнимаго царевича. Когда на дворъ начали приходить любопытствующіе крестьяне, мнимые генера-

лы объявили имъ, что о проѣздѣ „великой особы“ они не должны разглашать, чтобъ о томъ не дошло до начальства, а въ особенности до губернатора, такъ-какъ „великая особа„ разъѣзжаетъ теперь тайно, съ цѣлью—лично узнать на мѣстѣ, какимъ обидамъ отъ начальниковъ подвергается простой народъ, чтобы потомъ всѣхъ „неправыхъ“ начальниковъ, а также и губернатора смѣнить и наказать. Когда же, вслѣдствіе этого, нѣкоторые изъ крестьянъ, по своей „простотѣ и глупости,“ какъ сами потомъ признавались слѣдственному чиновнику, стали заявлять мнимымъ генераламъ свои жалобы „на бѣдность,“ послѣдніе отвѣчали имъ, что находящаяся съ ними великая особа пришлетъ въ нимъ „вѣрныхъ“ чиновниковъ, которые и разберутъ все по божески.

Къ вечеру того же для мнимый царевичъ вмѣстѣ съ своими двумя спутниками выѣхалъ изъ Ошметова. Хозяину, у котораго онъ останавлинался, подарилъ онъ полтинникъ, и когда тотъ отказывался отъ денегъ, мнимый царевичъ сказалъ, что за его хлѣбъ-соль онъ наградитъ хозяина милостиво, когда придетъ время ему „открыться передъ всѣми,“ но что пока оставляетъ гостепріимному хозяину этотъ полтинникъ съ тѣмъ, чтобы мужикъ его помнилъ и молился о его здравіи. Выѣхалъ самозванецъ изъ Ошметовки на обывательскихъ лошадяхъ, и съ тѣхъ поръ ни его самаго, ни его спутниковъ никто въ Ошметовкѣ не видѣлъ.

II.

Такъ прошло болѣе полугода, и слухи о царевичѣ замолкли. Знали ли мѣстныя губернскія власти о появленіи и

исчезновеніи самозванца, принимали ли какія-либо мѣры къ отысканію его—изъ имѣющихся у насъ свѣдѣній не видно. Можно только полагать съ достовѣрностью, что изъ Ошметовки ни до одного города, ни до губернскаго, ни до уѣзднаго, не дошли оффиціальнымъ путемъ вѣсти о событіи, которое, повидимому, и крестьяне стали мало-по-малу забывать.

Между тѣмъ, лѣтомъ слѣдующаго года взбунтовалось одно большое село Балашовскаго уѣзда, населенное малороссіянами, именно Романовка. Село это всегда отличалось неповиновеніемъ. Сначала бунтъ имѣлъ совершенно пассивный характеръ: крестьяне уклонялись и отъ работъ въ пользу помѣщика и отъ всякаго оброка. Между тѣмъ, они имѣли постоянныя сходки и таинственныя совѣщанія, на которыя не допускались сельскія власти. Такъ-какъ за прежнее время на нихъ накопилась значительная недоимка, то они добивались разными уловками, чтобъ эта недоимка была съ нихъ сложена. Для этого они тайно требовали отъ экономическаго конторщика, чтобы онъ или отдалъ имъ экономическія конторскія книги, или уничтожилъ бы ихъ; но когда онъ этого не сдѣлалъ, нѣкоторые изъ крестьянъ ночью забрались въ контору и, связавъ конторщика, требовали отъ него выдачи книгъ. Конторщикъ и въ этомъ случаѣ остался непреклоннымъ и не сказалъ крестьянамъ, гдѣ у него спрятаны книги.

Тогда одинъ изъ бунтовщиковъ сказалъ своимъ товарищамъ:

— Зачѣмъ мы его связали? Пускай они подавятся своими книгами, а мы денегъ платить не станемъ.

Другой изъ бунтовщиковъ говорилъ при этомъ:

— Намъ старыхъ книгъ не надо: у насъ скоро будутъ новыя книги, бѣлыя.

Когда же конторщикъ сказалъ, что за неповиновеніе и ночной грабежъ бунтовщиковъ сошлютъ въ Сибирь, то первый изъ помянутыхъ крестьянъ отвѣчалъ:

— Мы вашей Сибири не боимся: теперь отъ насъ государь ближе, чѣмъ отъ васъ губернаторъ.

— Какой государь? спросилъ конторщикъ, котораго удивили послѣднія слова крестьянина:—государь императоръ въ Петербургѣ и вашего дѣла не знаетъ.

— Былъ государь въ Петербургѣ, а теперь въ Романовкѣ, отвѣчалъ крестьянинъ.

Конторщикъ впослѣдствіи показывалъ, что онъ не обратилъ вниманія на послѣднія слова крестьянина, полагая, что они сказаны имъ „съ пьяну и съ глупости.“

При всемъ томъ о неповиновеніи крестьянъ и о нападеніи на конторщика доведено было до свѣдѣнія мѣстной полицейской власти. Но пока исправникъ прибылъ въ Романовку, крестьяне еще болѣе ожесточились и бунтъ изъ пассивнаго сопротивленія перешелъ въ угрозы, а сходки начали происходить открыто. Одни изъ крестьянъ настаивали на томъ, чтобы выбрать изъ своей среды ходаковъ и послать въ Петербургъ; другіе утверждали, что въ Петербургъ посылать незачѣмъ, что „законъ самъ къ нимъ придетъ;“ третьи, наконецъ, требовали отправленія гонца къ губернатору, чтобы увѣдомить его о томъ, что если онъ не приметъ сторону крестьянъ, то ему „на мѣстѣ не усидѣть.“ Однако, ни ходаковъ, ни гонцовъ никуда не отправили, а продолжали шумѣть дома и, повидимому, не рѣшались ни на какія мѣры. Впрочемъ, никого изъ сельскихъ экономи-

ческихъ начальниковъ не обижали, можетъ быть собственно потому, что и начальники ихъ не трогали.

Чрезъ нѣсколько дней прибылъ исправникъ. Крестьяне встрѣтили его мирно, и когда онъ оповѣстилъ сходку, на сходку явилось почти все село. Хотя собраніе было шумно, но безпорядковъ и буйства никто не затѣвалъ, только при появленіи исправника крестьяне видимо не хотѣли снимать шапокъ.

Исправникъ спросилъ стоявшихъ впереди стариковъ:

— Вы чѣмъ недовольны?

— Мы всѣмъ довольны, отвѣчали старики.

— По какому же поводу вы не повинуетесь начальникамъ?

— Начальниковъ мы слушаемъ, а что они не по закону приказываютъ, того исполнять не хотимъ, говорили крестьяне.

— Что же они не по закону вамъ приказываютъ? спрашивалъ исправникъ.

— Они дѣлаютъ неправильные начеты, говорили одни.

— У нихъ фальшивыя книги, кричали другіе.

Въ толпѣ слышны были крики: „они воруютъ у насъ дни"... „они утаиваютъ нашъ оброкъ!"

Исправникъ обѣщалъ разобрать дѣло и обнаружить злоупотребленія, если они дѣйствительно существовали. Но недовольные, прикрываясь въ толпѣ другъ другомъ, начали „свистать и уськать на г. исправника, какъ на собаку," по выраженію полицейскаго управленія, а нѣкоторые кричали:

— Поздно разбирать дѣло! Мы его сами разобрали.

Старики, которые стояли впереди круга, составлявшаго крестьянскую сходку, обращались назадъ къ недовольнымъ крикунамъ и просили ихъ не шумѣть. Но крикуны обладали

самихъ стариковъ, выговаривая имъ укоризненно: „Ѣсть бы вамъ лучше кашу, а въ громадское дѣло не мѣшаться.“

Обиженные этими возгласами старики приняли сторону исправника. Къ нимъ присоединились и другіе крестьяне, менѣе раздраженные, и такимъ образомъ вся громада раздѣлилась на двѣ партіи. Исправникъ, который началъ было терять присутствіе духа и не зналъ, какъ ему благополучно выбраться изъ громадскаго круга, ободрился разноголосицей громады и требовалъ, чтобы недовольные выступили впередъ для объясненія своихъ претензій. Этимъ способомъ онъ намѣревался узнать имена коноводовъ движенія, чтобы, записавъ ихъ, поступить съ бунтовщиками по закону. Но крестьяне поняли уловку исправника и не выдавали своихъ зачинщиковъ и совѣтниковъ.

— Кто изъ васъ хочетъ говорить со мною? спрашивалъ исправникъ:—выходи впередъ!

— Никто не хочетъ съ тобою говорить, слышались голоса изъ толпы: - мы знаемъ, *съ кѣмъ* говорить.

Тогда исправникъ приказалъ согласной съ нимъ партіи силою ввести въ кругъ зачинщиковъ. Но крестьяне не рѣшались выдавать своихъ товарищей, и когда исправникъ взялъ съ собой двухъ полицейскихъ служителей и одного крестьянина, чтобы по указанію послѣдняго схватить въ толпѣ зачинщиковъ смуты и крикуновъ, крестьяне смыкались въ густые ряды и исправникъ не могъ выйдти изъ громадскаго круга. Однако, и въ этомъ случаѣ крестьяне дѣйствовали осторожно, съ полнымъ сознаніемъ того, что бунтовать не слѣдуетъ, то-есть опять-таки бунтовали, такъ сказать, пассивно, какъ это почти всегда дѣлается во время крестьянскихъ смутъ, когда бунтовщики еще не выведены

изъ своей спокойной самоувѣренности какою-либо слишкомъ рѣзкою мѣрою или ошибкою начальства, въ родѣ превышенія власти, забывчивости въ пылу спора и т. п. Когда полицейскіе служители силились протискаться въ толпу, чтобы взять тамъ крикуна, котораго движеніе или задирчивый голосъ они запримѣтили, крестьяне стояли, какъ вкопаные въ землю и ни одинъ изъ нихъ даже не оттолкнулъ отъ себя полицейскаго. Только когда полиціанты хватали замѣченную ими личность за руки и старались притащить къ исправнику, прочіе крестьяне держали эту жертву сзади, не позволяя ей двинуться съ мѣста, или разступались, давая ей возможность укрыться за своими спинами, и такимъ образомъ всякій разъ полицейскіе встрѣчали въ толпѣ пассивное сопротивленіе, но на буйство и насиліе не могли пожаловаться.

При всемъ томъ, хотя со стороны крестьянъ не было ни буйства, ни насилія, однако положеніе исправника становилось въ высшей степени щекотливымъ. Отъ крестьянъ онъ не могъ ничего добиться, и такимъ образомъ пріѣздъ его долженъ былъ казаться ему самому или неумѣстнымъ, или по малой мѣрѣ безполезнымъ. Крестьяне повидимому и не бунтовали, но въ то же время не хотѣли и говорить съ нимъ о томъ дѣлѣ, по которому собственно и пріѣхалъ къ нимъ представитель уѣздной власти. Крестьяне не хотѣли даже, чтобъ исправникъ вмѣшивался въ ихъ дѣло, говоря: „поздно разбирать дѣло; мы его сами давно разобрали.“ Но какъ бы то ни было, представитель мѣстной власти, по своей прямой обязанности, долженъ былъ непремѣнно разобрать дѣло на мѣстѣ и по возможности уладить эти серьезныя столкновенія крестьянъ съ ихъ экономическимъ начальствомъ, тѣмъ болѣе, что отъ неповиновенія крестьянъ стра-

дала владѣльческая экономія, а между тѣмъ ходили смутные слухи, что въ этомъ начинающемся бунтѣ виновато чье-то тайное подстрекательство, что даже не крикуны были дѣйствительными зачинщиками смуты, а кто-то другой, о которомъ крестьяне умалчивали, хотя два-три голоса неосторожно выкрикнули на сходкѣ, что, не желая говорить съ исправникомъ, они „знаютъ *съ кѣмъ* говорить.“ Съ кѣмъ же? Исправникъ слышалъ эти возгласы, но почему-то не спросилъ крестьянъ, *кого* именно разумѣютъ они подъ тѣмъ, *съ кѣмъ* намѣрены говорить о своемъ дѣлѣ: или онъ не нашелся что сказать, или считалъ небезопаснымъ заговаривать съ раздраженными крестьянами о такомъ предметѣ, который, какъ вѣроятно, и онъ самъ догадывался, можетъ быть затронутъ только тогда, когда мѣстная власть будетъ чувствовать себя болѣе сильною. Конечно, напуганный исправникъ не могъ не догадаться, что крестьяне, державшіе себя до сихъ поръ довольно тихо, могли разразиться взрывомъ, и тогда для исправника не было никакого спасенія.

Такъ, по крайней мѣрѣ, мы должны понимать его дѣйствія въ этой смутѣ, не имѣя другихъ, болѣе опредѣленныхъ, указаній. Въ бумагахъ же, относящихся къ этой смутѣ, мы нашли только голые факты и краткія, иногда разнорѣчивыя показанія той и другой стороны. Впрочемъ, изъ бумагъ видно, что до сихъ поръ никѣмъ еще не было упомянуто имени самозванца, кромѣ развѣ того, что, во время ночнаго нападенія на квартиру конторщика, крестьяне, связавшіе этого послѣдняго и старавшіеся вынудить его отдать имъ конторскія книги, проговорились, что „государь теперь въ Романовкѣ.“ Но конторщикъ сдѣлалъ это показаніе уже

гораздо позже, а можетъ быть и самъ выдумалъ его, когда всѣ заговорили о самозванцѣ.

Но, какъ ни было опасно положеніе исправника, тѣмъ не менѣе онъ долженъ былъ такъ или иначе дѣйствовать, чтобъ не дать крестьянамъ замѣтить униженія, въ которое онъ былъ поставленъ. Обращаясь къ старикамъ, онъ сказалъ, что разсмотритъ конторскія книги и отберетъ показанія какъ отъ крестьянъ, такъ и отъ экономической конторы. Но крестьяне не дали ему договорить и „съ артомъ“ закричали:

— Вы заодно съ конторой плутуете!

— Тебѣ контора кума: ты съ нею всѣхъ нашихъ гусей и индюшекъ перевелъ ([1]).

— Поѣзжай съ богомъ домой, пока цѣлъ, шумѣли прочіе крестьяне.

Такимъ образомъ первая поѣздка полицейскихъ властей въ Романовку не привела ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Власти могли только донести по начальству, что крестьяне упорствуютъ въ своемъ неповиновеніи, что исправника почти силой вынудили уѣхать изъ села и что даже самая жизнь его подвергалась опасности, еслибы старики не остановили бунтовщиковъ.

Но о самозванцѣ и теперь еще ничего не было сказано въ бумагахъ, хотя все это было его дѣло, какъ окажетс явпослѣдствіи.

Всѣ эти обстоятельства вынуждали мѣстное начальство

([1]) Во время слѣдствія нѣкоторые показали, что это обвиненіе (будто исправникъ вмѣстѣ съ экономическою конторою поѣли всѣхъ крестьянскихъ гусей и индюшекъ) сказано было отставнымъ солдатомъ Гриценкомъ, а не крестьянами.

принять энергическія мѣры для подавленія крестьянскаго волненія въ Романовкѣ, такъ-какъ оно непремѣнно должно было отразиться подобными же волненіями и въ прочихъ мѣстахъ, какъ только распространился бы въ сельскомъ населеніи слухъ о романовскихъ смутахъ. Крестьянскія волненія вообще заразительны, и какъ бы изъ подражанія цѣлыя мѣстности начинаютъ волноваться потому только, что изъ какого-нибудь села выйдетъ слухъ, будто крестьянъ зарываютъ живыми въ землю за то, что они не хотятъ сѣять картофель (1) или что какой нибудь льготный указъ припрятали становые по единомыслію съ господами и не объявляютъ о немъ крестьянамъ. Эти явленія весьма обыкновенныя, въ исторіи народныхъ движеній какъ прошлаго, такъ и нынѣшняго вѣка.

Военная команда прибыла въ Романовку въ самое рабочее время. Крестьяне большею частью находились на поляхъ, и потому солдаты свободно расположились квартирами въ селеніи, и по обыкновенію, стали истреблять крестьянскихъ гусей, индѣекъ, куръ и барановъ. Крестьяне повидимому были сильно смущены появленіемъ въ ихъ селѣ военной силы, тѣмъ болѣе, что всѣ они чувствовали себя виновными передъ мѣстными властями. Тотчасъ же оповѣщено было, чтобы всѣ крестьяне собирались на сходку. Испуганные крестьяне медлили сборомъ. Нѣкоторые изъ нихъ, остававшіеся въ селѣ во время вступленія въ нее команды „съ барабаннымъ боемъ," до того упали духомъ, что побросали свое хозяйство, дома, дѣтей, и бѣжали въ села, думая скрываться до тѣхъ поръ, пока не кончится дѣло, принявшее такой крутой оборотъ, и

---

(1) Такъ называемымъ крестьянскимъ картофельнымъ бунтамъ, мы намѣрены посвятить особое изслѣдованіе.

пока солдаты со всѣми прочими властями не оставятъ Романовки. Другіе же, возвращаясь съ полей и находя у себя на дворѣ солдатъ, тихонько опять возвращались въ поля. Третьи, наконецъ, хотя и не прятались, но на сходку неохотно собирались. Тогда оповѣщено было, что всѣхъ неявившихся на сходку запишутъ по домамъ, и тогда поступлено будетъ съ ними какъ съ прямыми ослушниками указовъ и бунтовщиками.

Въ виду такихъ угрозъ крестьяне должны были повиноваться. Но, какъ и слѣдовало ожидать, на сходку явились только тѣ, которые считали себя или вовсе невиновными или сравнительно мало виновными; тѣ же, которыя сами понимали, что на нихъ обрушится вся тяжесть обвиненія, или тѣ, которые болѣе всего кричали во время послѣдней сходки въ присутствіи исправника, уклонились отъ сходки, иные изъ нихъ долго скрывались въ окрестностяхъ, третьи пустились въ бѣга, а были и такіе, которые пропали безъ вѣсти, по крайней мѣрѣ этихъ пропавшихъ долго разыскивали и не могли отыскать.

Когда сходка собралась и исправникъ вмѣстѣ съ начальникомъ военной команды, чиновникомъ, присланнымъ отъ губернатора, и нѣсколькими солдатами съ барабанщикомъ вступили въ громадскій кругъ, крестьяне сняли шапки и нѣкоторые изъ нихъ перекрестились. Исправникъ требовалъ, чтобъ крестьяне указали на зачинщиковъ смуты. Крестьяне говорили, что они невиноваты.

— Выдавайте зачинщиковъ, повторилъ губернаторскій чиновникъ.

— У насъ нѣтъ зачинщиковъ, отвѣчали крестьяне.

— Выдавайте, настаивалъ чиновникъ: — въ противномъ же случаѣ васъ всѣхъ пересѣкутъ.

— Сѣките — ваша воля; а мы невиноваты.

Когда чиновникъ распорядился, чтобъ подвезли розги, которыми наполнена была телега, стоявшая на конторскомъ дворѣ, нѣкоторые изъ крестьянъ бросились бѣжать.

— Стойте, кричалъ начальникъ команды: — законъ повелѣваетъ стрѣлять въ ослушниковъ, и я прикажу стрѣлять въ васъ.

Испуганные старики просили громаду остановиться, потому что бѣгствомъ они всѣхъ погубятъ. Но крестьяне продолжали быстро расходиться, и начальникъ команды приказалъ барабанщику бить сборъ.

Едва раздался бой барабана, какъ крестьяне, прежде столь робкіе, но теперь увлекаемые чувствомъ самосохраненія, бросились къ ближайшимъ плетнямъ и въ мгновеніе разобрали ихъ, выдергивая колья и вооружаясь ими. Иные кричали: „У насъ у самихъ есть ружья и мы тоже будемъ стрѣлять.“ Быстро двигались къ мѣсту собранія солдаты и, по командѣ офицера, старались оцѣпить крестьянъ. Въ это время на колокольнѣ раздался набатный колоколъ, въ который ударили бѣжавшіе съ сходки крестьяне, вѣроятно желая набатомъ вызвать въ село всѣхъ, кто былъ въ полѣ или скрывался. Начальникъ команды приказывалъ крестьянамъ, чтобъ они побросали колья. Тѣ не слушались. Онъ грозилъ, что сейчасъ скомандуетъ къ ружью. Крестьяне продолжали держать колья.

Тогда начальникъ скомандовалъ и солдаты подняли ружья.

Онъ скомандовалъ къ прицѣлу. Минута была рѣшительная. Нѣкоторые изъ крестьянъ побросали колья. Другіе кри-

чали: „Стрѣляй, душегубъ.“ Видно было, что нѣкоторые изъ ожесточенныхъ крестьянъ готовы были броситься или на солдатъ или на начальниковъ („съ своей стороны вознамѣрились атаковать ихъ,“ какъ говорится въ бумагахъ). Оставалось только сказать послѣднее слово команды или махнуть платкомъ.

Старики упали на колѣни и просили пощады и за себя и за другихъ провинившихся. Со всѣхъ сторонъ сбѣгались женщины и дѣти съ плачемъ. Солдаты продолжали стоять съ поднятыми ружьями, цѣлясь въ крестьянъ, и ожидая команды. Но команды, къ счастью, не послѣдовало, а напротивъ, по условному знаку, данному командиромъ, солдаты опустили ружья. Крестьяне съ своей стороны начали бросать колья и подвигаться къ полукругу, образованному стариками и другими крестьянами около начальства.

Первый пылъ прошелъ и настала болѣе спокойная разборка дѣла. Крестьяне говорили, что они невиноваты ни въ чемъ; но когда начальники опять стали требовать или выдачи, или указанія зачинщиковъ и подстрекателей, крестьяне увѣряли ихъ, что съ ними нѣтъ ни зачинщиковъ, ни подстрекателей, что если они и были, то теперь они никого изъ нихъ не видятъ на сходкѣ, что они вѣроятно скрылись. Крестьяне доказывали свою невинность тѣмъ, что они не прятались, а сами пришли въ громаду, а что, въ противномъ случаѣ, еслибъ они дѣйствительно были бунтовщики, то вышли бы на сходку вооруженные кто чѣмъ могъ и встрѣтили бы солдатъ тоже съ ружьями, коихъ въ селѣ у крестьянъ, производящихъ охоту на звѣрей и птицъ, имѣется значительное количество.

Какъ бы то ни было, по указанію конторы взяты были

нѣкоторые изъ крестьянъ и на сходкѣ, при всемъ народѣ, высѣчены. Но и при этомъ они продолжали выражать жалобы, что начальство экономическое (помѣщичьи приказчики и конторщики) притѣсняетъ ихъ и вообще обременяетъ излишними работами и незаконными поборами, что отдача въ рекруты изъ ихъ села производится неправильно, что брѣютъ бѣдныхъ и одиночекъ, а богатыхъ оставляютъ дома и освобождаютъ отъ солдатства помимо всякой очереди, что не позволяютъ пахать для посѣва удобную землю, а отдаютъ крестьянамъ неудобную, тайно отъ владѣльца уступая постороннимъ арендаторамъ и другимъ съемщикамъ тѣ земли, которыя, по праву, должны бы быть запаханы романовскими крестьянами, и что, наконецъ, оброчныя конторскія книги ведутся неправильно, къ явному притѣсненію крестьянъ. Для удовлетворенія крестьянскихъ претензій приняты были надлежащія мѣры, но привели ли эти мѣры къ искомому крестьянами результату, ни откуда этого не видно, а всего скорѣе надо полагать, что ни къ чему не привели, такъ какъ и по настоящее время въ Романовкѣ крестьянскія смуты не прекращаются, хотя и нѣтъ недостатка въ энергическихъ мѣрахъ со стороны мѣстныхъ губернскихъ властей къ успокоенію умовъ обитателей этого безпокойнаго села ([1]).

Волненіе романовскихъ крестьянъ не имѣло дальнѣйшихъ серьезныхъ послѣдствій.

([1]) Такъ, еще недавно, именно въ прошломъ 1868 году, по случаю недоразумѣнія между крестьянами этого села и владѣльческою экономіею относительно земельнаго надѣла, для усмиренія Романовки посылались военныя команды.

III.

Мы сказали выше, что когда три неизвѣстныя личности, изъ которыхъ одну называли „царевичемъ,“ скрылись изъ села Ошметовки, никто не могъ сказать, куда онѣ дѣвались. Ошметовскій ямщикъ, съ которымъ они выѣхали изъ этого села, показывалъ, что они оставили его въ селѣ Сердобѣ, среди базара. По собраннымъ же потомъ справкамъ, въ Сердобѣ ихъ никто не видѣлъ, а можетъ быть и многіе видѣли, но во время слѣдствія признаваться въ томъ боялись.

Такимъ образомъ слѣды самозванцевъ были на время потеряны.

Но въ концѣ великаго поста 1827 года, на самой страстной недѣлѣ, въ Романовкѣ появились три солдата, которые, всѣмъ видимостямъ, были тѣ же самые, что̀ своимъ появленіемъ надѣлали шуму въ Ошметовкѣ и встревожили мѣстныя сельскія власти. За кого выдавали они себя и какъ вошли въ довѣріе къ крестьянамъ—неизвѣстно; но слѣдуетъ предполагать, что въ Романовкѣ они дѣйствовали гораздо осторожнѣе, чѣмъ въ Ошметовкѣ и тѣмъ отвлекли отъ себя преждевременныя подозрѣнія. Въ Романовкѣ они, какъ видно, не тотчасъ же разгласили, что между ними находится „высокая особа“, что самъ „царевичъ“ разъѣзжаетъ тайно по Россіи, чтобъ секретно ознакомиться съ нуждами и тяготами своего народа для избавленія этого народа отъ нужды и для защиты отъ притѣсненія сильныхъ, богатыхъ и начальствую-

щихъ людей. Такъ, по крайней мѣрѣ, можно судить по тому, что романовскія власти ничего не знали о пребываніи въ ихъ селѣ мнимаго царевича и такихъ важныхъ гостей, какъ его самозванные генералы, тогда какъ въ Ошметовкѣ, въ первый же день пріѣзда ихъ, народъ уже толковалъ, что къ нимъ въ село наѣхала „благодать,“ и толпился около двора, гдѣ остановились бродяги.

Со времени прибытія самозванца въ Романовку сначала незамѣтно было никакого волненія между крестьянами; но въ маѣ мѣсяцѣ уже начались безпокойства, и съ тѣхъ поръ дерзость крестьянъ возрастала съ каждымъ днемъ. Тутъ же начались и таинственныя крестьянскія сходки, но не на улицѣ, не около конторы, а по домамъ, безъ вѣдома экономическихъ властей. Оказалось, что крестьянъ мутили прибывшіе въ село три солдата, проживавшіе тамъ тайно отъ властей. Они сначала говорили стороной, что находящаяся съ ними особа имѣетъ власть всѣхъ миловать и казнить, и что они, видя притѣсненія, дѣлаемыя крестьянамъ, намѣрены „подумать съ ними“ о ихъ дѣлѣ, узнать всю правду и потомъ рѣшить это дѣло такъ, чтобы „праваго не обидѣть.“ Но когда крестьяне спрашивали ихъ, кто они такіе, они отвѣчали, что имъ „заказано говоритъ“ это отъ того третьяго лица, которое находится вмѣстѣ съ ними, пока изъ Петербурга не дадутъ ему знать, что „насталъ часъ открыться всей Россіи, кто онъ есть и для чего онъ теперь не на своемъ мѣстѣ.“ Самозванецъ же въ это время нигдѣ не показывался и почти не выходилъ изъ пустой хибарки отставнаго солдата Дениса Руденкова, гдѣ онъ проживалъ, проводя бо́льшую часть времени въ чтеніи священныхъ книгъ. Затѣмъ мнимые генералы открыли Руденкову, подъ глубо-

чайшей тайной, что у него проживаетъ самъ великій князь Константинъ Павловичъ, который, будто бы, по случаю бывшаго въ Петербургѣ бунта, долженъ нѣкоторое время скрываться, такъ какъ враги его намѣрены были погубить великаго князя и для этого подучили поляковъ, что великій князь, проживавшій до того времени въ Польшѣ, уѣхалъ оттуда тайно и намѣренъ воротиться въ Петербургъ, когда можно будетъ „открыться всей Россіи.“

Руденковъ пожелалъ видѣть самозванца, и былъ введенъ къ нему въ хибарку.

— Ты гдѣ служилъ, любезный? спросилъ его самозванецъ.

— Въ Петербургѣ, въ павловскомъ полку, отвѣчалъ Руденковъ.

— Такъ ты нашу царскую фамилію часто видѣлъ?

— Когда на караулѣ стоялъ, то сподобился видѣть.

— Такъ ты меня признаешь? спросилъ самозванецъ.

Руденковъ молчалъ.

— Я великій князь Константинъ Павловичъ. Призналъ ты меня?

— Теперь признаю, ваше высочество, отвѣчалъ Руденденковъ, который „отъ робости не зналъ что говорить“ (1).

Самозванецъ объявилъ о себѣ то же, что говорили и его мнимые генералы, и запрещалъ доносить по начальству. Ме-

---

(1) Когда слѣдственный чиновникъ спрашивалъ впослѣдствіи Руденкова, почему онъ въ свое время не объявилъ о самозванцѣ по начальству, тотъ отвѣчалъ, что «сдѣлалъ то отъ великой робости, ибо великаго князя въ лицо не помнитъ», а потому «опасался донести ошибочно, при томъ же названный человѣкъ (самозванецъ) ему настрого запретилъ объявлять о себѣ».

жду тѣмъ нѣкоторые изъ крестьянъ провѣдали, можетъ быть отъ самыхъ же спутниковъ самозванца или отъ Руденкова, что въ ихъ селѣ находится великій князь, и съ тѣхъ поръ въ Романовкѣ начались безпокойства, о которыхъ мы говорили выше. Нѣкоторые изъ крестьянъ были допущены къ самозванцу, говорили съ нимъ, и отъ него самого слышали, что „скоро онъ всѣхъ ихъ отберетъ отъ помѣщиковъ,“ что съ государемъ они „давно обдумали“ это дѣло, но приведутъ его въ исполненіе такъ, чтобъ помѣщики не могли „помѣшать“ имъ въ этомъ.

Вслѣдствіе этого крестьяне, полные надеждъ, начали смѣлѣе относиться къ своимъ сельскимъ начальникамъ, отказывались исполнять ихъ требованія, не выходили на работы, когда того требовалъ нарядъ, пріостановили взносъ оброковъ и наконецъ дошли до явнаго бунта, когда на сходкѣ укоризненно относились къ исправнику и ругали его въ глаза.

Въ то время, когда исправникъ въ первый разъ пріѣхалъ въ Романовку, самозванецъ, какъ оказывается, былъ еще въ этомъ селѣ. Его присутствіе, безъ сомнѣнія, и побуждало крестьянъ дѣйствовать дерзко и грозить своимъ властямъ. Оттого они говорили, что отъ нихъ „государь ближе, чѣмъ губернаторъ,“ что они „знаютъ, *съ кѣмъ* говорить“ имъ о своемъ дѣлѣ. Но пріѣздъ исправника вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ важныя послѣдствія. Когда самозванецъ увидѣлъ, что положеніе его становится небезопаснымъ, что когда крестьяне, ободренные обѣщаніями самозванца, обошлись такъ дерзко съ исправникомъ, что тотъ чуть не бѣжалъ со сходки, онъ не могъ не сообразить, что на этомъ дѣло не остановится, что вслѣдъ за исправникомъ можетъ явиться для усмиренія Романовки губернаторъ, что могутъ нагрянуть и воен-

ныя силы для подавленія мятежа, и тогда, рано ли, поздно ли, присутствіе самозванца въ этомъ селѣ по необходимости откроется. Онъ не могъ не видѣть, что роль его кончается и далѣе оставаться на мѣстѣ было бы слишкомъ рисковано. Вслѣдствіе этихъ соображеній, ему, во что бы то ни стало, слѣдовало выбраться изъ Романовки, и если можно—подъ благовиднымъ предлогомъ. И онъ, какъ оказывается, выбрался оттуда нетолько подъ благовиднымъ предлогомъ и вполнѣ благополучно, но даже съ большими выгодами для себя.

Для этого самозванецъ прибѣгъ къ уловкамъ, свойственнымъ подобнаго рода искателямъ приключеній, и обманулъ нетолько правительственныя власти, ускользнувъ изъ рукъ правосудія, но обманулъ и крестьянъ, которые ему вѣрили и на него полагались. Такъ, по крайней мѣрѣ, мы можемъ объяснять его дѣйствія по отрывочнымъ фактамъ, найденнымъ нами въ бумагахъ.

Мнимые генералы его, послѣ отъѣзда изъ Романовки исправника, освистаннаго на сходкѣ, видя, что нѣкоторые изъ крестьянъ начали опасаться дурныхъ послѣдствій за свои буйства передъ исправникомъ, а можетъ быть и обнаруживали уже сомнѣніе насчетъ самозванца и его подозрительныхъ спутниковъ, стали успокоивать крестьянъ, что имъ бояться нечего, что великій князь не дастъ ихъ никому въ обиду. Для этого, говорили они, онъ намѣренъ увѣдомить государя о стѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ крестьянамъ, и тогда государь немедленно защититъ ихъ отъ обиды, выславъ къ великому князю свой указъ съ „фельдъегеремъ.“ Они прибавляли, что великій князь могъ бы защитить крестьянъ своимъ именемъ, но пока онъ не долженъ никому открывать своего настоящаго званія, до тѣхъ поръ и не можетъ дѣйствовать

самовластно. Они объявили, что великій князь намѣренъ послать одного изъ нихъ съ письмомъ къ государю, и потому для этой поѣздки необходимы деньги, которыхъ у великаго князя было немного, такъ какъ, разъѣзжая по Россіи тайно, въ одеждѣ простаго солдата, онъ не могъ возить съ собою значительной суммы, а бралъ что ему нужно было въ любомъ казначействѣ по предъявленіи „бумаги отъ министра финансовъ.“

Крестьяне, на которыхъ, какъ видно изъ исторіи всѣхъ самозванствъ, въ подобныхъ случаяхъ нападаетъ какое-то потемнѣніе, повѣрили нелѣпымъ выдумкамъ мнимыхъ генераловъ, подобно тому какъ они, напримѣръ, вѣрили Пугачеву, когда тотъ, показывая имъ у себя на груди золотушные шрамы, говорилъ, что это „царскіе знаки,“ или какъ, во время гайдамачины, вѣрили они, будто императрица Екатерина II прислала имъ ножи, которыми они должны, окропивъ эти ножи святой водой, рѣзать поляковъ. Романовскіе крестьяне тотчасъ же собрали довольно значительную сумму („а сколько именно сотъ рублей, того ни въ какихъ документахъ, а тѣмъ паче въ роспискахъ не значится“), и вручили ее солдатамъ.

Но въ слѣдующую затѣмъ ночь мнимый великій князь и мнимые его генералы исчезли изъ Романовки. О побѣгѣ ихъ не зналъ даже Руденковъ, у котораго въ хибаркѣ жилъ самозванецъ. Крестьяне узнали о своемъ несчастіи только на слѣдующій день, и только тогда въ умѣ ихъ родилось подозрѣніе, что они обмануты (1).

---

(1) Въ хибаркѣ, въ которой жилъ самозванецъ, послѣ его побѣга нашли только оставленныя имъ святцы.

Вотъ почему они такъ упали духомъ, когда, вскорѣ послѣ того, прибыла къ нимъ для усмиренія волненія военная команда, и вотъ почему бунтъ, котораго не могли не опасаться мѣстныя власти, былъ потушенъ такъ легко и безъ всякаго кровопролитія.

Что пріѣзжавшіе въ Ошметовку три неизвѣстные солдата были тожественны съ тѣми лицами, которыя находились потомъ въ Романовкѣ, то это подтверждается показаніями крестьянъ, видѣвшихъ ихъ въ томъ и другомъ селѣ, и одинаковыми примѣтами. Всѣ они имѣли, поверхъ полушубковъ, солдатскія шинели. Тотъ, котораго называли царевичемъ, былъ высокаго роста, гораздо выше обоихъ своихъ товарищей, имѣлъ сѣрые глаза, на головѣ русые волосы съ небольшою лысиною ото лба, и во время разговора заикался. Одинъ изъ его спутниковъ былъ рябой („лицо шадроватое"), а у другаго на щекѣ большая родинка („родимое пятно, величиною въ крупную горошину"). Самозванецъ имѣлъ при себѣ книгу, которую часто читалъ и которую оставилъ потомъ въ Романовкѣ. Въ Ошметовкѣ крестьяне видѣли эту книгу. Впрочемъ, на слѣдствіи никто изъ романовскихъ крестьянъ не сознавался ни въ томъ, что между ними жилъ самозванецъ, ни въ томъ, что они для него собирали деньги. Они говорили, что деньги начали-было собирать для того, чтобы послать ходаковъ въ Саратовъ къ губернатору, а если губернаторъ для нихъ ничего не сдѣлаетъ, то намѣревались послать въ Петербургъ стариковъ съ просьбою, чтобы они „дошли до государя императора." Когда же Руденковъ сознавался, что „у него дѣйствительно проживалъ неизвѣстный солдатъ, котораго онъ принялъ къ себѣ по христіанству, какъ самъ будучи сол-

датомъ," то крестьяне говорили, что они ничего не знаютъ, и называлъ ли себя тотъ солдатъ „недозволеннымъ именемъ" они тоже о томъ не слыхали, тѣмъ болѣе, что у нихъ въ селѣ, столь многолюдномъ, всегда прохожаго и проѣзжаго народу много. Когда же имъ поставили на видъ показаніе конторщика о томъ, что, когда на него ночью напали трое изъ бунтовщиковъ, двое изъ нихъ, Омельченко и Сорока, похвалились, что теперь „до государя ближе, чѣмъ до губернатора" и что государь теперь въ Романовкѣ, крестьяне отвѣчали, что были ли ночью „наглымъ образомъ" въ конторѣ Омельченко и Сорока они не знаютъ, а равно похвалялись ли тѣмъ, что имъ „до государя ближе, чѣмъ до губернатора" и что самъ государь теперь въ Романовкѣ—имъ тоже неизвѣстно, самихъ же Омельченка и Сороки давно въ Романовкѣ нѣтъ, и куда они отлучились, о томъ должна ближе всего знать экономическая контора.

Омельченко и Сорока были, какъ видно, коноводами возмущенія, и потому скрылись изъ Романовки раньше всѣхъ, чувствовавшихъ себя виновными. По крайней мѣрѣ, въ то время, когда въ село явилась военная команда для экзекуціи, ихъ уже никто не видѣлъ въ Романовкѣ. Вообще, присутствіе самозванца въ Романовкѣ подтверждалъ одинъ только Руденковъ; другіе же крестьяне, бывшіе у него и у самозванца въ хибаркѣ, говорили даже на очныхъ ставкахъ, что бывали у Руденкова „по сосѣдству" и видывали у него неизвѣстнаго имъ солдата, въ разговорѣ съ коимъ у нихъ „никакого касательства о предметахъ неподлежащихъ не было" и объ августѣйшей фамиліи ими не говорено ничего пустаго, а говорили о государѣ императорѣ и августѣйшей фамиліи, какъ подобаетъ вѣрноподданнымъ, съ

должнымъ благочиніемъ, и за его императорскаго величества здравіе каждодневно и въ церкви и дома молятся."

Руденковъ, съ своей стороны, показывалъ, что онъ потому раньше не донесъ о самозванцѣ и бывшихъ съ нимъ неизвѣстныхъ солдатахъ, что всѣ они ничего „неприличнаго или ко вреду его императорскаго величества клонящагося" не говорили, а между тѣмъ, Руденковъ, который не могъ быть положительно увѣренъ, похожа ли личность, выдававшая себя за великаго князя, на того, за кого себя выдавала, чистосердечно сознавался въ своей „ошибкѣ" и со слезами (1) говорилъ, что онъ не донесъ о самозванцѣ единственно изъ боязни, такъ-какъ его не покидало сомнѣніе, что, быть можетъ, таинственная личность и въ самомъ дѣлѣ не кто иной, какъ великій князь, который объявлять о себѣ настрого запретилъ.

IV.

Только послѣ всего этого мѣстныя власти узнали, что волненіе въ Романовкѣ происходило не вслѣдствіе обыкновеннаго недовольства крестьянъ своимъ положеніемъ, что ихъ подстрекалъ къ бунту самозванецъ и его соумышленники, хотя крестьяне не сознавались въ этомъ. Во всякомъ случаѣ, мѣстныя власти не могли не быть убѣждены, что смута произошла не безъ внушеній со стороны неизвѣстныхъ бродягъ. Надо было принимать мѣры къ розыску не-

(1) Во все время слѣдствія „плакалъ и громко Богу молился".

извѣстныхъ возмутителей, примѣты которыхъ были болѣе или менѣе извѣстны. Но отыскивать бродягъ вообще не легко, а такихъ, у которыхъ въ карманѣ довольно значительная сумма, еще труднѣе, потому что бродяги могли выбраться въ другую губернію или въ Землю Донскаго Войска, и тогда розыскъ былъ положительно невозможенъ и во всякомъ случаѣ безполезенъ. Въ то время средства уѣздныхъ полицій были слишкомъ скудны, чтобы успѣвать слѣдить за всѣмъ, что дѣлалось въ губерніи, особенно въ глухихъ и степныхъ уѣздахъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, цѣлыя разбойничьи шайки, правильно организованныя и вооруженныя, съ атаманами и есаулами, пропадали безслѣдно, несмотря на то, что для ловли ихъ учреждены были особыя „разъѣздныя“ или „сыскныя команды.“

Такимъ образомъ, тогдашняя администрація, особенно уѣздная, могла розыскивать самозванца только съ помощью своихъ десятскихъ, сотскихъ и сельскихъ начальниковъ. Неизвѣстно даже, были ли разосланы куда слѣдуетъ сыскныя повѣстки о самозванцѣ, какъ это дѣлается въ настоящее время, при болѣе правильной и широкой организаціи сыскной полицейской части, и было ли о бродягахъ доведено до свѣдѣнія губернскаго начальства, такъ какъ губернскій чиновникъ, бывшій при усмиреніи Романовки, успѣлъ, кажется, тотчасъ же уѣхать изъ этого села, и изъ дѣла не видно, чтобы о самозванцѣ особо писано было въ Саратовъ. Можетъ быть, уѣздныя власти взглянули на это дѣло, какъ на простой розыскъ бродягъ и подозрительныхъ людей и ограничились только мѣстными мѣрами.

Но когда о розыскѣ самозванца оповѣщено было по сосѣднимъ уѣздамъ и вѣсть о томъ дошла до села Ошметова,

оттуда дано было знать въ станъ, что въ прошломъ году въ Ошметово дѣйствительно пріѣзжали неизвѣстные подозрительные люди, которые говорили о себѣ „разныя нелѣпыя рѣчи“, но, „за принятыми старостою мѣрами, неизвѣстно куда скрылись.“ Примѣты ихъ подходили къ тѣмъ, которыя имѣли и романовскіе самозванцы.

По этому извѣстію уѣздныя полицейскія власти тотчасъ явились въ село Ошметово. Начались допросы. Къ допросамъ призваны были и сельскія власти, и крестьянинъ Савельевъ, у котораго останавливался самозванецъ, и ямщикъ, который отвезъ его съ двумя другими солдатами въ Сердобу, и нѣкоторые изъ крестьянъ Ошметова. Всѣ эти, привлеченныя къ слѣдствію лица, показали то, что мы уже знаемъ. Ямщикъ добавлялъ только, что дорогой, когда онъ ихъ везъ, они между собой разговаривали о томъ, какъ въ Петербургѣ, при восшествіи на престолъ государя Николая Павловича, нѣкоторые полки взбунтовались, потому что не хотѣли „обижать наслѣдника цесаревича, коему на вѣрность присягнули ихъ командиры,“ и при этомъ, по показанію ямщика, оба спутника самозванца относились къ нему, какъ къ „настоящему цесаревичу,“ говоря, что они ему еще разъ будутъ присягать „передъ міромъ.“ Когда же ямщикъ осмѣлился спросить ихъ, куда они намѣрены ѣхать, одинъ изъ спутниковъ самозванца сказалъ:

— Навѣдаемся въ Саратовъ къ вашему губернатору, каковъ онъ человѣкъ, а оттоль поѣдемъ куда богъ приведетъ.

Другой изъ нихъ говорилъ:

— Что-то теперь дѣлается въ Петербургѣ — ждутъ ли насъ?

Самозванецъ же, между прочимъ, замѣтилъ дорогой:

— Донскіе казаки очень удивятся, когда я къ нимъ пріѣду. Они всегда меня любили.

— Васъ всѣ любятъ, ваше высочество, сказалъ ему на это одинъ изъ спутниковъ.

Между прочимъ, самозванецъ спросилъ ямщика:

— Каковъ человѣкъ вашъ губернаторъ и довольны ли вы начальниками?

— Мы всѣми довольны, а за губернатора, а равно и за своихъ начальниковъ Бога благодаримъ.

— Вы должны ихъ слушаться и ничего худаго не дѣлать, прибавилъ самозванецъ.

— Мы слушаемся ихъ: они наши отцы, говорилъ ямщикъ.

Послѣдняго разговора у ямщика, можетъ быть, и не было съ самозванцемъ, но онъ счелъ необходимымъ самъ присочинить его, для того, чтобы угодить становому, котораго и называлъ, будто бы, „отцомъ и благодѣтелемъ.“ А можетъ быть, самозванецъ продолжалъ и дорогой играть роль, принятую имъ на себя, а потому и говорилъ съ своими спутниками о декабрьскихъ происшествіяхъ въ Петербургѣ, о любви нѣкоторыхъ полковъ къ цесаревичу и о томъ, что онъ ѣдетъ къ донскимъ казакамъ. Естественно было, поддерживая свою роль, заговорить съ ямщикомъ о губернаторѣ и о прочихъ мѣстныхъ начальникахъ, чтобы еще болѣе отуманить простаго мужика.

Когда старосту, десятскаго и ямщика спрашивали, почему они въ свое время не объявили о бывшихъ у нихъ подозрительныхъ людяхъ и о „неприличныхъ разговорахъ“ ихъ, тѣ оправдывали себя тѣмъ, что не вѣрили тѣмъ неприличнымъ рѣчамъ, полагая, что они „болтаютъ попустому,“ но что если они не поступили съ ними, какъ съ бродягами, и

не допросили ихъ, то потому, что не видѣли въ нихъ бродягъ, а безъ всякаго повода и безъ дозволенія начальства арестовать ихъ не осмѣлились, не смѣли даже настаивать на томъ, чтобъ проѣзжіе показали свои виды, потому что боялись по ошибкѣ сдѣлать что-либо противозаконное.

Между тѣмъ, когда шли допросы въ Ошметовѣ и Романовкѣ, розыски самозванца продолжались, но безуспѣшно. Наконецъ, только въ половинѣ октября напали на слѣды бродягъ, которые, какъ оказывается, не выѣзжали изъ Саратовской губерніи. Дерзость ихъ дошла до того, что они явились даже въ Петровскъ, гдѣ ихъ присутствіе и было открыто на основаніи примѣтъ, которыя извѣстны были мѣстной полиціи. Полицейскій служитель увидѣлъ ихъ на базарѣ; но пока успѣлъ позвать людей, чтобы задержать бродягъ, двое изъ нихъ успѣли скрыться и, такимъ образомъ, схваченъ былъ одинъ только солдатъ. Самозванецъ и его спутники были уже въ крестьянскомъ платьѣ. Несмотря на самые тщательные поиски по городу, захватить ихъ никоимъ образомъ не могли, потому что они, безъ сомнѣнія, тотчасъ же успѣли скрыться изъ города.

Изъ допросовъ схваченнаго солдата объяснилась вся предыдущая исторія самозванца, имѣющая, впрочемъ, много темныхъ сторонъ и много недосказаннаго, какъ и исторія прочихъ самозванцевъ, дѣйствовавшихъ какъ въ прошломъ, такъ отчасти и въ нынѣшнемъ вѣкѣ.

Схваченный солдатъ былъ безсрочно-отпускной рядовой московскаго полка Корнѣевъ. Въ декабрѣ 1825 г., во время „петербургскаго бунта,“ когда „гвардейцы не хотѣли присягать царствующему нынѣ государю императору Николаю Павловичу, по той причинѣ, что присягали наслѣднику це-

саревичу Константину Павловичу", Корнѣевъ „не бунтовалъ", и когда многіе изъ его полка „по приказу командировъ" стрѣляли въ „несогласныхъ съ ними", онъ, Корнѣевъ, не стрѣлялъ и другихъ отъ того бунта удерживалъ." На вѣрность государю императору присягалъ вмѣстѣ съ прочими. Въ штрафахъ не бывалъ и вообще никакимъ наказаніямъ не подвергался. Въ 1826 году уволенъ въ безсрочный отпускъ по билету, „который имъ, Корнѣевымъ, неизвѣстно гдѣ потерянъ." Дорогой, во время прохода черезъ Москву, встрѣтился онъ съ сослуживцемъ своимъ, московскаго же полка рядовымъ Карповымъ, и уговорились съ нимъ вмѣстѣ идти „на побывку" вплоть до Рязани. Передъ отходомъ изъ Москвы, Карповъ „по секрету" открылъ ему, что состоитъ въ довѣріи у важной особы," и если Корнѣевъ согласенъ быть съ нимъ заодно, то онъ и ему предоставитъ „великое благополучіе," прибавивъ къ тому, что „худова въ ихъ дѣлѣ ничего не будетъ," что онъ зоветъ его „не на разбой и не на воровство, а на службу царскую." Когда Корнѣевъ согласился дѣйствовать съ нимъ заодно (можетъ быть, потому больше, что Карповъ далъ ему денегъ и обѣщалъ „большую денежную награду"), Карповъ привелъ его на какое-то монастырское подворье ([1]), гдѣ и нашелъ онъ въ „монастырской горенкѣ" ту неизвѣстную личность, которая выдавала себя за великаго князя Константина Павловича.

— Хочешь служить брату государеву? спросилъ этотъ неизвѣстный.

([1]) «А какъ-то подворье называется и на какой улицѣ, онъ, Корнѣевъ, не знаетъ и указать не можетъ».

— Ежели по присягѣ, то я служить долженъ, а противъ присяги я не пойду, отвѣчалъ Корнѣевъ.

Тогда этотъ неизвѣстный сталъ говорить Корнѣеву, что онъ поступаетъ хорошо, соблюдая присягу, и что такого-то именно „вѣрнаго“ человѣка ему и нужно.

— Я старшій братъ государя, говорилъ онъ:—и измѣнниковъ не люблю. Карповъ говорилъ мнѣ, что на тебя положиться можно. Я тебя беру съ собой, и за то ты ни передъ государемъ, ни передо мной въ убыткѣ не останешься. Твоя служба за нами не пропадетъ. Только держи въ великой тайнѣ, кто я.

Корнѣевъ на допросахъ утверждалъ, что онъ не сразу повѣрилъ словамъ самозванца, сомнѣваясь, „точно ли онъ истинный государевъ братъ Константинъ Павловичъ,“ такъ-какъ великому князю, по его мнѣнію, не отъ кого было скрываться, если онъ не намѣренъ дѣлать ничего „худова“ (1).

— Не сомнѣвайся, мой другъ, говорилъ ему на это самозванецъ:—послѣ все узнаешь.

Корнѣевъ, какъ показывалъ на допросѣ (можетъ быть, и ложно, стараясь по возможности смягчить свою вину) все еще продолжалъ сомнѣваться, „помня присягу.“ Тогда самозванецъ спросилъ его:

— Ты гвардеецъ?

— Гвардеецъ, отвѣчалъ Корнѣевъ.

— Былъ ли ты въ Петербургѣ, когда гвардія бунтовала?

---

(1) «И онъ, Корнѣевъ, показываетъ, будто онъ тому, называющему у себя великимъ княземъ, говорилъ, что естьли онъ ничего худова дѣлать не намѣренъ, то по какой причинѣ о своемъ званіи запрещаетъ сказывать».

Корнѣевъ отвѣчалъ, что былъ и „товарищей своихъ отъ бунта отговаривалъ.“

— Гвардейцы хотѣли, чтобы я былъ государемъ, продолжалъ самозванецъ: — я же отъ престола отказался для брата, поелику видѣлъ, что братъ мой способнѣе меня, и тѣмъ нажилъ много враговъ и себѣ и брату своему, благополучно нынѣ царствующему государю императору. Сіе и заставляетъ меня укрываться отъ враговъ моихъ, дабы оные не провѣдали, гдѣ я (1).

Въ такихъ ли дѣйствительно выраженіяхъ говорилъ самозванецъ съ Корнѣевымъ и такъ ли именно, какъ записаны отвѣты Корнѣева, говорилъ этотъ послѣдній, или редакція его выраженій принадлежитъ допрашивавшему его чиновнику, объ этомъ судить трудно. Можетъ быть, даже весь этотъ разговоръ выдуманъ самимъ подсудимымъ, чтобъ выгородить себя въ глазахъ правосудія тѣмъ, будто только увѣренность въ томъ, что самозванецъ дѣйствительно великій князь, заставила его поддаться обману неизвѣстнаго ему человѣка. При томъ, подсудимый долго, какъ видно, не открывалъ ни своего званія, ни своей солидарности съ самозванцемъ, и только вслѣдствіе очныхъ ставокъ съ ошметовскими сельскими властями и съ солдатомъ Руденковымъ онъ пересталъ называть себя непомнящимъ родства.

---

(1) Въ подлинникѣ показанія Корнѣева записаны съ значительными помарками. Иногда записывавшій его показанія чиновникъ, какъ видно, писалъ о Корнѣевѣ въ третьемъ лицѣ, иногда видимо сбивался съ этого порядка и писалъ въ первомъ лицѣ. Нѣкоторыя показанія перечеркнуты, какъ это бываетъ во всѣхъ черновыхъ допросахъ. Мы выбрали изъ нихъ только оставленное неперечеркнутымъ.

Что онъ утаилъ большую часть своихъ похожденій, видно изъ той краткости, съ которою онъ дѣлалъ дальнѣйшія показанія. Равнымъ образомъ, онъ большею частью отзывался незнаніемъ мѣстъ, въ которыхъ они съ самозванцемъ появлялись завѣдомо, какъ въ Ошметовѣ, или укрывались, какъ въ Романовкѣ и Петровскѣ. Обыкновенная въ такихъ случаяхъ фраза была: „а какъ то село“ или „тотъ городъ называется, онъ, Корнѣеъ не знаетъ,“ или не помнитъ“ или „отозвался незнаніемъ.“

Въ Москвѣ они пробыли недолго, оставаясь на вышеупомянутомъ „монастырскомъ подворьѣ,“ гдѣ самозванецъ видѣлся съ какими-то „старцами,“ а о чемъ говорилъ съ ними, онъ, Корнѣевъ, не слыхалъ. Только когда они уѣзжали изъ Москвы, то бывшіе на подворьѣ старцы говорили ему и Карпову, что имъ на „Иргизахъ (1) будутъ ради.“ Выѣхавъ изъ Москвы, они нигдѣ долго не останавливались, а если и проживали въ какомъ либо селѣ, то не болѣе дня или двухъ дней. Ни воровства, ни разбою нигдѣ не дѣлали, потому что самозванецъ, какъ видно, имѣлъ свои деньги, а откуда онъ ихъ получилъ—этого Корнѣевъ не могъ объяснить. Въ Рязани были только проѣздомъ, и останавливались тамъ для закупки провизіи. Въ одномъ городѣ, ниже Рязани, гдѣ они останавливались на ночь, и гдѣ хозяинъ постоялаго двора спросилъ у нихъ виды, они показывали ему свои виды, а въ томъ числѣ показывалъ свой видъ и самозванецъ, который, какъ видно, разъѣзжалъ подъ паспортомъ какого-то унтеръ-

---

(1) Вѣроятно, «на Иргизахъ“, гдѣ находились въ то время знаменитые раскольничьи скиты, уничтоженные въ сороковыхъ годахъ.

офицера, а подъ какой фамиліей—Корнѣевъ не знаетъ, потому что самаго паспорта не видалъ, и самозванца объ этомъ не спрашивалъ. Въ одномъ селѣ, въ Тамбовской губерніи, гдѣ самозванецъ говорилъ о себѣ крестьянамъ, что онъ великій князь, и что „скоро пришлетъ имъ съ курьеромъ волю,“ его было хотѣли задержать, но онъ успѣлъ съ своими спутниками скрыться, откуда они и дошли пѣшкомъ до города Кирсанова. Въ Кирсановѣ остановились въ гостиницѣ, недалеко отъ базару, но никакихъ „нелѣпыхъ толковъ не разглашали,“ а только ходили по базару, гдѣ самозванецъ купилъ себѣ мѣдный образокъ, „складной.“ Въ Тамбовской же губерніи, въ какомъ-то большомъ селѣ, они заходили въ церковь, „весьма старую,“ когда тамъ шла обѣдня; но обѣдни не достояли. Когда вышли изъ церкви, самозванецъ спросилъ своихъ спутниковъ:

— Слыхали, какъ августѣйшую фамилію за обѣдней поминали?

— Слыхали, отвѣчали солдаты:—и молились при томъ о здравіи государя императора и всего царствующаго дома.

— А за меня молились? спросилъ онъ.

Солдаты отвѣчали, что молились и за великаго князя. При этомъ самозванецъ добавилъ:

— А въ церкви никто не зналъ, что я самъ тутъ былъ?

Корнѣевъ показывалъ, что самозванецъ былъ человѣкъ „набожный,“ и даже заставлялъ его съ товарищемъ молиться ([1]). Относительно своего пребыванія въ Саратовской губерніи, особенно же въ селѣ Ошметовѣ и Романовкѣ, онъ

([1]) Впрочемъ, подсудимый говорилъ, что самъ у исповѣди и св. причастія бывалъ каждый годъ.

показалъ то, что̀ намъ уже извѣстно, хотя и увѣрялъ, что романовскихъ крестьянъ никто изъ нихъ къ бунту не подстрекалъ, но что тѣ крестьяне сами жаловались на то, что ихъ начальники „скоро по міру ихъ пустятъ“. Впрочемъ — добавилъ онъ — бунтовалъ ли Романовку самозванецъ, и какіе разглашалъ толки о своей особѣ — онъ достовѣрно не знаетъ, потому что онъ нерѣдко самъ говорилъ съ крестьянами, безъ нихъ. А что въ Романовкѣ, будто бы по ихъ наущенію, крестьяне дѣлали сборъ, чтобъ отправить кого либо курьеромъ въ Петербургъ, то отъ этого Корнѣевъ отпирался, говоря, что денегъ отъ крестьянъ они никакихъ не получали, а когда романовцы начали бунтовать, то, опасаясь въ томъ отвѣта, ушли изъ Романовки тайно, „по приказанію называющаго себя великимъ княземъ.“

Что заставляло самозванца оставаться въ Саратовской губерніи впродолженіе десяти мѣсяцевъ, и затѣмъ онъ появился въ Петровскѣ, гдѣ его примѣты были извѣстны полиціи — изъ отвѣтовъ Корнѣева не видно.

Какъ бы то ни было, самозванца все-таки не могли поймать, и Корнѣевъ не могъ даже предположительно указать, куда онъ долженъ уйти изъ Петровска.

Но пока шли допросы и тянулась канцелярская переписка, Корнѣевъ опасно занемогъ. Уже совсѣмъ слабый, онъ попросилъ позволенія исповѣдываться, и, увѣщеваемый священникомъ, подтвердилъ только то, что показывалъ на допросахъ, но ни въ чемъ больше не сознался.

Въ концѣ ноября Корнѣевъ умеръ, и съ его смертью окончательно потеряна была надежда на открытіе слѣдовъ и званія самозванца.

V.

Кто былъ настоящій самозванецъ, какія цѣли онъ имѣлъ, принимая на себя такую опасную роль, самъ ли онъ былъ творцомъ этой роли, или его подготовили другія руки—все это остается необъясненнымъ. Но какъ изъ исторіи всѣхъ извѣстныхъ намъ самозванцевъ прошлаго и нынѣшняго вѣка, такъ и изъ дѣйствій этого послѣдняго видно, что всѣ они выдвигались на сцену извѣстными обстоятельствами данной исторической минуты, и какъ бы старались выразить въ себѣ то, чего хотѣлъ бы для себя народъ въ данный историческій моментъ. Всѣ самозванцы болѣе или менѣе поддѣлываются подъ народныя желанія, и, затрогивая слабыя струны въ этомъ народѣ, пользуются его довѣренностію для извѣстныхъ цѣлей. Такъ дѣйствовалъ Пугачовъ и всѣ его предшественники и послѣдователи—Богомоловъ, Кремневъ, Ханинъ: они пользовались настроеніемъ народа, враждебнымъ тогдашнимъ владѣльческимъ классамъ, и, благодаря этому настроенію, поднимали народъ. Но чтобы поставить себя въ возможность дѣйствовать на народъ, они должны были брать на себя имя, имѣющее право располагать судьбами народа, и такимъ именемъ, конечно, было имя царское. Въ нынѣшнемъ вѣкѣ извѣстные намъ самозванцы принимали на себя имя великаго князя Константина Павловича, и являлись тогда именно, когда можно было взволновать народъ какими либо обѣщаніями.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что народъ вѣрилъ этимъ

обѣщаніямъ, часто положительно нелѣпымъ, потому что онъ желалъ исполненія извѣстныхъ своихъ чаяній, и вѣрилъ маломальски подходящимъ съ его чаяніями обѣщаніямъ, принимая ихъ на вѣру, безъ критики. Гдѣ народомъ руководило сильное желаніе, переходившее въ страсть, тамъ критика его была обыкновенно очень слаба. Неудивительно, что народъ вѣрилъ страннымъ обѣщаніямъ самозванцевъ въ прошломъ вѣкѣ и въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго вѣка. Еще такъ недавно онъ вѣрилъ большимъ даже несообразностямъ, чѣмъ тѣ, которыя разглашали самозванцы Пугачовъ, Богомоловъ, Ханинъ и ихъ сторонники, тогда какъ горькій историческій опытъ могъ бы, кажется, уже научить этотъ довѣрчивый народъ принимать къ сердцу всякія льстивыя обѣщанія осмотрительнѣе. Еще въ 1859 году, когда въ Россіи распространились толки о томъ, что въ разныхъ мѣстахъ устроились общества трезвости, народъ серьезно повѣрилъ, что „велѣно разбивать кабаки,“ и дѣйствительно началъ разбивать ихъ въ нѣкоторыхъ селахъ, тогда какъ въ другихъ селахъ онъ, съ духовенствомъ во главѣ, и не только въ селахъ, но и въ городахъ, какъ, напримѣръ, въ Балашовѣ, выходилъ на площади, поднималъ изъ церквей иконы и хоругви, и благословляемый духовенствомъ, зарекался пить водку. Этимъ настроеніемъ народа воспользовались такія личности, какія въ другое время были бы самозванцами, и дѣйствительно явились самозванцы, которые, какъ власть имѣющіе, говорили народу, что надо разбивать кабаки. Такъ по одной изъ юго-восточныхъ губерній разъѣзжалъ мнимый князь въ какомъ-то странномъ костюмѣ, съ нитяными эполетами и съ орломъ на груди (кажется, сдѣланнымъ изъ посеребреннаго клейма на сахарныхъ головкахъ завода Берда). Въ дру-

гомъ мѣстѣ разъѣзжалъ мнимый флигель-адъютантъ и по своему толковалъ народу предстоящее освобожденіе отъ крѣпостнаго права. Конечно, всѣ эти возмутители не могли причинить много зла, какъ они могли это сдѣлать прежде, однако, народъ волновался, и волненіе это могло повести къ серьезнымъ результатамъ, еслибъ у самозванцевъ не отнималась возможность дѣйствовать.

Самозванство такимъ образомъ перешло черезъ всю исторію русскаго народа. Еще въ прошломъ году, въ одной изъ юго-восточныхъ губерній, явилась личность, которая говорила о себѣ, что „когда онъ проходилъ должности губернаторовъ и министровъ,“ то онъ дѣйствовалъ такъ-то, и что такого-то „губернатора онъ раздавитъ, какъ муху.“ Хотя этому господину мало вѣрили, однако, онъ разсчитывалъ на довѣріе народа, исторически доказывавшаго свою довѣрчивость, и продолжалъ ораторствовать, пока его не арестовали. Оказалось, что этотъ господинъ, „проходившій должности губернаторовъ и министровъ“ и имѣвшій власть „давить губернаторовъ, какъ мухъ,“ подговаривался, нѣтъ ли гдѣ малярной работы при церквахъ, и оказался чуть ли не маляромъ.

Во всѣхъ случаяхъ, когда какое либо царственное имя дѣлалось, такъ сказать, предметомъ похищенія, причины появленія самозванцевъ этого имени всегда заключались въ томъ, что у народа рождалось почему либо сомнѣніе въ дѣйствительности тѣхъ фактовъ, которые ему, такъ сказать, объявлялись оффиціально. Загадочная смерть царевича Димитрія, о которой ничего положительнаго не знали самыя даже высшія лица въ государствѣ, какъ Годуновъ, естественно должна была родить въ народѣ сомнѣніе, дѣйствительно

ли онъ умеръ, и не подмѣненъ ли кѣмъ либо другимъ для цѣлей, смутно сознаваемыхъ народомъ? И вотъ явилась вѣра въ то, что царевичъ живъ; а эта вѣра и вызвала самозванцевъ. Скоропостижная смерть императора Петра III, послѣдовавшая, какъ объявлялъ высочайшій манифестъ, „отъ геморoидальныхъ коликъ,“ и другія обстоятельства, смутные слухи о которыхъ доходили до народа нерѣдко въ извращенномъ видѣ, также породили въ народѣ сомнѣніе въ дѣйствительности этой смерти. Этого было достаточно, чтобы явились похитители имени покойнаго императора. Добровольное отреченіе великаго князя Константина Павловича отъ престола въ пользу своего младшаго брата и послѣдовавшія, отчасти вслѣдствіе этого отреченія, отчасти же вслѣдствіе заговора декабристовъ, декабрьскія событія въ Петербургѣ — также вызвали въ народѣ сомнѣніе относительно дѣйствительности совершившихся фактовъ, о которыхъ ему объявляли оффиціально. Сомнѣніе это вызвало въ свою очередь толки, которые были тѣмъ нелѣпѣе, чѣмъ менѣе предавались гласности какъ эти самые толки, такъ и опровергающія ихъ извѣстія, и вслѣдствіе этого имя великаго князя Константина Павловича стало предметомъ похищенія еще при жизни великаго князя, а послѣ смерти стало чѣмъ-то миѳическимъ, не переставая быть въ то же время и предметомъ похищенія. Между самозванцемъ, назвавшимъ себя именемъ великаго князя въ 1826 году, и между другимъ самозванцемъ (оренбургскимъ), явившимся въ 1845 году, уже послѣ смерти великаго князя, лежитъ почти двадцать лѣтъ, и впродолженіе этихъ двадцати лѣтъ народъ не отказался отъ своихъ нелѣпыхъ вѣрованій, родившихся въ немъ вслѣдствіе

декабрьскихъ происшествій, и продолжавшихъ жить даже тогда, когда великаго князя давно уже не было на свѣтѣ.

Вообще народное вѣрованіе о томъ, что великій князь Константинъ Павловичъ „придетъ,“ продолжало упорно жить въ народѣ болѣе тридцати лѣтъ, и едва ли и теперь не представляется онъ чѣмъ-то почти безсмертнымъ. Это упорное народное вѣрованіе почему-то связывало съ именемъ великаго князя то величайшее событіе въ исторіи русскаго народа, которое послѣдовало 19-го февраля 1861 года. Народная молва постоянно гласила, что великій князь, какъ-то почти невидимо ни для кого, ходитъ по землѣ, но что время его еще не настало, и оттого онъ является людямъ только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, но что когда настанетъ это время, онъ явится какъ освободитель народа отъ всего, что́ только есть тяжелаго въ его жизни. Народъ разсказываетъ, что нѣкоторые видѣли эту странствующую по землѣ таинственную личность, и что она говорила съ ними и обнадеживала ихъ. Такихъ разсказовъ весьма много ходило въ народѣ вплоть до самаго освобожденія крестьянъ, и особенно разсказы эти, сколько намъ извѣстно, распространены были на юго-востокѣ Россіи.

Укажемъ на нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ, чтобы видѣть, какія тайныя народныя чаянія ласкало вѣрованіе въ появленіе великаго князя, и почему появленіе самозванцевъ его имени имѣло успѣхъ въ народѣ до великаго акта освобожденія крестьянъ.

Въ одинъ лѣтній жаркій день работали въ полѣ крестьяне на барскихъ нивахъ. Тяжела была работа подъ знойнымъ солнцемъ, и крестьяне жаловались, что мало даютъ имъ отдыха, все гоняютъ на барскія нивы, тогда какъ на

ихъ крестьянскихъ нивахъ зрѣлая рожь, неубранная, отъ солнца высыпается. Въ это время ѣдетъ по дорогѣ тяжелый берлинъ и останавливается около работающихъ. Оттуда выходитъ человѣкъ, одѣтый „по простому,“ но „съ золотымъ перомъ за ухомъ,“ и говоритъ крестьянамъ:

— Здравствуйте, добрые люди. Помоги вамъ Богъ работать.

— Спасибо тебѣ, добрый баринъ.

— Вы на кого работаете? спрашиваетъ незнакомецъ съ золотымъ перомъ за ухомъ.

— На господъ, отвѣчали крестьяне.

— А тяжело работать на другихъ? спрашиваетъ онъ.

— Тяжело, отвѣчаютъ они:—такъ тяжело, какъ на себя могилу копать.

— А свой хлѣбъ еще не убирали? спрашиваетъ.

— Не убирали, отвѣчаютъ:—рожь давно на нивахъ высыпается.

— Недолго же вамъ работать на другихъ, говоритъ онъ:—я давно прошу за васъ государя, и уже *на половину* упросилъ—скоро выйдетъ вамъ воля.

Сказалъ это, сѣлъ въ берлинъ и уѣхалъ. Это и былъ самъ великій князь Константинъ Павловичъ, „такой худой, да небритый.“

Другой слышанный нами разсказъ имѣетъ слѣдующее содержаніе:

Однажды шли богомольцы въ Воронежъ, и въ степи, у дороги, сѣли отдохнуть. По той же дорогѣ, на встрѣчу имъ, шли два странника, и, поздоровавшись съ богомольцами, сѣли около ихъ группы. Разговоръ коснулся крестьянскихъ нуждъ, тяжестей крѣпостнаго права, рекрутчины и воли.

— Я видалъ волю, сказалъ одинъ изъ странниковъ:— она по свѣту ходитъ.

— А какая она? спросили богомольцы.

— Со мною лицомъ схожа, отвѣчалъ странникъ.

— А кто видитъ эту волю? спрашивали богомольцы.

— Теперь вы видите, а скоро и всѣ ее увидятъ, снова отвѣчалъ странникъ.

Когда богомольцы силились уразумѣть таинственный смыслъ словъ странника, онъ сказалъ имъ:

— Я та самая воля, что вы ждете. Я—Константинъ Павловичъ. Много лѣтъ хожу я по землѣ, и смотрю, какъ живутъ и маются добрые люди. Пока не исхожу всей земли и не увижу, какъ люди живутъ, и какъ маются—не видать вамъ воли. Много я исходилъ—теперь уже меньше осталось.

Странники, послѣ этихъ словъ, встали и пошли своей дорогой.

Въ обоихъ этихъ разсказахъ видны эпическіе пріемы народнаго творчества, которое окружало почему-то особенно любимое народомъ царственное имя всѣми атрибутами фабулезности. Въ другихъ разсказахъ великій князь является во главѣ многочисленнаго войска и сражается съ врагами русскаго народа (1).

---

(1) До чего распространено было въ народѣ убѣжденіе, что великій князь тайно ходитъ по Россіи, видно изъ такихъ случаевъ, какой былъ съ однимъ изъ нашихъ извѣстныхъ собирателей памятниковъ устнаго народнаго творчества. Въ одномъ селѣ, въ Малороссіи, когда онъ разспрашивалъ народъ о разныхъ историческихъ воспоминаніяхъ, къ нему подходитъ одинъ старичокъ и таинственно спрашиваетъ: «А скажите, будьте ласковы, чи вы не царевичъ?»

Для болѣе яснаго пониманія исторіи русскаго народа необходимо обстоятельное изслѣдованіе этихъ явленій. Увлеченіе, въ извѣстныя эпохи, извѣстными историческими именами, было не безъ важныхъ причинъ, собственно съ точки зрѣнія народа. Отрѣшенный обстоятельствами отъ знакомства съ дѣйствительными историческими фактами изъ нашего историческаго прошедшаго, также мало знакомый съ важнѣйшими событіями современности, народъ создавалъ свою политическую исторію Россіи на основаніи тѣхъ смутныхъ, часто извращенныхъ слуховъ, которые дошли до него кривыми путями, и такимъ образомъ умъ его обращался въ сферѣ чисто легендарной, но тѣмъ не менѣе на легендахъ этихъ основывалъ онъ свои ожиданія и сообразно съ своимъ ожиданіемъ дѣйствовалъ, когда выходилъ изъ своей обычной колеи.

Вотъ почему, для уразумѣнія *исторіи русскаго народа* историкъ, кромѣ офиціальныхъ, писанныхъ источниковъ, долженъ пользоваться источниками такъ-сказать *чисто народными*, а безъ знанія этихъ источниковъ невозможно будетъ объяснить то или другое историческое явленіе изъ жизни русскаго народа. Такими чисто народными историческими источниками могутъ быть названы нетолько матеріалы, свидѣтельствующіе о томъ, какъ народъ активно проявлялся въ исторіи, какъ дѣйствовали на историческомъ поприщѣ личности, выходившія изъ среды народа, но и устное свидѣтельство народа какъ о своемъ прошломъ и важнѣйшихъ событіяхъ этого прошлаго, такъ и воззрѣнія народа на свою собственную историческую жизнь.

VI.

Историческое явленіе, которому мы посвятили настоящій очеркъ, выражаетъ, такимъ образомъ, собою извѣстную сторону народныхъ стремленій данной эпохи. Вся исторія русскаго народа показываетъ, что когда въ народѣ начинаютъ бродить еще неопредѣленные слухи о возможности появленія такихъ личностей, какія появлялись въ началѣ XVII-го вѣка, во второй половинѣ XVIII-го и со второй четверти нынѣшняго столѣтія, если, наконецъ, народные слухи оправдываются и ожидаемыя личности являются, то это вѣрный признакъ, что народъ ищетъ выхода изъ гнетущихъ его обстоятельствъ и возлагаетъ всѣ свои надежды на лицо, созданное и вызванное къ исторической дѣятельности имъ самимъ, его собственными, долго сдерживаемыми стремленіями и его собственнымъ творчествомъ. Такъ, еще до появленія Лже-Дмитрія, народъ уже создалъ его въ своемъ воображеніи, потому что обстоятельства того времени и вся обстановка жизни были такъ тяжки, что народу нужно было успокоеніе и онъ сначала искалъ его въ созданіи своей фантазіи, а когда созданный имъ призракъ появлялся въ очію, онъ шелъ за его знаменемъ, почти не разсуждая. Равнымъ образомъ, еще до появленія Пугачева, народъ уже создавалъ его, и Пугачевъ являлся въ разныхъ видахъ, въ лицѣ Богомолова и Кремнева, пока, наконецъ, народныя стремленія не выразились въ одномъ лицѣ, за которымъ и пошли народныя массы, потому что обстоятельства того времени были столь

невыносимы для народа, что онъ не могъ долѣе оставаться въ томъ страдательномъ положеніи, въ какое его поставилъ тяжелый для него ходъ государственной жизни.

Точно такъ же народъ создалъ и Лже-Константиновъ по той же исторической необходимости.

Уже въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія крѣпостное право изживало свои послѣдніе моменты, хотя вслѣдствіе искуственныхъ причинъ, еще повидимому прочно держалось на юридической почвѣ. Но народъ смотрѣлъ на дѣло не съ юридической, а съ нравственной точки зрѣнія, и историческій фактъ, юридически лежавшій въ основѣ государственнаго строя, казался ему вопіющей несправедливостью. Народъ искалъ выхода изъ своего положенія, и не находя этого выхода реальнымъ путемъ, впадалъ какъ бы въ историческій мистицизмъ, создавая въ своемъ воображеніи такія личности, которыя должны были вывести его изъ тяжкаго положенія.

Но и для созданія извѣстной личности необходимъ матеріалъ, необходимы какія-нибудь историческія основанія, и эти основанія народъ находилъ въ тѣхъ, доходящихъ до него часто въ искаженномъ видѣ, современныхъ государственныхъ событіяхъ, которыя онъ, на основаніи разнаго рода слуховъ, истолковалъ въ свою пользу. Такъ народъ, на основаніи доступныхъ ему данныхъ, выработалъ себѣ не убѣжденіе, а вѣрованіе, что великій князь Константинъ Павловичъ долженъ былъ непремѣнно дѣйствовать исключительно въ интересахъ народа, какъ, по его мнѣнію, въ XVIII вѣкѣ долженъ былъ дѣйствовать императоръ Петръ III. Въ силу этого убѣжденія создана была личность, которая должна была явиться, и личность дѣйствительно *являлась*. Вслѣд-

ствіе этого, когда появлялась подобная личность, народъ употреблялъ даже для этого извѣстное подходящее выраженіе, что вотъ-де, „проявился такой-то,“ и личности эти онъ называлъ „явленными,“ какъ онъ привыкъ выражаться о явленіи чудотворныхъ иконъ или мощей угодниковъ.

Такимъ образомъ, по народному вѣрованію, Лже-Константины *должны* были непремѣнно являться, и они дѣйствительно являлись.

Лже-Константинъ, которому мы посвятили настоящую замѣтку, былъ однимъ изъ первыхъ этого имени самозванцевъ. Явленіе его было не случайно, а какъ продуктъ исторической необходимости. Народныя чаянія объ облегченіи участи массъ, о скоромъ уничтоженіи крѣпостнаго права должны были выразиться въ извѣстномъ стремленіи, и стремленіе это должно было имѣть точку опоры: все это и разрѣшалось, такимъ образомъ, явленіемъ самозванцевъ.

Изъ разсматриваемаго нами дѣла о первомъ извѣстномъ намъ Лже-Константинѣ видно, что онъ, подобно прочимъ, разглашалъ въ народѣ облегченіе его участи; но какимъ образомъ, ни самозванецъ этого не высказывалъ ясно и опредѣленно, ни народъ не могъ себѣ выяснить, въ какой формѣ послѣдуетъ это облегченіе. Самозванецъ, называя себя братомъ царствовавшаго тогда государя, не выражалъ (на что необходимо обратить особенное вниманіе) враждебныхъ повидимому отношеній къ высочайшей власти, а только заявлялъ вражду противъ лицъ начальствующихъ. Какъ видно, въ самомъ началѣ его похожденій мы встрѣчаемся съ нимъ въ Москвѣ, на какомъ-то „монастырскомъ подворьѣ,“ гдѣ онъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, скрывался и гдѣ въ его судьбѣ, какъ оказывается, принимали участіе какіе-то „старцы.“ Есть основаніе

думать, что „старцы“ играли тутъ не послѣднюю, хоть очень тайную роль. Неизвѣстные “старцы,“ надо полагать, поддерживали, а можетъ быть и вывели на свѣтъ Божій эту личность. „Старцы“ давали ему средства дѣйствовать, и эти же „старцы“ почему-то направляли самозванца на Иргизы, какъ мы видимъ это изъ показаній Корнѣева. Иргизы въ прошломъ вѣкѣ играли не послѣднюю роль въ судьбѣ другаго самозванца, болѣе крупнаго, чѣмъ описываемый нами: именно на Иргизахъ созрѣли первые начатки интриги, которая разразилась пугачевщиной. Иргизскіе монастыри съ ихъ раскольниками-отшельниками принимали тайное участіе во всемъ, что какимъ-либо образомъ становилось въ антагонизмъ съ правительствомъ и подлежащими властями. Монастыри эти давали пріютъ бѣглымъ, а нерѣдко и разбойникамъ. Все Поволжье нравственно тянуло къ Иргизамъ, и Иргизы въ состояніи были привести въ движеніе народныя массы. И преступникъ, и самозванецъ, и другой народный агитаторъ могли свободно укрыться или въ кельяхъ самыхъ монастырей, или въ ихъ уединенныхъ скитахъ, или въ густыхъ лѣсахъ, принадлежащихъ Иргизамъ и росшихъ по берегамъ рѣкъ этого имени. Равнымъ образомъ и слѣды другихъ преступленій легко могли быть скрываемы въ Иргизахъ. Когда въ сороковыхъ годахъ уничтожались эти монастыри (надо прибавить, не безъ жестокости и варварства, потому что непослушныхъ обливали изъ пожарныхъ трубъ водой на трескучемъ морозѣ), изъ озеръ, лежащихъ около этихъ скитовъ, неводами вытаскивали человѣческіе трупы, брошенные когда-то въ воду, и человѣческія кости.

Въ эти-то монастыри, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ и для какихъ цѣлей, какъ видно изъ разсматриваемыхъ

нами матеріаловъ, направлялся и Лже-Константинъ 26 года, руководимый „старцами.“ Изъ этого обстоятельства само собою вытекаетъ предположеніе, что расколъ не чуждъ былъ появленію самозванца съ именемъ великаго князя Константина Павловича, какъ онъ не чуждъ былъ появленію Пугачева, которому раскольники дали мысль назваться именемъ умершаго императора и котораго раскольники же поддерживали и совѣтами и денежными средствами какъ въ началѣ его похожденій, такъ и во все время пугачевщины. Но какую ближайшую цѣль имѣли раскольники, пуская въ народъ Лже-Константина, какъ они пустили Лже-Петра, на это нѣтъ ни прямыхъ, ни косвенныхъ указаній въ нашихъ матеріалахъ. Давая народу Лже-Петра, раскольники положительно высказались, что желаютъ этимъ облегчить свое положеніе въ Россіи, такъ-какъ, по ихъ словамъ, на людей старой вѣры воздвигнуто было „великое гоненіе.“ Но когда появился самозванецъ, народъ присталъ къ нему, имѣя свои ближайшія цѣли, хотя въ основаніи сходныя съ цѣлями раскольниковъ: онъ также искалъ въ самозванцѣ облегченія своей участи. Безъ сомнѣнія, ту же цѣль преслѣдовали раскольники, выдвигая на сцену и Лже-Константина: они продолжали быть недовольными своимъ положеніемъ, потому что оно, дѣйствительно, было положеніемъ волка на травлѣ.

Для насъ неизвѣстны только причины, почему самозванецъ не прямо отправлялся на Иргизы, и такъ долго колесилъ по саратовской губерніи. Это мы можемъ объяснить только тѣмъ, что на пути онъ воспользовался остановками для того, чтобы пропагандировать въ народѣ свое появленіе и подготовлять его умы къ открытому принятію самозванца. Однако, явился ли онъ открыто или въ какой-либо

другой мѣстности былъ схваченъ, объ этомъ свѣдѣній мы не имѣемъ. Знаемъ только, что въ 1845-мъ году въ оренбургской губерніи явился Лже-Константинъ, замѣтка о которомъ помѣщена г. Середою въ „Вѣстникѣ Европы.“ Но какъ саратовскому, такъ и оренбургскому Лже-Константину не удалось развернуться въ своихъ дѣйствіяхъ. Видно, что пора самозванцевъ уже прошла въ исторіи русскаго народа, а съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права едва-ли даже и мыслимы какія-либо серьезныя волненія въ народѣ, который мало-помалу выходитъ изъ своего полу-дикаго состоянія и для котораго теперь возможность развитія, при сравнительно лучшихъ экономическихъ условіяхъ, становится хотя сколько-нибудь мыслимою.

IV

ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОНИЗОВОЙ ВОЛЬНИЦЫ.

I.

Понизовая вольница, самозванства, страшныя встряски всего государственнаго организма такими явленіями, какъ бунтъ Степана Разина, Пугачевщина, Некрасовщина — все это не что иное, какъ выраженіе той внутренней силы, таящейся въ русскомъ народѣ, обнаруженія которой доказывали только, по удачному выраженію г. В. Ламанскаго, что въ русскомъ народѣ всегда жило, хотя и смутно, сознаніе необходимости существованія, помимо государства, еще гражданскаго общества, — [illegible]ина, которую вполнѣ ясно и опредѣленно выразить предоставлено нашему времени, и что дикія, мрачныя обнаруженія этой силы — не что иное, какъ отчаянный протестъ ея противъ излишнихъ притязаній силы, ей противоположной.

Тѣ, о которыхъ мы такъ много писали въ своихъ историческихъ монографіяхъ, эти атаманы, разбойники и самозванцы—Брагины, Зубакины, Беркуты, Шагалы, Дегтяренки, Заметаевы, Богомоловы, Пугачевы, Хлопуши — все это были люди не дюжинные, и не на разбой готовила этихъ, если позволено такъ выразиться, несчастныхъ выкидышей русской земли богато одарившая ихъ природа, а на что-то другое, лучшее. При иныхъ условіяхъ общественной и частной жизни, изъ нихъ вышли бы, можетъ быть, свѣтлыя личности, потому что натура ихъ, до болѣзненности впечатлительная и сложная, да странная воля, иногда слабая и податливая до хрупкости, иногда упрямая до неподвижности, да какая-то каменная стойкость въ своихъ убѣжденіяхъ, даже ложныхъ, въ своихъ привязанностяхъ, въ своихъ страстяхъ, стойкость, какъ во всѣхъ избранныхъ натурахъ, стойкость до фанатизма, до мономаніи (и фанатизмъ и мономанія — развѣ это не признаки величія и геніальности, только неблагопріятно направленной?) толкали ихъ не туда, куда шло дюжинное большинство, какъ стадо, торною дорогою, и толкали именно туда, куда страшно было толкнуться робкому большинству.

Этимъ несчастнымъ личностямъ, какъ мы это не разъ уже высказывали, мы отдали въ своихъ историческихъ работахъ исключительное вниманіе и, пожалуй, исключительныя симпатіи, потому что историку необходимо знать болѣзненныя обнаруженія изучаемаго имъ государственнаго организма едва ли не предпочтительнѣе передъ здоровыми и нормальными его проявленіями. Скорбный листъ больнаго государственнаго организма (а какой организмъ не болѣетъ въ періодъ развитія важнѣе сухаго послужнаго списка.

Понизовая вольница, какъ можно видѣть изъ нашихъ монографій, вымираетъ, такъ сказать, къ XIX вѣку. Но она въ сущности не вымерла, потому что не вымерли условія, ее порождавшія. Она измѣнила только формы. Въ XIX-мъ вѣкѣ являются уже, по видимому, простые воры и разбойники. Но между этими людьми есть два типа — историческіе и неисторическіе: преступники, если можно такъ выразиться, честные, несчастные продукты неудачныхъ условій жизни, и преступники ad hoc, о которыхъ мы не намѣрены распространяться.

Два типа современной понизовой вольницы изъ первой категоріи выведены нами въ настоящемъ очеркѣ. Съ этими типами мы познакомились отъ лицъ, близко ихъ знавшихъ. Мы вывели ихъ, во первыхъ, потому что въ жизни ихъ былъ случай, который доказывалъ, что пропаганда крайнихъ спеціальныхъ идей въ средѣ „младшихъ братій," не подготовленныхъ къ принятію этихъ идей ни жизнью, ни развитіемъ, не всегда достигаетъ цѣли, которая ищется, а во вторыхъ, потому что одинъ изъ выведенныхъ нами здѣсь разбойниковъ, по видимому закоренѣлый злодѣй, пожертвовалъ своею свободою за другаго разбойника изъ чувства благодарности, не что не всякаго хватитъ и изъ старшихъ братій. А это уже не дюжинность.

I.

Вотъ уже третій день, какъ сѣетъ, точно сквозь сито, частый, тихій дождикъ, обмывая и зеленый лѣсъ, и зеленый лугъ, и зеленые всходы широкаго поля, и третій день уже

не поютъ птицы ни въ полѣ, ни на лугу, ни по лѣсу, хотя самая пора бы пѣть и птицѣ, и человѣку. Апрѣль только что прошелъ, май только что начинается, а вездѣ такъ тихо, все такъ присмирѣло и умолкло... Но если бы уху человѣческому можно было, на разстояніи нѣсколькихъ сотъ квадратныхъ верстъ, прислушаться и къ говору, и къ тихому шопоту людей, то эта тишина не показалась бы мертвой. По деревнямъ копошились сѣрыя существа, и въ избенкахъ, съ прогнившими отъ дождя и времени крышами, и на грязныхъ, мокрыхъ, пропахшихъ навозомъ дворахъ, и подъ навѣсами старухи крестились отъ радости, что-то шептали и охали; мужики, копаясь въ навозѣ, тоже крестились иногда, поглядывая на небо, и чесались, по привычкѣ, въ затылкѣ; мальчишки грязнили и безъ того грязныя голыя ноги въ огромныхъ лужахъ, стоявшихъ на каждой улицѣ. Сыро, грязно, бѣдно и радостно, что вотъ-де Богъ золото льетъ съ неба на землю, пашенку мочитъ, хлѣбушкѣ силу и ростъ даетъ... И чешется сѣрое существо, и копается корявыми пальцами въ землѣ, на сколько-де промокла матушка сыра земля, и осклабляется отъ удовольствія.

Но есть и недовольные. Въ чащѣ лѣса, подъ старыми развѣсистыми осокорями, у дымящагося костра сидятъ два человѣка, оба промокшіе и замѣтно недовольные дождемъ Одинъ, по видимому, русскій мужикъ, среднихъ или нѣсколько болѣе среднихъ лѣтъ, съ рыжею бородой и сѣрыми стоячими глазами, весь оборванный, растрепанный, мускулистый, но съ добрымъ выраженіемъ въ очертаніяхъ губъ; наружность другаго напоминаетъ южно-русскій типъ: черные волосы, черные усы съ давно небритымъ подбородкомъ, черные блестящіе глаза; ему было, казалось, лѣтъ тридцать

или немного за тридцать, выраженіе его лица суровое. Онъ одѣтъ почище своего товарища. Изъ кармана потертыхъ плисовыхъ штановъ торчитъ что-то похожее на ручку пистолета. Русскій его товарищъ, сидя у костра, поплевываетъ на брусокъ и точитъ большой поварской ножъ.

— Вотъ наладилъ! третьи сутки все слезитъ, ничего сухаго не осталось, сказалъ онъ, поглядывая на мокрыя вѣтви осокорей.

— На всю видно четверть зарядилъ, такъ не жди добра, отвѣчалъ товарищъ, покуривая.

— Какое добро нашему брату? того и гляди, какъ волка затравятъ собаками.

— Ну, тутъ объ насъ никто не знаетъ.

— Неровенъ часъ и узнаютъ, какъ булги надѣлаемъ.

— Изъ-за какого бѣса дѣлать-то ее?

— А съ голоду... Что хлѣбъ-отъ еще есть?

— Есть.

— Ну, и ладно.

— Да еще и яицъ съ десятокъ осталось, что у той бабы купили за пару кулаковъ... А крикливая чертова баба... Не испечь ли яичекъ?

— А что нонѣ? не середа ли?

— А лысый дѣдъ ее знаетъ! Да хоть бы и середа, такъ что-жъ?

— Грѣшно, братъ, постъ, сказалъ рыжій.

— Голодному что за постъ, отвѣчалъ черный.

Они говорили тихо, почти шепотомъ, не смотря на то, что находились въ такомъ мѣстѣ, гдѣ разговоръ ихъ могъ быть подслушанъ развѣ только птицами, попрятавшимися въ кустахъ, да лѣсною мышью, отъ времени до времени сколь-

зившею между корнями старой осокори. Черный положилъ въ горячую золу нѣсколько яицъ и подбросилъ на костеръ сырыхъ вѣтвей валежника.

— Ты что дымъ-отъ распускаешь? проклятые казачишки учуютъ носомъ, да на дымъ и придутъ, сказалъ рыжій.

— Ну вотъ! вѣтеръ тянетъ за рѣку, а жилье тамъ, вправо.

— А хуторъ далече?

— Нѣтъ, къ первымъ пѣтухамъ дойдемъ, а ко вторымъ и дѣло обдѣлаемъ.

— Да ты найдешь то мѣсто, гдѣ ломъ спряталъ?

— Найду.

По разговору и по всѣмъ признакамъ можно было догадаться, кто были эти два собесѣдника. Не „прыткость, бойкость молодецкая“ и не „хмелинушка кабацкая“ довели добрыхъ молодцовъ до этого положенія, какъ пѣвалось въ старыхъ пѣсняхъ; то было другое время, теперь не то, не до прыткости и не до бойкости теперь... А такъ, просто несчастье... Тяжко было жить съ людьми, не везло, все не удавалось, а судьба жала да жала, ну и выжала изъ міра, и махнули рукой на божій свѣтъ горемыки. Одинъ махнулъ раньше, другой позже, а потомъ столкнулись на дорогѣ, дорога вела въ одну сторону—и пошли вмѣстѣ.

— А, видно, еще далеко до вечера, замѣтилъ рыжій, пряча свой ножъ.

— Да, полнеба, пожалуй, ужъ и прошло солнышко... за тучами не видать, отвѣчалъ товарищъ.

— Кабы соснуть, да негдѣ. Можетъ, не такъ бы скучно было ждать.

— Что скучать? я думаю, привыкъ къ чужой сторонѣ.

— Да мнѣ все одинаково: что своя, что чужая.

— Ну, мнѣ, братъ, не все-равно.

— Знаю... А такъ безъ дѣла скучно.

— Будетъ дѣло, говорю.

— А до вашей слободы верстъ со сто будетъ? спросилъ рыжій, что-то обдумывая.

— Будетъ. А что?

— Да такъ. А хотѣлось бы чай повидаться съ родными да съ пріятелями.

— Нѣтъ, не хочется... Богъ съ ними.

— И ни съ кѣмъ?

— Ни съ кѣмъ, пожалуй. Что мнѣ тамъ дѣлать? Моя пора прошла.

Къ вечеру дождь пересталъ и со всѣхъ концовъ лѣса откликнулись птичьи голоса. Прежде всего надъ самыми головами собесѣдниковъ засвистала иволга. На голосъ первой отозвалась другая, третья. Лѣсъ оживалъ. Мелкія птички, которыхъ не видно было въ зелени, засуетились и своими маленькими крылышками стряхивали съ вѣтвей осокоры серебрянныя капли то на потухавшій костеръ, то на головы собесѣдниковъ. Крошечный мышенокъ, выюркнувъ изъ-подъ корней осокори, тащилъ въ свою норку яичную скорлупу, боясь въ тоже время замочить свою мягкую сѣрую шерстку о мокрую траву.

— Смотри-ка воръ, сказалъ черный, указывая на мышь.

— Какой тамъ воръ?

— Вонъ воришка, стянулъ у насъ яичную кожуру.

— А! не замай его, озорника.

— Да это нашъ братъ, голодный: — поймаютъ, такъ убьютъ.

— Ну, я живой въ руки не дамся, сказалъ рыж

стоячіе глаза его точно полиняли въ одну минуту, точно съ нихъ цвѣтъ сбѣжалъ—посоловѣли какъ будто.

До заката солнца собесѣдники оставались у потухшаго костра.

— Пора, я думаю, въ дорогу, сказалъ рыжій.

— Пора, такъ пора... Пойдемъ прежде за ломомъ.

— Ладно... Только костеръ-то бы надо разметать совсѣмъ, да травой прикрыть, чтобъ слѣду не оставалось.

На мѣсто костра они набросали валежника, мокрыхъ прошлогоднихъ листьевъ, нарвали въ кустахъ зеленой травы и нѣсколько пучковъ бросили на валежникъ.

— Прощай, братъ, сказалъ черный, стуча сапогомъ въ корни осокори.

— Кому это ты?

— Да нашему брату-воришкѣ.

— Эхъ ты, хохолъ! все бы тебѣ жарты да смѣхи.

— Пока на волѣ—смѣйся, братъ.

— То то воля...

— А чѣмъ не воля?

— Ну, инъ будь по твоему.

Они шли самой чащей лѣса, только имъ однимъ вѣдомыми тропинками. Когда сухія вѣтви трещали подъ ихъ ногами, они останавливались, лица ихъ дѣлались неподвижными, точно окаменѣлыя; черезъ какую нибудь минуту они молча взглядывали другъ на друга и продолжали свою дорогу; шелестъ въ кустахъ испуганной ими птицы или трусливаго зайца, нечаянно раздавшійся по лѣсу стукъ желны, рѣзкій крикъ ястреба—все было подмѣчено и подслушано ими. Наконецъ птицы почти замолчали къ ночи. Они вышли на ок-

раину лѣса и оглядѣлись кругомъ. Никого не видно. Они пошли влѣво по опушкѣ лѣса зигзагами.

— Ты куда ведешь? спросилъ рыжій.

Товарищъ махнулъ рукой и продолжалъ идти.

— Къ лому что-ли?

Тотъ кивнулъ молча головой. Онъ, видимо, что-то разсчитывалъ и иногда подходилъ къ большимъ деревьямъ. Наконецъ онъ остановился у развѣсистаго тополя, ощупалъ кору руками и сказалъ: „тутъ.“ Было уже совершенно темно. Со степи, издалека, доносился по временамъ чуть слышный лай собаки.

— Гдѣ это лаетъ? спросилъ рыжій.

— Это въ сторонѣ, прасолы съ гуртами, овецъ нагуливаютъ.

— А хуторъ гдѣ?

— Влѣво за балкой.

Въ это время въ чащѣ лѣса застоналъ филинъ, да такъ глухо, точно въ кустахъ кого нибудь душили.

— Скверно воетъ чертова птица: подумаешь, человѣкъ умираетъ, сказалъ рыжій.

— А что, доводилось слышать, какъ подъ ножомъ умираютъ?

— Не одинаково умираютъ — иной хрипитъ, иной стонетъ...

— Ну, вотъ и ломъ... А заржавѣлъ таки въ землѣ.

Филинъ стоналъ и наводилъ тоску и страхъ. Въ лѣсу раздался новый крикъ, непохожій на крикъ филина. Это былъ человѣческій голосъ, голосъ ребенка или женщины.... Ги-ги-ги! — го-го-го! раздалось по лѣсу.... Это заливалась сова, собираясь на промыслъ. Ночные звуки, дѣйствительно,

могли навести страхъ и тоску на всякаго болѣе или менѣе впечатлительнаго человѣка.

Но едва наши путешественники сдѣлали нѣсколько шаговъ отъ лѣсу, какъ впереди ихъ проскользнуло что-то бѣлое.

— Что это?

— Заяцъ.

— Не къ добру.

— Ну, выдумывай.

— Говорю—къ худу.

Они продолжали идти, но часто останавливались, чтобъ прислушиваться. Лай сторожевыхъ собакъ отъ стада доносился рѣже и неявственнѣе. Гиканья совы и глухіе стоны филина уже не были слышны. Небо было чисто, но звѣзды горѣли тускло, какъ вообще въ весеннюю ночь. Наконецъ вдали, на синевѣ неба, едва замѣтно оттѣнилось что-то похожее на жилье. Черный указалъ рукою по направленію къ этому мѣсту.

— Тутъ? спросилъ рыжій.

— Тутъ, отвѣчалъ товарищъ и поворотилъ нѣсколько вправо, гдѣ въ задахъ усадьбы находилась ложбина, поросшая мелкимъ кустарникомъ и примыкавшая къ палисаднику. Подходя къ ложбинѣ, они прилегли на землю, полежали нѣсколько минутъ, видимо прислушиваясь, и ползкомъ спустились въ кустарникъ. Кругомъ невозмутимая тишина, точно все вымерло въ маленькомъ хуторкѣ, хоть бы собака тявкнула. Только, когда они очутились въ палисадникѣ, послышалось топанье лошадиныхъ копытъ. Рыжій дотронулся до руки своего товарища. „Это лошадь на конюшнѣ,“ сказалъ тотъ, нагибаясь къ уху товарища. Подползая къ окнамъ дома, въ которомъ жилъ владѣлецъ хуторка, кто-то изъ

нихъ задѣлъ за вѣтку крыжовника и разбудилъ спящую на гнѣздѣ птичку. Она встрепенулась, тихо пропищала какъ въ полуснѣ, и снова замолкла. Воры прилегли къ землѣ и въ такомъ положеніи пробыли болѣе четверти часа, поглядывая на окна дома и чуткимъ, привыкшимъ ухомъ прислушиваясь къ своему собственному дыханію, потому что другихъ звуковъ не слышно было. Черный ощупалъ голову своего товарища, потому что въ тѣни онъ не могъ его видѣть, приложилъ губы къ его уху и сказалъ: „лежи здѣсь, пока не приду. Надо оглядѣть домъ,—и поползъ какъ змѣя, не шелестя даже травою.

Но въ то время, когда онъ подползалъ къ одному окну, открытому въ палисадникѣ, капризное воспоминаніе перенесло его въ другія мѣста и передъ нимъ нарисовалась другая ночь, другая картина, хотя и тогда онъ также осторожно пробирался по маленькому садику и также билось тогда его сердце, какъ билось теперь...

Какъ странно все измѣняется въ жизни, какъ странно измѣнился онъ самъ.... Не было у него тогда въ рукахъ тяжелаго желѣзнаго лома, ни пистолета въ карманѣ, — не къ чему было... Тогда онъ шелъ на свиданье, теперь, можетъ быть, на убійство... Все прошедшее встало передъ его глазами, и дѣтство, и ласки матери, и родина, и такая же тихая весенняя ночь. — „Все пропало,“ шепталъ онъ, приближаясь къ растворенному окну. „Страшно, ухъ, какъ страшно.“ Онъ приподнялся: въ окно слышно было дыханіе спящаго человѣка. Изъ сосѣдней комнаты, по видимому, слышалось мѣрное чоканье маятника. Воръ сидѣлъ подъ окномъ, не перемѣняя положенія. Наконецъ часы щелкнули, что заставило вздрогнуть ночнаго посѣтителя. Онъ все сидѣлъ и

слушалъ. Часы стали бить — разъ, два, три — двѣнадцать. Дыханіе спящаго было также ровно и покойно. Приподнявшись къ окну, воръ снова сталъ прислушиваться и всматриваться въ темноту, господствовавшую въ комнатѣ, но не могъ ничего видѣть, а только могъ догадаться, гдѣ была постель... Наконецъ онъ услышалъ даже тихое стуканье карманныхъ часовъ, должно быть, висѣвшихъ надъ постелью. Воръ опустился на землю и опять также ползкомъ добрался до своего товарища и потянулъ его за рукавъ. Рыжій поползъ вслѣдъ за товарищемъ.

— Ну что?

— Спитъ... окно отворено.

Рыжій еще что-то хотѣлъ спросить, но тотъ зажалъ ему ротъ рукою. У растворенного окна обѣ фигуры поднялись, и черный, снявъ предварительно сапоги и взявъ въ зубы ножъ, полѣзъ въ окно, поддерживаемый своимъ товарищемъ. Слышно было, какъ у обоихъ билось сердце, точно кто бѣжалъ позади ихъ. Воръ очутился въ комнатѣ. Тихо прислушиваясь къ стуканью карманныхъ часовъ и къ дыханію спящаго, онъ подошелъ къ постели и потянулся къ часамъ... Спящій повернулся на постели. Воръ остался съ протянутой рукою, въ наклонномъ положеніи. Снова послышалось ровное дыханіе, и часы очутились въ карманѣ широкихъ плисовыхъ штановъ. Воръ направился въ другую комнату и ощупью отыскалъ письменный столъ. Съ помощью ножа онъ приподнялъ крышку стола и сталъ тихо рыться въ ящикахъ, отъ времени до времени опуская руки въ широкіе карманы штановъ.

— Это ты, Кондратій? послышалось изъ комнаты спящаго. Онъ проснулся.

— Я-съ, тихо отозвался воръ и остановился какъ окаменѣлый.

Черезъ минуту опять послышалось дыханіе спящаго. Воръ проходилъ мимо него къ окну и чѣмъ-то стукнулъ нечаянно.

— Кто тутъ? раздался сонный голосъ съ постели.

— Я-съ, отвѣчалъ воръ.

— Ты окно что-ли закрываешь?

— Да-съ.

— Не надо, душно.

Воръ скользнулъ въ окно прямо въ руки товарища, который дрожалъ отъ волненія и имѣлъ на готовѣ ножъ, отточенный имъ въ лѣсу у костра. Онъ слышалъ голоса въ комнатѣ и думалъ, что все погибло; онъ не могъ только понять, предалъ-ли его товарищъ или попался самъ. Но слова, доносившіяся къ нему изъ комнаты, говорились, по видимому, тихо и спокойно. Онъ приготовился защищаться и рѣшился дорого продать свою волю.

— Что? слава Богу? спросилъ онъ, нагибаясь къ товарищу.

— Слава Богу, отвѣчалъ тотъ и потянулъ его за рукавъ.

Гдѣ-то вблизи запѣлъ пѣтухъ, но такимъ соннымъ голосомъ, точно онъ кричалъ по обязанности, или кто потревожилъ его сонъ, и онъ, проворчавъ съ неудовольствіемъ: „отстаньте, спать хочу,“ снова засыпалъ, мечтая о цѣлой мѣрѣ зерна. Но ему отвѣчалъ гдѣ-то другой звонче и охотнѣе. Это былъ, вѣроятно, молодой пѣтушекъ, котораго жизнь еще не умаяла и которому мечталась хохлатая курица и полная наслажденій жизнь на заднемъ дворѣ.

Воры выползли изъ палисадника и спустились внизъ по

балкѣ, которая вела къ лѣсу. На хуторѣ послышался лай собаки, вѣроятно, разбуженной пѣтухами.

— Поздно проснулась, голубушка, замѣтилъ черный (до сихъ поръ онъ не говорилъ).

— Говори, поздно! мы чай и полверсты не отошли.

— А лысый дѣдъ теперь насъ сыщетъ... Денежки въ карманѣ.

— А сколько будетъ? спросилъ рыжій.

— Въ лѣсу сосчитаемъ... Ахъ, я чёртовъ лапоть! вотъ надѣлалъ добра...

— Что? спросилъ товарищъ съ безпокойствомъ.

— Да что! Сапоги-то мои остались подъ окномъ.

— Ну?

— А бѣсъ съ ними! на нихъ не написано, на чьихъ ногахъ они были и откуда принесли ихъ эти ноги.... Пусть ихъ ищутъ, сказалъ черный.

Они вошли въ лѣсъ. Почти ощупью пробирались они по густому дубняку, поминутно нагибаясь и раздвигая вѣтви легкаго кустарника, который постоянно загораживалъ имъ дорогу. То попадали они въ сырыя, проросшія непроходимымъ мелкимъ тальникомъ ложбины, то выходили на полянки, окаймленныя болѣе крупнымъ лѣсомъ; вездѣ тишь невозмутимая, ни стоновъ филина, ни гиканья совы не слышалось, какъ часа два назадъ, и только гдѣ нибудь въ чащѣ щелкалъ соловей, точно его томила безсонница и онъ выкрикивался среди влажной, безмолвной ночи, убаюкивая другую сонливую лѣсную птицу.

— Долго-ли ты будешь меня водить по этимъ проклятымъ трущобамъ? спросилъ рыжій:—я измаялся.

— А измаялся, такъ сядемъ, отдохнемъ... Вотъ и песочекъ,—близко значитъ рѣчка.

Они сѣли на пескѣ, черный полѣзъ въ карманъ за своей трубкой.

— А ты все съ проклятымъ зельемъ:—нѣтъ бы, добычу сосчитать.

— Добыча добычей, а люлька люлькой: это моя подруга вѣрная.

— Провалъ ее возьми, твою подругу.

— Толку ты, братъ, не знаешь... Люлька скуку разгоняетъ. Скверно тебѣ—за люльку, сонъ клонитъ — люлька оттонитъ... Научись-ка, братъ, и ты курить.

— Что я за безбожникъ эдакой? Стану я душу христіанскую адовымъ зельемъ пачкать.

— Ну, ну! Это вамъ старицы наплели—вѣрь имъ.

— Да и вѣрю, что въ книгахъ написано, сказалъ рыжій упрямо.

— Да въ книгахъ, братъ, написано, чтобъ не воровать и не рѣзать.

— Это другая статья: тутъ нужда... Мы всѣ божьи дѣти,—такъ для чего-жъ однимъ дано, а другимъ не надо? Ну, и бери, коли не даютъ... Воззри на птицы небесныя, сказано въ писаніи, чѣмъ они живутъ? воровствомъ, братецъ ты мой... Стянула зерно въ полѣ, не попалась, ну и сыта... Отецъ-то небесный питаетъ и грѣетъ ихъ.

— Да ты, братъ, вонъ какой!.. А и въ самомъ дѣлѣ ты правду говоришь.

Черный задумался. Его видимо поразили слова товарища, и онъ сталъ вдумываться въ смыслъ имъ сказаннаго.

— А что ни говори—правда, сказалъ онъ.—Какъ же

это я прежде былъ такой дуракъ, что считалъ воровство грѣшнымъ дѣломъ?

— Дуракъ не дуракъ, а многаго не зналъ—вотъ и все.

— Ну, по твоему, значитъ, и рѣзать не грѣшно? спросилъ черный нерѣшительно.

— Мало-ли что грѣшно, да дѣлаютъ, отвѣчалъ тотъ—вотъ ты теперь куришь, а это смертный грѣхъ.

— Грѣхъ грѣху розь.

— Чтожъ, по твоему, и надо протягивать шею, когда на тебя хотятъ петлю надѣть?

— Ну, знамо, надо мотать головой.

— Тото-же: а мотнешь башкой—и угодишь кому въ зубы. Такъ и съ ножомъ: хотятъ тебя какъ собаку связать, да запрятать, ну—и махнешь ножомъ.

— Такъ... Да ты дока, хотя и москаль.

— А то гдѣ-жъ доки—у хохловъ, думаешь?

— У хохловъ.

— Говори!.. Да ты что все сосешь свою люльку? Что денегъ не считаешь.

Черный полѣзъ въ карманъ и вынулъ старый, потертый кожаный бумажникъ.

— Тутъ наша воля, сказалъ онъ, похлопывая по бумажнику.

— Ну, показывай.

Въ это время въ кустахъ кто-то застоналъ. Бесѣдующіе вздрогнули и схватились за ножи. Стонъ повторился.

— А, чёртова птица! Это все она воетъ, сказалъ черный, успокоившись.

— Какая пропасть тутъ этихъ филиновъ: покою не даютъ добрымъ людямъ.

— Добрымъ, повторилъ товарищъ, улыбаясь.

— А чѣмъ не добрымъ? Ты думаешь, добрѣе тѣ, что заставили насъ шататься по свѣту,—а вотъ живутъ же межъ людей, и люди имъ кланяются, величаютъ добрыми... Эхъ! погляжу я... Онъ замолчалъ. Черный курилъ задумчиво. Товарищъ продолжалъ:

— Да это еще ничего, нашъ братъ коли бьетъ, такъ бьетъ сразу: перерѣзалъ горло, проткнулъ бокъ, ну и баста; а добрые-то люди рѣжутъ по кусочку, исподволь... У разбойника коли захрипѣлъ подъ ножомъ, и кинулъ его, а у добрыхъ людей и хрипитъ, а они дальше ножъ суютъ; умретъ, въ землю закопаютъ и туда суютъ ножъ, руками землю раскапываютъ, да все тычутъ и косточки перемываютъ.

За кустами что-то крякнуло и пролетѣло надъ головами разбойниковъ, точно кто шапку бросилъ въ воздухъ.

— Что это? спросилъ рыжій.

— Это кряква проснулась.—Ты ее разбудилъ.

— А я думалъ другое что...

— А тутъ людей нѣтъ; мы далеко отъ жилья.

Ночь ли вызвала старыя воспоминанія въ душѣ бродяги и воспоминанія шевельнули его желчь, вспомнилось-ли ему родина, далекое село съ бѣлой церковью, люди, которыхъ онъ зналъ съ дѣтства и которые потомъ научили его ненавидѣть ихъ за все зло, испытанное имъ въ жизни, или заговорила въ немъ его природная жестокость, если только жестокость можетъ быть врожденна человѣку,—только злоба выразилась въ его стоячихъ оловянныхъ глазахъ.

— Знаю я людей, знаю ихъ добро, продолжалъ онъ, понизивъ голосъ: они хуже звѣрей... Звѣрь глупъ, не умѣетъ

обманывать, не умѣетъ притворяться, а человѣкъ все умѣетъ. Эхъ, кабы воля да сила! показалъ бы я имъ... Мнѣ не за себя обидно: что я? мало ли такихъ, какъ мы съ тобой? нѣтъ, я бы показалъ, что это за люди, тѣ вотъ, что честными и богобоязными слывутъ, въ церковь ходятъ, милостинку подаютъ. Видитъ Богъ, хуже насъ. У насъ все на чистоту по крайности — воръ такъ воръ, душегубъ такъ душегубъ, за это насъ и въ Сибирь шлютъ; а они нѣтъ: не укралъ, затѣмъ что не для чего, своего много, — не убилъ, затѣмъ что его никто не билъ и не душилъ,—ну и хорошій человѣкъ... влѣзь-ка въ душу ему, загляни въ него, когда онъ молится, когда онъ добро дѣлаетъ. Застань его душу врасплохъ, когда онъ самъ не догадывается о томъ, что у него тамъ внутри, тогда и узнаешь, кто хуже, собака-ли, что на цѣпи сидитъ, или человѣкъ, которому всѣ кланяются въ поясъ да до земли... Ты думаешь, я по злобѣ говорю? Я не золъ, видитъ Богъ, не золъ а изозлился, люди изозлили.

Черный въ это время сталъ считать деньги.

— Все пятирублевыя, сказалъ онъ.

Рыжій придвинулся къ нему и они начали разсматривать бумажникъ вмѣстѣ.

— Я ожидалъ больше, сказалъ черный, передавая бумажникъ товарищу.

— А тутъ много-ли?

— Сосчитай самъ... Видно, что немного.

— Тебѣ бы все тысячи развѣ? будетъ съ насъ и десятковъ... И то хорошо, что безъ боя взяли этотъ кушъ, никого не оцарапали, не то чтобъ убить.

— А тебѣ бы все рѣзать? отозвался товарищъ, шутя.

— Нѣтъ, я не охотникъ до этого, а коли надо, то и зарѣжу.

Между тѣмъ нельзя было не видѣть, что короткая весенняя ночь на исходѣ; деревья стали явственнѣе оттѣсняться на голубомъ небѣ; передразсвѣтный вѣтерокъ уже давно пробѣжалъ по вершинамъ дубовъ, осокорей, липъ и тополей, и горькая осина давно шевелила своими живыми листьями, которые дрожали какъ въ лихорадкѣ, при малѣйшемъ движеніи въ воздухѣ. Раздавались уже кое-гдѣ утренніе голоса проснувшихся лѣсныхъ птицъ. Заря видимо занималась на востокѣ, который свѣтлѣлъ и чуть замѣтно розовѣлъ. Съ далекаго луга, изъ-за рѣки, доносились уже крики журавля и подергиванья коростелей. Воры разсчитывали далеко уйти въ эту ночь, а между тѣмъ утро заставало ихъ такъ близко отъ мѣста послѣдняго ночнаго подвига, что они могли быть настигнуты и схвачены. Они вспомнили, что въ ихъ положеніи некогда предаваться бесѣдамъ и мечтамъ, что только ночью они могутъ сдѣлать что нибудь и скрыть свои слѣды.

— Будетъ толковать... пора въ дорогу... Слышишь, все проснулось: того и гляди, солнышко выглянетъ изъ-за лѣсу, сказалъ рыжій.

— Такъ идемъ же живѣй.

— А куда?

— На-низъ, по рѣкѣ... Я эти мѣста знаю.

— А насъ тамъ не станутъ искать?

— Нѣтъ, скорѣй бросятся вверхъ, къ русскимъ селамъ, тамъ лѣса и притоны воровскіе были.

Рыжій снялъ шапку, перекрестился на востокъ, встряхнулъ своими рыжими спутавшимися кудрями, подтянулъ ре-

менный поясъ, на которомъ висѣлъ ножъ, прятавшійся въ карманѣ, и пошелъ за товарищемъ. Тотъ уже курилъ свою трубку и поплевывалъ изъ стороны въ сторону, хотя видимо занимала его какая-то мысль, или ему было невесело, или желчный товарищъ расположилъ и его въ худую сторону.

Онъ дѣйствительно едва-ли не въ первый разъ задумался надъ положеніемъ, въ которое поставила его судьба. Онъ былъ еще молодъ; но что ожидало его впереди? Вѣчно бродячая, безпокойная, опасная и страшно томительная жизнь разбойника, боящагося встрѣтиться съ людьми, не имѣющаго ни одной души на свѣтѣ, которая бы сочувствовала ему? Это при благопріятныхъ обстоятельствахъ. А болѣзнь, застигнувшая врасплохъ гдѣ нибудь въ лѣсу, вмѣстѣ съ звѣрями, вдали отъ людей? а опасность быть пойманнымъ? а старость, физическая усталость, нежеланіе наконецъ мыкаться по бѣлому свѣту. Смерть въ острогѣ, на каторгѣ. А ему еще хотѣлось и жить, и любить, и быть любимымъ, къ чему онъ имѣлъ всѣ данныя: умъ, доброе сердце, славную, молодцоватую наружность. Да онъ и любилъ, и его любили. Однимъ словомъ, въ немъ пробудились жажда жизни, въ немъ заговорили человѣческія чувства, человѣческія ощущенія, въ немъ боролись человѣческія силы и требовали исхода. Хорошо было его товарищу говорить такъ обо всемъ, тотъ отъ жизни ничего не ждалъ; ему было все-равно, жить-ли, умереть-ли, а если и умереть, такъ не даромъ, лишь бы удовлетворить свою злобу на этихъ людей. А ему напротивъ хотѣлось жить, жить и жить. Жизнь затрогивала въ немъ и хорошія струны его сердца; онъ былъ добръ, впечатлителенъ. Тяжелая необходимость, кровная обида и сердечныя боли вывели его, какъ пылкаго украинца по рожденію, на

большую дорогу и дали ему разбойничій ножъ въ руки; въ минуты страсти и при воспоминаніи обидъ онъ готовъ былъ на все, особенно когда впереди не видѣлось ничего свѣтлаго, отраднаго; но этотъ ножъ жегъ ему руки, онъ смутно сознавалъ, какою страшною дорогой повела его злая судьба, такою дорогой, съ которой ни своротить въ сторону нельзя, ни вернуться назадъ нельзя. Съ пути, на который его насильно толкнули обстоятельства, не было уже возврата; а мириться со своимъ положеніемъ онъ не могъ, не умѣлъ. И вдругъ слова товарища, закоренѣлаго бродяги, открываютъ ему глаза, заставляютъ его сомнѣваться во всемъ... „А мнѣ прежде и въ голову не приходило это,“ постоянно думалъ онъ. „Да такъ ли полно? снова шевельнулось у него на сердцѣ: — „значитъ, свѣтъ все не на правдѣ стоялъ? Люди неправы? правы одни птицы да звѣри? Что нибудь да не такъ.“ Совѣсть, привычка говорили одно... Ему хотѣлось вѣрить другому.

— Такъ и не грѣхъ воровать, говоришь ты? спрашивалъ онъ товарища.

— А курить не грѣхъ? въ свою очередь спрашивалъ тотъ.

— Ну пускай, по твоему, и грѣхъ...

— Тогда и воровать грѣхъ.

— Какъ же такъ? ты не куришь отъ того, что грѣхъ, а воровать воруешь...

— Эхъ, хохолъ ты, братецъ! безъ трубки я не умру, а безъ хлѣба умру, вотъ и вся недолга.

— Такъ говорилъ онъ и снова задумывался.

— Подайте, родимые, странницамъ за души сродственничковъ вашихъ, для спасенія родителей, вдругъ раздался

дребежащій голосъ, и они увидѣли подходящихъ къ нимъ двухъ старушекъ съ котомками за плечами. Они не замѣтили, какъ очутились на дорогѣ.

— Откуда Богъ несетъ? спросилъ рыжій, изумившись.

— Съ богомолья, кормилецъ.

— Богъ подастъ, баушка, сказалъ рыжій, сами люди странніе.

Старушки прошли мимо и нѣсколько разъ оглядывались.

— Вотъ чертъ наткнулъ... еще пожалуй разскажутъ, что встрѣтили насъ.

— Что имъ до насъ за дѣло? отвѣчалъ черный въ раздумьи.

— Какъ что за дѣло? неровенъ часъ, спросятъ, не видали-ли гдѣ какихъ подозрительныхъ людей? — ну, и покажутъ на слѣдъ.

— Что-жъ, еслибъ насъ кто видалъ здѣсь, а то окромѣ совъ да филиновъ никто не глядѣлъ на наши буйныя головы.

— То-то! а я бы, пожалуй, и прирѣзалъ этихъ потаскушъ, коли ужъ на то пошло, коли нечистый попуталъ — увидали насъ.

— Полно тебѣ... Можно и поворотить съ этой дороги и назадъ, въ лѣсъ... насъ тутъ будутъ искать, коли придетъ охота.

— А поворотить, такъ поворотить — день, пожалуй, переждемъ въ лѣсу.

И они скрылись въ чащѣ лѣса.

II.

Условія разсказа однако требуютъ, я думаю, объявить по крайней мѣрѣ имена дѣйствующихъ лицъ. Старшаго изъ нихъ, рыжаго русскаго мужика звали Карпомъ Петровымъ Отшибинымъ; младшаго, черноволосаго и черноусаго малороссіянина—Харькомъ или Харитономъ Ивановымъ Лютымъ. Первый былъ когда-то удѣльнымъ крестьяниномъ, зажиточнымъ мужикомъ и задирой на мірскихъ сходкахъ; второй былъ единственнымъ сыномъ богатаго малороссійскаго семейства, торговавшаго скотомъ и жившаго въ одной изъ большихъ слободъ войска донскаго. Лютый былъ парень грамотный, начитанный, хорошо велъ торговыя дѣла своего отца и до безумія былъ любимъ своей матерью. Отшибина сгубили добрые люди за крутой, упругій нравъ; со своей правдивостью онъ всѣмъ міроѣдамъ былъ поперегъ горла и они вытерли его изъ своей среды. Онъ взялся за кистень да за ножъ. У Лютаго отняли невѣсту и его же хотѣли отдать за грубость въ солдаты, и Лютый накутермилъ въ слободѣ, насолилъ врагу такъ, что долженъ былъ за все поплатиться острогомъ, и бѣжалъ, куда глаза глядятъ. И тотъ, и другой долго боролись съ обстоятельствами, пока еще терпѣлось, пока еще хватало силы, и только тогда бѣжали отъ людей, когда уже болѣе нельзя было оставаться, когда для нихъ все было потеряно. Отшибинъ долго бился съ людьми, со своей долей, долго не уступалъ, но и тогда, когда его воля была пересилена обстоятельствами и онъ молча покорился своей участи, уступилъ и тогда его не пожалѣли въ память стараго,

въ отмщеніе за все, чѣмъ онъ передъ каждымъ провинился, ему не могли ничего простить, его тѣснили на всемъ и за все; хозяйство его разстроилось, доброе имя его подверглось нареканіямъ. Онъ падалъ нравственно день за днемъ, и когда уже впереди ничего не оставалось, въ немъ заговорила упрямая его воля, и онъ сказалъ себѣ: „пропадать такъ пропадать ужъ заодно, не даромъ бы только,“ поставилъ себя такъ, что неизбѣжно долженъ былъ избрать одно изъ двухъ: или идти на судъ и проиграть, или идти въ лѣсъ, въ степь, на Волгу и выиграть, проиграть-ли все равно... И Лютый не безъ борьбы, не безъ страданій загубилъ свою голову: онъ долго отстаивалъ свои права, долго бился, какъ только можетъ биться человѣкъ, у котораго отнимаютъ единственное на землѣ счастье; но наконецъ и онъ былъ побѣжденъ, униженъ, оскорбленъ. Месть довела и его до преступленія, а потомъ уже больше ничего не оставалось, какъ бѣжать въ лѣсъ, въ степи.

Уже третій мѣсяцъ какъ Отшибинъ и Лютый сошлись случайно на какой-то ярмаркѣ и съ тѣхъ поръ были неразлучны. Съ весной они сговорились пробраться къ донскимъ станицамъ, такъ какъ эта мѣстность была знакома Лютому. Первымъ ихъ подвигомъ здѣсь было воровство на хуторѣ. Послѣ встрѣчи съ богомолками бродяги ушли въ лѣсъ переждать до другаго дня, чтобы потомъ пробраться дальше.

Въ лѣсу они долго бродили, пока не добрались до самой рѣки. Тамъ они сдѣлали роздыхъ.

— Эхъ, закусить бы теперь, да нечего, сказалъ Лютый, располагаясь на травѣ.

— Нечего, а смерть ѣсть хочется: хоть бы звѣря какого, либо птицу изловить.

— Какъ ее изловить? Вотъ еслибъ убить изъ пистолета.

— Что ты? сказалъ Отшибинъ, съ ума сошелъ, что стрѣлять хочешь.

— Да и сойдешь такъ съ ума отъ голоду: шутка, другой день маковой росинки во рту не было.

— Э! молодецъ ты еще, я вижу... И не такъ приходилось голодать, я и траву ѣдалъ и березовую да липовую кору глодалъ, а все живъ остался.

— Проклятая жизнь! сказалъ Лютый съ какой-то дрожью въ голосѣ,—и деньги въ карманѣ, а приходится голодать... Эхъ!...

— Подожди—скоро погуляемъ, есть на что.

— Погуляемъ... а когда-то и я гулялъ за батюшкиной да за матушкиной головой... То-то жизнь была...

— Была, братъ, она и у меня... И какъ сладко спалось, и сны не грезились... Воротишься бывало съ поля, и обступятъ тебя дѣтишки, малъ-мала меньше, кто на колесо влѣзъ, кто на лошадь, а тотъ на тятьку карабкается... Войдешь въ избу, окинешь глазомъ — все твое и Богово... самъ хозяинъ... сердце радуется... Жена была добрая, ласковая, поперекъ слова въ жизнь не сказала, а коли что и говорила, такъ все на добро да на любовь меня направляла... Злость такъ и мутитъ душу, какъ вспомянешь, что все это прошло не по божьему велѣнью, а такъ, отъ людей, отъ завистниковъ... Аспиды!...

Стоячіе глаза его помутились и точно полиняли.

— Ба! да я слышу, тамъ въ дуплѣ есть молодые галчата, сказалъ Лютый и полѣзъ на ближайшее толстое дерево.

Отшибинъ смотрѣлъ на него мутными глазами, по видимому, ничего не понимая.

— Лови, сказалъ Лютый, бросая съ дерева молодаго галченка, котораго онъ вынулъ изъ дупла и тамже прирѣзалъ ножомъ; да какіе большіе... Держи еще, вотъ тебѣ и третій, и четвертый.

Прирѣзанныя птицы падали съ дерева прямо къ ногамъ Отшибина.

— Шесть штукъ, сказалъ Лютый, слѣзая съ дерева, вотъ намъ и обѣдъ. Разводи огонь, а я ощиплю, да распотрошу ихъ.

Отшибинъ началъ раскладывать огонь, а Лютый, ощипавъ галчатъ, отправился къ рѣкѣ вымыть ихъ. Черезъ нѣсколько минутъ у рѣки раздался выстрѣлъ. Отшибинъ вздрогнулъ и вскочилъ на ноги.

— Что это? и онъ бросился въ кусты и прилегъ къ землѣ, прислушиваясь и поводя головою изъ стороны въ сторону.

Въ это время показался Лютый, держа въ рукахъ какую-то большую птицу.

— Ты гдѣ, Карпъ Петровичъ? сказалъ онъ, не найдя своего товарища у костра.

— Я здѣсь, отозвался тотъ; а какъ ты напужалъ меня... Что за блажь пришла тебѣ стрѣлять, глупый ты человѣкъ? Погубить себя хочешь, что-ли? такъ ступай домой, а мнѣ такого товарища не надо. Долго-ли до бѣды?

— Ну, ужъ ты! видишь, какого баклана свалилъ, обѣдъ у насъ выйдетъ на славу.

— Погубишь ты и меня, и себя со своимъ обѣдомъ... Перебраться бы намъ куда въ другое мѣсто.

— Вотъ еще!

— А какъ кто нибудь да слышалъ, что ты рявкнулъ своимъ проклятымъ пистолетомъ?

— Кому тутъ слышать? слыхалъ одинъ бакланъ, да и тотъ теперь не слышитъ.

— Эхъ, попадусь я съ тобой, съ глупымъ.

— Ничего, небось не попадемся... Мало ли тутъ казаковъ стрѣляютъ. Кто узнаетъ, что это мы?

— То-то же, смотри у меня.

Лютый, не отвѣчая, отправился къ рѣкѣ готовить къ обѣду дичь, а Отшибинъ, ворча и косясь по сторонамъ, разводилъ огонь, стараясь, чтобъ не было дыму. Лютый приготовилъ все, сдѣлалъ изъ палокъ нѣсколько вертеловъ, и стали они жарить къ обѣду и галчатъ, и баклана, котораго они предварительно разрѣзали на куски, такъ какъ это была довольно большая птица.

— Соль, кажись, у насъ осталась, сказалъ Отшибинъ, у котораго голодъ заглушилъ опасенія, и онъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на куски поджаривавшагося мяса.

— Да, есть немножко.

— Такъ надо бы посолить.

— А вотъ хлѣбца-то ни кусочка.

— Ну, инъ и такъ поѣдимъ.

Послѣ обѣда они затушили костеръ, уничтожили его слѣды и забрались въ самую чащу лѣса, гдѣ и легли спать. Сладокъ былъ сонъ одного изъ нихъ, и мучительно, тревоженъ другаго. Одному грезилась родная семья, ласки матери, любовь любимой дѣвушки, свиданіе въ маленькомъ зеленомъ, тѣнистомъ садикѣ и долгій, долгій шепотъ, и долгіе поцѣлуи. Отшибинъ, напротивъ, метался во снѣ, ему видѣлся острогъ, тяжелыя звонкія желѣза на ногахъ, тяжелые запоры на желѣзной двери; его ловили въ степи какъ собаку, его настигали... Вотъ, вотъ схватятъ... Онъ слышитъ за со-

бой свистъ и просыпается... свистъ дѣйствительно слышится въ лѣсу, такой осторожный, видимо сдержанный... свистъ повторяется.

Отшибинъ приподнялся и весь превратился въ слухъ. Вотъ слышится лай собаки... Снова свистъ, но только въ сторонѣ.

Онъ осторожно толкнулъ товарища.

— Ты что толкаешься, спать не даешь? проворчалъ тотъ съ просонокъ.

— Молчи, аспидъ... насъ ловятъ...

Лютый вскочилъ на ноги.

— Ложись, повторилъ Отшибинъ, хватая его за руку.

— Что такое? гдѣ? кто ловитъ? шепталъ онъ испуганнымъ голосомъ.

— Прислушайся... я слышалъ свистъ... собака лаетъ...

Протяжный свистъ снова послышался невдалекѣ.

— Это знакъ даютъ, сказалъ Отшибинъ.

— Что-жъ намъ дѣлать? спросилъ растерявшійся Лютый.

— Прятаться, куда только можно, да не здѣсь... тутъ насъ, значитъ, видѣли.

И они чуть не ползкомъ стали пробираться по направленію, противоположному тому, откуда они могли ожидать опасности. Но въ это время они явственно услышали голоса... дѣваться было некуда.

— Полѣзай на эту липу, сказалъ Отшибинъ товарищу.

— А ты куда?

— Я вотъ на этотъ тополь, вѣтви густыя, не видно.

Какъ бѣлка вскарабкался Лютый на вершину липы и засѣлъ въ густой зелени листьевъ. Его нельзя было видѣть. Отшибинъ полѣзъ на столѣтній, развѣсистый тополь. Сажени на полторы отъ корней, между толстыми вѣтвями, онъ

замѣтилъ широкое дупло, въ которое могъ свободно пролѣзть человѣкъ. Отшибинъ, недолго думая, сталъ спускаться въ отверстіе, неровности котораго позволяли ему укрѣпляться ногами, а руками держаться за выдававшіеся внутрь отверстія сучки и сухую сердцевину дерева.

Они недолго ждали: послышался кое-гдѣ трескъ сухихъ вѣтвей, въ двухъ или въ трехъ мѣстахъ; свистъ уже не былъ слышенъ. Воры притаили дыханіе: они догадывались, что ихъ присутствіе въ лѣсу обнаружено пистолетнымъ выстрѣломъ, что ихъ ищутъ. Скоро послышались осторожные шаги вблизи тѣхъ деревьевъ, гдѣ спрятались Лютый и Отшибинъ. Послѣдній слышалъ даже шепотъ подъ тѣмъ тополемъ, гдѣ онъ сидѣлъ въ дуплѣ, слышалъ, какъ кто-то ощупалъ кору дерева.

— Гдѣ ты ихъ видѣлъ! говорилъ кто-то шепотомъ.

— Вонъ тамъ за кустами... Тамъ огонь былъ разведенъ, отвѣчалъ другой голосъ.

— Сколько ихъ было?

— Двое.

— А я видѣлъ тамъ у рѣчки на пескѣ слѣды босыхъ ногъ... только слѣды одного человѣка.

— Ну, можетъ, одинъ только ходилъ къ рѣчкѣ. У Чуткина въ саду одни сапоги нашли: это ихъ.

— А выстрѣлили гдѣ?

— Тамъ же у рѣчки, гдѣ песокъ.

— Они тутъ гдѣ нибудь близко... Пойдемъ къ костру, видно будетъ, давно ли потушили его?

— Пойдемъ...

Голоса смолкли и только слышались шаги по кустамъ.

У Отшибина онѣмѣла лѣвая рука и онъ ощупалъ мѣсто,

гдѣ-бы вновь уцѣпиться ловче... Шепотъ снова послышался вблизи тополя... Отшибинъ, перемѣняя положеніе руки, схватилъ что-то холодное, живое, точно ящерицу или змѣю... Послышалось тихое шипѣніе въ дуплѣ и что то холодное обвилось вокругъ кисти его руки... Онъ вздрогнулъ и чуть не упалъ. Но мгновенно онъ почувствовалъ, что его что-то укусило за руку ниже локтя. Онъ едва не вскрикнулъ отъ боли и ужаса и въ тоже время увидѣлъ, что изъ отверстія дупла, въ которомъ онъ сидѣлъ, выползала черная, тонкая змѣя. Положеніе его было ужасное: онъ слышалъ, что сыщики ходятъ близко около тополя; его могли найдти, стоило только взлѣзть на дерево.

— Смотри, смотри, вонъ змѣя сползаетъ съ тополя, сказалъ кто-то недалеко отъ дерева.

— Да, вижу... эка проклятая... тамъ вѣрно дупло есть.

— А не спрятались ли тамъ мошенники?

— Гдѣ-жъ тамъ прятаться, коли змѣя ползетъ оттуда? Она бы укусила.

— Да они далеко не ушли... Гдѣ наши?

— Они тамъ ищутъ.

— Пойдемъ и мы, надо, братъ, скрозь искать—и выше, и ниже.

Они свиснули. Имъ издали отвѣтили тѣмъ же. Они пошли на свистъ.

Лютый видѣлъ, что это были казаки съ шашками, съ пиками и одинъ съ ружьемъ. Видно было, что разбойниковъ искали.

Прошло нѣсколько минутъ, и въ лѣсу снова стало также тихо, какъ было прежде. Птицы пѣли на всѣ голоса, надъ головами и подъ ногами спрятавшихся бродягъ, переклика-

лись иволги, да такъ задорно, точно они ссорились и негодовали одна на другую. Мелкая лѣсная птица щебетала и заливалась въ каждомъ кустѣ...

Лютый первый прервалъ молчаніе.

— Ты живъ?

— Не совсѣмъ, по твоей милости, сказалъ Отшибинъ, высовывая голову изъ дупла и чувствуя боль въ укушенной рукѣ.

— Да что тамъ у тебя?

— Что кричишь на весь лѣсъ? и такъ чуть не погубилъ, сердито отозвался Отшибинъ, охъ, какъ же больно!

— Что больно?

— Да все ты надѣлалъ, чертова голова.

— Чтожъ я надѣлалъ?

— Самъ же спрашиваетъ... а зачѣмъ залѣзъ на дерево?

— Чтобъ не поймали.

— Эхъ, пропаду я съ тобой... Да ужъ и такъ заодно завтра издохну.

— Не издохнешь, здоровъ какъ быкъ.

— Да ты пойми, чертова голова, меня змѣя укусила.

— Что ты?

— Да вонъ рука какъ распухла.

— Да ты не шутишь?

— Какія шутки, погляди самъ.

Онъ спрыгнулъ съ дерева. Лютый стоялъ уже около тополя и ждалъ своего товарища. Тотъ показалъ ему укушенную руку.

— Ай, ай! да змѣя ли это полно? спросилъ Лютый съ участіемъ.

— Какъ не змѣя? самъ видѣлъ проклятую.

— Чтожъ теперь дѣлать?

— Что? выжечь или вырѣзать надо сейчасъ же.

Не думая долго, онъ взялъ свой острый ножъ и вырѣзалъ укушенное и покраснѣвшее мѣсто. Даже рука его не дрогнула при этой операціи, только Лютый морщился, какъ изъ раны лилась кровь.

— На вотъ платокъ, завяжи какъ нибудь, сказалъ онъ съ участіемъ.

— Платкомъ не удержишь: надо труту достать.

Лютый быстро отыскалъ сухаго труту на старыхъ пняхъ и перевязалъ рану товарищу.

— Да этого мало, сказалъ Отшибинъ.

— А что еще?

— Прижечь надо. Раскладывай огонь, теперь казаки чай далеко ушли.

Лютый развелъ огонь и накалилъ до-красна свой ножъ. Отшибинъ прижегъ имъ рану и снова перевязалъ.

— Ну, теперь въ дорогу... скоро ночь... ночью-то лучше пройти эти проклятыя мѣста.

Бродяги пошли внизъ по теченію рѣки.

III.

Въ три дня они далеко ушли отъ того мѣста, гдѣ оставаться было не безопасно. На четвертый день они очутились на ярмаркѣ въ большой малороссійской слободѣ. Въ суматохѣ и толкотнѣ они не боялись ничего, потому что ни ихъ никто не зналъ, ни они едва-ли могли узнать кого. Стеченіе народа было огромное: черномазые въ бѣлыхъ рубашкахъ

и сѣрыхъ свиткахъ малороссіяне, чернявыя, въ бѣлыхъ, расшитыхъ заполочью рубашкахъ съ монистами и побрякушками, въ яркихъ запаскахъ и юбкахъ, въ толстыхъ на высокихъ каблукахъ черевичкахъ, ихъ жены и дочери, русскіе бородатые мужички въ лаптяхъ, въ синихъ и красныхъ рубахахъ и въ шляпахъ, наподобіе гречушниковъ, крикливые, визгливые, гордые и задорные казаки, въ костюмахъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ, съ шашками и безъ шашекъ, въ башмакахъ и сапогахъ, бранчивые, высокомѣрно взирающіе на всѣхъ смертныхъ, на которыхъ не видно ни красныхъ галуновъ, ни красныхъ обшлаговъ, ниже металлическихъ пуговицъ, пьяные, а больше хвастающіеся тѣмъ, что много до одуренія пили и буянили въ трактирѣ, били штофы и шкалики на прилавкѣ въ распивочной и платили за это послѣдніе гроши, казачки, такія же визгливыя и задорныя, какъ ихъ мужья, и подобно мужьямъ хвастающіяся, что много пили и, подобно кликушамъ, визжали наиболѣе тамъ, гдѣ собиралась толпа зѣвакъ. Тутъ и русскіе мелкіе торговцы, робко поглядывающіе и на свои товары, и на дребезжащія казацкія сабли, которыя болтались около ихъ пьяныхъ ногъ, украшенныхъ шерстяными чулками и изъ свиной кожи башмаками, тутъ и отставные солдаты, видимо смиряющіеся передъ гордыми казаками, но въ душѣ презирающіе ихъ за отсутствіе дисциплины и за озорство...

— Сторонись, хохлы, музланы!.. казакъ идетъ, кричали пьяные, шатающіеся казачишки.

— Та идитѣ же, будьте ласковы, служивый, никто васъ не займае, говорятъ хохлы, давая дорогу взбалмошнымъ казакамъ.

— Прочь! кричатъ они—давай дорогу царскому слугѣ... прочь кацапы!

— Да проходите, почтенный, дорога широкая, не зацѣпитесь, говорятъ бородки, отходя въ сторону.

— Ты грубить, музланъ, кричитъ пьяный слуга, но пьяная рука не можетъ сдѣлать вѣрнаго удара.

— Фу, вы, пакостники, говоритъ Лютый, отплевываясь и прячась въ толпѣ.

— Потише ты, глупая голова, опять накличешь бѣду, говоритъ Отшибинъ, принимая самый смиренный и разсѣянный видъ.

Они подошли къ трактиру, выстроенному изъ лубковъ и окруженному толпою народа. Изъ-за лубковъ слышалось звяканье чашекъ и стакановъ, стукъ тарелокъ, голоса пирующихъ за водкой и чаемъ. Вертлявый половой, обстриженный въ скобку и подпоясанный бѣлымъ передникомъ, ежеминутно выскакивалъ къ народу, встряхивалъ своими жидкими волосами и, семеня ножками, точно ихъ подергивала судорога, скороговоркой бросалъ въ толпу заманчивыя рѣчи: „сюда, сюда, почтенный народъ, казаки-благородные воины, купцы почтенные, степенные, прикащики молодые, удалые, мужички богатые, тароватые, пожалуйте въ заведеніе выпить водки за здоровье тетки, выпить винца, чтобъ уродилъ Богъ сѣнца, напиться чаю китайскаго, закусить селдью голандскою, селянкою московскою и всякой всячиной заморскою.“ Заманчивыя рѣчи видимо прельщали зрителей, народъ стоялъ вокругъ трактира и жадно посматривалъ въ открытыя окошки, въ которыя виднѣлись счастливцы — кто за чаемъ китайскимъ, кто за селянкою московской, а больше все пили водку за здоровье тетки, а изъ заморской всякой всячины

угощались только вонючей бараниной да яичницей... У многихъ изъ зрителей слюнки текли при видѣ такихъ сластей, при видѣ этой поразительной роскоши.

— Эхъ, Карпуха, побывалъ бы хоть разъ въ этомъ раю, поѣлъ всѣ тамошнія сласти, да тогда и умирать нежалко было бы, говорилъ оборванный лапотникъ своему товарищу, заглядывая въ окна трактира.

— Это, братецъ, не про насъ.

— Да заморскаго-то, Карпушенька, я ничего отродясь не ѣдалъ, такъ хочется.

— А я, братецъ, ѣдалъ.

— Ну что, каково? и у спрашивающаго разгорѣлись глаза.

— Важно, братецъ, гордо сказалъ Карпуха, вспоминая, что онъ въ Москвѣ ѣлъ когда-то, въ извозѣ, печенку съ лотка—важная штука заморщина!

— Слышишь, братуха, музланы говорятъ о заморскихъ яствахъ, шепталъ молодой казакъ другому, разслышавъ разговоръ Карпухи съ пріятелемъ, — стыдно, братуха, я не знаю, какія онѣ и въ глаза-то.

— Пойдемъ-ко, Ваня, въ заведеніе, заморскими яствами да всякими сластями забавляться, сказалъ другой, гордо поглядывая на Карпуху съ пріятелемъ.

Казаки прошли въ заведеніе.

— Пошли, братецъ ты мой, сказалъ Карпуха.

— Пошли, сказалъ пріятель со вздохомъ. Экое счастье казакамъ!

Отшибинъ и Лютый также сидѣли въ трактирѣ безъ особеннаго шума и безъ излишней скромности и робости, но какъ люди бывалые, которыхъ не удивишь заморскими блю-

дами въ трактирѣ на ярмаркѣ. Они усердно утоляли свой голодъ всѣмъ, что только могло быть въ балаганномъ заведеніи, и московской селянкой, и бараниной, и щами; пили водку, потомъ, чай, медъ, они видимо тѣшили себя за дни и ночи, проведенные въ голодѣ и страхѣ за свою свободу. Лютый окончательно повеселѣлъ и глазѣлъ во всѣ стороны, и только Отшибинъ иногда многозначительно на него взглядывалъ своими стоячими глазами.

Въ сторонѣ, за маленькимъ столикомъ, сидѣли два казака и бородка. Казаки были, какъ слѣдуетъ быть казакамъ, довольно гордые на видъ и на видъ довольно глупые, въ пестрыхъ ситцевыхъ чекменяхъ на распашку и въ широкихъ панталонахъ съ широкими красными лампасами. Наружность бородки имѣла что-то особенное: онъ не смотрѣлъ русскимъ купчикомъ, но не было въ немъ по видимому и ничего барскаго или казачьяго. Это былъ господинъ лѣтъ тридцати, съ небольшими, но выразительными черными глазами, съ черной бородкой, въ какомъ-то русскомъ кафтанѣ, въ красной рубахѣ и въ красивыхъ сапогахъ съ голенищами поверхъ панталонъ; на рукахъ щегольскія перчатки, а на носу золотые очки. Казаки рты разѣвали, когда видѣли, какъ онъ проходилъ по ярмаркѣ, для нихъ это было что-то невиданное... „Музланъ не музланъ, да и не музланскій баринъ, а только не нашъ братъ-казакъ.“ Онъ видимо убѣждалъ въ чемъ-то двоихъ своихъ собесѣдниковъ и для большаго убѣжденія усердно потчивалъ ихъ виномъ.

— Чудеса вы говорите, любезнѣйшій, говорилъ одинъ казакъ, покачивая головой.

— Что за чудеса? вы люди умные, сами понимаете дѣло,

говорила въ свою очередь бородка, подливая въ стаканы: выпейте еще,.. Вы люди съ толкомъ, люди умные.

— Умные-то умные, а въ толкъ не возьмемъ.

— Какъ же вы этого не понимаете? Вотъ у меня есть деньги—я и угощаю васъ. Это мои деньги, а то были бы наши общія, и ваши и мои.

— Какъ же такъ? что ваше, то ужъ не наше: оттого вы насъ и угощаете на свои деньги, а не мы васъ угощаемъ на ваши.

— Да вотъ вода у васъ въ рѣкѣ общая?

— Общая.

— Такъ и все можетъ быть общее.

— Съ какой же это я стати отдамъ всѣмъ свое добро?

— Да вѣдь и ты возьмешь чужое: своего не будетъ.

— Да зачѣмъ мнѣ чужое? Вонъ у меня жена красавица, а у сосѣда — вѣдьма: онъ скажетъ по вашему: „моя жена пусть будетъ твоя, а твоя—моя.“ Нѣтъ, дудки.

Это, по видимому, озадачило бородку.

— Я, почтеннѣйшій, говорю объ имуществѣ: надо, чтобъ не было бѣдныхъ.

— Надо бы надо, да какъ это сдѣлать?

— Какъ? чтобъ не было богатыхъ.

— Вотъ тебѣ и разъ! теперь хоть и богатые есть, хоть они живутъ въ волю: а по вашему ужъ и богатыхъ не надо.

— Нѣтъ, всѣ тогда будутъ богатые... Надо только, чтобъ богатые бѣдныхъ не грабили, чтобъ все, что есть у богатаго, было и у бѣднаго... Богатства достанетъ на всѣхъ... Выпейте еще, почтенные.

Казаки совсѣмъ повеселѣли и все сбивались съ толку.

— Слышишь, эта борода по твоему говоритъ, сказалъ Лютый, толкая Отшибина.

Отшибинъ ничего не отвѣчалъ, а только лукаво улыбнулся.

— Да какъ же это сдѣлать, чтобъ всѣ были богаты: отнять у богатыхъ что ли и раздѣлить поровну? спросилъ одинъ казакъ, на котораго философія бороды видимо начинала дѣйствовать, такъ что онъ, пожалуй, и не прочь былъ отнять у него деньги.

— Отчего же бы и не такъ? отвѣчалъ тотъ.

— Кто-жъ будетъ отнимать? ну, вотъ я у васъ отниму, а вы у другаго захотите потомъ, а тотъ у третьяго... Что-жъ изъ этого выйдетъ?

— Это надо сдѣлать толкомъ: сами должны отдать все свое добро.

— Кто-жъ свое добро отдастъ? Опять къ примѣру скажу про свою жену, никому не отдамъ.

— Да не о женѣ рѣчь. Прежде о томъ, чтобъ было всѣмъ что ѣсть, а потомъ и о женахъ.

— Ну, я и лошадь свою никому не отдамъ: я гнѣдка люблю.

— Да никто и гнѣдка не беретъ.

Борода видимо начинала волноваться, собесѣдники его никакъ не могли понять въ чемъ онъ хотѣлъ убѣдить ихъ: они слишкомъ практично и узко примѣняли его философію. Только Отшибинъ слушалъ внимательно, понимая въ чемъ дѣло. Улыбка иногда подергивала его тонкія губы. Онъ значительно взглянулъ на товарища и глазами показалъ на бесѣдующихъ.

— Что? спросилъ Лютый.

— Молчи до поры, отвѣчалъ Отшибинъ.

Странный господинъ съ бородкой сталъ расплачиваться съ трактирщикомъ и Отшибинъ замѣтилъ, что онъ вынималъ деньги изъ довольно толстаго бумажника. Изъ-за кафтана сверкнула золотая цѣпь отъ часовъ. „Да это штука не простая,“ подумалъ Отшибинъ и сталъ слѣдить за нимъ. Уходя изъ заведенія, господинъ подалъ руку своимъ выпившимъ собесѣдникамъ-казакамъ.

— До свиданья, служивые, сказалъ онъ — подумайте-ка хорошенько о чемъ я вамъ говорилъ.

— Безпремѣнно подумаемъ, отвѣчалъ одинъ изъ нихъ почти безсознательно — и старикамъ нашимъ скажемъ, безпремѣнно скажемъ.

— А вы далече ли теперь, почтеннѣйшій? спросилъ другой.

— Въ ночь ѣду отсюда, отвѣчалъ господинъ съ бородкой — проберусь въ село N. Русскіе сговорчивѣе васъ.

— И мы сговорчивы. Чтожъ, мы пили, сказалъ одинъ изъ его собесѣдниковъ, покачиваясь на стулѣ.

Странный господинъ вышелъ. Отшибинъ и Лютый, расплатившись съ хозяиномъ, послѣдовали за нимъ и держались вдалекѣ, но такъ, чтобы не потерять его изъ виду. Почти до вечера толкался этотъ господинъ между народомъ, подходя то къ одной, то къ другой кучкѣ и видимо прислушиваясь къ разнороднымъ толкамъ толпы.

— Что онъ дѣлаетъ? спрашивалъ недоумѣвающій Лютый.

— Да тоже, что и мы, отвѣчалъ Отшибинъ, улыбаясь.

— Карманникъ онъ?

— Не карманникъ, а птица не простая.

Наконецъ господинъ этотъ оставилъ ярмарку и направил-

ся къ слободѣ. Отшибинъ и Лютый послѣдовали за нимъ. Они видѣли, какъ онъ вошелъ въ одинъ домъ, гдѣ, вѣроятно, останавливался на квартирѣ. Надо было ждать. Чрезъ нѣсколько минутъ изъ этого дома вышелъ молодой парень и Отшибинъ слышалъ, какъ незнакомый господинъ закричалъ ему въ окно: „да смотри же, чтобъ дали добрыхъ коней.“ — „Посылаетъ за лошадьми,“ подумалъ Отшибинъ, „значитъ, скоро ѣдетъ.“

— Послушай, любезный, вы ямщики? обратился онъ къ молодому парню.

— Ямщики.

— Кого вы теперь хотите везти?

— Да вонъ у насъ тамъ пріѣзжій есть... А что вамъ тоже лошади нужны?

— Да нужно-то нужно... Нельзя ли и намъ съ этимъ проѣзжимъ вмѣстѣ? онъ куда?

— Въ село N.

— Ну, намъ не дорога, сказалъ Отшибинъ, уходя.

— Да онъ одинъ ѣдетъ, сказалъ въ свою очередь парень, отправляясь за лошадьми.

Отшибинъ и Лютый удалились; они узнали все, что имъ было нужно.

— Ты знаешь дорогу въ село N? спросилъ Отшибинъ Лютаго?

— Знаю.

— Ту, такъ пойдемъ по этой дорогѣ.

— Зачѣмъ это?

— Экой! точно и не догадался.

— Пожалуй, что и догадался.

— То-то... А лѣсъ тамъ на пути есть?

— Есть перелѣсокъ.

— На какой верстѣ?

— Да верстъ семь будетъ, а то и всѣ десять.

— Далеконько.., Однако не бѣда—дойдемъ, благо подкрѣпились.

— Надо бы скорѣй идти, сказалъ Лютый, а то какъ бы онъ насъ не обогналъ.

— Не обгонитъ.

Они вышли изъ слободы и пошли битой дорогой по зеленому лугу. Зелень была такъ хороша, такъ свѣжа, что Лютый не разъ говорилъ: „вотъ бы гдѣ поваляться да покурить;“ но на это Отшибинъ возражалъ: „послѣ поваляешься и покуришь.“ Душа послѣдняго, по видимому, чужда была всякому нѣжному впечатлѣнію, тогда какъ Лютый, вслѣдствіе ли того, что былъ много моложе своего товарища и впечатлительнѣе, или потому, что съ дѣтства былъ настроенъ нѣжнѣе и потомъ росъ и развивался среди природы, не могъ не чувствовать на себѣ вліянія тихаго вечера, теплой ночи. Конечно, причиной этому могли быть воспоминанія, незабываемые факты изъ прежней жизни... Хорошій вечеръ, тихая ночь — напоминали ему другіе вечера и ночи, другія мѣста, другія лица... Лютый, при всей видимой свирѣпости своей наружности, былъ въ сущности мягокъ и воспріимчивъ. Только тяжелое горе, виной котораго были люди, нѣсколько озлобили его противъ людей.

Почти никого не встрѣтили и не обогнали наши путешественники. Почти во всю дорогу они не говорили и только перекинулись нѣсколькими замѣчаніями относительно господина, котораго видѣли въ трактирѣ и за которымъ потомъ слѣдили.

— Изъ какихъ онъ, ты думаешь? спросилъ Лютый.

— Да кто его знаетъ, только не нашъ братъ.

— Не нашъ-то не нашъ, я и самъ вижу, да какъ-то чудно онъ говоритъ.

— Да я и самъ въ толкъ не возьму, съ какого голоса онъ запѣлъ такую пѣсню.

— Что нибудь да не такъ, замѣтилъ Лютый.

— Вѣстимо не такъ, не спросту.

— А можетъ отъ начальства посланъ развѣдать про все.

— Можетъ и отъ начальства посланъ, кто его знаетъ.

— Меня такъ инда страхъ беретъ, сказалъ Лютый въ раздумьѣ.

— Чего бояться? вотъ узнаемъ: очертя голову, не кинемся, коли нельзя будетъ.

— То-то, какъ бы бѣды себѣ не нажить.

— Вишь ты! гдѣ не надо, тамъ боишься, а то и горя мало... не я ли тебя все останавливалъ?

— Я и не спорю... Да тутъ-то дѣло не протчимъ чета.

— Вотъ оттого-то, глупая ты голова, меня и разбираетъ: ужъ коли слѣдить, такъ слѣди звѣря хорошаго. Да и пожива, надо быть, не плоха будетъ.

Наконецъ они вошли въ лѣсокъ и залегли въ балкѣ... Совсѣмъ стемнѣло. Не успѣлъ Лютый выкурить свою люльку, какъ вдали послышалось едва доносимое по воздуху однообразное звяканье колокольчика.

— Слышишь? сказалъ Лютый, приподнимаясь на колѣни.

— Слышу... кажись, колокольчикъ.

— Именно колокольчикъ.

— А съ которой стороны?

— Отъ ярмарки... Вѣрно онъ.

— Кому-жъ больше?

— Перейдемъ-ко балку, сказалъ Отшибинъ: тамъ будетъ ловче, когда кони пойдутъ въ гору.

— Правду говоришь... Легче будетъ остановить.

Колокольчикъ звучалъ все явственнѣе и явственнѣе. Послышалась и пѣсня: должно думать, что пѣлъ ямщикъ, молодой парень, а за нимъ подтягивалъ и другой голосъ. Слышенъ уже былъ стукъ колесъ...

— Оба поютъ.

— Оба.

Экипажъ въѣхалъ въ ложбину. Отъ быстрой ѣзды колокольчикъ совершенно захлебнулся. Кони стали въ гору и пошли шагомъ...

— А славные у тебя кони, послышался голосъ изъ экипажа.

— Кони важные, баринъ, отвѣчалъ ямщикъ.

И Отшибинъ и Лютый узнали голоса проѣзжихъ.

— Они, сказалъ Лютый.

— Теперь выйдемъ, сказалъ Отшибинъ.

Они вышли на дорогу. Проѣзжіе замѣтили двѣ тяжелыя фигуры, которыя отдѣлились отъ лѣсу и, по видимому, шли имъ на встрѣчу. Лошади навострили уши. Экипажъ и пѣшеходы поравнялись.

— Здравствуйте, добрые люди, сказалъ Отшибинъ, снимая шапку.

— Здравствуйте, послышался голосъ изъ экипажа.

— Куда Богъ несетъ? спросилъ Отшибинъ.

— Въ село Н., отвѣчалъ ямщикъ.

— Значитъ, по дорогѣ.—Не подвезете ли насъ до села?

Ямщикъ ударилъ было по лошадямъ.

— Стой! закричалъ Отшибинъ, хватая коренную подъ уздцы — что баринъ скажетъ. Изъ экипажа никто не отвѣчалъ.

— Мы люди знакомые, баринъ, сказалъ Отшибинъ.

— Кто вы такіе? я васъ не знаю, отвѣчалъ голосъ изъ экипажа.

— А помнишь, баринъ, сегодня ты въ трактирѣ поилъ казаковъ и говорилъ имъ умныя рѣчи... Мы слушали тебя... По сердцу пришлись намъ твои слова.

— Что-жъ вамъ надо отъ меня?

— Да ты говорилъ, чтобъ все добро было общее, чтобъ бѣдняковъ не было... Раздѣлить, говорилъ, надо добро... Мы уразумѣли твою рѣчь:—подѣлись съ нами. Начни ты.

— Прочь съ дороги, мошенники, а иначе я убью васъ, сказалъ проѣзжій угрожающимъ, но видимо-испуганнымъ голосомъ.

— А! ужъ и мошенники стали... Зачѣмъ же ты говорилъ?

— Прочь, застрѣлю!

— Стрѣлять мы сами умѣемъ, сказалъ Лютый, подходя къ экипажу.

Слышно было, какъ у него въ рукахъ щелкнулъ курокъ.

— Караулъ!—закричалъ было проѣзжій; но Лютый направилъ пистолетъ прямо ему въ грудь.

— Если крикнешь еще разъ—тутъ тебѣ и смерть... Давай свой толстый бумажникъ.

— Ты же училъ глупыхъ казаковъ, что все общее, сказалъ Отшибанъ—такъ подѣлись съ нами своимъ добромъ:—чай, у тебя дома еще что нибудь останется, а у насъ ничего нѣтъ.

— Давай деньги и поѣзжай съ Богомъ — приступалъ Лютый.

Ямщикъ окончательно онѣмѣлъ отъ страха. Проѣзжій тоже окаменѣлъ отъ ужаса.

— Господи! сказалъ онъ тихо: — пощадите.

— Мы тебя не тронемъ, только отдай деньги.

— Возьмите все.

Онъ вынулъ изъ боковаго кармана бумажникъ и отдалъ его Лютому.

— Часы оставь ему, сказалъ Отшибинъ: — пускай будутъ ему на память.

Онъ выпустилъ изъ рукъ уздцы коренной и тоже подошелъ къ сидѣвшему въ экипажѣ.

— Скажи, баринъ, безъ утайки, кто ты такой? спросилъ онъ проѣзжаго — твои рѣчи въ трактирѣ больно смутили меня.

Проѣзжій молчалъ.

— Что-жъ ты шутилъ съ казаками? снова спросилъ Отшибинъ.

— Нѣтъ... не шутилъ.

— Зачѣмъ же ты съ разу не отдалъ намъ деньги?

Проѣзжій молчалъ.

— Не мѣсто здѣсь говорить съ тобой, баринъ, а то бы я поразспросилъ тебя обо всемъ... А можетъ, Богъ дастъ, свидимся... Счастливо оставаться.

Отшибинъ и Лютый скрылись въ темной балкѣ. Колокольчикъ залился съ какимъ-то остервенѣніемъ.

— Ишь ты навострилъ лыжи, замѣтилъ Лютый.

Отшибинъ ничего не отвѣчалъ.

— А какъ думаешь, много будетъ денегъ въ этомъ бу-

мажникѣ? спросилъ Лютый, желая вызвать товарища на разговоръ.

— Кто его знаетъ! сосчитаемъ.

— Куда-жъ намъ теперь идти?

— Пойдемъ опять на ярмарку, а тамъ—куда дѣло укажетъ.

Они вышли изъ балки и изъ лѣсу и продолжали идти степью, вдали отъ дороги. Изрѣдка все еще доносился къ нимъ слабый отзвукъ колокольчика.

— А далеко ужъ ускакали, сказалъ Лютый.

Отшибинъ молчалъ. Его занималъ странный господинъ.... „Не шутилъ, говоритъ,“ думалъ онъ. „Кто-жъ онъ такой? Чего ему нужно?“

Въ это время въ степи раздался свистъ. Отшибинъ остановился и присѣлъ къ землѣ. Лютый стоялъ.

— Ты слыхалъ? спросилъ Отшибинъ.

— Что такое?

— Свистъ.

— Какой свистъ?

— Въ степи кто-то свистнулъ...

Свистъ повторился.

— А! сказалъ Лютый. Эхъ ты, русакъ! аль не знаешь, кто это свиститъ?

— Кто?

— Бабакъ.

— Какой бабакъ?

— Да сурокъ что ли у васъ называется?

— Только то!.. а ужъ я думалъ ни вѣсть что. Что за проклятая сторона: то филины кричатъ, точно кто человѣка душитъ, то совы гогочутъ, какъ полоумныя, то бабаки про-

ходу человѣку не даютъ, — такъ и думаешь, что тебя со всѣхъ сторонъ изловить хотятъ. Проклятая сторона.

Раннее весеннее утро застало ихъ въ дорогѣ. За версту отъ слободы они вошли въ небольшой овражекъ, чтобъ пересчитать добытыя деньги. Въ бумажникѣ оказалось болѣе тысячи цѣлковыхъ.

— Славная пожива, сказалъ Лютый.

— Пожива важная, отвѣчалъ Отшибинъ—да только бумажникъ-то надо похѣрить.

— Для чего?

— Какой ты, право!—примѣта.

— Какая примѣта?

— Да попадись мы съ бумажникомъ, насъ узнаютъ, для хозяина онъ примѣтный, а на деньгахъ не написано чьи онѣ были, бумажки у всѣхъ одинаковы.

— Правда... Да никакъ тутъ что-то писанное есть.

— Посмотри-ка.

— Да, именно, сказалъ Лютый, пробѣгая глазами листокъ почтовой бумаги—это письмо.

— Какое письмо?

— Да вѣрно къ тому господину, что мы изловили.

— Ой-ли? а отъ кого? что тамъ пишутъ?

— Не все разбираю.

— Ну, понатужься, братъ, да прочитай мнѣ: это тоже примѣта... Можетъ узнаемъ, кто этотъ баринъ. Ну-ка, читай.

Лютый сталъ разбирать письмо, медленно, слово за словомъ.

„Удивляюсь тебѣ, мой милый, какъ ты все вѣришь въ свои и-и-ил-люзіи (кажись такъ, пояснилъ Лютый — вотъ словцо!), а я давно разучился вѣрить, какъ потерся между

нашими, меньшими братьями. Просто грустно становится, потому что нѣтъ никакой надежды на хорошій конецъ, а если есть надежда, то далеко, страшно далеко. Надо сдѣлать ихъ людьми, а иначе всякая идея, привитая къ нимъ насильно, всякая перемѣна, экономическая-ли, моральная-ли, навязанная имъ, или принятая ими съ чужаго голоса, на вѣру, будетъ ими же изуродована. Сегодня они примутъ одно, а завтра будутъ преслѣдовать и тебя, и то, что отъ тебя приняли, когда выищется другой, который втолкуетъ имъ въ голову свое. Все принимается ими въ грубо, узко-матеріальной формѣ. Да чего-жъ и хотѣть отъ дѣтей, да еще испорченныхъ исторически? Милый!

Брось свои иносказанья и ипотезы пустыя...

Научимъ ихъ прежде думать, сдѣлаемъ ихъ людьми, да сами постараемся пересоздаться въ людей,—охъ, это трудно!— да тогда ужъ и за дѣло. Долго всего этого ждать, скучно. Я впрочемъ и не жду. Въ тебѣ больше вѣры: вѣрь и жди. Но опытъ и тебя охолодитъ, какъ ни тепло твое сердце. Нѣтъ, мы еще не люди, да и не легко быть людьми, когда...“

— Ну, дальше, хоть убей, ничего не разберу, сказалъ Лютый, котораго потъ прошибъ при чтеніи этого мелко-исписаннаго письма, тутъ, вѣрно, по французскому писано.

— Э, пустое! не стоитъ читать: — ничего въ толкъ не возьмешь, сказалъ Отшибинъ—изорви его помельче, да кинь на вѣтеръ, аль въ землю закопай.

— А вотъ за деньги спасибо ему, одолжилъ... Ба! да тутъ еще есть что-то въ бумажникѣ, — какъ запрятано и зашпилено:—не деньги-ли?

— Дай-ка я хорошенько высмотрю, сказалъ Отшибинъ, протягивая къ бумажнику свою жилистую руку.

— Нѣтъ, не деньги... Опять письмо.

— Да на какой бумажкѣ, фу, ты пропасть, говорилъ Отшибинъ, теребя въ своихъ лапахъ розовый лоскутокъ... А должно быть, опять такіе же пустяки.

— Все же таки надо прочитать, сказалъ Лютый.

— Ну, читай, коли охота: кто это на такой бумагѣ станетъ дѣло писать?

— Можно и на такой дѣло писать.

„Да, вы правы, Дмитрій Аркадьевичъ, что разстояніе вслѣдствіе уменьшенія угла зрѣнія не только уменьшаетъ предметы, но измѣняетъ даже и понятіе объ нихъ (читалъ Лютый на розовой бумажкѣ). Можетъ быть, я выражаюсь неточно, но вы поймете, что я желаю сказать. Мнѣ кажется теперь, что разстояніе, собственно пространство, время, перемѣна мѣста и притокъ новыхъ разнообразныхъ впечатлѣній на столько же благодѣтельны для человѣка, на сколько и гибельны. На васъ, Дмитрій Аркадьевичъ, пространство, время и притокъ новыхъ впечатлѣній подѣйствовали такъ благодѣтельно, что вы забыли меня, хоть и обѣщали писать. Видите, я пишу первая. Странно только, отчего на меня разлука съ вами подѣйствовала не такъ, какъ на васъ: когда вы были около меня, я не боялась ничего, ни за себя, ни за васъ, а теперь я боюсь, что вы забудете меня. Я теперь только узнаю, какъ вы дороги для меня. Неужели же для васъ дороже меня ваши мечты о какихъ-то несбыточныхъ передѣлкахъ въ человѣческомъ обществѣ? Впрочемъ дай Богъ, чтобъ мечты ваши сбылись...“

— Будетъ тебѣ пустяки-то читать, сказалъ Отшибинъ.

Лютый продолжалъ читать про себя. Наконецъ онъ сказалъ громко: „Ваша П.“

— Это барышня ему пишетъ, сказалъ онъ.

— И сама, значитъ, навязывается, а коли первая навязывается, такъ безпремѣнно онъ ее броситъ... Ужъ это такъ на свѣтѣ ведется: коли дѣвка сама навяжется, то съ ней побалуютъ, побалуютъ, а послѣ и бросятъ. Женятся на скромныхъ, а ужъ коли и тому подмигнетъ, и другому подмигнетъ — такую обходятъ женихи, а только балуютъ, да сами-жъ потомъ смѣются...

— Что правда, то правда: жениху сама навяжется, такъ и замужемъ отъ мужа навяжется всякому встрѣчному. Кому охота такую брать? сказалъ въ свою очередь Лютый, вспомнивъ при этомъ, какъ и онъ любилъ, какъ долго молча любилъ и какъ все это нечаянно открылось предмету его любви, толстокосой и чернобровой Галькѣ, которая тоже и виду не показывала, что страстно любитъ черномазаго Харька, и все дичилась его... За то какъ и любили они другъ друга и какъ вѣрили другъ другу... Только люди погубили ихъ.

IV.

Еще было рано, когда бродяги явились на ярмарку, а потому, проведя ночь безъ сна, рѣшились отдохнуть нѣсколько часовъ. Удача сдѣлала сонъ ихъ пріятнымъ, покойнымъ. Тяжелыя грезы не мучили Отшибина; утомленное тѣло крѣпко спало, а за нимъ крѣпко спала и безпокойная мысль его. Лютому грезилась даже толстокосая и чернобровая Галька,

которая будто бы подавала ему письмо, писанное на розовой бумажкѣ... Чего не привидится человѣку во снѣ!

Въ этотъ же день бродяги сдѣлали себѣ нѣкоторыя закупки на ярмаркѣ, намѣреваясь отправляться въ другія мѣста. Съ добытыми деньгами они могли позволить себѣ уже многое; но Отшибинъ былъ очень остороженъ. Когда Лютый предлагалъ ему нанять подводу, чтобы, по крайней мѣрѣ, проѣхать нѣсколько десятковъ верстъ, не шатаясь пѣшкомъ, какъ они до сихъ поръ переходили съ мѣста на мѣсто, Отшибинъ сказалъ, что это вѣрное средство попасться въ ближайшемъ селеніи, когда ограбленный господинъ объявитъ ближайшимъ властямъ о случившемся съ нимъ несчастіи, съ указаніемъ примѣтъ грабителей, и дадутъ знать въ окружныя станицы.

— Нѣтъ, мы теперь-то и пойдемъ пѣшкомъ, да опять въ сторонѣ отъ жилья: а когда будемъ далеко отсюдова, тогда и понѣжиться можно, и побаретвовать, сказалъ онъ.

— Эхъ, надоѣло ходить, точно нищіе, замѣтилъ Лютый.

— А коли надоѣло, такъ ступай, посиди въ острогѣ... Все равно пойдешь послѣ пѣшкомъ по Владимiркѣ.

— Ну, идти, такъ идти... пусть будетъ по твоему.

Въ ночь же они покинули шумную ярмарку и пустились въ дорогу, сами еще не зная, въ какую сторону держать путь. Лютый упрашивалъ товарища идти съ нимъ на родину, увѣряя, что онъ проведетъ его самыми безопасными мѣстами.

— Да что тебѣ тамъ дѣлать? спросилъ Отшибинъ.

— Ничего... Хоть бы еще разъ взглянуть издали, гдѣ я родился—вотъ и все.

— Да ты-жъ недавно говорилъ, что тебя не тянетъ туда. Значитъ, пустое говорилъ.

— Тогда-то правда и не хотѣлось... а теперь вся душа переболѣла за эти дни, такъ и тянетъ.

— Эхъ, нюня ты, вижу! попадусь и я съ тобой, какъ будемъ все плакаться по матушкѣ, да по батюшкѣ... У насъ никого нѣтъ на свѣтѣ, нечего и думать о людяхъ.

— Нѣту, Карпъ Петровичъ, право-слово не попадемся... Это въ послѣдній разъ.

— Хорошо... веди... я пойду за тобой.

Дня черезъ два послѣ этого, вдали отъ жилья, въ лѣсу, когда бродяги отдыхали, Отшибинъ почувствовалъ себя такъ дурно, что не могъ далѣе идти. Сначала онъ перемогался, то отдыхалъ, то снова шелъ; желѣзное здоровье его долго боролось съ физическими болями.

— Ты бы полежалъ, говорилъ ему Лютый.

— Э! пустяки! намъ съ тобой хворать да нѣжиться? Что-жъ кровать что-ли мнѣ здѣсь искать надо? шутишь, проклятая...

И онъ судорожно поднимался съ земли, шелъ далѣе, шатаясь изъ стороны въ сторону, и снова въ изнеможеніи опускался на землю.

— А сильнѣй меня, проклятая! тянетъ къ землѣ, говорилъ онъ видимо болѣзненнымъ голосомъ.

— Да посидимъ вотъ тутъ подъ деревомъ, въ холодкѣ.

Больнаго мучила жажда и онъ старался дотащиться до какого нибудь ручейка или рѣки; но силы его оставляли и онъ снова ложился. Глаза его, и безъ того мутные, помутились еще болѣе.

— Напиться бы только... огонь бы этотъ залить только

тамъ въ душѣ, я бы все переломилъ, говорилъ онъ, силясь подняться.

— Я бы, можетъ, и нашелъ воды, да какъ мнѣ тебя оставить одного? говорилъ Лютый, и глубокое участіе къ страданію товарища выражалось въ его суровомъ лицѣ.

— Пустяки, мы пойдемъ вмѣстѣ къ водѣ, а не то я поползу змѣей, ужомъ, только самъ доберусь до воды... я не маленькій.

Лютый приподнималъ его всею своей силою. Отшибинъ съ трудомъ передвигалъ ноги, цѣпляясь за траву.

— Эхъ, сила моя! куда ты дѣвалась? кто тебя взялъ?.. одинъ день все пропало... пропалъ человѣкъ.

И онъ падалъ ницъ на землю, желая освѣжить свою грудь въ травѣ; но трава не освѣжила, запахъ ея казался противнымъ, удушливымъ.

— Кто меня сглазилъ? говорилъ онъ, пряча голову отъ солнца въ высокой, зеленой травѣ: кто послалъ на меня эту смертную муку?

— Такъ попритчилось кому-жъ сглазить? Богъ дастъ все пройдетъ, полегчаетъ, встанешь.

— Нѣту, испортили меня.

Онъ привсталъ на колѣни, уцѣпился лѣвою рукой за кустарникъ, а правою началъ креститься.

— Вотъ я и молюсь... тяжко мнѣ...

Онъ снова припалъ головою къ землѣ. Рыжіе, встрепанные волосы его смѣшались съ зеленою травой.

— Не проститъ меня Богъ... умру здѣсь въ лѣсу...

— Нѣтъ, Богъ помилуетъ... Кто-жъ не хвораетъ? утѣшалъ его Лютый.

Видно было, что послѣдній совершенно растерялся: то онъ

припадалъ на колѣни передъ товарищемъ, то шепталъ какія-то молитвы, взглядывая на небо, какъ-бы ожидая оттуда помощи, то бралъ больнаго подъ руки и силился оттащить его въ тѣнь, подъ деревья.

— Нѣтъ, ужъ не доползу я до воды... охъ, какъ горитъ душа! шепталъ больной.

— Подожди, полежи здѣсь подъ деревьями, я принесу воды... я сбѣгаю, говорилъ Лютый и, снявъ свой кафтанъ, купленный на ярмаркѣ, положилъ больному подъ голову— повремени немного, я найду воды.

Послѣ того онъ бросился въ лѣсъ, на угадъ, предполагая, что гдѣ-нибудь близко должна же быть вода. Долго онъ бѣжалъ, безпрестанно перемѣняя направленіе. Не смотря на знакомство съ характеромъ мѣстности, онъ ошибался въ своихъ предположеніяхъ, потому что вездѣ, гдѣ онъ думалъ найти воду, не было ничего кромѣ высокой влажной травы. Онъ окончательно выбился изъ силъ и уже думалъ съ горемъ въ сердцѣ возвратиться къ товарищу, какъ на одной полянкѣ изъ за кустовъ блеснула гладкая поверхность лѣснаго болота. Онъ бросился къ тому мѣсту и только тогда, когда подбѣжалъ къ водѣ, вспомнилъ, что ему не во что набрать ее, чтобы принести къ больному. Былъ у нихъ небольшой чугунный котелокъ, въ которомъ они иногда варили себѣ кашу и который всегда висѣлъ у Лютаго на поясѣ подъ кафтаномъ; но, снимая кафтанъ, чтобы подложить его подъ голову больному, онъ бросилъ котелокъ въ траву. Оставалось набрать воды въ сапоги, только что на дняхъ купленные имъ на ярмаркѣ: какъ ни гадко казалось это, но боязнь за товарища побѣдила: онъ налилъ воды полные сапоги и бросился бѣжать къ больному. Но онъ запутался въ

лѣсу и совершенно забылъ мѣстность. Онъ бѣгалъ по всѣмъ направленіямъ; сухія вѣтви, засохшія кочки, пни и кустарники кололи ему ноги до крови; онъ нѣсколько разъ спотыкался, цѣплялся волосами за деревья и рвалъ, не останавливаясь, свои густые черные кудри, не имѣя возможности отстранить вѣтви, которыя били его по лицу, потому что руки его были заняты. Онъ даже подавалъ голосъ товарищу, продолжительно свисталъ; но отклика не было. Отчаяніе и страхъ окончательно спутали его, уничтожили. Онъ весь дрожалъ отъ усталости и волненья; крупный потъ катился по его темному, суровому лицу. Онъ прислонился къ дереву. День былъ тихій, солнце жгло страшно; даже птицы перестали пѣть и только нѣкоторыя изъ нихъ перекликались въ густой листвѣ. Лютый простоялъ нѣсколько минутъ... Въ это время недалеко отъ него послышался стонъ. Онъ началъ прислушиваться. Стонъ повторился. Лютый бросился въ ту сторону.

Больной лежалъ на прежнемъ мѣстѣ и метался отъ страданій, Лютый налилъ воды въ котелокъ и поднесъ къ товарищу.

— Карпъ Петровичъ! а Карпъ Петровичъ! сказалъ онъ, наклонясь къ больному и стараясь приподнять его голову.

— Кто здѣсь? спросилъ больной, не открывая глазъ.

— Это я, Лютый!

— А!

— Я принесъ тебѣ воды.

— Что?

— Воды принесъ, на, испей на здоровье.

— Воды? гдѣ вода? спросилъ больной, оживляясь.

— Вотъ въ котелкѣ.

Отшибинъ приподнялся и сѣлъ. Глаза его были очень мутны. Онъ перекрестился, жадно схватилъ котелокъ обѣими руками и жадно пилъ, не отрываясь.

— Будетъ, Карпъ Петровичъ, сказалъ Лютый.

— Дай еще.

— Послѣ дамъ—передохни.

— Спасибо тебѣ. Богъ тебя не оставитъ!

— Ну, что легче тебѣ?

— Теперь будто и полегче... А ужъ я думалъ, что умираю.

— Зачѣмъ умирать? жить надо.

— Э! жить-то... не радость.

Онъ хотѣлъ было встать на ноги; но у него закружилась голова, и онъ принужденъ былъ снова присѣсть. Блѣдно-синія губы его скривились въ улыбку.

— Молодецъ Карпъ Петровичъ... ходить учится, сказалъ онъ горько, куда ты, моя силушка, дѣвалась? Кто съѣлъ тебя?... Какой врагъ?...

— Полно, Карпъ Петровичъ! съ кѣмъ болѣзнь не приключается.

— Э-э-эхъ!... бродягино ли дѣло хворать... валяться? Вотъ найдутъ здѣсь... и убьютъ какъ собаку...

Къ вечеру больному стало хуже. Всю ночь онъ мучился и всю ночь не спалъ Лютый. Раннимъ утромъ они оба уснули, но не надолго, Отшибинъ все метался и стоналъ. Сонъ на влажной травѣ, въ лѣсу, на довольно низменномъ мѣстѣ, вредно подѣйствовалъ на больнаго, хотя онъ, повидимому, ко всему привыкъ. Притомъ же ночь была довольно свѣжая. Къ полдню Отшибинъ сталъ бредить, безсвязно произнося одно слово за другимъ: „Маша... образъ горитъ... Васют-

ка... я приду"... Лютый сидѣлъ около него и многое передумалъ, многое пережилъ. Тяжело было сидѣть въ лѣсу надъ больнымъ, когда не предвидѣлось никакой надежды на помощь, откуда бы то ни было. Да и кто могъ подать помощь бродягѣ, котораго ждала тюрьма? Лютый одного желалъ, чтобы никто не набрелъ случайно на ихъ убѣжище. Положеніе его было тяжелое, безвыходное; въ первое время онъ совершенно потерялся и неподвижно сидѣлъ въ головахъ у больнаго, безсмысленно глядя ему въ лице, или сгонялъ съ него мухъ и комаровъ, или задумывался такъ, что забывалъ все, пока движеніе больнаго или стонъ не напоминали ему о томъ, что съ нимъ и вокругъ нихъ дѣлается... А вокругъ нихъ такая тишина, такое томительное безмолвіе... Лютый не разъ принимался молиться, но потомъ забывался или прислушивался совершенно безсознательно, какъ щебетала гдѣ нибудь одинокая птичка или вѣтерокъ съ тихимъ шелестомъ перебѣгалъ по листьямъ трясучей осины. То у него какимъ-то туманомъ застилало глаза и онъ засыпалъ, покачиваясь на мѣстѣ изъ стороны въ сторону. А между тѣмъ жаръ все усиливался и больному тяжело было оставаться подъ горячимъ солнцемъ, отъ котораго не могли защитить его вѣтви клена, повисшія надъ его головой. Больной попросилъ пить и Лютый, напоивъ его, просилъ приподняться, чтобъ онъ могъ его отвести подъ тѣнь развѣсистыхъ деревьевъ.

— Духу мало, жарко мнѣ, сказалъ больной.

— То-то я и хочу перевести тебя въ холодокъ.

— Голова болитъ, снова проговорилъ Отшибинъ, и повидимому, не въ бреду, не безсознательно.

— Привстань немного, ну, такъ, и Лютый съ усиліемъ помогъ больному перетащиться на другое мѣсто.

Потомъ онъ вспомнилъ, что ихъ могъ застигнуть въ лѣсу дождь, что вѣтви деревьевъ едва ли защитятъ ихъ, если дождь будетъ силенъ, что больной, можетъ быть, долго провалялся. Притомъ же Лютый чувствовалъ скуку отъ бездѣйствія и рѣшился чѣмъ нибудь убить свое время. Недалеко отъ того дерева, подъ которымъ лежалъ Отшибинъ, между тремя широко разросшимися кустами клена и въ густой группѣ другихъ высокихъ деревьевъ онъ расчистилъ мѣсто и сталъ строить шалашъ, въ которомъ бы они могли помѣститься вдвоемъ. Шалашъ вышелъ высокій и просторный; Лютый покрылъ его гибкими вѣтвями и травой; полъ шалаша также былъ устланъ травою. Вечеромъ Отшибинъ переведенъ былъ въ шалашъ и провелъ ночь довольно покойно, потому что въ шалашѣ его по крайней мѣрѣ не терзали насѣкомыя и не мочило холодной ночной росой.

Но при всемъ томъ больному становилось хуже и хуже. Третій день прошелъ также томительно, какъ и первые два. Отшибинъ не поднималъ головы, безсмысленно открывалъ глаза и жадно пилъ воду, которую Лютый подносилъ къ его губамъ.

Вотъ уже пятый день Лютый сидитъ надъ больнымъ товарищемъ. Время тянется невыразимо долго... Ночи безконечны, дни также. Солнце, выглянувъ изъ-за лѣса, цѣлую вѣчность, кажется, движется до полудня и такая же вѣчность проходитъ, пока оно спустится къ горизонту. Тогда начинается длинная, длинная ночь, и раздаются по лѣсу наводящіе тоску и ужасъ крики ночныхъ птицъ: въ чащѣ застонетъ филинъ, какъ стоналъ въ то время, когда бродя-

ги шли грабить Чуткина, въ другомъ мѣстѣ слышенъ противный крикъ совы, тамъ раздается пѣсня соловья, которая при другой обстановкѣ и могла бы казаться хорошею: а теперь только наводила тоску и надрывала сердце... И лѣсъ, и птицы, и люди тамъ въ селахъ — все это казалось еще болѣе чужимъ, еще болѣе безчувственнымъ... Звѣзды съ неба точно подсматривали что дѣлалось въ шалашѣ, точно подслушивали какъ иногда тамъ простонетъ человѣкъ или проговоритъ безсмысленную фразу въ горячемъ бреду...

Фу! какая тоска, какая страшная тоска!

Прошелъ полдень пятаго дня, а Лютый все сидитъ надъ больнымъ и больному все не лучше. Что дѣлать? на что рѣшиться? Безполезно сидѣть надъ товарищемъ и дожидаться его смерти, не имѣя возможности ничѣмъ помочь несчастному. Бѣжать ли въ ближайшую станицу просить помощи — но отъ кого? какъ сказать о себѣ? Не найдется ли добрая знахарка—старуха? но согласится ли она идти съ бродягой? А до станицы далеко; больной можетъ умереть одинъ; его стоны могутъ быть услышаны... Страшное, тяжелое положеніе!

Лютый рѣшился идти. Поставивъ воду около больнаго, на случай, если тотъ очнется отъ забытья и захочетъ напиться. Лютый вышелъ изъ шалаша, помолился на всѣ четыре стороны и пошелъ изъ лѣсу. Онъ шелъ очень скоро, все по одному направленію и не далѣе какъ черезъ часъ очутился въ открытомъ полѣ. По сторонамъ виднѣлись зеленыя пашни; стаи галокъ и воронъ расхаживали по нивамъ, тщетно стараясь отыскать зерно, которое давно уже пустило зеленые ростки и корень. „Птицы небесныя питаются—воруютъ чужое зерно,“ думалъ Лютый, находясь подъ вліяніемъ

философіи своего больнаго товарища. Какъ ни далеко видѣлъ привычный глазъ бродячаго, какъ ни ровно было поле, усѣянное кое-гдѣ невысокими курганами, однако нигдѣ не было видно жилья. „Скоро ли я дойду?“ думалъ Лютый, которымъ овладѣвало сомнѣніе въ успѣхѣ его экспедиціи. Онъ взошелъ на курганъ — ничего не видно, сколько не гляди, сколько не прислушивайся... „Можетъ, я и завтра не ворочусь, а онъ все будетъ одинъ... Что-то подумаетъ онъ, когда въ память придетъ? Скажетъ — я оставилъ его при смерти, бѣжалъ отъ товарища... Господи! научи что мнѣ дѣлать, какъ быть.“ Въ раздумьѣ онъ долго стоялъ на курганѣ и наконецъ рѣшился воротиться. Онъ пришелъ къ шалашу уже подъ вечеръ. Отшибинъ лежалъ съ открытыми глазами.

— Гдѣ ты былъ? спросилъ онъ.

— Хотѣлъ было идти въ станицу, лекарку къ тебѣ привести.

— Что ты? Коли Богъ не попуститъ—не умру и такъ.

— Ну что? какъ тебѣ?

— Кажись, полегче.

— Ну, слава Богу! Пить не хочешь?

— Дай.

— А не поѣлъ ли бы чего?

— Нѣтъ, душа не приметъ.

Больной осмотрѣлся съ удивленіемъ.

— Гдѣ это я? спросилъ онъ, не понимая, какъ попалъ въ шалашъ.

— Въ шалашѣ.

— Въ какомъ шалашѣ? откуда онъ взялся? Я, помнится, не видалъ въ лѣсу никакого шалаша.

— Да это я смастерилъ, чтобъ тебѣ посвободнѣй было лежать.

— Спасибо, братъ... Тебя Богъ наградитъ за это... А еще насъ разбойниками называютъ, и ты разбойникъ.... А что-жъ ты думаешь, добрые люди сдѣлали бы такъ, какъ ты? У добрыхъ людей на глазахъ я издохъ бы какъ собака... Пить бы никто не далъ.

— Ну, полно, сказалъ Лютый—Ты опять за старое.... Теперь нехорошо это... Поправься лучше, что надрывать себя?

Отшибинъ замолчалъ, но слышно было, какъ тяжело дышалось ему, а правая рука судорожно шевелилась, точно сжимала кого нибудь своими черствыми, грубыми пальцами. Порывъ злобы обезсилилъ его до того, что онъ впалъ въ забытье, хотя глаза его были открыты и смотрѣли куда-то далеко. Лютый взялъ было его за руку, заговорилъ съ нимъ; но больной ничего не отвѣчалъ. Ему стало страшно, такъ страшно, какъ никогда не было во все время болѣзни Отшибина. Онъ думалъ, что товарищъ его умираетъ... А между тѣмъ наступала ночь и по лѣсу становилось все темнѣй и темнѣй... Въ тихомъ шелестѣ листьевъ Лютому слышалось вѣянье крыльевъ невидимыхъ духовъ, которые сторожили смерть разбойника, вотъ они спускаются все ниже и ниже— и листья деревьевъ дрожатъ отъ ихъ прикосновенія; вотъ они перешептываются между собою тихо, тихо, то отлетаютъ въ темную даль лѣса и къ трепещущимъ звѣздамъ, то снова прилетаютъ и шелестятъ листьями надъ головою умирающаго... Вотъ они опускаются еще ниже; подобно тихому вѣтерку, они вѣютъ Лютому прямо въ лицо, шевелятъ его волосами и его волосы встаютъ дыбомъ, подымается отъ че-

репа каждый волосъ отдѣльно и его головѣ становится холодно, холодно, и холодъ пробѣгаетъ по всему тѣлу... „Господи! что это такое?“ шепчетъ онъ: „Господи! спаси насъ...“ Шелестъ листьевъ становится сильнѣе и холодъ ощутительнѣе; что-то врывается въ шалашъ и въ отверстіе шалаша кто-то машетъ зеленой вѣткой... „Ухъ!... ухъ!... они тутъ въ шалашѣ,“ невольно вырывается изъ груди испуганнаго Лютаго, и онъ вскакиваетъ и хочетъ бѣжать... „Да это вѣтеръ,“ говоритъ онъ, опомнившись, и начинаетъ креститься... „Ухъ!... какъ страшно!“

Онъ вышелъ изъ шалаша. Ночь была такъ хороша и прохладна; тихій вѣтерокъ не казался уже вѣяньемъ крыльевъ злаго духа; чѣмъ-то успокоительнымъ пахнуло на него отъ зелени и отъ влажной травы; по лѣсу, изъ дальняго луга, неслись крики неугомоннаго коростеля, и Лютый, прислушиваясь къ нимъ, вспомнилъ многое изъ своего дѣтства. Такъ же неугомонно трещалъ коростель, когда онъ въ первый разъ ночевалъ съ отцомъ въ полѣ у стада, такіе же звуки не давали ему спать всю ночь, когда онъ по цѣлымъ днямъ гостилъ у косцовъ, собирая перепелиныя яйца... Все-то прошло безъ слѣда, все прошло — и не воротится... Грустно ему стало въ этомъ мертвомъ лѣсу около больнаго товарища... „Хоть бы разъ еще увидать знакомыя мѣста, гдѣ я бѣгалъ маленькимъ, не вѣдая горя... То-то было время, то-то жилося!“ Но мало по малу физическое утомленіе вытѣснило изъ головы его грустныя мысли и сонъ одолѣлъ его крѣпкую натуру.

Наутро Лютый нашелъ своего товарища въ гораздо лучшемъ положеніи. Отшибинъ видимо поправлялся: упругіе мускулы его съ каждымъ днемъ пріобрѣтали прежнюю силу,

черствые пальцы снова стали сжиматься крѣпко, какъ стальныя пружины; взглядъ его пріобрѣталъ прежнюю силу и прежнее выраженіе твердости, рѣшимости и безстрастія; голова уже не валилась съ плечъ, а порывисто потряхивала рыжими, косматыми кудрями; ему уже не лежалось въ шалашѣ, на мягкомъ, душистомъ сѣнѣ... „Вотъ она, дорогая силушка моя, воротилась ко мнѣ... Здравствуй, дорогая гостья... А я уже было простился съ тобой... Здравствуй, силушка моя!“ говорилъ онъ, ломая руками толстое, сухое бревно какъ щепку и бросая осколки далеко въ сторону. „Подождемъ денекъ, другой, прибудетъ силы, какъ у Ильи Муромца, и тогда въ путь.“

Сила дѣйствительно прибывала, и много ея прибыло въ нѣсколько дней.

— Теперь въ дорогу... Я за тобой, братъ, въ огонь и въ воду, говорилъ онъ Лютому: - родная мать такъ не ходила бы за мной, какъ ты ходилъ... Не забуду я этого.

— Ну, что я хорошаго-то сдѣлалъ? ровно ничего.

— Про то я знаю и умру за тебя, слышишь?

— Богъ дастъ, не придется умирать, отвѣчалъ Лютый.

— Я къ слову говорю, а коли нужно будетъ порѣшить жизнь за тебя—порѣшу, глазомъ не моргну, не задумаюсь... Ты говорилъ, помнится, что хотѣлъ бы взглянуть на родныя мѣста?

— Хотѣлось бы, да что изъ того?

— Какъ что? веди меня къ себѣ, я за тобой въ огонь и въ воду.

— Ну, такъ и быть, вѣрно... Была не была! идемъ...

— Идемъ... Не сдобровать же твоимъ ворогамъ.

Окольными дорогами, лѣсами и степями дошли они до

большой богатой слободы, гдѣ родился и взросъ Лютый. Шибко застучало его сердце, когда изъ-за горы показался золотой крестъ родной церкви, зеленый куполъ и бѣлыя стѣны. Вдали знакомыя бѣлыя хаты съ соломенными крышами, огороды, вербы въ ливадѣ, желтый песокъ у слободы, гдѣ Лютый маленькимъ игралъ съ товарищами, поджидая отца, и наконецъ всего болѣе знакомая крыша, подъ которой онъ росъ, лелѣемый ласками матери.

V.

Родина... родимый край... Для многихъ эти слова не имѣютъ почти никакого значенія, особенно для людей болѣе или менѣе развитыхъ, если только со словами родины не соединяется у нихъ идея національности, сознательнаго или разсудочно пріобрѣтеннаго патріотизма. Для простаго народа, для народа-младенца, родина великое слово, святое дѣло, точно такъ какъ чужа-дальня сторона — горемъ горожена, печалью посажена, слезами поливана. Съ родиной онъ связанъ какъ-то органически и только родной край вполнѣ питаетъ его здоровыми соками, какъ пальму—жаркое небо юга, араба—жаркія родныя пустыни, ребенка—грудь матери. Чѣмъ проще, неразвитѣе сознаніе человѣка, тѣмъ незамѣнимѣе для него его родина.

Понятно, отчего у Лютаго затуманились глаза, когда онъ увидѣлъ родную крышу. Глядя на церковь, онъ перекрестился и положилъ три земныхъ поклона. Послѣдній поклонъ былъ очень продолжителенъ: Лютый долго не приподнималъ отъ земли своей черноволосой головы. Ему слишкомъ тяжело

было воротиться на родину въ такомъ положеніи, въ какомъ онъ находился. Сердце рвалось къ родному дому, а между тѣмъ онъ долженъ былъ прятаться, бѣжать... Оттого такъ долго не поднималась голова отъ земли.

— А твоя изба видна? спросилъ Отшибинъ съ участіемъ.

Лютый молча показалъ рукой по направленію къ церкви и отвернулся.

— Куда-жъ мы теперь? снова спросилъ Отшибинъ.

— Воротимся назадъ, отвѣчалъ Лютый.

— Какъ же это? зачѣмъ же мы шли?

— Дó ночи, дó ночи, нетерпѣливо сказалъ Лютый.

Солнце садилось, когда они поворотили въ сторону отъ слободы и скрылись за пригоркомъ. Еще разъ солнце, прячась за горизонтомъ, блеснуло на золотомъ крестѣ слободской церкви и еще разъ перекрестился Лютый.

— Какъ же ты думаешь въ слободу пройдти? спросилъ Отшибинъ, желая вывести изъ задумчивости товарища, который видимо тосковалъ.

— Ночью, когда стемнѣетъ.

— Что-жъ ты думаешь дѣлать?

— Да я и самъ не знаю... Хоть пройдусь по улицамъ.

— А съ отцомъ и съ матерью повидаешься?

— Не знаю... какъ Богъ приведетъ.

Какими безконечно-долгими казались Лютому вечерніе часы! Какъ долго потухала на западѣ розовая заря; какъ невыносимо медленно загорались звѣзды на небѣ... Какъ долго еще ждать, какъ долго мучиться! А чего ждать отъ ночи? зачѣмъ напрасно мучиться? А онъ ждалъ, ждалъ и мучился, пока знакомые звуки не вывели его изъ тяжелаго оцѣпененія. То была пѣсня, которую и онъ пѣлъ когда-то,

выходя по ночамъ „на улицу“ въ хороводъ и поджидая, не раздастся-ли милый голосъ, какъ отзвукъ на его зовъ, на его признаніе. Пѣсня пѣлась хоромъ мужскими и женскими голосами. Лютый понялъ, что за слободой шла „улица,“ хороводъ, и какъ много напоминала ему пѣсня, какъ защемило на сердцѣ отъ этихъ воспоминаній! Ему казалось даже, что онъ въ цѣломъ хорѣ голосовъ различаетъ знакомые голоса знакомыхъ парней и дѣвушекъ, съ которыми и онъ пѣлъ когда-то, хотя послѣ этого прошло много лѣтъ. Только одного голоса не слышалъ онъ, того голоса, который прежде могъ онъ узнать въ тысячѣ голосовъ, какъ бы далеко ни звучалъ онъ. Этого голоса онъ давно не слышалъ, да и услышитъ-ли, полно, когда нибудь?

Стемнѣло. Бродяги вошли въ слободу и глухими переулками пробирались къ родному дому Лютаго. Издали доносились, по временамъ, голоса пѣсенъ слободской молодежи. Проходя мимо пятиоконнаго деревяннаго дома, крытаго тесомъ, Лютый остановился. Въ одномъ изъ надворныхъ оконъ свѣтился огонекъ. Лютый стоялъ и озирался по сторонамъ.

— Что ты? спросилъ Отшибинъ.

Лютый указалъ на окно... „Это онъ, суклятый!“

— Кто онъ?

— Управитель, что отнялъ мою Галю.

Черезъ заборъ онъ заглянулъ въ окно и увидѣлъ, что толстый мужчина, управляющій, сидѣлъ у стола и что-то писалъ.

— Гали нѣтъ тутъ... она спитъ.

Лютый намѣревался перелѣзть черезъ заборъ, но Отшибинъ удержалъ его.

— Послѣ... дай угомониться я самъ все сдѣлаю.

Они пошли дальше. Лютый дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. Издали узналъ онъ бѣлую хату, въ которой родился и выросъ. На противоположной сторонѣ улицы, за-изгородью, зеленѣлись группы вишень. Это былъ садикъ, гдѣ его когда-то поджидала Галя. Бродяга чувствовалъ, будто холоднымъ желѣзомъ водили у него по сердцу. Въ немъ проснулось его прежнее, молодое чувство, и онъ готовъ былъ плакать навзрыдъ. Въ той хатѣ, къ которой они подходили осторожно, было свѣтло и окошки были подняты. Спрятавшись въ тѣнь, бродяги прошли на ту сторону улицы, откуда видно было что дѣлалось въ хатѣ... А въ хатѣ вотъ что дѣлалось:

Въ переднемъ углу на столѣ лежало мертвое тѣло, покрытое бѣлымъ. По сторонамъ горѣли свѣчи... Изъ оконъ донеслось къ бродягамъ протяжное чтеніе пречетника по усопшемъ. Въ чертахъ мертвеца Лютый съ трудомъ узналъ свою мать. Но тамъ же, въ углубленіи хаты, за пречетникомъ, онъ раасмотрѣлъ двѣ молящіяся фигуры—отца и... Гали...

Къ утру бродяги были пойманы.

Отшибинъ все понялъ, когда лютый, указывая на окно своей хаты, сказалъ какъ помѣшанный: „Се мати моя... батько... а се Галя...“

Лютый дождался, пока Галя должна была возвращаться къ своему мужу, къ управляющему, и подошелъ къ ней. Сначала она испугалась, но узнавъ въ немъ своего прежняго

милаго, какъ безумная бросилась къ нему на шею. Лютый унесъ ее, обезпамятѣвшую, въ тотъ садикъ, гдѣ прежде видѣлись они; а Отшибинъ, выждавъ ночь, пробрался къ управляющему и зарѣзалъ его въ постели. Онъ такъ полюбилъ Лютаго, ухаживавшаго за нимъ во время его болѣзни, что готовъ былъ за него идти хоть на висѣлицу.

Когда ихъ судили, Отшибинъ все бралъ на себя, выгораживая своего товарища. Но улики были явныя. Ограбленный ими баринъ съ черной бородкой оказался молодымъ помѣщикомъ, живущимъ по сосѣдству. Ограбленныя у него деньги были почти всѣ возвращены ему въ цѣлости, но молодой помѣщикъ остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ и въ память ночной встрѣчи съ бродягами подарилъ Отшибину порядочную для арестанта сумму.

Галя пошла въ Сибирь вмѣстѣ съ своимъ прежнимъ женихомъ...

Бывавшіе въ Сибири говорятъ, что современная понизовая вольница, пересаженная на новую почву, въ русскій „Новый Свѣтъ,“ даетъ этому новому свѣту нерѣдко такихъ честныхъ и дѣльныхъ гражданъ, которые не были бы лишними и въ старомъ свѣтѣ, только при иныхъ условіяхъ.. Вѣдь и въ основу нынѣшней великой сѣверо-американской республики положенъ, какъ извѣстно, не малый процентъ ссыльныхъ—такой же, какъ и понизовой, вольницы старой Англіи.

V

БЕЗУЧАСТІЕ РУССКАГО НАРОДА ВЪ ПАДЕНІИ ПОЛЬШИ.

I.

(1770—1772 г.)

... „On ne connait pas le droit de propriété dans ce malheureux pays (Pologne); pour toute loi, le plus fort opprime impunément le plus faible. Mais cela est fini, et on y mettra bon ordre à l'avenir."

Фридрихъ II къ Даламберу.

У чистому полі лежитъ орелъ вбитый,
Пішли наші польщаки москалямъ служити.

Народная пѣсня.

Давно было сказано, что исторія есть священная книга народовъ, зерцало ихъ бытія и дѣятельности, скрижаль откровеній и правилъ, завѣтъ предковъ къ потомству и т. п. Но едва ли это такъ. Подобное понятіе о значеніи исторіи, особенно какою она была до сихъ поръ, положительно не вѣрно, какъ не вѣрны впрочемъ и многія другія понятія,

наслѣдованныя нами отъ предковъ: что казалось весьма натуральнымъ прошлому поколѣнію, то кажется страннымъ современному. И предки, и большинство потомковъ, смотрѣли, напримѣръ, неблагосклонно на уничтоженіе самостоятельности Польши, называли полюбовное размежеваніе „рѣчи посполитой“ между тремя сосѣдними державами вопіющею несправедливостью, писали цѣлые трактаты о томъ, что лишать самостоятельнаго существованія цѣлую націю — дѣло возмутительное. „Но, иные могутъ прибавить, — если смотрѣть на дѣло безпристрастно, то и предки, и потомки жестоко ошибались. Говорятъ, что сосѣднія державы не имѣли никакого нрава вмѣшиваться въ семейныя дѣла рѣчи посполитой; что поляки, особенно магнаты и шляхта, могли дѣлать у себя дома все что угодно; что постороннее вмѣшательство въ домашнія дѣла народа то же самое, что стѣсненіе личной свободы человѣка, желающаго жить по своей волѣ, а не по чужой программѣ; что, наконецъ, нельзя останавливать человѣка, еслибы ему даже вздумалось утопиться. Все это, положимъ, правда. Дѣйствительно, какое было дѣло хоть бы ближайшему сосѣду Польши, Фридриху II, до того, что шляхта дѣлала ужасныя сумасбродства? Какое было дѣло Маріи-Терезіи, еслибъ какой-нибудь магнатъ и рѣшился броситься въ Вислу, когда ему не жилось на бѣломъ свѣтѣ? Мы думаемъ, что и Фридрихъ, и Марія-Терезія смотрѣли довольно хладнокровно, какъ шляхта топилась въ Вислѣ: — такова была шляхетская вольность. Но вѣдь надо и то сказать, что шляхта тянула съ собой въ воду и все посполитство, и часто, спасаясь сама, топила только хлоповъ: шляхта губила народъ, который вовсе не желалъ топиться. Вотъ чего нельзя было позволить Польшѣ... Хуже того положенія, въ

какомъ находилось большинство подданныхъ рѣчи посполитой, трудно себѣ представить, да и вся тогдашняя обстановка доказывала, что на хорошее будущее нечего было разсчитывать, по крайней мѣрѣ, очень долго нельзя было ждать перемѣны къ лучшему. Въ сущности, народъ, переходя отъ одной зависимости къ другой, ничего не терялъ, а еще выигрывалъ тѣмъ, что избавлялся, по крайней мѣрѣ, отъ буйнаго произвола шляхты. Если польское правительство не умѣло и не хотѣло осчастливить свой народъ, не умѣло даже управиться само съ собой и довело милліоны населенія до крайняго униженія и бѣдности, разорило и истощило страну, то мы имѣемъ основаніе заключить, что такое правительство не имѣло правъ на жизнь и свободу народа, недостойно было самостоятельнаго существованія.“ Вотъ что могутъ сказать другіе.

До сихъ поръ многихъ интересуетъ вопросъ объ иниціативѣ въ дѣлѣ раздѣленія Польши, вопросъ, въ сущности, неважный (1). Что за дѣло исторіи до того, кому первому пришла мысль распоряжаться въ чужой землѣ, какъ въ собственной вотчинѣ,—Фридриху ли II, Маріи ли Терезіи, или кому третьему, — когда земля эта была давно открыта для всякаго посторонняго вмѣшательства? Что за дѣло до того, кому первому захотѣлось поднять брошенную на большой дорогѣ драгоцѣнную вещь? Двери въ Польшу были растворены настежъ: всякій сильный сосѣдъ могъ свободно входить въ нихъ и распоряжаться по своему разумѣнію, какъ въ домѣ,

---

(1) Писано раньше появленія въ свѣтъ монографіи Н. И. Костомарова.—Послѣдніе годы рѣчи посполитой.

гдѣ хозяинъ былъ безпеченъ къ своему добру, а сосѣдъ думалъ принести пользу безпечному владѣльцу. Значитъ, все равно, кто бы первый ни вошелъ въ эту дверь, потому-что рано ли, поздно ли, а кто-нибудь заглянулъ бы въ нее. Но еслибы вопросъ объ иниціативѣ въ дѣлѣ раздѣленія Польши и былъ важенъ, то и тогда невозможно было бы рѣшить его положительно. Для насъ также все равно, плакала ли Марія-Терезія и искренно ли плакала, принимая отъ Кауница *„ein elendes Stück von Polen,“* —о чемъ съ такимъ умиленіемъ говорятъ нѣмцы въ своихъ исторіяхъ ([1]), лишь бы взято было то, что предлагали ей. Въ этомъ историческомъ фактѣ то важно, что Польша не могла,—а по мнѣнію другихъ,—и не должна была существовать, чтобы существованіемъ своимъ не увеличивать страданій своего народа.

Какъ бы то ни было, но положеніе Польши въ самомъ дѣлѣ было бѣдственное. Мы, пожалуй, могли бы имѣть право не довѣрять историкамъ этой эпохи, и считать пристрастными ихъ свидѣтельства о безвыходномъ положеніи польскаго общества въ періодъ такъ называемой анархіи, еслибы сами поляки, современники своего паденія, не рисовали мрачными красками картину бѣдствій своей страны, еслибы они сами не сознавали тогда, что Польша должна была погибнуть неизбѣжно. По крайней мѣрѣ, ихъ словамъ мы должны вѣрить.

Впрочемъ, не многіе изъ поляковъ въ эту критическую эпоху понимали, что стоятъ надъ пропастью; большая часть равнодушно смотрѣли, какъ мало-по-малу изнывала страна

([1]) G. Waitz, Preussen u. d. erste poln. Theilung (Histor. Zeitschr. v. Sybel, 1859.

подъ тяжестью смутъ и рѣзни партій, непостижимое равнодушіе, объяснимое развѣ только полною извращенностью всей исторической жизни этой націи. На генеральномъ конвокаціонномъ сеймѣ, созванномъ по смерти Августа III, примасъ республики, въ потокѣ громкихъ и пустыхъ фразъ, умѣлъ однако сказать представителямъ польскаго народа много жесткихъ истинъ; но все это прослушано было, или съ тупой апатіей полусоннаго пана, или съ неумѣстной, безтолковой запальчивостію гусарскаго корнета-бреттёра. Примасъ говорилъ, что дикое озлобленіе партій, полное непониманіе потребностей націи и безсмысленное пренебреженіе народными интересами ведетъ и ихъ, и націю къ погибели. Онъ взывалъ къ націи, чтобы она опомнилась наконецъ, поняла, что стоитъ на краю глубокаго обрыва, что недалеко тотъ часъ, когда погибнетъ все: ея права и вольности, ея гордость и сила, нѣкогда столь страшная и несокрушимая. „Вглядитесь, говорилъ онъ, какъ внутреннія смуты раздираютъ наше царство: всѣ наши разглагольствованія не ведутъ ни къ чему; наши сеймы—безплодны. Мы называемъ себя свободнымъ и независимымъ народомъ, а между тѣмъ стонемъ подъ тяжкимъ ярмомъ неволи, испытываемъ всѣ ужасы войны. Надъ нами тяготѣетъ бѣдствіе рабства, а мы не имѣемъ ни довольно силы, чтобы обсудить свое ужасное положеніе, ни мужества отвратить грозящую опасность.“ Онъ указывалъ на полное отсутствіе въ народѣ моральныхъ и физическихъ силъ, на недостатки въ администраціи, на пренебреженіе безопасностью страны, которая не имѣла ни крѣпостей, ни гарнизоновъ, ни постояннаго войска: заброшенныя крѣпости давно запустѣли, ничтожные гарнизоны были безсильны, границы открыты для всякаго набѣга, арміи не существовало. „Царство наше,—

говоритъ онъ,—похоже на домъ безъ кровли, на зданіе, потрясаемое вѣтрами, на жилище безъ владѣльца, готовое рухнуться съ подгнившаго основанія, если только провидѣніе не сжалится и не поддержитъ это зданіе. Воображеніе не можетъ представить ничего печальнѣе нашей участи: законы—въ презрѣніи или бездѣйствуютъ, какъ негодная тяжесть; свобода задавлена насиліемъ и произволомъ; государственная казна истощена наплывомъ иностранной монеты низкаго достоинства; провинціальные города, лучшія украшенія царства, теперь безлюдны; жалкая торговля въ рукахъ евреевъ; наконецъ, мы должны искать „городовъ въ самихъ городахъ," потому-что въ нихъ все разрушено и опустошено,—и дома, и улицы, и площади, и общественныя мѣста. Даже церкви не пощажены: онѣ обращены въ бойни, гдѣ безнаказанно рѣжутъ народъ."

Дѣйствительно, положеніе Польши было ужасное. Дальше уже нельзя было идти, и рѣчь посполитая должна была погибнуть. Къ сожалѣнію, поляки, воспитанные въ идеяхъ своего вѣка, не умѣли понять, что̀ именно было ужаснаго въ положеніи республики; самъ краснорѣчивый примасъ не въ силахъ былъ возвыситься надъ узкими понятіями времени и не умѣлъ заглянуть въ даль по свойственной магнатамъ близорукости и односторонности воззрѣній. А было, кажется, такъ легко понять, что Польша отживала послѣдніе дни. Когда еще на польскомъ престолѣ не сидѣлъ Понятовскій и Фридрихъ прусскій не думалъ дѣлить Польшу на части, венгерскій посланникъ предостерегалъ рѣчь посполитую отъ близкой бѣды. "Летаргическая неподвижность правителей, раздѣленіе на партіи и происки тайныхъ враговъ погубили Вен-

рію, говорилъ онъ: — „берегитесь, сосѣди-поляки, чтобы и васъ не постигла подобная участь!“

Но поляки не хотѣли знать ничего, и предсказаніе венгровъ сбылось, потому что только идіотъ могъ еще надѣяться, что Польша, съ ея неразумнымъ устройствомъ, проживетъ долго.

Въ 1764 году, съ обыкновенными церемоніями, поляки избрали себѣ послѣдняго короля, Станислава Понятовскаго, стольника литовскаго. По обыкновенію, избраніе было пышное, но не такъ бурно, какъ въ старые годы: какъ и прежде, примасъ республики ѣхалъ на мѣсто выборовъ въ великолѣпной каретѣ, окруженный блестящимъ дворомъ; передъ нимъ, на конѣ, ѣхалъ прелатъ и держалъ въ рукахъ крестъ; за нимъ—сенаторы, послы и прочая кровная шляхта. Поле избранія, на которомъ разбиты были палатки, вмѣщавшія въ себѣ благородное шляхетство, отдѣльно по воеводствамъ, и депутатовъ отъ семи главныхъ городовъ, окружено было рвомъ и валомъ; только въ трехъ мѣстахъ разрывался валъ—на западъ, на востокъ и на югъ: это были широкія ворота, которыми входили на поле избранія выборные всей польской земли—съ запада отъ великой Польши, съ востока—отъ малой Польши, а въ южныя двери входила Литва. Не было воротъ только на сѣверѣ... Какъ и прежде, по предварительномъ совѣщаніи, земскіе выборные вышли изъ палатокъ и стали—каждое воеводство отдѣльно, подъ своими хоругвями. Какъ и прежде, примасъ, верхомъ на конѣ, объѣхалъ поле, обращаясь къ каждому воеводству и спрашивая кого избираютъ они королемъ своимъ, и всѣ указали на Понятовскаго. Какъ и въ старые годы, великій коронный маршалъ провозгласилъ имя новаго короля у каждыхъ воротъ, и затѣмъ пропѣтъ былъ гимнъ *„do Ciebie, Panie.“*

Не знали поляки, что въ послѣдній разъ избираютъ себѣ короля.

За избраніемъ Понятовскаго слѣдуютъ самые жалкіе годы въ исторіи Польши: государство видимо разлагается; всѣ проявленія представителей націи носятъ на себѣ печать какого то отупѣнія; все дѣлается точно во снѣ; ни въ чемъ не видно ни смысла, ни цѣли, ни общихъ стремленій; силы республики давно погибли, а шляхта все еще хватается за какіе-то призраки и сама продаетъ послѣднюю тѣнь свободы. Варшава и дворъ пируютъ наканунѣ смерти; Станиславъ любезничаетъ съ дамами и разсыпаетъ остроуміе; въ театрѣ такъ весело, такъ шумно; въ гостиныхъ у Чарторыжскихъ, Понятовскихъ и Радзивилловъ столько блеска и роскоши, такіе звонкіе стихи читаются на вечерахъ, въ роскошныхъ дворцахъ, защищенныхъ стражею. А на улицахъ Варшавы уже слышны, по вечерамъ, звяканье сабель, пистолетные выстрѣлы, призывъ на помощь,—и никто не отворитъ окна, чтобы освѣдомиться, кто и гдѣ погибаетъ; все это такъ обыкновенно, такъ натурально. Варшава веселится, а вдали отъ Варшавы что то готовится необыкновенное, замѣтно какое-то движеніе, и только хлопы крѣпче запираютъ свои дырявыя избушки, чего-то боятся, ждутъ чего-то нехорошаго, потому что хорошаго не видали ни разу въ жизни. Между тѣмъ войска сосѣдей все тѣснѣе и тѣснѣе стягиваются у предѣловъ республики, переходятъ границы все ближе и ближе къ Варшавѣ. Вотъ уже варшавскія дамы любезно танцуютъ съ русскими и прусскими офицерами... Такъ прошло нѣсколько лѣтъ, въ продолженіе которыхъ поляки окончательно успѣли доказать, что они недостойны владѣть милліонами послушнаго населенія, доведеннаго ими до послѣдней

степени нищеты. Населенію этому было все равно, кому бы ни повиноваться, только бы не душили его, лишь бы вырваться ему изъ тѣсной тюрьмы и вздохнуть на свободѣ. Между тѣмъ образовалась конфедерація въ Радомѣ. За нею встала другая—въ Барѣ. Поляки одумались на минуту, но только на минуту, а было уже поздно. Двѣ главныя конфедераціи вызвали десятки и сотни новыхъ; общая цѣль, сознанная на минуту, опять была потеряна. Потомъ снова все стало укладываться въ двѣ главныя партіи. Мелкія конфедераціи примкнули къ крупнымъ. Во всѣхъ концахъ Польши шла партизанская война то русскихъ съ поляками, то поляковъ между собою. Наконецъ патріоты объявили Станислава лишеннымъ царства и тронъ—свободнымъ, и королю ничего не оставалось больше, какъ передать свою жалкую власть въ болѣе крѣпкія руки, которыя и надѣли ему на голову корону Пястовъ и поддерживали эту корону, когда онъ самъ не умѣлъ носить ее. Вліяніе русскихъ, естественно, должно было усилиться еще болѣе, потому что надо же было кому нибудь править страной, которая была до того несчастна, что въ ней не нашлось ни одного сколько нибудь умнаго и энергическаго человѣка (энергическіе, правда, были, но умныхъ—никого), ни одной свѣтлой головы, ни одного сердца, которое билось бы для народа, болѣло бы не за себя только, не за свои личныя несчастія, а за тѣхъ, кто въ самомъ дѣлѣ былъ несчастенъ. Петербургскій дворъ не удивился даже, когда получилъ извѣстіе, что поляки отказались отъ Станислава, ими же самими избраннаго, не удивился потому, что Репнинъ, Волконскій и Веймарнъ давно правили Польшей, а слѣдовательно Россіи было все равно, сидѣлъ ли кто на польскомъ тронѣ или оставался онъ

пустымъ; напротивъ, горе Станислава было отчасти выгодно для видовъ петербургскаго кабинета, потому что король по неволѣ долженъ былъ одуматься, проснуться послѣ продолжительнаго сна и постараться сгруппировать вокругъ себя хотя небольшую горсть людей, которые бы подумали о дѣлѣ и забыли на время танцы и карты. Но, къ сожалѣнію, тотъ не исправляется и не умнѣетъ, даже въ самую безнадежную минуту жизни, кто ни на что не былъ годенъ, кромѣ придворныхъ потѣхъ: Станислава покинули всѣ, кромѣ русскихъ; а если оставалась около него небольшая группа преданныхъ людей, то изъ нихъ не было ни одного даже съ обыкновеннымъ человѣческимъ смысломъ. Польша точно выродилась и измельчала въ послѣднее столѣтіе, и если между врагами Станислава указывали на двѣ или три замѣчательныя личности, въ родѣ Пулавскихъ, Огиньскихъ или молодаго Зиберга, то совершенно напрасно: они были потому только замѣтны, что всѣ другіе были слишкомъ ничтожны; они были хороши, за неимѣніемъ лучшихъ. Петербургскій кабинетъ, давно понявшій безсиліе поляковъ, давно увѣрившись въ ихъ продажности и въ отсутствіи всякаго политическаго такта, спѣшилъ успокоить Станислава обѣщаніемъ защищать его противъ конфедератовъ, и Станиславъ слѣпо вѣрилъ, что русскіе, посадившіе его на престолъ, не отдадутъ бѣднаго короля въ руки разсвирѣпѣвшихъ подданныхъ; во всякомъ случаѣ для него болѣе были страшны сами поляки, чѣмъ иностранцы,—и естественно.

Въ такихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ Станиславъ-Августъ отправилъ въ Петербургъ посольство, самый выборъ котораго доказывалъ, что около короля не было ни одного порядочнаго человѣка. Въ головѣ посольства находилась лич-

ность, игравшая нѣкогда роль свахи въ любовныхъ похожденіяхъ молодаго Понятовскаго и теперь располагавшая участью королевства. Посольство просило назначенія новаго посланника въ Варшаву, вмѣсто Волконскаго, который, по мнѣнію поляковъ, былъ слишкомъ слабъ и мягокъ съ ними, не былъ настолько своеволенъ, чтобы забрать все въ свои руки, когда всѣ сами добивались этого. Что могъ отвѣчать петербургскій дворъ на такія ребяческія требованія, какъ не замѣтить посольству, что оно слишкомъ наивно, и обѣщать спасти польскую націю отъ неспособныхъ правителей, а конфедератамъ доказать, что и они недостойны распоряжаться судьбою страны, когда изъ такого добраго короля не могли сдѣлать все, что̀ имъ угодно, и не умѣли успокоить націю, которая была слишкомъ довѣрчива и слишкомъ терпѣлива. Незлобивое посольство было принято въ Петербургѣ даже очень ласково, и только Орловы не могли скрыть своего презрѣнія къ представителямъ такъ низко упавшаго королевства. Петербургскій дворъ уже потому соглашался поддержать расшатавшійся тронъ Станислава-Августа, что всегда слѣдовалъ правилу—изъ двухъ золъ избирать менѣе горькое, такъ какъ во всякомъ случаѣ Польша должна была погибнуть, или отъ слабости и неспособности самого короля, или отъ безтактности конфедератовъ, едва ли болѣе его способныхъ честно управлять народомъ, съ тою только разницею, что король изъ Польши дѣлалъ русскую провинцію, а конфедераты могли обратить ее въ какое-нибудь татарское ханство или въ одинъ изъ пашалыковъ турецкаго султана, на что и надѣялись, кажется, Мустафа и его визири. Россія думала, что дѣлаетъ добро Польшѣ, спасая ее отъ турецкаго владычества:—можетъ быть она и ошибалась... При-

томъ Россія, поддерживая короля, находившагося подъ ея покровительствомъ, поддерживала тѣмъ свое достоинство передъ цѣлою Европою, которая называла Станислава-Августа креатурою русскихъ, а шляхта и католическіе попы, терявшіе въ немъ вѣрнаго сына римской куріи, отзывались о немъ какъ о православномъ схизматѣ, о коронованномъ chłopie. Послы Станислава-Августа униженно жаловались петербургскому двору на мягкость и деликатность Волконскаго и король самъ просилъ, чтобы прислали къ нему Сальдерна, крутой нравъ котораго очень былъ извѣстенъ варшавскому двору и, повидимому, очень ему нравился, потому что Сальдернъ, въ бытность свою въ Варшавѣ, за нѣсколько лѣтъ до того, умѣлъ доказать, что Станиславъ, имѣя на часахъ такого безцеремоннаго голштинца, какъ Сальдернъ, могъ и почивать, и сидѣть въ театрѣ спокойно, не опасаясь быть обиженнымъ своевольными конфедератами.

Петербургскій дворъ не могъ не внять такой просьбѣ короля и послалъ къ нему Сальдерна, а Волконскаго отозвалъ. Грубый нѣмецъ вполнѣ угодилъ варшавскому двору: прежде всего онъ распорядился, чтобы всѣ скидали шапки передъ королемъ, о чемъ поляки какъ-то забыли въ послѣднее время; потомъ онъ принялъ мѣры къ возстановленію спокойствія въ городѣ и т. д. Хотя Сальдернъ въ русской исторіи извѣстенъ очень мало, однако этотъ человѣкъ стоитъ того, чтобъ напомнить о немъ потомству. Это тотъ самый голштинскій выходецъ, о которомъ часто упоминаетъ Порошинъ въ своихъ запискахъ, потому что Сальдернъ почти каждый день обѣдалъ у великаго князя Павла Петровича. Личность эта какъ-то туманно рисуется передъ нами, при чтеніи записокъ, и проявляется развѣ только однажды въ своемъ настоящемъ

свѣтѣ, именно, когда Сальдернъ, за обѣдомъ у великаго князя, такъ мѣтко оборвалъ графа А. С. Строганова, а Порошинъ записалъ въ своемъ дневникѣ, что „не всякій бы проглотилъ такую пилюлю.“ Сальдернъ пользовался особеннымъ расположеніемъ Н. И. Панина, потому что оказался необходимымъ для него человѣкомъ. Рюльеръ отзывается о Сальдернѣ, что онъ „соединялъ грубость голштинскаго мужика съ педантствомъ нѣмецкаго профессора,“ а Фридрихъ II просто ненавидѣлъ его. Современники хвалятъ его умъ и дипломатическую находчивость, потому что онъ ловко запутывалъ тѣхъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло; но всего больше, кажется, онъ умѣлъ запугивать робкихъ, а передъ другими, болѣе крѣпкими, самъ проигрывалъ. Зато онъ имѣлъ удивительный талантъ вооружать всѣхъ противъ себя, и только одинъ польскій король терпѣлъ его по необходимости, потому что самъ напросился къ нему въ опеку. Сальдерну ставятъ въ достоинство, что въ переговорахъ онъ умѣлъ быстро поставить дѣло на прямую дорогу и не сходилъ съ нея, что перо его было мѣтко и достигало цѣли, и это правда отчасти, потому что онъ сразу обрывалъ всякаго, кто былъ слабѣе его, а языкъ его писемъ и особенно приказаній былъ жестокъ и грубъ. Онъ былъ дѣятеленъ, но не въ мѣру гордъ, скорѣе заносчивъ, и чего достигалъ изворотливостью, интригами, угрозами, то самъ же разрушалъ какой-нибудь шероховатой выходкой, когда дѣло повидимому приближалось къ выгодной развязкѣ. Онъ всегда, что называется, бралъ не въ мѣру, шагалъ за рубежъ и вредилъ общему интересу. Объ этомъ человѣкѣ говорили, что „деспотизмъ былъ у него столько же въ головѣ, сколько и въ сердцѣ,“ хотя мы не совсѣмъ понимаемъ смыслъ этой характеристики. Когда за

нѣсколько лѣтъ до этого Станиславъ-Августъ жаловался петербургскому двору на Репнина, и Сальдерна послали успокоить Варшаву, онъ такъ круто повернулъ дѣло, что всѣ радовались, когда выпроводили его въ Берлинъ, и на мѣсто Репнина посадили Волконскаго; а между тѣмъ и послѣ Варшава чувствовала, что брань Сальдерна для нея очень полезна и что ей безъ него жить нельзя. Въ Берлинѣ, вмѣсто того, чтобы способствовать образованію такъ-называемой „сѣверной лиги,“ для чего собственно онъ и былъ туда посланъ, Сальдернъ въ первый же день успѣлъ раздражить своими выходками неподатливаго Фридриха, и старикъ-король отмѣтилъ въ своихъ мемуарахъ главныя черты Голштинца его дубоватость и „тонъ римскаго диктатора,“ который онъ принималъ на себя въ сношеніяхъ съ Фридрихомъ, и претензію помыкать старымъ Фрицемъ, какъ нѣкогда консулъ Попилій помыкалъ Антіохомъ. Солдатская тактика Сальдерна произвела такой эффектъ, что и Фридрихъ постарался скорѣе выпроводить его изъ своей столицы въ Копенгагенъ, гдѣ Сальдерну больше посчастливилось, потому что тамъ онъ былъ и сильнѣе, и умнѣе всѣхъ: тамъ пригодился и грубый тонъ, которымъ онъ запугалъ однихъ датскихъ министровъ, и червонцы, которыми купилъ повиновеніе другихъ; тамъ онъ распоряжался какъ фельдфебель въ своей ротѣ,—успѣлъ смѣнить министерство и даже начальниковъ арміи, и нагналъ на всѣхъ такой ужасъ, что его назвали „султаномъ Даніи.“ Какія же неистовства, думали тогда при иностранныхъ дворахъ, долженъ былъ производить этотъ господинъ тамъ, гдѣ онъ былъ всѣхъ старше, и какую роль долженъ былъ играть онъ въ Петербургѣ, когда при чужихъ дворахъ, только какъ посланникъ, онъ такъ вертѣлъ всѣ-

ми? Между тѣмъ въ Петербургѣ Сальдернъ игралъ довольно скромную роль, хотя знали, что онъ имѣетъ большое вліяніе на Панина. Уже постоянное присутствіе этого голштинца на обѣдахъ у великаго князя, за воспитаніемъ котораго и за каждымъ шагомъ и словомъ ребенка долженъ былъ наблюдать Панинъ, какъ довѣренное лицо императрицы, доказывало, какъ онъ былъ близокъ къ министру; кажется, и Порошинъ точно также смотрѣлъ на „господина" Сальдерна. Панинъ же, по натурѣ человѣкъ честный, деликатный и простодушный, но довольно ограниченный, слабый и порядочно лѣнивый, имѣлъ очень высокое мнѣніе о талантахъ Сальдерна, питалъ къ нему большое довѣріе и осыпалъ его такими милостями, какими рѣдкій у него пользовался. Да, Сальдернъ и въ самомъ дѣлѣ былъ полезенъ Панину: лѣнивый старикъ нашелъ въ немъ хорошаго и толковаго работника, который могъ открыть глаза въ такихъ случаяхъ, когда простодушіе послѣдняго и не позволяло догадываться объ опасности; чего не понималъ одинъ, то другой умѣлъ растолковать и выяснить; за что лѣнился приняться первый, то дѣлалъ послѣдній, и министръ всегда полагался на своего кліента. Когда враги Панина замышляли погубить его, очернить въ глазахъ императрицы, поколебать его силу и проч., то паденіе министра соединяли они съ предварительнымъ паденіемъ Сальдерна и прежде всего старались подкопаться подъ голштинца, которому такъ вѣрилъ Панинъ. Говорятъ, что честолюбіе однажды шевельнуло душой Сальдерна и побудило его составить нѣчто въ родѣ заговора въ пользу великаго князя и его именемъ произвести переворотъ при дворѣ; говорятъ, будто онъ писалъ нѣчто въ родѣ манифеста, который долженъ былъ обнародоваться при вступ-

леніи Павла Петровича на престолъ, даже не стѣснился показать его Панину, и будто Панинъ, прочитавъ бумагу, молча изорвалъ ее и бросилъ въ огонь, однако не перемѣнился въ отношеніи къ Сальдерну, хотя никогда не заговаривалъ съ нимъ объ этомъ щекотливомъ предметѣ.

Положеніе Станислава-Августа передъ прибытіемъ въ Варшаву Сальдерна было таково, что всякій другой, сколько-нибудь уважающій въ себѣ права человѣка, едва ли бы пожелалъ быть на его мѣстѣ. Одно только обаяніе власти, хотя поминальной, могло развѣ заставить человѣка сносить тѣ униженія, какимъ подвергался Станиславъ, или же, напротивъ, только положительное отсутствіе самолюбія и крайняя наивность заставляли его играть обидную роль театральнаго лица безъ рѣчей. Послѣ того, какъ имя его провозглашено было публично у трехъ воротъ, ведущихъ на поле избранія, оно сдѣлалось предметомъ колкихъ насмѣшекъ; съ первыхъ же дней послѣ избирательнаго сейма личность короля отходитъ на второй планъ, какъ-то прячется, стушевывается, и короля забываетъ нація; природный полякъ и шляхтичъ, онъ становится чужимъ для этой шляхты, которая вручила ему царство и потомъ отвернулась отъ него. Правда, при всей простотѣ, онъ понималъ двусмысленность своего положенія и тяготился имъ; но горе, повидимому, не такъ было мучительно, чтобы вдохнуть силу въ этого безсильнаго человѣка, и чего не дала ему природа, не могли дать никакія обстоятельства. По мѣрѣ того, какъ барскіе конфедераты поднимали голову и пріобрѣтали популярность, король терялъ всякое уваженіе и наконецъ сталъ предметомъ всеобщаго презрѣнія. На улицахъ самой Варшавы ему никто не хотѣлъ оказывать знаковъ уваженія, и даже русскіе,

бывшіе тамъ, увлеклись примѣромъ поляковъ. Прежнее пассивное равнодушіе подданныхъ обращалось въ положительную непріязнь къ королю; нерасположеніе къ нему партій обратилось въ открытый антагонизмъ и стало всеобщимъ; кружокъ преданныхъ ему людей становился все рѣже и рѣже, и наконецъ Станиславъ увидѣлъ, что у него нѣтъ подданныхъ,—у короля нѣтъ королевства. Тогда-то конфедераты объявили польскій тронъ „вакантнымъ" и, погубивъ короля, погубили и себя съ нимъ вмѣстѣ. Войска сосѣднихъ державъ наводнили Польшу: съ запада потянулись отряды Фридриха, съ юга переходили границы австрійскіе солдаты, съ востока прибывали русскіе полки и занимали позиціи. Покинутому всѣми королю ничего не оставалось больше, какъ еще тѣснѣе примкнуть къ русскимъ, — въ надеждѣ спасти, по крайней мѣрѣ, свою безполезную для націи и ни для кого ненужную жизнь,—и онъ не ошибся, полагаясь на Россію. Русскимъ онъ обязанъ спасеніемъ своей жизни. Узнавъ о своемъ низложеніи съ престола, Станиславъ-Августъ писалъ командиру короннаго войска, остававшагося еще вѣрнымъ прежней власти, но находившагося далеко не въ завидномъ положеніи, что барскіе конфедераты объявили между-царствіе и намѣрены лишить жизни своего короля; онъ объявлялъ, что всякій, повинующійся имъ, становится его открытымъ врагомъ и повелѣвалъ дѣйствовать противъ конфедератовъ силою оружія. „Но если команда ваша слишкомъ слаба, прибавлялъ онъ, то дѣйствуйте заодно съ русскими отрядами, ближайшими къ вамъ... Я отвѣчаю за васъ." Такимъ образомъ Станиславъ-Августъ ввѣрялъ русскимъ и свою собственную судьбу, и судьбу злополучной націи.

Назначеніе Сальдерна посланникомъ въ Варшаву доказы-

вало, что судьба Польши должна была рѣшиться безотлагательно; оно доказывало также, что упрямый Панинъ, котораго ни изворотливый братъ Фридриха II, принцъ Генрихъ, пріѣзжавшій въ Петербургъ съ тайными цѣлями относительно участи Польши, ни его посланникъ Сольмсъ, не могли склонить къ участію въ приготовлявшемся политическомъ переворотѣ, рѣшился наконецъ дѣйствовать такъ или иначе, что въ скоромъ времени и обнаружится само собой. Можно догадываться, на что рѣшился Панинъ или на что посовѣтовали ему рѣшиться, когда онъ вручалъ судьбу Польши такому человѣку, какъ Сальдернъ, который съ кѣмъ бы ни имѣлъ дѣло, всегда обращался съ нимъ какъ Киргизы съ своими плѣнными. Для того, чтобы покойно уладить польское дѣло, онъ былъ неспособенъ, ни по характеру, ни по уму: гдѣ требовалась деликатность и уклончивость, тамъ онъ бралъ приступомъ; гдѣ нужны были энергическія мѣры, тамъ грозилъ саблей; заѣзжій въ Россію голштинецъ, онъ не знакомъ былъ ни съ польской конституціей, ни съ характеромъ націи, а еще менѣе зналъ положеніе и средства конфедератовъ. Впрочемъ, состояніе Польши было таково, что туда можно было, кажется, послать еще болѣе неспособнаго дипломата, и тому въ Польшѣ ничего бы не приходилось дѣлать больше, какъ смотрѣть, какъ мало-по-малу разрушалось это государство. Самолюбивый голштинецъ понялъ, что нога его стоитъ на твердой почвѣ, что позиція его выгодна, что хитрить и притворяться не стоитъ нетолько съ поляками, но даже хоть бы съ Фридрихомъ II, котораго онъ не боялся въ самой Варшавѣ, ни съ Маріей Терезіей, правительницей нервной и нерѣшительной, ни наконецъ съ Кауницемъ, у котораго не рѣдко, при его умѣ, этотъ умъ захо-

дилъ за разумъ. Сальдернъ такъ былъ увѣренъ въ неспособности конфедератовъ къ серьезному дѣлу и въ своей собственной силѣ, что приходилъ въ неистовство, когда ему замѣчали, что другіе дворы могутъ вмѣшаться въ дѣло, которое онъ заранѣе считалъ конченнымъ и за которое уже думалъ получить тотъ или другой орденъ, и едвали онъ ошибался, такъ обидно думая о конфедератахъ. Изъ тщеславія онъ любилъ порисоваться передъ Европой. Онъ говорилъ о Польшѣ какъ о русской провинціи, которую онъ, въ качествѣ новаго губернатора, долженъ былъ успокоить, обревизовать и пожурить за нѣкоторыя провинности. Онъ говорилъ, что намѣренъ сначала дѣйствовать мѣрами кротости и лаской, а когда это окажется безполезнымъ, то обѣщался „всѣхъ зарубить“ (tout sabrer). Для красоты слога и для большей убѣдительности онъ часто употреблялъ слова „диктаторъ“ и „Сибирь,“ съ которой поляки успѣли познакомиться еще до Сальдерна (Полн. Собр. Закон. Рос. Имп. XIX, 14095). Онъ прибавлялъ, что въ случаѣ неудачи никогда не воротится въ Петербургъ.

Между тѣмъ положеніе конфедератовъ, о которыхъ до сихъ поръ мы еще почти не говорили, было не завиднѣе положенія короля, и не удивительно, если Сальдернъ оказался правъ, такъ обидно думая о безсиліи патріотической партіи въ Польшѣ. Конфедераты, которые только и питали надежду что на Турцію, теряли эту надежду, по мѣрѣ того, какъ русскія войска разбивали оттоманскую армію. Каждая новая побѣда русскаго оружія надъ турками была новымъ ударомъ для конфедератовъ: и пораженіе турокъ при Ларгѣ и Кагулѣ, и сожженіе турецкаго флота при Чесмѣ, надѣлавшее столько шуму въ Европѣ,—все это порядочно напугало самихъ ту-

рокъ, такъ что имъ было уже не до конфедератовъ. Но по мѣрѣ того, какъ магнаты и шляхта отчаявались получить помощь со стороны Турціи, и убѣждались, что они предоставлены своей собственной участи, отчаяніе вызывало у нихъ новыя усилія, хотя не могло уже вызвать ни единодушія, ни сочувствія націи, передъ которой они такъ много были виноваты, и которая умѣла бы, можетъ быть, защитить ихъ отъ всей Европы, еслибы они заслужили ея любовь. Но въ томъ-то и заключалось величайшее несчастіе Польши, что ея правительство, начиная отъ перваго магната и кончая послѣднимъ шляхтичемъ, всегда забывало о своемъ народѣ, не сдѣлало ему ни малѣйшаго добра, и народъ самъ забылъ его въ самую отчаянную минуту жизни королевства, отплативъ правительству полнымъ равнодушіемъ къ его несчастіямъ. Не надѣясь на сочувствіе націи, конфедераты должны были или отступить или погибнуть, и хотя погибнуть они должны были во всякомъ случаѣ, однако все еще чего-то ожидали, не зная, что участь ихъ была рѣшена окончательно. Оставалась у нихъ слабая надежда на сочувствіе Франціи; но и эта надежда обманула ихъ, потому что и Францію, въ свою очередь, обманывалъ Кауницъ, а Кауница обманывалъ Фридрихъ II. Франція давала конфедератамъ небольшія субсидіи, на которыя можно было пріобрѣсти нѣсколько оружія; но всего этого было слишкомъ мало. Притомъ посылаемые Франціею коммисары, одинъ отъ короля, другой отъ герцога Шуазёля, постоянно враждовали между собою и только мѣшали конфедератамъ, ссорили даже ихъ и вредили дѣлу, которому взялись служить. Войско конфедератовъ до того было не подготовлено къ правильной войнѣ, что у него было даже необходимаго оружія: въ первое время оно сражалось только

тѣми пушками, тѣми ружьями и саблями, которыя удавалось ему иногда случайно отнять у непріятеля. Но имъ посчастливилось овладѣть крѣпостью Ченстохово, утвердиться въ ней и имѣть, такимъ образомъ, хоть одинъ надежный пунктъ, ибо другія партіи конфедератовъ, разсѣянныя по Польшѣ, не имѣли нигдѣ прочной точки опоры и могли быть разбиваемы по частямъ, какъ въ полѣ, такъ и въ городахъ, совершенно неукрѣпленныхъ. Партія, владѣвшая укрѣпленіями Ченстохова, опираясь на этотъ городъ, могла легко утвердиться въ между-горьяхъ этой возвышенной мѣстности и владычествовать надъ цѣлымъ округомъ, тогда какъ въ два послѣдніе года конфедераты не знали ни прочныхъ стоянокъ, ни постоянныхъ квартиръ, и, тѣснимые съ разныхъ сторонъ, какъ номады, перебирались съ мѣста на мѣсто и цѣлыя зимы скитались по лѣсамъ безъ пищи и денегъ. Теперь они располагали почти всею малою Польшею и имѣли деньги, съѣстные припасы и новобранцевъ. Нѣкоторые ихъ отряды были передвинуты въ Литву, опустошенную еще въ началѣ войны, и находились такъ близко отъ русской границы, что могли угрожать порубежнымъ провинціямъ: этими маневрами конфедераты надѣялись заставить русскихъ вывести свои отряды изъ Польши, для защиты областей, которыя были не безопасны со стороны Литвы. Наконецъ, конфедератамъ пособило и то обстоятельство, что они объявили Станислава-Августа лишеннымъ престола, ибо рѣшительный поступокъ барской конфедераціи поселилъ мужество въ конфедератахъ другихъ мелкихъ партій, которыя въ смѣломъ протестѣ патріотовъ видѣли начало общаго народнаго дѣла и, что всего главнѣе, смотрѣли на низложеніе короля какъ на законную манифестацію народа, оправдываемую другими державами.

Имъ казалось, что Польша нашла наконецъ сочувствіе въ Европѣ, и это сочувствіе выразилось отнятіемъ власти у короля, потерявшаго всякую популярность и, какъ они думали, продавшаго свое царство за корону, которая была не по его головѣ. Незлопамятный народъ могъ также легко забыть старое зло, которое такъ терпѣливо переносилъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій и причиною котораго было привиллегированное сословіе государства; онъ могъ простить ему всѣ прошедшія оскорбленія, всѣ обиды и слезы свои, и, примкнувъ къ конфедератамъ, могъ удесятерить ихъ силы, еслибъ послѣдніе, по крайней мѣрѣ въ это время, не раздражали народъ своею жестокостью. Но они не могли переродиться, не могли покинуть своихъ привычекъ, — и народъ не примирился съ ними. Конфедераты, — конечно, не тѣ честные представители патріотовъ, которыхъ было, разумѣется, не много, а жалкій осадокъ сословія дворянъ, полунищихъ и необразованныхъ, — не умѣли и не желали поставить себя въ разумныя отношенія къ массѣ населенія, а напротивъ разбудили въ ней давнишнюю ненависть къ своимъ притѣснителямъ и сдѣлали то, что она готова была служить кому угодно, лишь бы не разоряли ея избушекъ, не опустошали полей и никого не мучили. Эти-то конфедераты разбрелись по всей Польшѣ, по Литвѣ и Волыни.

Разбрелися та й забули
Волю ратувати,
Полигалися зъ жидами
Та й ну руйновати:
Руйновали, мордували,
Церквами топили...
А тимъ часомъ гайдамаки
Ножи освятили...

Въ этомъ, намъ кажется, была главная причина безсилія конфедератовъ. Дѣйствительно, народъ, никогда не любившій ихъ, не могъ не вооружиться еще болѣе противъ шляхты, или, по меньшей мѣрѣ, не сочувствовать имъ. Вездѣ, гдѣ ни проходили они, въ качествѣ ли побѣдителей, или преслѣдуемые русскими отрядами, они несли съ собой страшныя опустошенія. Солдаты, служившіе въ арміи конфедератовъ, не получая ни денегъ, ни съѣстныхъ припасовъ, принуждены были жить грабежомъ, и, нестройными толпами, къ которымъ приставалъ всякій сбродъ, ходили по всѣмъ направленіямъ, брали все, что могли взять, и жгли, чего не могли захватить съ собою; подобно дикимъ отрядамъ наемныхъ кондотьери, они не жалѣли страны, за свободу которой воевали ихъ предводители, и вредили общему дѣлу. Каждый собственникъ былъ для нихъ партизаномъ Россіи; кто не желалъ или не могъ пристать къ ихъ шайкамъ, становился ихъ врагомъ и ему не было пощады; города и деревни, державшіе сторону конфедератовъ, трепетали приближенія своихъ защитниковъ и радовались, когда буря проходила мимо. Мужикъ, знавшій только свою пашню, пана и войта, съ удивленіемъ спрашивалъ себя: кто же опаснѣе для него, — свои или чужіе, мнимые спасители или враги? Русскіе удачно пользовались этимъ фальшивымъ положеніемъ конфедератовъ и, неласково обращаясь съ плѣнными, по возможности щадили и ласкали мирное населеніе, на сколько, разумѣется, возможна пощада въ военное время; они старались оспорить у конфедератовъ имя спасителей Польши, — и дѣйствительно народъ хорошо видѣлъ, что конфедераты — не освободители. Это зло могли бы еще поправить истинные конфедераты; они могли возвысить во мнѣніи націи опозо-

ренное грабителями свое имя; но у нихъ недоставало ни единодушія, ни общаго плана; они враждовали попрежнему; не забывали личныхъ дрязгъ и продолжали вести прежнія фамильныя распри, доводить до конца свои геральдическіе споры о первенствѣ.

Мы замѣтили, что Франція принимала участіе въ дѣлѣ конфедератовъ. Она давно смотрѣла завистливыми глазами на возрастающее могущество Россіи и потому не могла отказать себѣ въ удовольствіи стать посредницей между нею и Польшею. Но вступать въ открытыя сношенія съ конфедератами она не могла какъ потому, что находилась въ союзѣ съ Австріею, которая маскировала передъ нею свои отношенія къ Польшѣ, такъ и потому, что боялась Кауница. Не желая ссориться съ этимъ министромъ, который увѣрялъ и Шаузёля и его короля въ сердечномъ расположеніи къ нимъ Австріи и между тѣмъ безсовѣстно обманывалъ ихъ,—Франція тайно помогала конфедератамъ. Шуазёль питалъ надежду, что, при тогдашнихъ обстоятельствахъ въ Польшѣ, можно будетъ достигнуть возстановленія прежней независимости этого королевства, тѣмъ болѣе, что самая опасная сосѣдка Польши, Россія, вела въ то время трудную войну съ Турціею и еще нельзя было сказать утвердительно, кто проиграетъ въ этой борьбѣ. Шуазёль отправилъ въ Польшу секретнаго агента для наблюденія за тамошними происшествіями и для оказанія помощи конфедератамъ, какъ совѣтами, такъ и денежными субсидіями. Порученіе это выпало на долю Дюмурье, игравшаго громкую роль въ исторіи французской революціи, а въ это время еще вовсе неизвѣстнаго. Шуазёль избралъ его потому, что предполагалъ въ немъ достаточно и ума, и такта, чтобы повести дѣло толкомъ, и

основывалъ это, конечно, на томъ, что замѣтилъ въ Дюмурье наклонности къ исполненію видныхъ политическихъ ролей. Дюмурье долженъ былъ прежде всего отправиться въ Венгрію, гдѣ находились представители польскихъ патріотовъ, и, узнавъ о ихъ намѣреніяхъ, средствахъ и надеждахъ на будущее, сообщить обо всемъ этомъ своему посланнику въ Вѣнѣ, Дюрану, при личномъ свиданіи, и представить планъ, котораго Дюмурье долженъ былъ держаться въ дѣлѣ конфедератовъ. Ему же поручалась выдача полякамъ субсидій, которыя не превышали шести тысячъ дукатовъ въ мѣсяцъ. Въ іюлѣ 1770 года Дюмурье прибылъ въ Вѣну, а недѣли черезъ двѣ находился уже въ Венгріи, въ обществѣ представителей барской конфедераціи. Конфедераты немедленно отправили въ Вѣну коммисаровъ, въ томъ числѣ одного изъ извѣстныхъ своихъ агитаторовъ, именно Паца, которые должны были поддерживать интересы своей партіи при вѣнскомъ дворѣ и сколько нибудь расположить въ свою пользу упрямаго Кауница. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, ихъ приняли ласково; но сколько ни старался Пацъ развѣдать о дѣйствительныхъ намѣреніяхъ Австріи относительно конфедератовъ, онъ ничего не могъ узнать; онъ только слышалъ пустыя фразы, темныя, какъ только можетъ быть теменъ дипломатическій языкъ двора, маскирующаго свои тайныя цѣли; онъ слышалъ одни неопредѣленныя обѣщанія,—такъ что ихъ можно было повернуть въ какую угодно сторону. Ему дали замѣтить, что они будто и оправдываютъ низложеніе съ престола Станислава-Августа, и не оправдываютъ, что хотя они и считаютъ дѣло конфедератовъ достойнымъ сочувствія, однако тѣмъ не менѣе не сочувствуютъ ему. Однимъ словомъ, ничего не сказали, хотя наговорили много.

Люди болѣе дальновидные, чѣмъ Пацъ или кто нибудь изъ конфедератовъ, могли бы понять, что отъ Австріи имъ нечего ждать добра, что ничего добраго не дождется отъ нихъ и Станиславъ-Августъ; однако, конфедераты, повидимому, все надѣялись на что-то. Пацъ даже не видѣлъ Кауница, который въ это время хлопоталъ объ уничтоженіи Польши, угождалъ и матери-императрицѣ, и сыну-императору, увѣряя первую, что сохранитъ цѣлость Польши, а втораго—что не сохранитъ этой цѣлости. Пацъ напрасно просилъ объясненія, на какомъ основаніи Австрія захватила двѣ южныя провинціи Польши, провела демаркаціонную линію, на основаніи какихъ-то подложныхъ актовъ, будто бы найденныхъ въ древнихъ архивахъ, и поставила на новой границѣ столбы съ австрійскимъ двуглавымъ орломъ,—ему ничего не хотѣли отвѣчать. Вотъ до чего упала Польша.

Войско конфедератовъ, уже нѣсколько лѣтъ отбивавшееся отъ превосходныхъ силъ непріятеля, и часто терпѣвшее пораженія, не долго могло защищать послѣдній призракъ власти, которая еще оставалась за ними въ Польшѣ. Оно теперь раздѣлено было на четыре дивизіи, которыя только номинально могли присвоить себѣ это громкое названіе, а въ сущности далеко уступали даже простымъ полкамъ, хорошо укомплектованнымъ и выдержаннымъ. Самая жалкая по своей малочисленности дивизія имѣла начальникомъ самую популярную личность того времени, Казиміра Пулавскаго, который могъ бы не мало сдѣлать добра своей партіи, еслибы столько же имѣлъ ума и необходимыхъ для полководца и государственнаго человѣка способностей, сколько имѣлъ онъ энтузіазма и другихъ второстепенныхъ качествъ, которыхъ еще недостаточно, чтобы быть великимъ человѣкомъ или сберечь

свободу милліонамъ. Большая часть его дивизіи или была разсѣяна непріятелемъ въ разныхъ мелкихъ стычкахъ, или уменьшилась вслѣдствіе неудачныхъ предпріятій Мазовецкаго и другихъ находившихся съ нимъ конфедератовъ, такъ что уже осенью 1770 года она состояла изъ семи или восьми человѣкъ, которымъ не помѣшали всѣ ихъ военныя неудачи собраться вокругъ своего храбраго Казиміра. Самая лучшая дивизія имѣла начальникомъ Зарембу, и въ ней считалось около трехъ тысячъ человѣкъ, болѣе или менѣе выдержанныхъ. Дивизія, находившаяся подъ начальствомъ Валевскаго и Белера,. состояла изъ полуторы тысячи человѣкъ и, при всей своей малочисленности, держала еще гарнизоны въ Ландскронѣ, въ Заторѣ и почти на всѣхъ мелкихъ постахъ малой Польши. Наконецъ, послѣдняя дивизія, имѣвшая не болѣе тысячи человѣкъ, плохо приготовленныхъ къ дѣлу, могла похвалиться личными качествами своего начальника, храбраго Савы, который съ своими летучими отрядами умѣлъ безпрестанно безпокоить непріятеля, какъ партизанъ, хотя и самъ терпѣлъ отъ него не мало. Вотъ почти все, чѣмъ располагали конфедераты въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Всякій согласится, что не легко спасать съ шеститысячною арміею огромное королевство, открытое со всѣхъ четырехъ сторонъ для многочисленнѣйшаго непріятеля и сверхъ того раздираемое внутри гражданскими смутами. Правда, можно еще указать на небольшіе, отдѣльные отряды, разсѣянные по Литвѣ и Мазовіи, наполненные, большею частію, бродягами, мѣстной голытьбой и предводительствуемые такой-же голытьбой-шляхтой; но, какъ мы замѣтили прежде, этотъ народъ избралъ своею спеціальностью грабежъ спасаемой имъ родины и слѣдовалъ своему призванію, по возможности, добросовѣстно. Го-

лытьба могла также примкнуть, въ случаѣ надобности и въ надеждѣ на поживу, къ одной изъ упомянутыхъ дивизій, и тогда войско конфедератовъ могло составить восемь тысячъ человѣкъ, но никакъ не больше. Все это были, большею частію, кавалеристы, но кавалеристы плохіе, умѣвшіе, пожалуй, озадачить непріятеля ловкимъ и нечаяннымъ набѣгомъ, но только озадачить, и никогда почти неумѣвшіе выдержать правильной аттаки, сбить стойкую русскую пѣхоту или помѣряться съ казаками. Число пѣхотинцевъ въ войскѣ конфедератовъ не превышало полуторы тысячи человѣкъ. Въ какой степени это войско было тягостно для самой націи, можно судить потому, что, до полученія субсидій изъ Франціи, оно вовсе не получало ни жалованья, ни фуража, а брало и то и другое, гдѣ могло. Только и соблюдалась дисциплина въ дивизіи Зарембы и только онъ понималъ необходимость правильныхъ сношеній между начальниками отрядовъ, безъ чего армія конфедератовъ не могла надѣяться на успѣхъ. Никто изъ предводителей патріотическаго возстанія, ни даже самъ знаменитый Пулавскій не понималъ невозможности вести войну безъ общаго плана, тогда какъ при единодушіи они могли, по крайней мѣрѣ, дольше держаться и больше вредить непріятелю. Уже Дюмурье, приставшій къ Пулавскому, заставилъ ихъ понять безполезность ихъ тактики и подумать о единствѣ. Нельзя, впрочемъ, не отдать справедливости личному мужеству отдѣльныхъ, иногда ничтожныхъ, отрядовъ конфедератовъ. Около двадцати тысячъ правильно организованнаго русскаго войска, хорошо, по тогдашнему времени, вооруженнаго, разсѣяно было по Польшѣ, и между тѣмъ конфедераты, разбиваемые по частямъ, продолжали соединяться небольшими партіями, человѣкъ въ пятьдесятъ, во сто, и

продолжали дѣлать безумныя, часто безполезныя нападенія на русскіе отряды, безспорно говорившія въ пользу патріотическихъ стремленій конфедератовъ, хотя тѣмъ не менѣе безполезныя. Такъ ничтожный отрядъ конфедератовъ пробрался однажды до самой Варшавы, въ надеждѣ захватить сложенное недалеко отъ столицы оружіе и лошадей, — и замѣчательно, что въ числѣ смѣльчаковъ, отважившихся на эту экспедицію, находилось только четыре человѣка, у которыхъ были ружья. Возможность подобнаго набѣга доказывала только, что и самая Варшава была не безопасна отъ нападенія патріотовъ и что, при разумномъ употребленіи своихъ силъ, конфедераты могли взять столицу безъ особеннаго труда. Такъ Закревскій, собравъ около себя до шестидесяти смѣлыхъ конфедератовъ, рѣшился съ этой ничтожной горстью овладѣть Варшавой. Нескромность одного изъ агентовъ его партіи погубила ихъ: Закревскаго стали подозрѣвать; начались розыски, и когда все было открыто, Закревскій, предувѣдомленный о неудачѣ, успѣлъ спастись.

Какъ бы то ни было, конфедераты успѣли занять нѣкоторыя выгодныя позиціи въ окрестностяхъ Варшавы и преимущественно къ Кракову, а овладѣвъ теченіемъ Вислы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенно прервали сообщенія съ столицей. Отряды ихъ перекочевывали съ мѣста на мѣсто, — что̀ было для нихъ дѣломъ самымъ легкимъ, за неимѣніемъ фуражныхъ обозовъ, ни тяжелой артиллеріи, — останавливали партіи съѣстныхъ припасовъ, назначавшихся для продовольствія столицы и перехватывали почту, слѣдовавшую въ Варшаву или изъ Варшавы. Всѣ перехваченныя письма и правительственную корреспонденцію они вскрывали и потомъ отсылали по назначенію, дѣлая на каждой вскрытой бумагѣ

надпись: „распечатана конфедератами.“ Всѣ подобныя, въ сущности маловажныя, происшествія нѣкоторымъ образомъ поддерживали патріотическія чувства даже въ тѣхъ, которые, до поры до времени, тщательно скрывали ихъ, не надѣясь, чтобы дѣло конфедератовъ было выиграно. Неожиданныя появленія патріотовъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ихъ всего менѣе можно было ожидать, побуждали нерѣшительныхъ или робкихъ принимать сторону антиправительственную и, такимъ образомъ, ослаблять въ странѣ русское вліяніе. Кромѣ того извѣстно было, что Пулавскій крѣпко засѣлъ въ Ченстоховѣ съ восьмью стами гарнизона и, несмотря на всѣ приступы русскаго генерала Древича, удержалъ за собой эту крѣпость и заставилъ русскихъ отказаться отъ надежды взять Ченстохово, единственную опору конфедератовъ.

Между тѣмъ храбрый Сава, несмотря на декабрскіе морозы, провелъ значительный отрядъ въ Литву и, присоединяя на пути всѣ мелкія партіи конфедератовъ, бродившія безъ всякой цѣли, успѣлъ увеличить свою безпорядочную дивизію до двухъ тысячъ человѣкъ, съ которыми и проникъ до самаго Брестъ-Литовска. Этотъ быстрый набѣгъ, въ такое позднее время года, когда никто не ожидалъ нападенія, помогъ ему взять въ Литвѣ значительную контрибуцію и, кромѣ того, захватить пятьдесятъ тысячъ дукатовъ, назначенныхъ для отправки въ Варшаву. Сава встрѣтился тамъ съ королевскими войсками и принужденъ былъ дать два сраженія, которыя помѣшали ему пройти сквозь все великое княжество или укрѣпиться тамъ въ случаѣ успѣха. Королевскими войсками командовалъ Браницкій (не тотъ честный старикъ, который, возвратясь изъ изгнанія, жилъ теперь въ своемъ имѣніи, а извѣстный Ксаверій, игравшій роль свахи

въ любовныхъ похожденіяхъ Понятовскаго). Этотъ Браницкій уже не первый разъ заставлялъ поляковъ сражаться противъ своихъ соотечественниковъ и не первый разъ навлекалъ на себя ненависть и презрѣніе патріотовъ, какъ ренегатъ, хотя и не перемѣнившій религіи предковъ. Огиньскій, великій гетманъ литовскій, въ негодованіи на поступокъ Браницкаго, потребовалъ его къ суду военной комисіи, объявилъ его лишеннымъ званія военачальника, отобралъ у него команду надъ войсками республики и отрѣшилъ отъ должности двухъ его приближенныхъ офицеровъ, именно полковника Грабовскаго и начальника польскихъ улановъ. Замѣчательно, что всѣ офицеры жаловались въ этомъ случаѣ на Браницкаго, который принудилъ ихъ поднять оружіе противъ конфедератовъ. Сава же, послѣ этихъ непріятныхъ встрѣчъ съ Браницкимъ, успѣшно возвратился съ своей дивизіей въ Ченстохово, гдѣ все еще находился Пулавскій съ своимъ гарнизономъ.

Ченстоховская крѣпость составляла пока единственную надежду конфедератовъ. Подъ ея прикрытіемъ французскіе инженеры продолжали укрѣплять Ландскрону и Тырнякъ. Но работы эти могли быть прерваны, пока имъ угрожалъ Краковъ съ своимъ гарнизономъ и Пулавскій принужденъ былъ вооруженною рукою отстаивать работы своихъ инженеровъ. Онъ сдѣлалъ больше: съ своимъ маленькимъ гарнизономъ отъ оттѣснилъ русскихъ, которые оберегали мостъ, ведущій къ Кракову, и на томъ мѣстѣ поставилъ редутъ, прикрывъ его своей пѣхотой. Обезопасивъ себя со стороны моста, онъ занялъ высоты, на разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ Кракова, и могъ напасть на городъ во всякое время, еслибы только краковскій гарнизонъ рѣшился почему-

либо выйти изъ крѣпости. Наблюдая за всякимъ движеніемъ непріятеля, онъ успѣлъ въ то же время, съ отрядомъ въ триста человѣкъ, захватить непріятельскій обозъ съ военными припасами и артиллерійскими принадлежностями, а между тѣмъ инженеры его окончательно укрѣпили Ландскрону и Тырнякъ. Заремба принялъ довольно выгодную позицію у границъ прусской Силезіи, и такимъ образомъ конфедератамъ открыты были свободные пути для сношеній съ Силезіею прусскою и австрійскою, сообщеніе съ которой прикрывала Ландскрона. Пулавскій сдѣланъ былъ главнокомандующимъ войскъ конфедератовъ. Его гарнизонъ, державшійся въ Ченстоховѣ, ходилъ въ атаку прямо на Краковъ, и хотя былъ отбитъ, однако успѣлъ предать опустошенію предмѣстье этого города. Два раза конфедераты нападали на Познань и оба раза были отражаемы русскими войсками, которыя, впрочемъ, не могли спасти познаньскихъ предмѣстій отъ разграбленія. Въ свою очередь русскія войска ходили на Ландскрону, встрѣтили упорное сопротивленіе и претерпѣли значительный уронъ. Въ это время конфедераты перехватили письмо русскаго генерала Веймарна, отправленное въ Петербургъ съ просьбою о помощи. Дюмурье понялъ, что настало время дѣйствовать энергически, соединенными силами и не играть пассивную роль, не защищаться только отъ натисковъ непріятеля, а тревожить его на каждомъ шагу, нападать на него при всякомъ случаѣ, днемъ и ночью. Онъ настаивалъ во что бы то ни стало перемѣнить роли. Онъ просилъ только объ одномъ—не бездѣйствовать, не спать и не разбиваться на партіи. Онъ указывалъ имъ на способы увеличить свою армію, подчинить ее общему военному закону, ввести правильную дисциплину—

и все напрасно. Поляки отжили свой вѣкъ: они спали глубокимъ сномъ, и усилія нѣсколькихъ живыхъ личностей не могли разбудить ихъ. Дюмурье собралъ всѣхъ предводителей конфедератовъ на военный совѣтъ и начерталъ передъ ними планъ дѣйствій; онъ указывалъ имъ на вѣрный успѣхъ; онъ шевелилъ ихъ патріотическое чувство, затрогивалъ самыя чувствительныя стороны ихъ сердца,—и наконецъ увидѣлъ, что трудъ его напрасенъ. Общая деморализація пощадила только двѣ—три личности, а все остальное представительное сословіе націи уже неспособно было къ возрожденію, по крайней мѣрѣ—оно долго не могло переродиться. Такіе люди, какъ Пулавскій, Сава и Заремба были лично прекрасные люди, но слишкомъ слабы и ничтожны для того, чтобъ разбудить и наэлектризовать однимъ чувствомъ всю націю или, по крайней мѣрѣ, высшее, наиболѣе деморализованное сословіе.

Пронырливый Кауницъ напрасно испугался неутомимаго Дюмурье. Дюмурье былъ также безсиленъ спасти погибшую націю, какъ и всѣ ея лучшіе представители. Къ веснѣ 1771 г. не стало наконецъ и храбраго Савы. Съ прибытіемъ Суворова къ русской арміи у конфедератовъ все пошло скверно, и счастье, какъ говорится, повернулось къ нимъ спиной. Тѣ, которые оставались въ живыхъ отъ суворовскихъ пораженій,—и всѣ изувѣченные, всѣ взятые съ оружіемъ въ рукахъ и безоружные отправились въ Россію. Наконецъ Суворовъ началъ расправу и съ послѣдними остатками конфедератовъ, которые еще держались около Ченстохова, Ландскроны и въ другихъ частяхъ малой Польши. Въ концѣ марта Сава былъ настигнутъ русскимъ отрядомъ и разбитъ; побѣда дорого стоила русскимъ, но и конфедераты понесли значительный

уронъ, такъ что только ночь помогла ихъ отступленію. Раздраженный неудачею, Сава черезъ нѣсколько дней встрѣтился съ русскимъ капитаномъ Риттеромъ и жестоко отплатилъ за недавнее пораженіе: отрядъ Риттера былъ разбитъ на-голову, разсѣянъ и прогнанъ; остальные русскіе взяты въ плѣнъ. Но, вслѣдствіе распоряженія совѣта, Сава долженъ былъ соединиться съ Пулавскимъ и это, кажется, ускорило его гибель. Быстрыя движенія Савы были замедляемы на каждомъ шагу; нерѣдко онъ долженъ былъ поджидать отряда Пулавскаго по нѣскольку часовъ, потому что послѣдній не привыкъ къ такимъ форсированнымъ переходамъ, на какіе способны были отряды Савы; Сава выигрывалъ битвы единственно быстротой и натискомъ,—а теперь онъ былъ несвободенъ, подчиненъ Пулавскому. Поспѣшая на помощь къ Ландскронѣ, они растянули свои дивизіи, вслѣдствіе этой неравномѣрности движенія, и Сава очутился впереди войска, тогда какъ Пулавскій нѣсколько отсталъ. 26 апрѣля Сава настигнутъ былъ Суворовымъ и атакованъ. Это былъ славный день для храбраго конфедерата; но онъ былъ послѣднимъ днемъ для него. Атака началась съ шести часовъ утра, и Сава, хотя съ большимъ урономъ, поддерживалъ битву до самаго солнечнаго захода. Онъ взлѣзъ на крышу какой-то избушки, чтобъ удобнѣе осмотрѣть путь для отступленія своей дивизіи, какъ пораженъ былъ въ ногу пушечнымъ ядромъ. Онъ упалъ; солдаты думали, что начальникъ ихъ убитъ, и, истомленные продолжительной битвой, разсѣялись въ безпорядкѣ. Сава остановилъ ихъ; велѣлъ положить себя въ большую корзину, привязать къ дровнямъ, и въ такомъ жалкомъ положеніи распоряжался отступленіемъ своей дивизіи. Чтобы не задерживать собой отряды, онъ оставилъ при

себѣ только пять или шесть человѣкъ и велѣлъ везти себя проселочной дорогой, черезъ болота и непроходимыя мѣста. Его маленькая свита принуждена была переправить своего несчастнаго полководца черезъ рѣку на старыхъ дуплястыхъ дубахъ, за неимѣніемъ другаго средства переправы. Наконецъ, очутившись въ уединенномъ мѣстѣ, гдѣ Сава считалъ себя въ безопасности, онъ приказалъ одному изъ своихъ солдатъ отправиться въ ближайшее мѣстечко, найти тамъ еврея-врача, показать ему дорогу, по которой онъ могъ бы найти раненаго, и, чтобы не возбудить подозрѣній, не велѣлъ имъ возвращаться вмѣстѣ. Еврей отыскалъ Саву, перевязалъ его раны и возвратился домой. Но отсутствіе его замѣтили. Русскіе схватили еврея, и маіоръ Саломонъ угрозами заставилъ его открыть убѣжище храбраго конфедерата. Саву взяли и вмѣстѣ съ дровнями перевезли въ ближайшее мѣстечко, потому что рана не позволяла везти его въ Варшаву. Несчастный испытывалъ ужасныя мученія, отчасти потому, что рана была дурно перевязана, кромѣ того быстрыя передвиженія съ мѣста на мѣсто растравили ее еще болѣе. Генералъ Веймарнъ прислалъ къ нему своего хирурга, но было уже поздно: конфедератъ скоро умеръ. Рюльеръ говоритъ, что его добили русскіе солдаты, но это едвали справедливо. Вообще, смерть этого человѣка была началомъ бѣдствій для конфедератовъ: около половины дивизіи, подвластной Савѣ, погибло въ несчастный день 26 апрѣля, остальныхъ жестоко преслѣдовали, и ни одинъ конфедератъ не избѣжалъ смерти. Сава имѣлъ много приверженцевъ въ Варшавѣ, велъ съ ними тайную переписку, и когда былъ раненъ, передалъ всѣ свои бумаги въ вѣрныя руки, чтобы не выдать своихъ единомышленниковъ. Спасся ли тотъ, кому

онъ довѣрилъ переписку, когда оставлялъ войско, неизвѣстно; но только русскіе, при всемъ своемъ стараніи, не могли ничего открыть.

Между тѣмъ первыя схватки Пулавскаго съ непріятелемъ нѣсколько ободрили конфедератовъ. Но когда ночью онъ напалъ на русскихъ, какъ получилъ извѣстіе о погибели тѣхъ отрядовъ, которыми командовалъ Сава. Эта печальная вѣсть разстроила всѣ его предположенія; кромѣ того силы его были ослаблены отдѣленіемъ одного отряда для наблюденія за переходомъ непріятеля черезъ рѣку Дунавецъ. Другіе отряды разсыпались по окрестностямъ для собранія контрибуціи и для фуражировокъ; Дюмурье находился въ Бялѣ, Валевскій и Моженскій въ Заторѣ. Когда Древичъ занялъ Варшаву съ полуторатысячнымъ русскимъ отрядомъ, Суворовъ, не боясь уже соперничества храбраго Савы, который въ это время умиралъ отъ раны, повелъ три тысячи человѣкъ въ атаку противъ одного Пулавскаго. Тревожимый со всѣхъ сторонъ летучими отрядами русскихъ, которые слѣдили за каждымъ шагомъ конфедератовъ, Пулавскій соединился съ Валевскимъ и Моженскимъ, и они рѣшили обсудить въ совѣтѣ свое положеніе. Валевскій совѣтовалъ атаковать русскихъ на всѣхъ пунктахъ, Пулавскій представлялъ безполезность и опасность этой мѣры; онъ настаивалъ на томъ, чтобы взять непріятеля съ фронта, и его предложеніе было принято. Конфедераты раздѣлили свои силы на три части. Но на другой же день Пулавскій былъ окруженъ казаками и лишился всей своей артиллеріи; черезъ нѣсколько часовъ, онъ настигъ казаковъ, въ свою очередь атаковалъ ихъ, разсѣялъ, снова отнялъ артиллерію, и имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ начальникъ русскаго отряда бѣжалъ съ ничтожной горстью людей, спа-

саясь отъ плѣна. Вмѣсто того, чтобы, воспользовавшись этой побѣдой, напасть на другіе русскіе отряды и загнать ихъ въ болота, Пулавскій поворотилъ на Сань, къ Замосцью. На переправѣ черезъ Сань онъ снова былъ встрѣченъ русскими, перешелъ рѣку въ бродъ, опрокинулъ непріятеля, взялъ въ плѣнъ до 140 русскихъ и вошелъ въ Замосць. Но, измѣнивъ прежденачертанному плану, онъ самъ приготовилъ себѣ погибель. Въ письмѣ, которое Пулавскій получилъ, выходя снова изъ Замосця, Дюмурье упрекалъ его за отступленіе отъ плана. Задорный конфедератъ, задѣтый за живое, отвѣчалъ Дюмурье довольно жестко. Дюмурье отправилъ къ нему приказъ — соединиться съ другими отрядами, угрожая отдать подъ судъ за трусость. Пулавскій удержалъ посланнаго—и не повиновался. Этотъ странный капризъ очень дорого стоилъ конфедератамъ и доказалъ притомъ, что Польшѣ не на кого было надѣяться, что у нея не было главнаго—людей. Всѣ предводители конфедератовъ, въ томъ числѣ и самъ Дюмурье, который съ восьмью стами человѣкъ спѣшилъ отвратить грозящую опасность, были атакованы Суворовымъ и Древичемъ и разбиты по частямъ. Патріоты лишились очень многаго въ этой несчастной битвѣ: нѣсколько знатныхъ конфедератовъ, въ томъ числѣ молодой князь Сапѣга, были убиты; Моженскій и другіе взяты въ плѣнъ; Дюмурье спасся только тѣмъ, что Моженскій отдалъ ему свою лучшую лошадь. Поплатился и виновникъ этого несчастія, Пулавскій, за свою неумѣстную запальчивость. Для Суворова ничего не значило пройти форсированнымъ маршемъ какія-нибудь сорокъ миль, раздѣлявшія его отъ той горсти конфедератовъ, которую Пулавскій повелъ на Замосць. Русскій авангардъ пробился сквозь дефилеи, заграждавшія путь къ этому городу

и защищаемыя отрядомъ поляковъ; Суворовъ настигъ Пулавскаго на походѣ и, не давъ роздыха изнуреннымъ солдатамъ, послѣ огромнаго усиленнаго перехода, повелъ войско въ атаку, уничтожилъ всѣ усилія конфедератовъ и лишилъ ихъ послѣдней надежды. И поляки, и русскіе были изнурены до послѣдней крайности; цѣлыя пять сутокъ Суворовъ гнался за конфедератами по пятамъ, не обращая, по обыкновенію, вниманія на утомленіе и гибель своихъ солдатъ, и эти солдаты, уже испытавшіе обаяніе побѣдъ подъ начальствомъ даровитаго генерала, снова дѣлались побѣдителями. Пулавскому ничего не оставалось больше, какъ спасать остатки своей арміи, изнуренной и почти уничтоженной, и онъ спасъ этотъ ничтожный остатокъ, но не надолго. Русское войско дѣлало въ это послѣднее время такіе неимовѣрные переходы, употребляло такія усилія, что даже Суворовъ не рѣшился вести его вслѣдъ уходящему Пулавскому, хотя, быть можетъ, не потому поступилъ такъ великодушно, что сберегалъ своихъ солдатъ, а просто по разсчету, будучи увѣренъ, что конфедераты не уйдутъ отъ русскихъ, куда бы ни направились: въ продолженіе семнадцати дней онъ заставилъ свое войско пройдти около ста миль, и въ промежутокъ каждыхъ сорока осьми часовъ давалъ по одному или по нѣскольку сраженій. Онъ далъ Пулавскому возможность довести остатки своей дивизіи до Ченстохова; однако вся артиллерія конфедератовъ досталась побѣдителямъ. Только въ Ченстоховѣ Пулавскій узналъ, что прочія дивизіи разбиты и уничтожены, начальники войскъ убиты или взяты въ плѣнъ, и только тогда понялъ онъ разумность предостереженій Дюмурье. Но было уже поздно: послѣ ранъ, нанесенныхъ конфедератамъ тяжелой рукой Суворова, трудно было поправиться. Быстрота

дѣйствій его лишила поляковъ всякой возможности сопротивленія, потому что онъ появлялся вездѣ, гдѣ только могла собраться горсть патріотовъ, и вездѣ дѣйствовалъ одинаково круто, безпощадно. Передъ нимъ предводители поляковъ, не исключая и Пулавскаго, оказались слишкомъ ничтожными полководцами, тѣмъ болѣе, что Суворовъ располагалъ значительными силами. Онъ оказывалъ Пулавскому особенную любезность, несвойственную обыкновеннымъ угловатымъ манерамъ, которыми такъ извѣстенъ русскій генералъ. О Пулавскомъ онъ всегда отзывался съ похвалой, возвратилъ ему одного изъ его родственниковъ, взятаго въ плѣнъ, и прислалъ даже какую-то фарфоровую бездѣлушку, съ которой Пулавскому было непріятно разстаться. Но возвращая игрушки конфедератамъ, Суворовъ не могъ возвратить Польшѣ того, чего она сама не умѣла сберечь,—самостоятельности.

Въ то время, когда Суворовъ добивалъ остатки арміи патріотовъ, Сальдернъ прибылъ въ Варшаву въ качествѣ защитника интересовъ польской короны,—назначеніе лестное и повидимому скромное: онъ долженъ былъ способствовать прекращенію внутреннихъ смутъ, раздиравшихъ Польшу. Но такъ какъ поляки не понимали, откуда имъ ждать спасенія, и относились враждебно къ тѣмъ, которые интересовались ихъ участью, то Сальдернъ позаботился о своей личной безопасности. Когда онъ ѣхалъ изъ Петербурга въ Варшаву, на границѣ дожидался его русскій отрядъ, въ числѣ шести сотъ человѣкъ, въ сопровожденіи котораго и подъ прикрытіемъ двухъ пушекъ онъ проѣхалъ по взволнованнымъ провинціямъ республики и вступилъ въ Варшаву, гдѣ, какъ мы видѣли, происходили удивительныя вещи. Надо было имѣть слишкомъ мало сообразительности, чтобы не понять,

что въ 1770 году, и много раньше, Польши не существовало уже, что политически умерла она гораздо прежде, чѣмъ сосѣднія державы вздумали дѣлить между собою ея распавшіяся на части территоріи.—Положительно ошибаются тѣ, которые думаютъ, что имя польскаго королевства вычеркнуто было изъ списка европейскихъ державъ вслѣдствіе посторонняго вмѣшательства, и напрасно бѣдный фантазеръ Косцюшко, черезъ четверть вѣка послѣ этого, разбитый при Мацѣевицахъ, кричалъ, падая съ лошади, „finis Poloniae!“ (1)—Еслибы онъ лучше понималъ исторію своей родины и видѣлъ, что Польша не существовала тогда, когда сосѣднія державы и не думали еще дѣлить ее, то онъ не сказалъ бы этой пустой фразы и, быть можетъ, не увлекался бы напрасной надеждой возстановить то, что давно оказалось неспособнымъ стоять на своихъ собственныхъ ногахъ. Но ни поляки, ни австрійцы, ни Фридрихъ II, ни даже русскіе не понимали тогда этой простой истины и дѣйствовали каждый для своихъ цѣлей. Въ особенности же поляки отличались замѣчательной наивностью: какъ дѣти, изломавъ дорогую игрушку, горько плачутъ надъ ея обломками, стараясь подобрать разбросанныя части, такъ и поляки, которымъ судьба, или, вѣрнѣе, капризъ исторіи довѣрилъ храненіе такой дорогой вещи, какъ счастье милліоновъ народа,—разбивъ вмѣстѣ съ счастьемъ народа и свое собственное, благодаря своему легкомыслію, отсутствію гражданскихъ способностей и любви къ низшимъ слоямъ населенія,—видѣли теперь съ отчаяніемъ, что погибаютъ на-вѣки, и, думая

---

(1) Впослѣдствіи онъ самъ отказывался отъ этой громкой фразы, говоря, будто не произносилъ ее.

спасать себя, не догадывались, что, и спасшись, они не могутъ существовать на прежнихъ началахъ, именно—на пренебреженіи интересами всего населенія страны. Точно также ошибочно и безполезно хлопотали они о своемъ спасеніи и тогда, когда Суворовъ уничтожалъ ихъ послѣдняго солдата—защитника, а Сальдернъ въѣзжалъ въ Варшаву съ пушками, вмѣсто кредитивныхъ грамотъ. Варшавскіе поляки, вмѣсто того, чтобъ примкнуть къ одной изъ существовавшихъ уже партій и, усиливъ ее собой, вдохнуть въ умы націи единодушіе, составили третью партію, котóрая натурально должна была ослабить и патріотовъ и роялистовъ, если только позволено выражаться такимъ образомъ, говоря о партіяхъ, бывшихъ въ то время въ Польшѣ. Варшавскіе поляки составили такъ-называемую „патріотическую унію,“—патріотическое единеніе интересовъ и стремленій, хотя единство это понималось ими какъ-то странно и едвали могло довести ихъ до добра. Впрочемъ, патріотическая унія существовала пока еще въ идеѣ, какъ проектъ, исполненіе котораго было въ непроглядной дали. Составленіемъ уніи руководилъ примасъ республики, а король, давно остававшійся въ тѣни, игралъ и въ этомъ случаѣ пассивную роль, несмотря на то, что самая идея единенія требовала его иниціативы; онъ былъ, впрочемъ, такъ ничтоженъ, что едвали какая-либо партія въ Польшѣ нуждалась въ его голосѣ; сдѣлавшись партизаномъ какой угодно политической идеи, примкнувъ къ какой угодно партіи, онъ все-таки оставался бы безполезнымъ ея членомъ. Патріотическіе уніаты воображали, и совершенно напрасно, что они станутъ посредниками между конфедератами и русскими и, умиротворивъ эти враждующія стороны, успокоивъ конфедератовъ и русскихъ, сдѣлаютъ то, что по-

слѣдніе предоставятъ счастливую Польшу ея собственной участи; они предполагали, что русскіе, воевавшіе единственно противъ конфедератовъ, съ радостію возвратятся въ свое отечество, когда помощь ихъ окажется уже ненужною въ Польшѣ. Но эти дѣтскія иллюзіи могли придти только въ головы, которыя никогда не задумывались надъ рѣшеніемъ политическихъ вопросовъ; эти иллюзіи доказываютъ только, что и въ Варшавѣ, и во всей Польшѣ, какъ и въ лагерѣ конфедератовъ, никто не хотѣлъ принять на себя трудъ разъяснить истинный смыслъ событій, которыя были положительно безнадежны. Какъ всякій опасный больной, Польша только одна не сознавала, въ какомъ она отчаянномъ положеніи, и все еще надѣялась жить. Что касается до Сальдерна, то для него какъ будто вовсе не существовало никакой патріотической уніи, и послѣдующія дѣйствія его доказываютъ, что онъ не обращалъ на нее ровно никакого вниманія. По прибытіи въ Варшаву онъ старался повидимому ьывѣдать о намѣреніяхъ каждой политической партіи въ Польшѣ и узнать мнѣнія ихъ предводителей, не подозрѣвая еще, что опредѣленныхъ намѣреній никто изъ нихъ не имѣлъ, а всѣ бродили въ какомъ-то мракѣ. Онъ обращался и къ Чарторыжскимъ, которые дѣйствовали въ разладъ съ національными интересами, и къ министрамъ, которые рѣшительно не знали, какъ имъ дѣйствовать, и къ королю, который ровно никакъ ужъ не дѣйствовалъ. Подозрѣвая въ нихъ больше, чѣмъ они въ самомъ дѣлѣ имѣли, Сальдернъ старался сначала подвинуть ихъ на какія-либо добровольныя письменныя обязательства въ отношеніи къ правительству, котораго онъ былъ представителемъ въ Польшѣ, и говорилъ,— совершенно, впрочемъ, искренно, потому что раздѣлялъ на

этотъ счетъ мнѣнія Панина, — что Россія не желаетъ ни поддерживать общественныя смуты въ странѣ, ни отнимать у республики ея территорій. Но какъ человѣкъ предусмотрительный, онъ зналъ, къ кому и съ чѣмъ обращаться, кого и чѣмъ при случаѣ напугать: партіи, враждебной королю, которая стояла за низложеніе его съ престола, онъ умѣлъ шепнуть, что боится, какъ бы Австрія не навязала Польшѣ своего протектората, посадивъ на вакантный престолъ республики, вмѣсто природнаго поляка, саксонскаго нѣмца, принца Альберта,—и этимъ маневромъ хитрый голштинецъ встревожилъ партизановъ саксонскаго дома, которые были плохими политиками, не умѣвъ даже разгадать Сальдерна. Саксонская партія сейчасъ вообразила, что она, дѣйствуя въ интересахъ принца Альберта, работаетъ не для себя, не для принца и не для Польши, а въ пользу Австріи и Кауница, и сомнѣніе въ самихъ себѣ парализировало такимъ образомъ ихъ собственную силу. Сальдерну только этого и нужно было. Затронувъ національное самолюбіе поляковъ, онъ легче управлялся съ ними. Онъ говорилъ о честолюбивыхъ притязаніяхъ саксонскаго правительства, котораго намѣренія должны были оскорблять гордое чувство патріотовъ; онъ называлъ не иначе, какъ шпіонами всѣхъ, кто жилъ въ саксонскомъ дворцѣ въ Варшавѣ, и этой тактикой поставилъ себя въ непріязненныя отношенія къ патріотической уніи, и въ особенности къ примасу республики. Какъ человѣкъ раздражительный, онъ не умѣлъ остановиться вовремя и сталъ наконецъ обвинять унію въ антипатріотическихъ стремленіяхъ, хотя унія и называлась „патріотическою.“ Онъ прямо говорилъ, что все это—происки Саксоніи; что патріоты—слѣпыя орудія нѣмцевъ и т. д. Въ разговорѣ съ примасомъ, въ

присутствіи короля, онъ не удержался отъ довольно жесткихъ выраженій на счетъ уніи; онъ упрекалъ примаса его привязанностью къ интересамъ дрезденскаго двора, и при всякомъ удобномъ случаѣ бросалъ ему въ глаза это щекотливое обвиненіе. Такой неловкой тактикой Сальдернъ возстановилъ противъ себя всю партію, раздѣлявшую мнѣнія примаса, и хотя Польша достигла тогда такого жалкаго положенія, что въ отношеніи къ ней всякая тактика, нетолько неловкая, но даже самая нелогическая, было пригодною, однако такое поведеніе Сальдерна могло показаться не совсѣмъ благовиднымъ для другихъ европейскихъ державъ. Сальдернъ, впрочемъ, и знать, повидимому, не хотѣлъ, что̀ думаютъ о его выходкахъ въ Европѣ, потому что былъ увѣренъ въ безопасности своей позиціи и въ беззащитности Польши. Онъ до того довелъ примаса, что тотъ нашелся вынужденнымъ оставить Польшу, продалъ часть своихъ имѣній и разослалъ къ министрамъ мемуаръ, въ которомъ объяснялъ причины, побудившія его къ такому поступку.

Сальдернъ увидѣлъ, что зашелъ слишкомъ далеко, не пробывъ и мѣсяца въ Варшавѣ. Прежде гласнаго заявленія миролюбивыхъ намѣреній своего правительства въ отношеніи къ республикѣ, онъ успѣлъ возбудить противъ себя недовѣріе всѣхъ партій и притомъ такъ, что они еще враждебнѣе стали смотрѣть одна на другую. Однихъ онъ пугалъ Саксоніею, другихъ Австріею, третьихъ Пруссіею. Приверженцамъ партіи конфедератовъ онъ давалъ замѣтить, чтобъ они ни на что не надѣялись, потому что сосѣднія державы никакъ не рѣшатся принять дѣятельнаго участія въ ихъ судьбѣ, а напротивъ готовы воспользоваться горестнымъ положеніемъ республики. „Этому бульдогу очень хочется кинуться на васъ,“

говорилъ онъ Чарторыжскимъ, указывая на Фридриха. Такимъ образомъ, когда еще никто не зналъ о дѣйствительныхъ намѣреніяхъ и планахъ Сальдерна, уже всѣ не взлюбили и боялись его. Наконецъ, когда 13 мая его извѣстили изъ Петербурга, что мирные переговоры между петербургскимъ кабинетомъ и Турціею подвигаются впередъ и что съ этой стороны нѣтъ уже никакой опасности, на другой же день Сальдернъ выступилъ передъ польскимъ народомъ съ торжественной декларацiей, въ которой объяснялась націи степень участія Россіи въ дѣлахъ республики. Какъ ни былъ офиціаленъ языкъ декларацiи, однако самый миролюбивый тонъ ея не могъ успокоить поляковъ. Правда, какъ большая часть дипломатическихъ нотъ, декларація была довольно безцвѣтна, исполнена общихъ мѣстъ и прекрасныхъ фразъ; въ ней выражалось горячее, безкорыстное сочувствіе бѣдствіямъ страны, порицались нарушители общественнаго спокойствія и пр.; но и подъ этими успокоительными фразами поляки видѣли что-то опасное для себя. Одно казалось несомнѣннымъ, что декларація обвиняла кого-то, приписывала начало общественныхъ безпорядковъ какимъ-то внутреннимъ врагамъ, не указывая прямо ни на кого и не касаясь ни одной партіи. Обвиненіе имѣло тотъ смыслъ, что эти домашніе враги подкапываются подъ самое зданіе свободы и величія республики, что какіе-то гибельные софизмы этихъ враговъ западаютъ опаснымъ зерномъ въ сердца людей слабыхъ и довѣрчивыхъ; что воображеніе ихъ воспламеняется несбыточными мечтами, въ сущности пустыми, но все-таки опасными для общества. Декларація не объясняетъ, кого разумѣетъ она подъ этими домашними врагами и на какіе гибельные софизмы и пустыя иллюзіи намекаетъ она, хотя,

безъ сомнѣнія, тутъ рѣчь идетъ о конфедератахъ; но что такое разумѣлось подъ гибельными софизмами, — это могъ объяснить только Сальдернъ, смотрѣвшій на событія съ исключительной точки зрѣнія и ставившій въ число софистическихъ парадоксовъ народныя права и даже чувство животнаго самосохраненія. Декларація признавала необходимость посторонняго вмѣшательства въ дѣла республики и обѣщала защиту всѣмъ гражданамъ, не принимающимъ участія въ общественныхъ смутахъ, и грозила войсками всѣмъ безпокойнымъ патріотамъ.

Патріотическая унія по видимому не приняла на свой счетъ неделикатныхъ намековъ, которыми исполнена декларація; оскорбилась-ли ими партія конфедератовъ, уніи было все равно. Примасъ республики, намѣревавшійся удалиться изъ Польши вслѣдствіе безцеремоннаго обхожденія съ нимъ Сальдерна, отложилъ свой отъѣздъ послѣ объявленія декларацiи. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ пріѣзда Сальдерна патріотическая унія имѣла нѣсколько засѣданій и на одномъ изъ засѣданій Сальдернъ изъявилъ желаніе присутствовать на совѣтѣ лично. Но онъ велъ себя въ этомъ собраніи такъ оскорбительно, съ такимъ презрѣніемъ отзывался о лучшихъ ея членахъ, что едва ли можно было разчитывать на миролюбивый исходъ дѣла. Сальдернъ не стѣсняясь выражался, что во всей уніи нѣтъ ни одного порядочнаго человѣка, съ которымъ бы можно было говорить, и послѣ перваго засѣданія патріотовъ онъ объявилъ, что нога его не будетъ въ ихъ собраніи. Въ письмахъ, которыя Сальдернъ писалъ изъ Варшавы въ Петербургъ, говорились еще менѣе лестныя для поляковъ вещи, и Сальдернъ былъ правъ съ своей точки зрѣнія, потому что упасть ниже того, какъ упала въ то

время Польша, уже нельзя было: онъ говорилъ о ихъ безпечности, лѣности, тупости, неспособности къ дѣламъ; онъ обвинялъ ихъ въ отсутствіи чувства законности. И дѣйствительно, еслибы то, что говорилъ Сальдернъ, была ложь, Польша не довела бы себя до такого униженія, не погубила бы цѣлые милліоны подвластныхъ ей подданныхъ и не погибла бы сама. Нѣтъ, поляки сами заслужили то презрѣніе, съ которымъ относились къ нимъ люди, подобные Сальдерну, которые знали слабыя стороны тогдашняго польскаго общества, и его продажность, и отвращеніе къ серьезному труду, и крайнюю неспособность къ самоуправленію. При всемъ томъ Сальдернъ вооружилъ противъ себя всѣ партіи; даже съ приверженцами своего двора онъ обращался грубо и надменно, какъ съ противниками, и публично оскорблялъ ихъ, говоря въ глаза самыя жесткія истины. Національная гордость поляковъ страдала ежеминутно; но они были безсильны помочь горю и даже не понимали, что существеннымъ спасеніемъ для нихъ было полное единодушіе, общность интересовъ и стремленій, а не раздѣленіе на партіи. Видя такую страшную путаницу въ общественныхъ отношеніяхъ республики, Сальдернъ хотѣлъ сблизиться, по крайней мѣрѣ, съ диссидентами; но и тѣ отказались отъ него. Вскорѣ по прибытіи въ Польшу, онъ пригласилъ въ Варшаву нѣкоторыхъ начальниковъ этой партіи, и когда они, сопровождаемые отрядомъ казаковъ, приближались къ Варшавѣ, то были захвачены на дорогѣ конфедератами, ограблены и въѣхали въ столицу на крестьянскихъ телѣгахъ. Сальдернъ предлагалъ имъ свое ходатайство передъ петербургскимъ дворомъ—и диссиденты не приняли даже этой протекціи. Все это болѣе и болѣе раздражало Сальдерна.

Примасъ рѣшился наконецъ покинуть Варшаву, не чувствуя въ себѣ достаточно силъ спасти погибающую отчизну. Онъ простился съ королемъ, написалъ императрицѣ письмо, въ которомъ объяснялъ причины своего удаленія изъ Варшавы, извѣстилъ объ этомъ министровъ всѣхъ иностранныхъ дворовъ, указавъ на всѣ оскорбленія, которымъ онъ подвергался, и уѣхалъ въ свое имѣніе, давъ торжественное обѣщаніе не возвращаться въ Варшаву до тѣхъ поръ, пока въ ней будетъ оставаться Сальдернъ. Тогда запальчивый голштинецъ послалъ за нимъ отрядъ казаковъ и они привели несчастнаго примаса въ Варшаву, какъ военно-плѣннаго или государственнаго преступника. Первую ночь по возвращеніи въ столицу онъ провелъ въ своемъ дворцѣ, какъ арестантъ, съ часовыми у дверей и оконъ; наутро казаки перевели его въ частный домъ.

Поступокъ этотъ былъ слишкомъ громокъ, и Сальдернъ, компрометировавшій такими выходками чистоту намѣреній петербургскаго кабинета въ отношеніи къ Польшѣ, получилъ изъ Петербурга выговоръ, какъ отъ лица императрицы, такъ равно и отъ Никиты Панина. Сальдернъ, говорятъ современники, дрожалъ отъ досады, выслушавъ повелѣніе освободить примаса изъ-подъ ареста и извиниться передъ главою республики въ нанесенныхъ ему оскорбленіяхъ; онъ долженъ былъ даже передать ему письмо Панина, въ которомъ онъ, говоря какъ удивила императрицу дерзость (témerité) Сальдерна, просилъ примаса, въ самыхъ дружескихъ выраженіяхъ, забыть прошедшее и не отказываться отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ.

Но Сальдерна ни что не остановило. Освободивъ примаса, онъ засадилъ подъ арестъ депутата курляндскаго дворян-

ства, Говенъ, который протестовалъ противъ вмѣшательства въ дѣла Курляндіи.

Мѣсяца черезъ полтора послѣ первой декларацiи Сальдерна явилась другая, болѣе жесткая, но и болѣе опредѣленнаго направленія, чѣмъ первая. Если первая возбудила неудовольствіе всѣхъ партій, то послѣдняя могла усилить его до крайней степени, если только это было возможно. Она направлена преимущественно противъ конфедератовъ, но, какъ и первая, не называетъ ихъ по имени, вслѣдствіе чего дозволяетъ себѣ выраженія самыя изысканныя, уже далеко не дипломатическія выраженія, которыя конфедераты могли принять на свой счетъ и не принять. Почти на каждой строкѣ попадаются слова — „шайка грабителей," „толпы убійцъ," „гнусные разбойники на большихъ дорогахъ" и проч. Декларація говоритъ, что русскія войска получаютъ приказаніе преслѣдовать скопища злодѣевъ на всѣхъ дорогахъ и въ особенности въ окрестностяхъ столицы, брать ихъ въ плѣнъ и заковывать въ желѣза, какъ преступниковъ. И дѣйствительно, Сальдернъ приказалъ поставить висѣлицы по всѣмъ большимъ дорогамъ, а всего болѣе около Варшавы, и на реляхъ прибить свои декларацiи. Заремба и Пулавскій отвѣчали на этотъ разъ прокламаціею или, скорѣе, манифестомъ, въ которомъ повергали на судъ общественнаго мнѣнія и свое поведеніе, и поступки Сальдерна. Но все было напрасно. Сальдернъ былъ вѣренъ своему призванію и не сходилъ съ дороги, на которую вступилъ съ самаго пріѣзда въ Варшаву. Генералъ Веймарнъ, командовавшій тогда русскими войсками въ Варшавѣ, напрасно старался противостать суровымъ распоряженіямъ Сальдерна, напрасно указывалъ ему на безразсудство его поведенія, и, наконецъ, истомленный въ

борьбѣ съ упрямой волею голштинца, не имѣя силъ выносить всего, на что вынуждали его распоряженія Сальдерна, рѣшился писать въ Петербургъ и просить отставки. Вмѣсто него присланъ былъ знаменитый Бибиковъ, тотъ самый, который черезъ два года командовалъ войсками, посланными противъ Пугачева. Но и Бибиковъ, своими болѣе мягкими отношеніями къ полякамъ, вооружилъ противъ себя Сальдерна, который мѣшалъ ему на каждомъ шагу и во все вмѣшивался. Раздраженіе Сальдерна, какая-то болѣзненная желчность и подозрительность достигли крайнихъ предѣловъ; онъ сдѣлался еще мрачнѣе и непреклоннѣе, заперся въ своемъ домѣ и никого не пускалъ къ себѣ. Присланный за тѣмъ, чтобы умиротворить націю и служить интересамъ короля, онъ, наконецъ, дошелъ до того, что грозилъ и королю, и его родственникамъ секвестромъ ихъ имѣній.

Историки, которыхъ никакъ нельзя заподозрить въ пристрастіи къ Россіи и въ особенности къ Сальдерну, единогласно утверждаютъ, что этотъ безцеремонный голштинецъ только потому дозволялъ себѣ такое обращеніе съ поляками, что они другаго не заслуживали. Въ то время, когда провинціи отданы были на жертву всѣмъ ужасамъ гражданскихъ смутъ, когда по всей Польшѣ свирѣпствовалъ голодъ и цѣлыя области опустошала страшная моровая язва, такъ называемая „черная смерть,“ отъ которой не избавились (1770 г.) и югозападныя губерніи Россіи, въ то время, когда паденіе республики казалось неизбѣжнымъ, Варшава и лучшіе города республики представляли удивленному глазу наблюдателя безпрерывный рядъ праздниковъ, торжествъ и зрѣлищъ; высшія сословія республики, вѣчно жившія въ роскоши на счетъ низшихъ классовъ и непривыкшія ни къ какому умственному

труду, и правительственныя власти, начиная отъ короля до послѣднихъ коронныхъ чиновниковъ, веселились и забывали страну, точно сознавали, что жизнь и власть даны имъ не надолго, точно спѣшили воспользоваться жизнію и кончить ее самымъ недостойнымъ образомъ. Тѣ, которые, — или по своему гражданскому положенію, или по недостаточности средствъ,—не могли принимать участія въ безумной жизни магнатовъ, предавались ужасному пьянству и грубому разврату; низшіе же классы городскаго населенія и вся голытьба жили грабежемъ, увеличивая безпорядочныя толпы конфедератовъ. Свѣжій человѣкъ чувствовалъ, что республикѣ не долго жить. Таковъ былъ Римъ, говорятъ эти историки, наканунѣ паденія имперіи; признаки неминуемой политической смерти видны были на римлянахъ временъ Нерона и Калигулы,—тѣ же признаки носила Польша наканунѣ потери своей самостоятельности. Вотъ что давало пищу раздражительности Сальдерна и оправдывало жесткость его поведенія, потому что обо всѣхъ полякахъ, въ томъ числѣ и о конфедератахъ, онъ судилъ по тѣмъ образцамъ, которые видѣлъ въ Варшавѣ, которые пресмыкались передъ болѣе сильными, ползали передъ Сальдерномъ и продавали ему и себя, и свое имя, и своихъ соотечественниковъ. Историки соглашаются, что въ такой степени деморализованная нація не достойна была другой участи, какъ потерять автономію, къ которой была неспособна, и въ свою очередь стать рабою другихъ, менѣе деморализованныхъ народностей. Только въ немногихъ конфедератахъ крутыя мѣры Сальдерна разбудили дремавшія добрыя чувства. Извѣстно, что часть поляковъ, послѣ взятія русскими войсками Бара, успѣла бѣжать въ турецкія владѣнія, гдѣ, отъ времени до времени,

и составлялись вооруженныя партіи патріотовъ, подъ предводительствомъ Красинскаго и Потоцкаго, лично враждовавшихъ другъ противъ друга. Хотя общее несчастіе и примирило ихъ нѣсколько, но, къ сожалѣнію, и эти, столь извѣстные патріоты, были въ сущности людьми пустыми и, при всемъ желаніи, не умѣли принести ни малѣйшей пользы своему отечеству. Шлёссеръ называетъ и ихъ, какъ и Пулавскаго, людьми ничтожными во всѣхъ отношеніяхъ. Ссорясь ежеминутно изъ-за самыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ, эти представители патріотовъ безполезно жили въ Турціи, не имѣя нравственнаго вліянія даже на крымскихъ татаръ, отъ которыхъ Польша ожидала помощи. Только Сальдернъ вынудилъ ихъ отправить посольство къ султану и просить о защитѣ; но хотя Мустафа и обѣщалъ имъ свое содѣйствіе, только обѣщаніе это навсегда осталось неисполненнымъ. Въ Курляндіи поднялся въ это время юный Зибергъ съ своимъ двухсотеннымъ отрядомъ; но что могла сдѣлать эта ничтожная горсть, предводительствуемая мальчикомъ, противъ стройныхъ войскъ Древича и Суворова? Зибергъ былъ сынъ одного воеводы изъ древней курляндской фамиліи. Бѣдствія Польши воспламенили его молодую фантазію, и онъ, тайно отъ отца, собравъ небольшой отрядъ волонтеровъ и приготовивъ его къ перенесенію всѣхъ трудностей войны, рѣшился идти на помощь конфедератамъ. Открывъ отцу свои намѣренія, онъ просилъ у него благословенія на рыцарскій подвигъ, и отецъ благословилъ его. Но такихъ юношей, какъ Зибергъ, немного было въ Польшѣ и они не могли спасти ее, потому что было уже поздно спасать то, что погибло навсегда.

Намъ кажется, что только отчаяніе поддерживало еще

слабѣвшія силы Пулавскаго и Зарембы, которые не только должны были отстаивать Ландскрону, Калишъ, Ченстохово и Тырнякъ отъ неутомимыхъ приступовъ Суворова и Древича, но и отбиваться отъ своего соотечественника, Ксаверія Браницкаго, предводительствовавшаго королевскими войсками. Выше мы говорили о его стычкахъ съ Савою и о томъ, какое негодованіе возбудилъ этотъ перемётчикъ во всѣхъ патріотахъ. Теперь, когда явилась декларація Сальдерна, онъ взялъ на себя трудъ оповѣстить о ней въ разныхъ воеводствахъ и постараться приготовить умы въ провинціяхъ къ принятію убѣжденій, которыя онъ раздѣлялъ вмѣстѣ съ Сальдерномъ. Но странно исполнялъ онъ принятую на себя обязанность. Вмѣсто того, чтобы дѣйствовать убѣжденіемъ, онъ явился въ провинціяхъ чистымъ завоевателемъ. Самое поведеніе этого измѣнника далеко не располагало въ его пользу: въ пьяномъ видѣ онъ дѣлалъ разныя жестокости съ конфедератами; онъ приказалъ приводить къ себѣ плѣнныхъ и разрубалъ ихъ своею саблею. Имѣя съ собою значительный отрядъ кавалеріи, три полка уланъ и нѣсколько пѣхоты, Браницкій напалъ на Ченстохово, защищаемое Пулавскимъ, но былъ отбитъ конфедератами, и на другой день просилъ Пулавскаго о свиданіи, надѣясь, конечно,—и совершенно напрасно,—на свое краснорѣчіе больше, чѣмъ на свою саблю, которая у него удачно дѣйствовала только съ плѣнными и безоружными. Но и краснорѣчіе не помогло Браницкому, какъ не помогла сабля. Нечего было и думать, чтобы предложенія его могли согласоваться съ видами Пулавскаго, однако онъ не отказался отъ свиданья, хотя могъ и безъ свиданья знать, чего потребуетъ отъ него слуга Сальдерна. На всѣ доводы и обѣщанія Бра-

ницкаго онъ отвѣчалъ положительными опроверженіями; онъ отвѣчалъ не менѣе любезно и на угрозы Ксаверія. Такъ какъ Пулавскій зналъ, что ждать ему отъ Браницкаго нечего и что не добиться ему толку отъ этого господина, то, не желая продолжать безполезнаго разговора, сказалъ, что онъ, какъ начальникъ одного отряда, не смѣетъ говорить отъ лица всѣхъ конфедератовъ и потому не имѣетъ права ни соглашаться на какія бы то ни было предложенія, ни отвергать ихъ. Съ тѣмъ они и разстались. Но Пулавскій не хотѣлъ простить ему дерзости, съ которою тотъ осмѣлился напасть на него въ Ченстоховѣ, и, ровно черезъ двадцать четыре часа послѣ свиданья, атаковалъ отрядъ Браницкаго, разбилъ его и, захвативъ въ плѣнъ до тридцати солдатъ и троихъ офицеровъ, отослалъ ихъ опять къ Браницкому. Браницкій, желая поправить неудачу и выместить на комъ либо свой стыдъ, пытался обмануть Зарембу или, по крайней мѣрѣ, склонить его на свою сторону обѣщаніями. Но, подобно Пулавскому, и Заремба не дался въ обманъ, а напротивъ, задѣтый за живое тѣмъ, что Браницкій обратился къ нему послѣ Пулавскаго, какъ бы воображая, что Зарембу легче обмануть и напугать, онъ еще рѣшительнѣе отказался отъ всякихъ переговоровъ. Только на этотъ разъ сабля нѣсколько болѣе помогла Браницкому: напавъ послѣ того на Зарембу, онъ уничтожилъ часть его авангарда, причемъ былъ убитъ и командиръ отряда. Тогда Заремба рѣшился поправить и свою неудачу: при помощи Мазовецкаго, молодаго энтузіаста, игравшаго довольно видную роль во всѣхъ послѣдующихъ дѣлахъ конфедератовъ, онъ совершенно истребилъ отрядъ Браницкаго. Битва была такъ удачна, что побѣдители успѣли захватить двухъ полковниковъ, двадцать

офицеровъ, множество знатныхъ волонтеровъ, до трехъ сотъ солдатъ и болѣе двухъ сотъ лошадей. Самъ Браницкій, подъ которымъ убиты были двѣ лошади, получилъ рану и съ трудомъ успѣлъ бѣжать отъ Мазовецкаго.

Все это происходило въ небольшой промежутокъ времени между изданіемъ первой и второй декларацій Сальдерна. Послѣдняя, какъ мы замѣтили, нетолько произвела сильное впечатлѣніе въ умахъ конфедератовъ, но болѣзненно отозвалась во всей Польшѣ, потому что иначе и быть не могло. Въ этомъ случаѣ Сальдернъ сдѣлалъ самую грубую ошибку, на которыя онъ былъ очень способенъ, и Панинъ никогда бы не простилъ ему такого страннаго поведенія, еслибы ошибки конфедератовъ, на которыя и они были способны не менѣе Сальдерна, не поправили дѣла и не вывели Панина изъ затрудненія. Конфедераты, оскорбленные обидными выраженіями, направленными противъ нихъ во второй декларацiи, оказались деликатнѣе Сальдерна и отвѣчали, какъ мы сказали, манифестомъ, въ которомъ не было ничего жесткаго и оскорбительнаго для Россіи. Манифестъ этотъ могъ поправить нѣсколько ихъ дѣла, еслибы они послѣ того не надѣлали кучу глупостей. Правда, въ манифестѣ они хвастались своими побѣдами, которыя были довольно ничтожны; но въ то же время они взывали къ единодушію націи, о чемъ бы слѣдовало давно подумать, а не начинать съ конца, какъ они начали. Манифестъ производилъ сильное дѣйствіе вездѣ, куда ни проникалъ; въ Подоліи и на Волыни онъ привлекъ въ ряды конфедератовъ значительныя силы, такъ что войско ихъ снова достигло той цифры, какая была въ началѣ весны этого года, когда конфедераты не терпѣли еще пораженій ни отъ Древича, ни отъ Суворова, и когда дивизія Савы

была цѣла и самъ онъ былъ еще живъ. Манифестъ этотъ сдѣлалъ то, что они держались въ своихъ крѣпостяхъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, несмотря на всѣ усилія русскихъ выгнать ихъ изъ Ландскроны, Тырняка и Ченстохова. Франція снова прислала имъ своихъ офицеровъ, которые были все-таки дѣльнѣе конфедератовъ и приносили имъ не малую пользу, особенно когда послѣдніе слушались ихъ совѣтовъ, а не умствовали сами и не ссорились съ ними и между собой. Наконецъ, много надежды возлагали конфедераты на битву, куда Пулавскій командировалъ Коссаковскаго съ четырьмя стами человѣкъ. Личность Коссаковскаго какъ-то невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе, не потому, чтобъ это была особенно даровитая натура,—во всѣхъ отношеніяхъ онъ стоялъ гораздо ниже и Пулавскаго, и Зарембы, и Савы, но вся жизнь его носитъ на себѣ печать какой-то страстности и непостоянства,—непостоянства въ убѣжденіяхъ, чувствахъ, политическихъ правилахъ и проч. Страстный патріотъ въ молодости, онъ дѣлается непримиримымъ врагомъ своихъ юношескихъ убѣжденій, врагомъ родины, предметомъ ненависти всѣхъ соотечественниковъ и кончаетъ жизнь самымъ позорнымъ образомъ. Партизанъ саксонскаго дома и лично привязанный къ партіи Радзивилловъ, онъ ненавидѣлъ Понятовскаго, и когда тотъ вступилъ на престолъ, явился въ Варшаву только за тѣмъ, чтобы вредить королю и словомъ, и дѣломъ. Пустой по природѣ, онъ скорѣе желалъ играть видную роль, чѣмъ принести дѣйствительное добро своей родинѣ; роли его жизни, пожалуй, и были громки, но безплодны, и, наконецъ, причинили не мало зла тому дѣлу, за которое онъ стоялъ въ молодости. Открыто порицая короля, онъ навлекъ на себя преслѣдованія и едва не

былъ схваченъ, хотя за смѣлость свою поплатился раной и долженъ былъ бѣжать изъ Варшавы. Онъ отправился въ Турцію, куда обыкновенно спасались патріоты изъ своего несчастнаго отечества. Въ Турціи онъ былъ принятъ за русскаго шпіона, бѣжалъ оттуда, но недалеко отъ границы пойманъ татарами. Случай помогъ ему спастись и здѣсь, какъ въ Варшавѣ: онъ воспользовался минутнымъ смущеніемъ страны, послѣдовавшимъ за насильственной смертію великаго визиря, и бѣжалъ въ Польшу, гдѣ и сталъ въ ряды конфедератовъ. Пулавскій потому послалъ Коссаковскаго въ Литву, что многіе изъ литовскихъ патріотовъ сами просили объ этомъ конфедератовъ. Саксонія дала полякамъ небольшую сумму денегъ для покупки двухъ тысячъ ружей и пяти сотъ сабель, собственно для Литвы, которая была опустошена непріятельскими отрядами; литовцы просили оружія и звали къ себѣ конфедератовъ, чтобы, соединившись съ ними, вторгнуться въ русскія провинціи. Коссаковскій совершилъ, какъ говорятъ, замѣчательный походъ въ Литву, походъ, соединенный съ страшными трудами и опасностями, но и необыкновенно счастливый для конфедератовъ. Нѣкоторые польскіе историки называютъ этотъ походъ баснословнымъ, хотя въ немъ замѣчательнаго собственно ничего не было. Правда, Коссаковскій дѣйствовалъ удачнѣе другихъ конфедератовъ, шелъ быстро, не былъ покуда ни разу разбитъ, но, можетъ быть, потому только, что судьба не натолкнула его на Суворова, а посылала, на его счастье, партіи русскихъ рекрутъ, которыхъ онъ и разбивалъ, потому что разбить ихъ было не трудно. Какъ бы то ни было, но онъ успѣлъ надѣлать много шуму. Куда ни являлась его маленькая армія, онъ всѣхъ умѣлъ расположить въ свою пользу: захватывая

партіи рекрутъ, онъ спрашивалъ, кто изъ плѣнныхъ желаетъ поступить въ ряды конфедератовъ, и бралъ въ свою армію охотниковъ, а другихъ, не желавшихъ перейти на его сторону, отсылалъ безъ всякой обиды и притомъ еще ласково говорилъ имъ: „Подите и передайте вашему посланнику (онъ разумѣлъ Сальдерна), какъ съ вами обходятся, конфедераты и скажите ему, если только смѣете, что воры (какъ называлъ Сальдернъ конфедератовъ) ограбили и обидѣли васъ.“ Молва о его подвигахъ съ рекрутами и быстромъ движеніи на Литву достигла Курляндіи, и два курляндскихъ дворянина, привлеченные въ Литву шумомъ, надѣланнымъ походомъ Коссаковскаго, соединились съ нимъ, усиливъ его отрядъ пятью стами человѣкъ. Коссаковскій очутился наконецъ у Вильно, захватилъ у самыхъ стѣнъ города болѣе ста лошадей и нѣсколько русскихъ солдатъ, которые сторожили этотъ табунъ, разбилъ довольно сильный отрядъ, посланный ему навстрѣчу, взялъ въ плѣнъ самого начальника и двухъ офицеровъ и, въ негодованіи на опустошенія, которымъ подвергалась несчастная страна во все время польскихъ смутъ, написалъ виленскому коменданту письмо, которое дѣлаетъ ему большую честь, запятнанную впослѣдствіи, въ годы зрѣлаго мужества. Онъ указывалъ на грабежи и опустошенія, которые приписывалъ распоряженіямъ коменданта и прибавлялъ, что на конфедератовъ, напротивъ, не пожалуется никто изъ жителей. Коссаковскій писалъ между прочимъ, что, разбивъ отрядъ, высланный комендантомъ, онъ захватилъ въ русскомъ обозѣ не столько оружія, сколько женскаго платья и прочихъ награбленныхъ вещей. Онъ укорялъ этимъ коменданта; указывалъ на всю возмутительность такихъ поступковъ его арміи: „Недостатокъ въ докторахъ обязываетъ меня отдать

вамъ обратно двухъ раненыхъ офицеровъ и двадцать плѣнныхъ солдатъ; что же касается до начальника отряда, то я оставляю его у себя плѣннымъ вмѣстѣ съ нѣсколькими другими, и увѣряю васъ, что съ ними будутъ обходиться у меня болѣе человѣчно, чѣмъ поступаете вы съ нашими согражданами, захваченными въ ихъ собственныхъ домахъ и содержащимися въ Вильнѣ въ тѣсной тюрьмѣ." Коссаковскій предлагалъ наконецъ обмѣнъ плѣнныхъ. Комендантъ не отвѣчалъ на письмо и даже отвергнулъ предложеніе о размѣнѣ плѣнныхъ.

Армія Коссаковскаго постоянно росла. Одинъ отрядъ былъ присланъ къ нему Радзивилломъ. Коссаковскій явился наконецъ въ Курляндію и назначилъ пріемъ рекрутъ, съ помощью суммъ, которыя пожертвовало ему курляндское дворянство, недовольное Биронами и желавшее выгнать ихъ изъ Митавы. Коссаковскій рѣшился разослать по всему герцогству особый манифестъ, чтобы подвинуть страну къ возстанію; но русскіе перехватили его публикаціи. Однако герцогъ долженъ былъ удалиться въ Ригу и Коссаковскій наводнилъ своими отрядами почти все герцогство, удачно дѣйствуя противъ русскихъ отрядовъ. Онъ намѣревался даже идти на Смоленскъ, и, вѣроятно, успѣлъ бы въ этомъ, еслибы въ Литвѣ не постигли несчастія Браницкаго (не Ксаверія) и Огиньскаго, на которыхъ Коссаковскій и всѣ конфедераты возлагали не малыя надежды.

Огиньскій, по свидѣтельству всѣхъ историковъ, былъ человѣкъ мало къ чему способный, исключая развѣ искуснаго писанья мадригаловъ, сонатъ, картинокъ, что̀ все, говорятъ, возбуждало въ Понятовскомъ бѣшеную зависть; государственныя дѣла были имъ обоимъ не по плечу. Но когда послѣд-

ній взошелъ на престолъ къ вящшей зависти перваго и когда къ этому присоединилось еще то, что король прибѣгнулъ къ покровительству русскихъ, старая вражда между этими двумя родственниками, вражда собственно изъ-за пустяковъ, изъ-за сонатъ и мадригаловъ, должна была кончиться серьезнымъ дѣломъ. Чтобы успокоить чѣмъ нибудь самолюбіе Огиньскаго, его сдѣлали великимъ короннымъ гетманомъ литовскимъ. Но и этотъ высокій постъ не мѣшалъ ему остаться все тѣмъ же артистомъ, а личный антагонизмъ къ королю, рано ли, поздно ли, долженъ былъ разрѣшиться открытой борьбой и, слѣдовательно, принести новыя бѣдствія странѣ. Браницкій, напротивъ, уже давно питалъ вражду къ королю за его отношенія къ русскимъ; а послѣ изгнанія изъ Польши эта вражда усилилась въ немъ еще болѣе. Само собою разумѣется, что онъ былъ врагомъ русской партіи, и, возвратясь изъ изгнанія, несмотря на тяжкую болѣзнь, дѣятельно помогалъ конфедератамъ деньгами и людьми, хотя уже не могъ, какъ прежде, предводительствовать войскомъ. Больной старикъ жилъ въ своей богатой резиденціи, окруженный блескомъ и великолѣпіемъ, и, поддерживая постоянныя сношенія съ конфедератами, искусно завлекалъ въ свою партію Огиньскаго. Огиньскій, съ своей стороны, не могъ не сочувствовать конфедератамъ, и хотя не смѣлъ обнаружить истинныхъ чувствъ къ патріотамъ, тѣмъ не менѣе становился иногда посредникомъ между ними и русскими. Король слишкомъ хорошо зналъ своего прежняго соперника, чтобы не догадываться, какую дорогу изберетъ онъ впослѣдствіи, а между тѣмъ русскіе уже съ безпокойствомъ наблюдали за поведеніемъ гетмана. Огиньскій, подъ предлогомъ образованія кордонной линіи для защиты

страны отъ моровой язвы, замѣтно увеличивалъ свою армію, усиливая тѣмъ и подозрѣнія русскихъ; наконецъ, онъ пытался привлечь и короля на свою сторону, чтобы дѣйствовать соединенными силами противъ русскихъ; но король не хотѣлъ и слышать о его предложеніяхъ и только повторялъ со страхомъ: „онъ погубитъ меня и себя погубитъ.“ Сальдернъ, какъ и слѣдовало ожидать, не дремалъ, и зорко, насколько хватало у него политической зоркости, слѣдилъ за всѣми движеніями гетмана; уже давно поведеніе Огиньскаго казалось ему двусмысленнымъ; онъ не разъ говорилъ королю, что надо принять какія нибудь мѣры къ пресѣченію своевольствъ гетмана, что его слѣдуетъ наказать, или, наконецъ, конфисковать имущество этой, какъ онъ выражался, „разбойничьей фамиліи.“ Сальдернъ доказывалъ королю, что Огиньскій — опасный человѣкъ (какъ увидимъ ниже, Сальдернъ ошибался, потому что такіе люди, какъ Огиньскій, не опасны) и писалъ объ этомъ своему двору. Вмѣстѣ съ изданіемъ своей первой декларацiи Сальдернъ отправилъ къ Огиньскому особенное письмо, въ которомъ, выражая самыя, повидимому, нѣжныя чувства къ гетману, называя его достоуважаемымъ и милымъ другомъ, довольно несдержанно упрекалъ его въ сомнительности поведенія, въ составленіи заговора противъ своего отечества, въ возбужденіи общественныхъ смутъ и проч. „Возможно ли повѣрить (писалъ онъ), чтобы другъ мой, столь достойный уваженія, которое я питаю къ нему, способенъ былъ впасть въ подобную крайность? Что̀ скажетъ вся Европа, которая васъ знала? Что̀ подумаетъ императрица россійская, которая всегда отличала васъ? Но теперь уже не время притворяться; надо снять маску, чтобы видѣть, къ чему ведутъ ваши гибельныя ко-

вы, ваши преступныя намѣренія, какое бѣдствіе готовятъ они отечеству.“ и т. д. Именемъ императрицы онъ требовалъ его въ Варшаву, чтобы гетманъ лично, изъ устъ Сальдерна, узналъ о намѣреніяхъ петербургскаго двора; именемъ императрицы онъ приказывалъ ему распустить войска, доказывая, что моровая язва не требуетъ особой кордонной линіи; онъ напоминалъ ему, что многіе офицеры и солдаты, находящіеся въ войскѣ гетмана, были взяты въ плѣнъ русскими войсками и освобождены на честное слово — не поддерживать смутъ. „Ваша рука мнѣ очень хорошо знакома,“ говорилъ онъ, давая тѣмъ понять, что знаетъ нѣкоторыя распоряженія Огиньскаго, враждебныя Россіи и скрѣпленныя его подписью, и грозилъ, что генералъ Веймарнъ будетъ поступать съ войскомъ гетмана какъ съ непріятельскимъ. „Я бы могъ этимъ кончить свое письмо,“ прибавлялъ онъ. „Русскому посланнику нечего болѣе прибавлять къ нему... Но другъ, который вамъ преданъ истинно, человѣкъ васъ любящій, который много лѣтъ знаетъ васъ и котораго сердце желаетъ вамъ добра, имѣетъ сказать еще два слова. Хотите ли вы оставаться глухи къ моему совѣту, совѣту того, который страстно желаетъ соединиться съ вами для блага и счастья вашего отечества и который считаетъ невозможнымъ, чтобы вы могли противиться силѣ истины, которую вы услышите изъ моихъ устъ? и т. д. Огиньскій отвѣчалъ ему на это очень любезно, но въ Варшаву не поѣхалъ и войска не распустилъ. Письмо его дышетъ ироніей, которая, повидимому, очень не понравилась Сальдерну, потому что Огиньскій весьма остроумно замѣчалъ, что декларація и письмо писаны не однимъ лицомъ; что Сальдернъ, соединяя въ своей особѣ и посланника, и друга Огиньска-

го, могъ бы лучше знать, что другъ его неспособенъ на то, въ чемъ упрекаетъ его посланникъ. Наконецъ, онъ просилъ Сальдерна-друга попросить Сальдерна-посланника быть помягче, перемѣнить о немъ свое мнѣніе, отогнать недостойныя подозрѣнія насчетъ поступковъ гетмана и проч. Естественно, что Сальдернъ отвѣчалъ возраженіемъ, но уже, на этотъ разъ, въ тонѣ его письма не было той мягкости, какая замѣтна въ первомъ: тутъ онъ положительно отрекается отъ дружбы съ человѣкомъ, который „такъ легко играетъ этимъ священнымъ именемъ,“ и снова приказываетъ Огиньскому исполнить его прежнія распоряженія — явиться въ Варшаву и распустить войско. Огиньскій и послѣ этого не повиновался. Мало того: 6-го сентября онъ напалъ на русскій отрядъ, высланный для предупрежденія непріязненныхъ дѣйствій со стороны Огиньскаго, захватилъ въ плѣнъ до шести сотъ человѣкъ, и возвращая офицерамъ свободу, обязалъ ихъ честнымъ словомъ не сражаться противъ конфедератовъ. Самъ начальникъ отряда былъ убитъ въ сраженіи, и въ бумагахъ его Огиньскій нашелъ такіе документы, которые бросали невыгодную тѣнь на короля и Сальдерна. Улику эту, какъ бы въ оправданіе послѣднихъ рѣшительныхъ дѣйствій своихъ, Огиньскій поспѣшилъ препроводить въ Варшаву, давая тѣмъ знать, что онъ поступилъ честно, отразивъ ударъ, который готовились нанести ему скрытно, не объявивъ формальнаго разрыва. Освобождая плѣнныхъ, Огиньскій вручилъ имъ такого рода бумагу, собственноручно подписанную: „скажите вашему посланнику (Сальдерну), что онъ никого не долженъ обвинять, какъ только самого себя, въ томъ, что литовцы рѣшились защищаться съ оружіемъ въ рукахъ, *скажите* ему, что русскія войска не непобѣдимы; что успѣха-

ми своими они обязаны только интригамъ, которыя до сихъ поръ раздѣляли конфедератовъ на партіи. Вашъ министръ найдетъ васъ цѣлыми и невредимыми: васъ не мучили, не ограбили и не влекли за войсками, какъ плѣнныхъ, чтобы унижать и издѣваться надъ вами; мы уважаемъ и вашу личность, и ваше мужество, и, въ свою очередь, мы и васъ заставимъ уважать наше человѣческое достоинство" и т. д. Отпуская плѣнныхъ, онъ позаботился даже обо всемъ для нихъ необходимомъ; онъ далъ имъ конвой провожатыхъ и строжайшимъ образомъ приказалъ оказывать плѣннымъ всевозможное уваженіе.

Это были послѣдніе и почти единственные успѣхи конфедератовъ. Движеніе въ Литвѣ было предсмертною агоніею патріотовъ, поздно одумавшихся, да и то едвали одумавшихся какъ слѣдуетъ. Открытое присоединеніе Огиньскаго къ конфедератамъ, сдѣланное такъ неожиданно и ознаменованное такимъ громкимъ дѣломъ, какъ побѣда надъ русскими, воскресило надежду въ умахъ патріотовъ. Переходъ такого важнаго въ государствѣ лица, какъ коронный гетманъ на сторону антикоролевской партіи, произвелъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе: тутъ были и радость, и удивленіе, и надежда, и страхъ послѣдней гибели государства; одни были убѣждены въ томъ, что этотъ новый союзникъ конфедератовъ неминуемо долженъ погибнуть и войско его уничтожится; другіе надѣялись, что русскіе наконецъ будутъ вынуждены отступить изъ территорій республики и что недалеко радостный день освобожденія Польши. Надежды послѣднихъ казались дотого сбыточными, что жена Огиньскаго, еще такъ недавно думавшая отправиться къ своему мужу, рѣшилась теперь ожидать его прихода, какъ побѣдителя. Между тѣмъ

Огиньскій издалъ манифестъ, въ которомъ объяснялъ своимъ соотечественникамъ и всей Европѣ, что только отчаянное положеніе вынудило его дѣйствовать такъ самовластно, повидимому, противъ воли представителей республики. „Но гдѣ она, эта республика? (говорилъ онъ въ манифестѣ)... Наша республика, это обезлюженные города, разоренныя поля, опустошенныя земли, разрушенныя селенія; она вездѣ, наконецъ, гдѣ нѣтъ патріотизма, гдѣ нѣтъ правосудія, гдѣ сильный задавилъ слабаго. Васъ, благородные конфедераты, сражавшихся подъ знаменами Красинскаго, васъ признаю я главами этой республики и моего отечества; вашимъ распоряженіямъ я повинуюсь; это мой долгъ.“ Онъ обратился, наконецъ, и къ литвинамъ, которыми командовалъ въ послѣднее время. Еще разъ, и послѣдній разъ, счастье улыбнулось Огиньскому; но это было уже передъ грозой, передъ несчастьемъ, передъ роковымъ ударомъ для республики. Противъ него выступили шесть русскихъ полковъ съ тремя тысячами казаковъ, но потерпѣли рѣшительное пораженіе: много было убито со стороны русскихъ, пять сотъ человѣкъ взято въ плѣнъ; побѣдителю досталась войсковая казна, обозъ и всѣ военные припасы. Другой корпусъ, шедшій на помощь разбитому, не былъ счастливѣе перваго и не могъ помѣшать занятію Минска. Силы Огиньскаго росли ежеминутно; поляки и литвины со всѣхъ сторонъ стекались подъ его знамена; плѣнные охотно поступали въ ряды конфедератовъ; наконецъ, съ нимъ соединился и Коссаковскій, который успѣлъ проникнуть съ своимъ корпусомъ въ русскіе предѣлы и послѣ труднаго и длиннаго перехода явился къ Огиньскому въ то самое время, когда тотъ наиболѣе былъ увѣренъ въ побѣдѣ. Но ни Огиньскій, ни Коссаковскій еще не встрѣчались съ Суворовымъ и

потому могли предаваться мечтамъ; притомъ они еще не вполнѣ знали, до какой крайней деморализаціи дошло ихъ отечество; сами поляки продавали себя, какъ бы стараясь изо всѣхъ силъ доказать, что они недостойны свободы; что выигрывалось личной храбростью, то губила измѣна; что пріобрѣталось кровью тысячи несчастныхъ жертвъ, то продавалось за деньги, ради отличій и наградъ, или просто по личной мелочной мстительности оскорбленнаго тщеславія. Сами же поляки продали и Огиньскаго. Ему измѣнили два офицера его авангарда, и Суворовъ, извѣщенный ими обо всемъ, 23 сентября 1771 года напалъ на поляковъ. Пораженіе послѣднихъ было полное; послѣ него имъ поправиться было уже невозможно, тѣмъ болѣе, что Суворовъ своими рѣшительными мѣрами нагналъ ужасъ на всю Польшу. Менѣе, чѣмъ въ часъ, поляки потеряли все, что имѣли,—артиллерію, деньги, цѣлые возы серебра и всѣ припасы; они лишились и всѣхъ выгодъ, добытыхъ трудными побѣдами Огиньскаго и Коссаковскаго. Самъ Огиньскій описываетъ свое пораженіе въ письмѣ къ одному изъ своихъ друзей, изъ Кёнигсберга, куда онъ успѣлъ бѣжать съ поля битвы. Битва была ночью въ Столовицахъ. Утомленные безпрестанными переходами, солдаты Огиньскаго не могли защищаться, потому что на нихъ напали врасплохохъ. Измѣнники указали даже домъ, гдѣ находился Огиньскій, и русскіе прежде сего напали на это жилище ([1]). Огиньскій едва успѣлъ сѣсть на лошадь, чтобы собрать свои отряды, и къ ужасу своему увидѣлъ, что его пѣхота обратилась въ бѣгство безъ ору-

---

([1]) Огиньскій, этотъ старый сластолюбецъ и хорошій музыкантъ, нѣжился, говорятъ, въ эту ночь съ какой-то француженкой.

жія; кавалерія бѣжала въ другую сторону. Онъ просилъ, заклиналъ, приказывалъ остановиться, опомниться, — но его просьбы, его мольбы, приказанья — все было безполезно. Видя, что все погибло, онъ послалъ сказать кавалеріи, чтобъ она спасалась и соединялась съ войсками генеральной конфедераціи. „Но, прибавлялъ онъ, съ этой роковой минуты я не получалъ уже никакихъ вѣстей... Я потерялъ все — деньги, припасы, бумаги; но я никогда не потеряю ни моей твердости, ни моего мужества, ни рѣшимости, во что бы то ни стало, помогать моему отечеству.“ Лично Огиньскій потерялъ все, что имѣлъ. Съ невѣроятными усиліями удалось ему пробраться въ Кёнигсбергъ. Трактирщикъ, у котораго онъ скрывался въ продолженіи трехъ дней, далъ ему средства переодѣться и удалиться въ Данцигъ, такъ что русскіе не могли его настигнуть. Тамъ онъ встрѣтился съ Сапѣгой, съ личнымъ врагомъ своимъ; но общее несчастіе сблизило ихъ и они обѣщали другъ другу взаимное содѣйствіе для спасенія своей родины. Огиньскій лишился всѣхъ своихъ богатствъ, и въ бѣдности ему оставалось одно утѣшеніе — музыка, къ которой онъ былъ страстно привязанъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ пораженія при Столовицѣ, умеръ и старикъ Браницкій, въ которомъ конфедераты лишились послѣдней матеріальной поддержки. Коссаковскій успѣлъ спастись отъ русскихъ; но австрійскія и прусскія войска нанесли и ему рѣшительное пораженіе.

Огиньскій, увѣрившись наконецъ, что въ Литвѣ ему уже ничего нельзя было сдѣлать, нашелъ возможность присоединиться къ главной конфедераціи, которая находилась не въ лучшемъ положеніи. Судьба окончательно насмѣялась надъ Огиньскимъ. Такъ какъ онъ любилъ музыку и духи, то,

говорятъ, императрица прислала ему духовъ и музыкальные инструменты „въ обмѣнъ на офицеровъ, которымъ онъ далъ свободу послѣ сраженія, бывшаго 6 сентября.“

Конфедераты не знали, наконецъ, что предпринять. Оставалось еще одно средство—похитить короля, и они рѣшились на эту послѣднюю, странную попытку. Въ этомъ случаѣ конфедератами руководила та мысль, чтобы, вырвавъ короля изъ рукъ Сальдерна, поставить его въ головѣ патріотическаго движенія и заставить его убѣдиться, что они дѣйствуютъ во имя освобожденія отчизны, но что лично къ королю они не питаютъ никакой вражды и готовы поддерживать его всѣми силами, лишь бы онъ пересталъ быть орудіемъ чужой воли и изъ-за короны не продавалъ бы никому самостоятельности государства. Похищеніе короля казалось тѣмъ болѣе необходимымъ, что со дня объявленія польскаго трона вакантнымъ, жизнь Станислава-Августа подвергалась ежеминутной опасности: находилось много негодяевъ, которые искали случая убить его, какъ виновника всѣхъ бѣдствій страны, и, только благодаря легкомыслію заговорщиковъ, продажности, которая вошла въ плоть и кровь тогдашняго польскаго общества, и разномыслію безчисленныхъ партій, король спасался отъ смерти. Только проектъ похищенія короля удалось конфедератамъ исполнить съ большимъ тактомъ и съ большой осмотрительностію, но, можетъ быть, потому, что исполнителемъ его былъ человѣкъ вполнѣ способный на подобнаго рода предпріятія и кромѣ того Пулавскій, хотя отчасти косвенно, руководилъ тайной экспедиціей. Пулавскій, удалившійся впослѣдствіи въ Америку, когда уже не оставалось никакой надежды спасти Польшу и сражавшійся тамъ за свободу чуждаго ему народа, самъ часто разсказывалъ объ этомъ любопытномъ про-

исшествіи ([1]). Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ этой мелодрамѣ, для однихъ стоившей жизни, для другихъ кончившейся пустой комедіей, былъ Стравинскій, литовскій дворянинъ изъ Ковно, человѣкъ смѣлый, не глупый и вообще созданный для интригъ. Фамильныя воспоминанія и личныя чувства раздражали его противъ русскихъ, а бѣдность, которую пришлось испытать ему, озлобила и безъ того тревожное его сердце. Домъ Стравинскихъ имѣлъ большія помѣстья въ кіевскомъ воеводствѣ, но духъ нетерпимости, нежеланіе подчиниться русскимъ и привязанность къ Польшѣ заставили Стравинскихъ отказаться отъ всего, что они имѣли, чтобы только покинуть Россію. Правда, они были вознаграждены республикой за потерю имѣній, однако несчастный процессъ лишилъ послѣдняго Стравинскаго нетолько достоянія, но и свободы: онъ былъ изгнанъ изъ Польши, и потомъ, хотя при содѣйствіи Чарторыжскихъ возвратился въ отечество, однако долженъ былъ испытать бѣдность и всякаго рода лишенія. Изъ Стравинскаго выработался человѣкъ годный на всякое отчаянное предпріятіе. Ему ли пришла мысль похитить короля, другому ли кому — это все равно, только ему выпало на долю осуществить ее. Еще до пораженія Огиньскаго Суворовымъ, Стравинскій явился однажды въ Ченстохово и просилъ, чтобъ его допустили къ Пулавскому для какихъ-то объясненій. Сомнительное положеніе, въ которомъ находились конфедераты, постоянныя измѣны, предательства и тайныя убійства, вслѣд-

---

([1]) Пулавскій убитъ въ Америкѣ, когда защищалъ Саванну вмѣстѣ съ сѣверо-американцами отъ англичанъ. Въ память его основанъ фортъ «Пулавскій», который теперь служитъ сильнымъ оплотомъ для сепаратистовъ.

ствіе подкуповъ той или другой партіи, заставили Пулавскаго быть очень осторожнымъ въ сношеніяхъ съ неизвѣстными людьми. Стравинскій не имѣлъ съ собой никакого документа или свидѣтельства, которое внушало бы довѣріе къ его личности, и хотя онъ и прежде исполнялъ нѣкоторыя порученія Пулавскаго и велѣлъ напомнить ему о себѣ, однако послѣдній не могъ припомнить его имени, потому что имѣлъ въ своемъ распоряженіи очень много дворянъ, которые нерѣдко переходили на сторону королевской или русской партіи и могли сдѣлаться лазутчиками. Вообще Пулавскій боялся происковъ противной партіи, потому что не разъ перехватывалъ шпіоновъ и обнаруживалъ разные заговоры, почему и приказалъ провести его въ церковь, гдѣ должна была происходить служба. Тамъ увидѣлъ онъ Стравинскаго, который въ продолженіе всей обѣдни лежалъ распростертый крестомъ на землѣ и повидимому жарко молился. Послѣ обѣдни Пулавскій пригласилъ его къ себѣ въ комнату вмѣстѣ съ двумя другими конфедератами, изъ которыхъ одинъ былъ знаменитый Кузьма, давшій впослѣдствіи такой неожиданный оборотъ дѣлу, начатому Стравинскимъ, и заслужившій такую громкую извѣстность въ исторіи послѣднихъ дней Польши. Стравинскій говорилъ, что онъ пришелъ собственно затѣмъ, чтобы продать небольшой участокъ земли, которая у него оставалась въ Литвѣ. Вслѣдъ затѣмъ рѣчь зашла о Варшавѣ. Стравинскій разсказывалъ о состояніи, въ которомъ находился городъ въ послѣднее время, о частыхъ выѣздахъ короля въ ночную пору; говорилъ, что его очень легко захватить и привезти въ Ченстохово, лежавшее очень близко отъ столицы. Надо замѣтить, что уже не въ первый разъ конфедераты являлись къ Пулавскому съ предложеніемъ похитить короля; но, не довѣряя ихъ

способности исполнить такое опасное предпріятіе, онъ отказывалъ имъ въ своей помощи. Онъ справедливо выражалъ, что если первая попытка не удастся, то вторая сдѣлается уже почти, невозможною, потому-что за Варшавой усердно наблюдали русскіе. Кромѣ того, онъ принималъ въ соображеніе и то, что въ суматохѣ или, наконецъ, въ случаѣ нападенія со стороны русскихъ въ то самое время, когда король будетъ захваченъ, очень легко можетъ случиться, что его ранятъ или даже убьютъ,—тогда предпріятіе конфедератовъ будетъ имѣть видъ самаго гнуснаго заговора, съ преднамѣреннымъ злодѣйствомъ, тогда и самые участники заговора должны казаться въ глазахъ Европы преступниками и могли подвергнуться казни одинаковой съ цареубійцами. Все это естественно долженъ былъ предвидѣть Пулавскій. Хотя въ самой Варшавѣ у него находилось болѣе трехъ сотъ преданныхъ ему людей, но онъ держалъ ихъ въ такой тайнѣ другъ отъ друга, что даже сами они, составляя небольшіе кружки, не знали кто изъ нихъ принадлежитъ къ партіи Пулавскаго; Пулавскій даже и ихъ не смѣлъ употребить для такого предпріятія, на какое вызывался Стравинскій.

Какъ бы то ни было, Пулавскій, побѣжденный рѣшимостью Стравинскаго, принялъ его предложеніе, хотя отказался дать ему отрядъ, для исполненія заговора. Черезъ нѣсколько дней Стравинскій опять явился въ Ченстохово и положительно сказалъ Пулавскому, что онъ вполнѣ увѣренъ въ счастливомъ окончаніи дѣла, что онъ уже нашелъ людей въ самой Варшавѣ, на которыхъ можетъ положиться; но что ему необходимъ отрядъ солдатъ, для прикрытія на обратномъ пути, въ случаѣ удачи. Пулавскій согласился и на это, обѣщая дать отрядъ. Потомъ онъ прибавилъ:

— Я вамъ ничего не приказываю. Но если вы исполните свое намѣреніе, вы должны сохранить жизнь Понятовскому и обходиться съ нимъ почтительно.

— Я нисколько не желаю убить его, отвѣчалъ Стравинскій. Двадцать разъ я могъ сдѣлать это въ Варшавѣ, но не хотѣлъ дать Польшѣ примѣръ неслыханный въ ея лѣтописяхъ. Вы знаете, что мы часто свергали съ престола нашихъ королей, но при этомъ никогда не было никакого убійства. Я же вручилъ Понятовскому опредѣленіе о низверженіи его съ трона... Это можетъ быть развѣ только въ такомъ случаѣ, когда мы, уводя его, будемъ настигнуты и когда не останется никакой надежды на спасеніе.

— Тогда вы велите трубачу закричать, что, преслѣдуя васъ, подвергаютъ опасности жизнь короля, возразилъ Пулавскій.

Пулавскій имѣлъ въ Варшавѣ человѣка, на котораго могъ вполнѣ положиться. Это былъ молодой поручикъ Лукавскій, по всѣмъ отзывамъ,—юноша далеко не дюжинный, погибшій впослѣдствіи, единственно по неловкости или нерѣшительности Пулавскаго. Лукавскій былъ въ числѣ первыхъ, принявшихъ на себя исполненіе щекотливаго предпріятія. Когда Стравинскій въ третій разъ явился въ Ченстохово, у него уже все было приготовлено въ Варшавѣ. Убѣжденный ясностью его доводовъ, спокойствіемъ, съ которымъ обдуманъ былъ каждый шагъ предпріятія, Пулавскій назначилъ Стравинскаго капитаномъ отряда и приказалъ дѣйствовать. До сихъ поръ Стравинскій не напоминалъ даже о деньгахъ; но теперь, когда все было готово, онъ просилъ Пулавскаго снабдить его небольшой суммой, и Пулавскій, даже въ этомъ случаѣ, принялъ необходимыя предосторож-

ности: онъ послалъ деньги съ курьеромъ, пользовавшимся его довѣріемъ, но съ тѣмъ, чтобы этотъ послѣдній конфедератъ, близкій къ Пулавскому, не принималъ участія въ самомъ заговорѣ. Его зналъ одинъ только Стравинскій, на скромность котораго Пулавскій имѣлъ основаніе твердо надѣяться и былъ увѣренъ, что, въ случаѣ несчастія, его имя не будетъ связано съ именемъ заговорщиковъ; онъ вѣрилъ, что Стравинскій,—съ такимъ фанатическимъ рвеніемъ преслѣдовавшій идею похищенія короля. съ такимъ непритворнымъ энтузіазмомъ готовившійся къ этому,— не выдастъ его; прочіе же заговорщики не знали объ участіи въ немъ Пулавскаго или знали очень мало и очень неточно. Но Пулавскій, дѣйствуя повидимому такъ осмотрительно, самъ выдалъ и себя и другихъ, и, наконецъ, погубилъ Лукавскаго. Себя онъ запуталъ тѣмъ, что имѣлъ неосторожность написать къ Стравинскому такую записку: „Другъ мой! Предпріятіе, къ которому вы готовились, должно быть исполнено третьяго ноября; если вы не найдете возможности исполнить его въ этотъ день, не предпринимайте ничего, не посовѣтовавшись вновь со мною; но если вы чего-нибудь опасаетесь, то не приступайте къ дѣлу, а соберите людей и приходите въ Ченстохово.“ Точно также онъ далъ письменныя приказанія поручику Лукавскому и полковнику Зембровскому: первому, — чтобы тотъ соединился съ Стравинскимъ и во всемъ слѣдовалъ его приказаніямъ, за что Лукавскому обѣщалъ чинъ полковника; второму,—чтобы онъ далъ Стравинскому нѣсколько солдатъ изъ своего полка. Конечно, послѣдніе приказы не могли быть уликой; но письмо къ Стравинскому, въ случаѣ неудачи, выдавало головой Пулавскаго. Онъ потому назначилъ 3 ноября для исполненія заго-

вора, что къ этому времени надѣялся разными маневрами отвлечь русскихъ въ противоположную сторону отъ Ченстохова, такъ чтобы дорога, ведущая изъ столицы къ этой крѣпости, была совершенно свободна отъ войскъ, на случай, еслибъ привелось везти по ней короля; къ этому же числу Пулавскій намѣревался контръ-маршами, тревогами, атаками и даже, на случай крайности, битвою отвлечь войска отъ столицы. По варшавско-ченстоховской дорогѣ, въ день исполненія заговора, могли попадаться только крестьяне, которыхъ заговорщики не боялись.

За нѣсколько дней до рѣшительнаго исполненія задуманнаго плана, Стравинскій и Лукавскій прибыли къ мѣстечку Закрочиму (въ 29 верстахъ отъ Варшавы). Они привели съ собой и остальныхъ участниковъ заговора, въ числѣ тридцати одного. Все это былъ народъ крѣпкій, рѣшительный, люди, готовые на все по первому слову начальника. Между ними находился и знаменитый Кузьма ([1]). Заговорщики провели ихъ къ одному дому, стоявшему вблизи Закрочима и вводили въ домъ по-двое: тамъ ихъ заставляли давать присягу, и присяжный листъ читалъ заговорщикамъ Лукавскій. Имъ объявили потомъ, что Пулавскій избралъ ихъ для похищенія короля; что судьба Польши зависитъ отъ успѣха этого предпріятія. Заговорщики воодушевлены были однимъ чувствомъ, — на нихъ можно было положиться. Тогда выбраны были лучшія лошади изъ от-

---

([1]) Такъ обыкновенно называли Косинскаго. Онъ когда-то былъ лакеемъ, и тогда звали его «Кузьмой». Это имя осталось за нимъ и тогда, когда онъ сдѣлался офицеромъ, и тогда даже когда «Кузьма» сталъ знаменитостью.

ряда; заговорщики запаслись русскими мундирами и отправились къ Варшавѣ. Стравинскій, — при всемъ своемъ увлеченіи, при всемъ энтузіазмѣ, съ которымъ другой, менѣе способный заговорщикъ могъ надѣлать много промаховъ, — не забылъ самыхъ мелкихъ предосторожностей, пренебреженіе которыми могло погубить ихъ. Такъ какъ русскіе караулы, увидѣвъ его отрядъ, могли заподозрить въ чемъ либо заговорщиковъ и открыть ихъ замыселъ, Стравинскій, раньше этого, нѣсколько разъ пріѣзжалъ въ Варшаву съ обозами, подъ видомъ доставки въ столицу съѣстныхъ припасовъ изъ сосѣднихъ имѣній; такимъ образомъ, онъ нѣсколько разъ проѣзжалъ по этой дорогѣ то въ Варшаву, то изъ Варшавы; всегда былъ хорошо вооруженъ и потому не могъ уже казаться подозрительнымъ. Потомъ надо было выбрать глухую дорогу, по которой можно было бы безопасно провезти короля въ Ченстохово. Для этого онъ рѣшился на такую хитрость: по случаю свирѣпствовавшей въ нѣкоторыхъ провинціяхъ республики моровой язвы, Варшава была окопана рвомъ, по которому разставлены были редуты въ недалекомъ одинъ отъ другаго разстояніи. Чтобы лучше узнать переходы черезъ этотъ ровъ, изслѣдовать потомъ мѣстность за рвомъ и не возбудить этимъ подозрѣнія часовыхъ, Стравинскій отправился къ начальнику этой кордонной линіи, охраняемой русскими, объявилъ, что слуга укралъ у него нѣсколько лошадей и угналъ изъ Варшавы; что, послѣ тщетныхъ поисковъ въ городѣ, онъ думаетъ искать бѣглеца за рвомъ, куда онъ, безъ сомнѣнія скрылся, съ покражей; что слѣды вора, по всей вѣроятности, еще можно отыскать и т. д. Начальникъ былъ такъ простъ и довѣрчивъ, притомъ Стравинскій такъ мало внушалъ подозрѣнія и такъ ловко хит-

рилъ, что ему дали еще въ провожатые русскаго сержанта, съ которымъ заговорщикъ могъ бы объѣхать вокругъ рва и лично осмотрѣть, въ какихъ именно мѣстахъ лошади могли безопасно перебраться черезъ кордонную линію и, слѣдовательно, въ какую сторону всего лучше можно было провезти короля. Когда все, такимъ образомъ, было приготовлено, заговорщики купили въ сосѣднихъ деревняхъ десять повозокъ, сложили въ нихъ свое оружіе, сѣдла и русскіе мундиры, накрыли все это сѣномъ и соломой, и провели свой обозъ въ лѣсъ. Тамъ провели они ночь, переодѣлись въ крестьянское платье, а иные нарядились судорабочими, и, утромъ, 2 ноября, подъѣзжая къ Варшавѣ, они послали троихъ верховыхъ, которые должны были сказать часовымъ, что они — дворовые Стравинскаго и что самъ Стравинскій долженъ тѣмъ же вечеромъ проѣхать въ Варшаву съ обозомъ. Такимъ образомъ дорога для заговорщиковъ была свободна; обозъ прошелъ вечеромъ, а съ нимъ часть заговорщиковъ; остальные пробрались въ столицу въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ. Сборнымъ пунктомъ назначенъ былъ съѣзжій дворъ монастыря доминиканъ, гдѣ обыкновенно останавливался Стравинскій, когда пріѣзжалъ въ столицу съ обозами съѣстныхъ припасовъ. Всѣ заговорщики оставались тамъ весь слѣдующій день до вечера, кромѣ Стравинскаго, Лукавскаго и двухъ другихъ соучастниковъ, которые отлучались на время для необходимыхъ приготовленій къ предстоящему подвигу.

Было 3 ноября — день, назначенный для исполненія заговора. Въ это время Пулавскій помогалъ заговорщикамъ, отвлекая русскихъ въ сторону, противоположную той, по которой думали провезти короля въ Ченстохово. Такимъ образомъ онъ за-

манилъ къ радомской дорогѣ и Ксаверія Браницкаго, и Суворова, такъ что 3 ноября въ столицѣ не оставалось болѣе двухъ сотъ русскихъ. Русскіе отряды потянулись и отъ Радома, обманутые фальшивыми маневрами Пулавскаго, который однажды едва не былъ настигнутъ казаками и обязанъ своимъ спасеніемъ быстротѣ лошади и глубокому рву, помѣшавшему казакамъ схватить смѣлаго конфедерата. Между тѣмъ онъ послалъ полтораста кавалеристовъ на ту дорогу, по которой долженъ былъ слѣдовать плѣнный король, и далъ приказъ, чтобы они какъ можно болѣе берегли лошадей и были готовы удержать погоню, если она будетъ выслана изъ Варшавы вслѣдъ за заговорщиками, а въ случаѣ надобности, конвоировать короля до самаго Ченстохова. Крѣпость же эту онъ предварительно снабдилъ съѣстными припасами и боевыми снарядами, такъ чтобы она могла выдержать продолжительную осаду.—Когда Пулавскій тревожилъ, такимъ образомъ, русскія войска, заговорщики были уже въ Варшавѣ и ждали только ночи. Королевскій дворецъ былъ очень хорошо извѣстенъ Стравинскому и онъ прямо отправился туда за справками— узнать, располагаетъ ли король въ тотъ вечеръ ѣхать въ театръ. Ничего не подозрѣвая, ему сказали во дворцѣ, что король въ театръ не поѣдетъ, но что, по случаю болѣзни дяди, великаго канцлера, онъ намѣренъ навѣстить больнаго. Стравинскій оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока не подали кареты; но едва только увидѣлъ онъ приближеніе экипажа, тотчасъ прибѣжалъ предупредить заговорщиковъ, которые и одѣлись въ русскіе мундиры. Нѣкоторыхъ помѣстилъ онъ въ концѣ улицы, чтобы прикрыть и входъ и выходъ изъ нея. Но едва эти заговорщики размѣстились по указанію Стравинскаго, какъ показался русскій

офицеръ, который шелъ прямо къ нимъ и, приблизившись, подозрительно осматривалъ ихъ. Было уже темно. Увидавъ, вѣроятно, русскіе мундиры, офицеръ сказалъ: „это русскіе;„ но потомъ, замѣтивъ свою ошибку, спохватился — „нѣтъ, это конфедераты.“ Едва онъ сказалъ это, какъ заговорщики набросили ему на голову плащъ и связали его. Такъ они хватали и вязали всѣхъ, которые могли поднять тревогу, и уносили въ аллею, гдѣ и сторожили ихъ до самаго нападенія на поѣздъ короля. Между тѣмъ Стравинскій размѣстилъ остальныхъ заговорщиковъ: онъ велѣлъ имъ занять улицы Капитульную и Медовую, снова отдалъ приказъ — дѣйствовать съ величайшею поспѣшностью, не стрѣлять по каретѣ и никакого зла не причинять особѣ короля. Онъ приказалъ, кромѣ того, говорить по русски, чтобъ не быть узнанными. Всѣ эти распоряженія сдѣланы были въ получасовой промежутокъ времени, между половиной девятаго и девятью часами вечера. Заговорщикамъ ничто не помѣшало; каждый готовъ былъ исполнить приказанія начальника, — и вотъ, въ половинѣ десятаго, король вышелъ отъ канцлера, чтобы ѣхать на ужинъ къ княгинѣ Чарторыжской. Впереди кареты ѣхали два всадника съ факелами, нѣсколько дежурныхъ офицеровъ, еще двое шляхтичей и оруженосецъ; съ королемъ сидѣли одинъ изъ его родственниковъ и адъютантъ; при дверцахъ галопировали пажи, а позади кареты — два гайдука и два пѣшихъ лакея. Стравинскій тотчасъ раздѣлилъ свой отрядъ на три части; самъ онъ долженъ былъ напасть на голову поѣзда; Кузьмѣ предстояло схватить самого короля; Лукавскій и другіе должны были задержать тѣхъ, которые находились за каретой, и потомъ составить изъ себя авангардъ въ предстоявшей поѣздкѣ съ плѣннымъ

королемъ. Всадники, ѣхавшіе впереди кареты, были отрѣзаны отъ нея самимъ Стравинскимъ съ товарищами, которыхъ тѣ приняли за русскій патруль, потому что заговорщики говорили по русски; оруженосецъ просилъ ихъ даже удалиться, говоря, что ѣдетъ самъ король. Вторая партія заговорщиковъ, которая занимала конецъ улицы, также явилась у самаго поѣзда, и всѣ они окружили карету. Кучеръ не хотѣлъ остановить лошадей—и въ него выстрѣлили. Началось смятеніе. Ночь была очень темна, такъ что мракъ увеличилъ только суматоху. Заговорщики бросились къ дверцамъ и выстрѣлили, но не по королю, а по сопровождавшимъ его: одинъ гайдукъ упалъ за-мертво, пронзенный двумя пулями, другаго свалили сабельнымъ ударомъ въ голову; одинъ пажъ былъ выбитъ изъ сѣдла и лошадь его взята заговорщиками; другія лошади были ранены. Заговорщики кричали, чтобы король выходилъ изъ кареты; онъ самъ отворилъ дверцы и когда адъютантъ выходилъ съ одной стороны, Станиславъ-Августъ выскользнулъ другимъ ходомъ, надѣясь воспользоваться мракомъ и скрыться. Трусость адъютанта оказалась не безполезною для короля: храбрый адъютантъ забился подъ карету; сначала думали, что залѣзъ туда самъ король; но пока удалось вытащить оттуда храбреца, пока успѣли разсмотрѣть его лице при помощи нѣсколькихъ вспышекъ пороха, зажженнаго пистолетомъ, за неимѣніемъ огня,—король исчезъ, благодаря мужеству придворнаго. Станиславъ-Августъ протѣснился сквозь толпу заговорщиковъ, которые не узнали его въ темнотѣ, принявъ за кого нибудь изъ свиты. Король добѣжалъ до дома великаго канцлера, откуда за нѣсколько минутъ вышелъ; но дверь уже была заперта. Король началъ стучать, но такъ сильно, что привлекъ вниманіе заговор-

щиковъ, которые, бросивъ адъютанта, разсѣялись по улицѣ и тщетно старались отыскать Станислава. Они бросились на стукъ, и Лукавскій первый схватилъ бѣглеца; вслѣдъ затѣмъ подоспѣлъ и Стравинскій и сказалъ королю: „не сопротивляйтесь; васъ ожидаетъ карета: вы должны ѣхать съ нами.“ Въ это время прибѣжалъ еще одинъ изъ заговорщиковъ и, будучи, вѣроятно, пьянъ, нанесъ въ голову королю ударъ саблею, хотя это строго было запрещено. Кузьма, напротивъ, выстрѣлилъ изъ пистолета у самаго лица Станислава, но только для того, чтобы при блескѣ пистолетнаго выстрѣла убѣдиться, дѣйствительно ли они схватили того, кого искали. Увѣрившись, что это былъ король, они посадили его на лошадь. Съ нимъ ѣхалъ Кузьма, какъ въ этомъ условились прежде, и десять другихъ заговорщиковъ; Лукавскій съ десятью другими, скакалъ впереди, составляя авангардъ. Скоро они переѣхали черезъ ровъ, составлявшій кордонную линію, и переѣхали въ томъ мѣстѣ, которое предварительно указалъ Стравинскій. Король старался замедлить бѣгство, въ надеждѣ, конечно, на какую либо помощь, но заговорщики принуждали его къ поспѣшности. Стравинскій, слѣдовавшій въ арріергардѣ, остановился на нѣсколько минутъ у самаго рва, чтобы, въ случаѣ надобности, задержать погоню, которую онъ все таки ждалъ. Но погони не было. Убѣдившись, что кругомъ господствовала невозмутимая тишина, онъ поскакалъ своей дорогой, въ полномъ убѣжденіи, что подвигъ совершенъ и что на слѣдующій день плѣнникъ его привезется въ Ченстохово. Его не могъ не радовать успѣхъ предпріятія, успѣхъ, вполнѣ зависѣвшій отъ его предусмотрительности и такта. Онъ долженъ былъ гордиться своимъ подвигомъ.

Похищеніе короля изъ многолюдной столицы и притомъ находившейся въ осадномъ или, по крайней мѣрѣ, на военномъ положеніи, похищеніе въ такое раннее время, когда, безъ сомнѣнія, еще никто не думалъ ложиться спать, должно казаться всѣмъ страннымъ фактомъ. Было бы неудивительно увезти короля въ глухую ночь, безъ свиты (хотя выѣздъ короля безъ свиты — самъ по себѣ фактъ необычайный); но затѣять въ самыхъ оживленныхъ кварталахъ столицы драку, произвести страшный шумъ, крики, начинать нѣсколько разъ стрѣльбу, — это, въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько странно. Но надо знать тогдашнюю Варшаву, чтобы ничему не удивляться. Можно себѣ представить, до какой степени былъ запуганъ народъ вѣчными смутами, постоянною рѣзнею на улицахъ, драками, стрѣльбою, или, напротивъ, до какого страшнаго равнодушія доведено было населеніе города, до какого печальнаго положенія дошла одна изъ богатѣйшихъ столицъ въ Европѣ, что даже никто не полюбопытствовалъ растворить двѐрь и посмотрѣть, что за война на улицахъ города, въ кого стрѣляютъ и куда скачутъ всадники. Когда заговорщики неслись галопомъ мимо богатыхъ дворцовъ вельможъ, имѣвшихъ обыкновеніе держать часовыхъ, то ихъ даже не окликнули. Впрочемъ, Варшава скоро узнала, что у нея нѣтъ короля. Когда Стравинскій стоялъ у кордонныхъ окоповъ и съ удивленіемъ видѣлъ, что столица точно и не думала о преслѣдованіи заговорщиковъ, въ столицѣ происходило слѣдующее. Передовые всадники, факельщики и дежурные офицеры, составлявшіе передовой отрядъ королевскаго поѣзда, отрѣзанные отъ главнаго кортежа, благоразумно послѣдовали чувству самосохраненія и тотчасъ прискакали во дворецъ съ извѣстіемъ объ опасности, въ которой находится

король и которой они сами счастливо избѣжали. Произошла, разумѣется, суматоха. Стража бросилась на мѣсто схватки; но она такъ медленно спѣшила спасать короля, что опоздала, потому что схватка кончилась быстро и похищеніе короля задержано было только храбростью его адъютанта; иные были ранены, другіе разбѣжались. На мѣстѣ свалки найдена была только шляпа короля и парикъ, который у него слетѣлъ съ головы въ рѣшительную минуту. Стража оставалась въ замѣшательствѣ и недоумѣніи, не зная что дѣлать: раненые не могли указать дороги, по которой повезли короля, а здоровые всѣ бѣжали, такъ-что и сказать было некому. Стража ждала приказаній; думали, что кто нибудь найдется между ними умный, но умнаго не нашлось. Можетъ быть, тутъ и были умные начальники, но, вѣроятно, они такъ любили короля, что не торопились спасать его. Замѣчательно слѣдующее обстоятельство: когда дядѣ короля, великому канцлеру, доложили, что король пропалъ, онъ, въ благодарность за посѣщеніе, которымъ удостоилъ его въ этотъ вечеръ коронованный племянникъ, сказалъ прислугѣ: „заприте двери моего отеля“ (а въ эти именно двери и стучался за нѣсколько минутъ несчастный Понятовскій). Затѣмъ дядя преспокойно сѣлъ ужинать съ своими обыкновенными посѣтителями, и кушалъ, какъ-будто ничего и не случилось въ Польшѣ и въ его фамиліи. Когда другое приближенное къ королю лицо просило генерала Веймарна послать погоню вслѣдъ за заговорщиками, генералъ сказалъ: „если вамъ угодно, я пошлю; но это будетъ стоить жизни королю.“ Когда лакей Сальдерна поспѣшно вбѣжалъ къ нему, чтобы доложить о такомъ, по его мнѣнію, важномъ происшествіи, какъ пропажа короля, Сальдернъ обругалъ его и сказалъ:

„мнѣ не до него.“ Сальдерна едва ли бы много огорчила даже смерть короля, которая бы всѣмъ развязала руки: нечего было бы Сальдерну выходить изъ себя, потому что уже некого было бы поддерживать на шаткомъ тронѣ. Между тѣмъ Варшава, еще за нѣсколько часовъ нехотѣвшая и знать короля, точно проснулась, но только на мгновеніе, чтобы заснуть еще болѣе глубокимъ сномъ. Всѣми овладѣло безпокойство, но не потому, чтобы жалѣли короля, а потому, что каждый боялся за себя лично. Вѣсти о погибели короля приходили самыя разнорѣчивыя, которыя еще болѣе смущали населеніе и бросали подозрѣніе на всѣ партіи, на друзей и недруговъ; опасались всеобщаго возмущенія, но никто не зналъ, откуда оно придетъ, гдѣ опасность; неожиданная революція смущала всѣхъ. Бибиковъ, русскій генералъ, говорилъ послѣ папскому нунцію Гарампи, что, при вѣсти о неожиданномъ и повидимому трагическомъ исчезновеніи короля, онъ ожидалъ, что всѣ русскіе, остававшіеся въ Варшавѣ (двѣсти человѣкъ), будутъ умерщвлены. Оказалось, что коронные солдаты не имѣли даже зарядовъ и имъ нужно было выдать новые патроны, потому что старые не годились въ дѣло. Видѣли опасность во всемъ. Тѣ, которые интересовались собственно участью короля (а такихъ было очень немного), рѣшительно не знали что̀ имъ дѣлать—преслѣдовать ли заговорщиковъ или не преслѣдовать, потому что и то и другое представлялось имъ одинаково опаснымъ. А между тѣмъ, этотъ всеобщій столбнякъ давалъ заговорщикамъ время удалиться; съ другой стороны, боялись, что, преслѣдуя ихъ, заставятъ заговорщиковъ, для собственнаго спасенія, рѣшиться на умерщвленіе короля, что, можетъ быть, и случилось бы, потому что нельзя было ни на что надѣяться.

Однако, по указаніямъ нѣкоторыхъ лицъ, отправились на поиски, и во рву, гдѣ проѣзжали заговорщики, нашли шубу короля, которая была въ крови. Это обстоятельство навело на слѣдъ и потому догадывались, по какому направленію должно преслѣдовать бѣглецовъ. Король потерялъ шубу, перескакивая черезъ ровъ; лошадь его переломила себѣ ногу, а король, сверхъ того, потерялъ одинъ изъ своихъ башмаковъ, и просилъ, чтобъ ему дали сапогъ. Но въ то время, когда его обували, пересаживали на другую лошадь и, взамѣнъ потерянной шубы, одѣвали въ плащъ, Лукавскій, не останавливаясь, успѣлъ съ своимъ авангардомъ ускакать далеко впередъ. Кузьма, ѣхавшій съ королемъ, замѣтилъ, что они остались одни, и съ этой минуты, говорятъ, тактика его совершенно измѣнилась: человѣкъ испытанной храбрости, онъ казался до того смущеннымъ, что не зналъ куда ѣхать. Искренно ли было это смущеніе, или онъ рѣшился измѣнить товарищамъ и тѣмъ выиграть въ глазахъ короля,—неизвѣстно; но только онъ дѣйствовалъ совершенно не такъ, какъ бы слѣдовало. Можетъ быть, и Кузьма былъ не чуждъ того страшнаго порока, заразившаго тогдашнее польское общество,—продажности, которая и погубила это государство: когда все было деморализовано, отчего было и знаменитому Кузьмѣ становиться выше общественнаго уровня? отчего было и ему не продать другихъ, когда другіе продавали все?— Съ нимъ оставалось еще семь заговорщиковъ; Стравинскій долженъ былъ нагнать ихъ скоро, и потому можно было подождать его пріѣзда, чтобы продолжать дорогу вмѣстѣ, или, наконецъ, послать кого нибудь впередъ, догнать Лукавскаго съ авангардомъ. Но Кузьма этого не сдѣлалъ. Онъ поворотилъ прямо въ лѣсъ, по направленію къ Бѣлянамъ, гдѣ наз-

наченъ былъ сборный пунктъ въ домѣ одного шляхтича, который обѣщалъ заговорщикамъ свою карету для короля. Вмѣсто того, чтобы ѣхать по настоящей дорогѣ, ведущей къ тому мѣсту, онъ своротилъ въ сторону, на болота; путь былъ трудный и лошади вязли на каждомъ шагу. Онъ послалъ двухъ изъ заговорщиковъ разузнавать дорогу; но тѣ скакали, повидимому, наугадъ, сами не зная куда ѣдутъ Король, замѣтивъ или показавъ видъ, что замѣчаетъ, будто они приближаются къ деревнѣ, сказалъ: „не ѣздійте туда, тамъ русскіе.“ Говорилъ ли онъ правду, опасаясь, чтобъ его тамъ не убили, или онъ, напротивъ, скорѣе желалъ, чтобы заговорщики сами заплутались въ лѣсу и въ болотахъ, чѣмъ, съ помощію крестьянъ, выбрались на настоящую дорогу,— мы не знаемъ; только впослѣдствіи онъ разсказывалъ, что его предостереженіе, казалось, было пріятно заговорщикамъ и они убѣдились, что король и не думаетъ спасаться изъ ихъ рукъ. Онъ воспользовался этимъ моментомъ и сказалъ: „если вы хотите довезти меня живымъ, то не мучьте меня и дайте мнѣ минуту отдыха.“

Дѣло все болѣе и болѣе запутывалось. Лукавскій исчезъ съ своимъ авангардомъ; Стравинскій не являлся, потому что не предполагалъ такого неблагопріятнаго поворота въ дѣлѣ, которое, казалось, шло такъ прекрасно. Заговорщики разсѣялись по лѣсу и искали другъ друга въ темнотѣ. Русскій языкъ, которымъ они условились говорить и который имъ очень пригодился въ Варшавѣ, теперь окончательно повредилъ имъ и привелъ въ большее смущеніе: отыскивая одинъ другаго по лѣсу, они перекликались между собою по-русски и боялись другъ друга, принимая товарищей за русскихъ солдатъ. Къ несчастію, они не условились предварительно въ

паролѣ и не узнавали своихъ. Кузьма, повидимому, окончательно растерялся и не зналъ куда ѣхать. Бывшіе съ нимъ заговорщики хотѣли, наконецъ, убить короля, не надѣясь отыскать дорогу; но Кузьма энергически защищалъ своего плѣнника, говоря, что онъ обѣщалъ доставить его живымъ. Въ эту самую минуту они услышали окликъ русскихъ часовыхъ, испугались, и двое изъ заговорщиковъ скрылись; когда послѣдовалъ другой окликъ, то еще двое бѣжали, и съ королемъ остался одинъ Кузьма. Объ этомъ Кузьмѣ говорятъ, что онъ былъ человѣкъ предпріимчивый; всѣ хвалятъ его личную храбрость и говорятъ, что онъ былъ необыкновенно силенъ. Стравинскій, у котораго онъ былъ поручикомъ, отправляясь на опасный подвигъ похищенія короля, избралъ Кузьму за его силу, собственно для того, чтобы онъ взялъ короля. Говорятъ, что Кузьма былъ простой крестьянинъ, хотя самъ называлъ себя дворяниномъ; онъ былъ солдатомъ и всегда считался человѣкомъ неустрашимымъ; прежде онъ былъ лакеемъ и, говорятъ, его всегда выгоняли отъ себя тѣ, у кого онъ служилъ. Вообще, это былъ господинъ нѣсколько подозрительный, и Стравинскій ошибся въ немъ.—Когда король и этотъ Кузьма остались только вдвоемъ, первый возъимѣлъ маленькую надежду на освобожденіе и сталъ сдерживать свою лошадь. Кузьма грозилъ саблей и говорилъ, что они найдутъ карету, какъ только выѣдутъ изъ лѣсу. Король употребилъ въ дѣло все свое краснорѣчіе, чтобы подѣйствовать на заговорщика, и когда послѣдній возражалъ, что связанъ присягой, которую всѣ они дали другъ другу, отправляясь въ Варшаву, король доказывалъ ему ничтожество этой присяги. Станиславъ-Августъ, говорятъ, всегда гордился своимъ краснорѣчіемъ. Онъ любилъ словопреніе и былъ

убѣжденъ, что никто не могъ противиться очарованію его рѣчи. Дѣйствительно ли былъ краснорѣчивъ Станиславъ-Августъ или нѣтъ,—для насъ это все равно, потому что краснорѣчіе его не приносило никакого толку государству и не спасло Польши; однако въ этомъ послѣднемъ случаѣ оно ему пригодилось. Король далъ свободу своему природному таланту, и Кузьма, по мѣрѣ того, какъ слушалъ его, самъ становился его плѣнникомъ и, наконецъ, былъ совершенно побѣжденъ доводами короля, когда они приближались къ Маримонту. Иные историки говорятъ, что онъ былъ побѣжденъ не доводами; а деньгами; въ такомъ случаѣ, придется согласиться, что краснорѣчіе для короля было совершенно безполезнымъ даромъ. Какъ бы то ни было, но Кузьма бросился передъ нимъ на колѣна, просилъ прощенія, и король явилъ свое милосердіе: своимъ королевскимъ словомъ онъ обѣщалъ, что не сдѣлаетъ Кузьмѣ никакого зла. Въ томъ мѣстѣ была мельница и покаявшійся заговорщикъ просилъ дать въ ней убѣжище „господину, котораго ограбили разбойники;“ едва они остановились, какъ король написалъ командиру своей гвардіи записку: „Я спасся изъ рукъ убійцъ какимъ-то чудомъ; спѣшите ко мнѣ на помощь въ Маримонтъ, на мельницу, съ четырьмя десятками людей. Я раненъ, но не опасно.“ Часа въ четыре утра (4 ноября) записка эта была получена въ Варшавѣ и надѣлала много шуму. Неожиданная вѣсть о возвращеніи короля мгновенно разнеслась по городу и казалась такой невѣроятной, что скорѣе испугала, чѣмъ обрадовала жителей, потому что возвращеніе нелюбимаго короля вообще не могло особенно радовать, а поводовъ къ опасеніямъ было не мало: думали, что молва распущена съ намѣреніемъ обмануть народъ; что, для принятія какихъ-то мѣръ противъ какой-

то неизвѣстной опасности, желали только успокоить тѣхъ, которые дѣйствительно были привержены къ королю, или предупредить всеобщее возмущеніе, готовое вспыхнуть въ городѣ. Всего вѣроятнѣе, что ничего подобнаго и не могло быть; но только такъ думали. Народъ бросился къ воротамъ, въ которыя, говорили, долженъ былъ выѣхать король; всѣ улицы были покрыты толпами; повсюду видны были факелы. Къ пяти часамъ утра показался король въ каретѣ капитана гвардіи. Въ минуту огромная толпа окружила карету. Какое изъ двухъ чувствъ — любопытство или участіе привлекло сюда народъ, мы не беремся рѣшать, только народу было много. Но, говорятъ, что радость, которая всегда овладѣваетъ невольно людьми при видѣ человѣка, спасшагося отъ неминуемой погибели, какъ электрическая искра сообщилась всей толпѣ зрителей. Станиславъ-Августъ, о которомъ говорили бы не иначе, какъ съ презрѣніемъ, еслибъ онъ остался въ плѣну, и съ полнымъ равнодушіемъ, еслибъ былъ убитъ, теперь встрѣченъ былъ непрерывными криками „да здравствуетъ король!“ — и его чудесное спасеніе сообщало, говорятъ, всей его особѣ что-то сверхъестественное, болѣе чѣмъ величественное. Во дворцѣ, окруженный толпою мужчинъ и дамъ, король вышелъ изъ кареты; волосы его были растрепаны (не забудемъ, что онъ потерялъ парикъ), лицо въ крови, платье изорвано и покрыто грязью; слезами онъ отвѣчалъ на всѣ благословенія, — искреннія или притворныя — трудно рѣшить, — которыя неслись со всѣхъ сторонъ. Зрѣлище это, говорятъ, при блескѣ множества факеловъ, представлялось очень театральнымъ, и Станиславъ-Августъ, казалось, очень желалъ, чтобъ оно продлилось. Нѣсколько въ сторонѣ стоялъ Кузьма, окруженный толпою придворныхъ, осаждаемый вопросами, по-

здравленіями; но онъ былъ глухъ и безчувственъ ко всему, что̀ вокругъ него происходило и говорилось; никого не слушалъ, ни на кого не смотрѣлъ, и его пасмурный видъ, мрачное молчаніе, смущенная фигура заставляли сомнѣваться, раскаявается ли онъ въ томъ, что похитилъ короля, или въ томъ, что спасъ его. Наконецъ, вынужденный безпрестанными, нетерпѣливыми вопросами окружающихъ, онъ произнесъ только слѣдующія слова, но произнесъ ихъ такимъ голосомъ, который только усилилъ сомнѣніе толпы: „это самый ужасный день въ моей жизни.“ Между тѣмъ короля провели въ его апартаменты. Наутро онъ принималъ поздравленія дворянства, духовенства, горожанъ,—и тутъ, вѣрный своему всегдашнему убѣжденію, что никто не могъ противиться его краснорѣчію, онъ нѣсколько разъ повторялъ: „еслибы меня привезли въ Ченстохово, я сказалъ бы рѣчь къ конфедератамъ, и это было бы великолѣпнѣйшее событіе моего царствованія.“

Можно себѣ представить удивленіе Стравинскаго и Лукавскаго, когда они встрѣтились въ назначенномъ мѣстѣ и не нашли тамъ ни короля, ни его проводника. Они тотчасъ же разослали людей искать ихъ по лѣсу; потомъ они сами отправились на поиски,—и все напрасно. Они встрѣтились съ отрядомъ казаковъ и, прежде чѣмъ могли скрыться, казаки напали на нихъ: заговорщиковъ было только двое, Стравинскій и Лукавскій, но они дрались съ отчаяннымъ мужествомъ; опасность положенія и неудача предпріятія придали имъ необыкновенную силу. Мушкетнымъ выстрѣломъ Стравинскій убилъ командира казацкаго отряда; бросился въ середину сотни, многихъ ранилъ или сбилъ съ коней и наконецъ исчезъ въ чащѣ лѣса, чтобы подождать Лукавскаго,

который былъ менѣе его счастливъ: онъ былъ пронженъ нѣсколькими пулями и брошенъ замертво. Въ карманахъ его нашлись письма, давшія руководную нитъ для раскрытія заговора. Когда казаки удалились, Стравинскій отыскалъ своего несчастнаго товарища, въ которомъ еще были признаки жизни, взялъ его къ себѣ на лошадь и передалъ доктору, который и возвратилъ Лукавскаго къ жизни. Потомъ онъ отыскалъ прочихъ товарищей своего неудавшагося предпріятія, узналъ отъ нихъ печальную вѣсть о возвращеніи короля, и скоро убѣдился въ ея достовѣрности. Никогда не могъ онъ утѣшиться, что такъ печально кончилось его предпріятіе, начатое съ такимъ успѣхомъ, съ такой предусмотрительностію, и котораго успѣхъ былъ такъ, повидимому, несомнѣненъ и конецъ такъ близокъ. Въ отчаяніи онъ рѣшался на другой подвигъ, болѣе полезный, новое преступленіе: онъ убѣждалъ Пулавскаго, что слѣдуетъ принести одну жертву за всѣхъ, но Пулавскій ничего не отвѣчалъ ему на это. Воротясь въ Ченстохово изъ экспедиціи, предпринятой для отвлеченія русскихъ войскъ къ радомской дорогѣ и едва не стоившей ему жизни, Пулавскій узналъ отъ своихъ агентовъ-конфедератовъ, тайно проживавшихъ въ Варшавѣ и дѣйствовавшихъ въ пользу патріотовъ, что король схваченъ и увезенъ. Но они напрасно спѣшили принести ему эту радостную вѣсть: Пулавскій со всей своей кавалеріей выѣхалъ для почетной встрѣчи воображаемаго плѣнника. Онъ полагалъ принять короля торжественно, со всѣми военными почестями, чтобы показать Станиславу-Августу, что онъ избавленъ друзьями отъ враговъ, его унижавшихъ, и избавленъ для возстановленія его падшаго достоинства, и, поддерживая въ немъ эту пріятную мысль, убѣдить его подписывать приказы гвар-

діи, коронным войскамъ и даже Ксаверію Браницкому. Такимъ ловким маневромъ Пулавскій предоставилъ бы во власть конфедераціи располагать всѣми войсками королевства, а себѣ —званіе командующаго арміею, которая въ состояніи была бы располагать судьбою Польши. И въ одно мгновеніе разлетѣлись эти мечты какъ дымъ. Записка Стравинскаго принесла ему вѣсть о неожиданномъ и печальномъ окончаніи предпріятія, которое еще такъ недавно казалось сбыточнымъ и такъ радовало его. Теперь, напротивъ, имъ овладѣла безпокойная мысль, что въ глазахъ всей Европы онъ является участникомъ убійства, котораго Пулавскій положительно не желалъ, потому что оно было практически безполезно. И дѣйствительно, въ первыя минуты всеобщаго изумленія, на дѣло Стравинскаго смотрѣли какъ на цареубійство, и имя Пулавскаго не отдѣлялось отъ именъ заговорщиковъ. Утверждали, что передъ отправленіемъ въ Варшаву шайки убійцъ, Пулавскій заставилъ ихъ произнести ужасную клятву, передъ распятіемъ; что въ Варшавѣ у него находилось до трехъ сотъ соумышленниковъ, связанныхъ тою же клятвою и что она разослана была имъ во всѣ конфедераціи. Записка, посланная королемъ изъ Маримонта къ командиру гвардіи, подтверждала это общественное обвиненіе; въ ней заговорщики прямо названы убійцами, что совершенно несправедливо, потому что убить его они могли, еслибы желали, и въ самой Варшавѣ, или дорогой, и не зачѣмъ было везти его по болотамъ, не зачѣмъ было Пулавскому выѣзжать къ нему на встрѣчу и, наконецъ, не зачѣмъ было самому королю хвастаться, что онъ сказалъ бы рѣчь передъ конфедератами въ самомъ Ченстоховѣ и тѣмъ прославилъ бы свое царствованіе. Но король обвинилъ Пулавскаго въ покушеніи

Общество спичечныхъ фабрикъ Акционерное

на его жизнь, — и это несправедливое обвинение повторялась вся Европа. Король не постыдился унизить себя до клеветы въ присутствіи того, кто былъ однимъ изъ главныхъ заговорщиковъ, — въ присутствіи Кузьмы, спасшаго ему жизнь: клевета повторялась имъ всякій разъ при разсказѣ о своемъ чудесномъ спасеніи; клевета эта продиктована была имъ самимъ для статьи въ варшавской газетѣ; клевета, наконецъ, повторялась во всѣхъ нотахъ, отправленныхъ варшавскимъ дворомъ къ иностраннымъ государямъ. Оттого такимъ благороднымъ негодованіемъ противъ этого ужаснаго преступленія дышутъ всѣ отвѣтныя ноты иностранныхъ кабинетовъ. Особеннымъ негодованіемъ запечатлѣнъ отвѣтъ Фридриха II. Покушеніе Пулавскаго онъ считаетъ личной обидой всѣмъ коронованнымъ главамъ, онъ говоритъ, что конфедератовъ должно постигнуть примѣрное наказаніе; что обида должна быть отмщена, — и эта месть принадлежитъ по праву всѣмъ государямъ Европы. Кауницъ негодовалъ не менѣе прочихъ; негодовала и Марія Терезія, называя поступокъ конфедератовъ ужаснымъ.

Въ Варшавѣ тотчасъ же было наряжено слѣдствіе надъ виновными и слѣдствіе имѣло въ виду не Стравинскаго и не Лукавскаго, а, главнымъ образомъ, цѣль его была — представить, въ наиболѣе неблагопріятномъ свѣтѣ, отношеніе Пулавскаго къ заговору, которому не давали другаго, менѣе рѣзкаго, эпитета, какъ гнусный, злодѣйскій и проч. Во что бы то ни стало, нужно было обвинить Пулавскаго положительно и оформить клевету, разнесенную о немъ по Европѣ; но это было не легко сдѣлать: многіе приверженцы Пулавскаго бѣжали изъ Варшавы и явились къ нему въ Ченстохово; другіе, схваченные въ столицѣ, приведены

на очную ставку съ Кузьмой и жестоко укоряли его въ слабости и предательствѣ; но имени Пулавскаго не запятнали клеветой. Даже Кузьма показывалъ, что у нихъ не было намѣренія умерщвлять короля. Но все было напрасно. Пулавскій написалъ-было манифестъ въ оправданіе поступка, представленнаго врагами такимъ чернымъ и недостойнымъ честнаго человѣка; но друзья его, опасаясь отъ этого болѣе дурныхъ послѣдствіи, изорвали манифестъ и, такимъ образомъ, повредили Пулавскому. Его судили за цареубійство—и судъ не былъ снисходителенъ.

Въ сущности, похищеніе короля не имѣло никакого вліянія на судьбу Польши, потому что участь ея была рѣшена, въ трехъ сосѣднихъ кабинетахъ, еще до полученія извѣстій объ этомъ происшествіи; оно не имѣетъ также вліянія и на дѣла конфедератовъ, потому что они шли такъ дурно, что никакой рискованный шагъ не могъ уже сдѣлать ихъ худшими. Оно могло только прибавить еще одно обвиненіе къ тѣмъ, которымъ подвергалась рѣчь посполитая со стороны сосѣднихъ державъ и на основаніи которыхъ осуждали ее эти державы къ лишенію нѣкоторой части ея территорій. Своими вѣчными смутами (говорили эти державы) она причиняетъ безпокойства намъ; она нарушаетъ нашъ внутренній миръ своими неурядицами, заставляя держать войско на ея границахъ; она вредитъ намъ и прямо и косвенно; она не умѣетъ ладить съ своими подданными и потому недостойна владѣть ими; надо уменьшить ея силу отдѣленіемъ отъ нея части ея владѣній. Наконецъ, буйственные сыны анархіи (продолжали сосѣднія державы), конфедераты, могутъ усилиться, соединиться съ Турціей, какъ они и старались о томъ постоянно, и причинить намъ неисчислимыя потери.

Сегодня они осмѣлились попрать священныя права своего монарха, завтра они посягнутъ на права другихъ.

Но пока сосѣдніе кабинеты не условились окончательно, относительно способа раздѣла рѣчи посполитой и количества земли, долженствовавшаго отойти къ той или другой державѣ, поляки оставались въ неизвѣстности о своей участи. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Тишина въ Польшѣ не возстановлялась; конфедераты продолжали свои неудачныя попытки—сдѣлаться полноправными владыками своего отечества; французы помогали имъ, пока это дѣло интересовало версальскій кабинетъ. Одинъ Станиславъ-Августъ пребывалъ въ спокойномъ и отчасти пріятномъ расположеніи духа, увѣрившись въ пріязни къ нему сосѣднихъ державъ, которыя приласкали его и сожалѣли о постигшемъ его несчастіи послѣ событій 3 и 4 ноября; притомъ эти событія дали ему и возможность порисоваться, и матеріалъ для разсказовъ о своемъ геройствѣ. Однако расположеніе духа продолжалось не долго. Время раздѣла Польши приближалось.

Съ 1772 года, почти одновременно во всѣхъ трехъ сосѣднихъ съ Польшею государствахъ, начались рѣшительныя приготовленія къ раздѣлу рѣчи посполитой—уже не въ кабинетахъ и не на картахъ, а въ натурѣ. Что касается до Россіи, то 28 мая графъ Чернышевъ получилъ именной указъ, въ которомъ императрица прямо говорила: „въ слѣдствіе соглашенія нашего съ вѣнскимъ и берлинскимъ дворомъ, имѣемъ мы присоединить къ имперіи нашей нѣсколько изъ смежныхъ съ нами польскихъ провинцій; для удобнѣйшаго сихъ земель управленія, заблагоразсудили мы раздѣлить ихъ на двѣ губерніи“ и т. д. (Полн. Собр. Закон. Рос. Имп. XIX, 13,807). Графъ Чернышевъ впередъ назначался генералъ-гу-

бернаторомъ и главнымъ хозяиномъ новопріобрѣтенныхъ территорій; генералы Каховскій и Кречетниковъ получали званіе губернаторовъ будущихъ русскихъ губерній, изъ которыхъ одна должна была называться псковской, а друаая могилевской. Въ тотъ же день данъ былъ другой именной указъ Каховскому и Кречетникову, въ которомъ императрица, говоря, что „рѣшились мы нынѣ на присоединеніе къ имперіи нашей нѣкоторыхъ польскихъ земель,“ и поручая имъ губернаторство надъ новыми областями, прибавляла: „сіе сообщаемъ вамъ теперь для единственнаго вашего извѣстія и содержанія въ секретѣ, пока зачатое нами о томъ дѣло не доведено будетъ до совершеннаго окончанія.“ Дѣло и началось и велось, такимъ образомъ, тайно до рѣшительной минуты; а между тѣмъ, новымъ губернаторамъ велѣно было принять команду надъ войсками, находившимися въ пріобрѣтаемыхъ провинціяхъ и тайно собирать свѣдѣнія о состояніи населенія, доходахъ и проч., „подъ предлогомъ распоряженія справедливой и соразмѣрной репортиціи въ поставкѣ провіанта и фуража, будтобъ для отвращенія чрезъ то какъ всякихъ отъ небольшихъ деташаментовъ случающихся иногда продерзостей и наглостей, такъ и неравныхъ отъ земскихъ коммисаровъ сборовъ, отягощающихъ и оскорбляющихъ мелкое дворянство.“ Во всякомъ случаѣ тайная цѣль предварительныхъ дѣйствій правительства не должна была обнаруживаться; въ указѣ прямо повелѣвалось дѣйствовать осторожнѣе, чтобъ „не открыть рановременно прямыхъ нашихъ намѣреній.“ Губернаторы должны были учинить перепись повѣтамъ, деревнямъ, имѣніямъ короннымъ, монастырскимъ и частнымъ; узнать доходы страны и ея средства; оставить городамъ ихъ прежнія права, судъ и расправу, „въ личныхъ

дѣлахъ," какъ сказано въ наказѣ, и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, „кои не дотрогиваются до власти нашей;" іезуитскимъ монастырямъ и школамъ велѣно было сдѣлать особую перепись. „Вы за сими наипаче недреманно смотрѣть имѣете (добавляетъ императрица), яко за коварнѣйшими изъ всѣхъ прочихъ латинскихъ орденовъ." (Полн. Собр. Зак. XIX, 13,808).

16 августа, въ именномъ указѣ графу Чернышеву, императрица давала знать, что формальное соглашеніе о раздѣлѣ Польши доведено уже „до совершенной своей зрѣлости" и секретная конвенція между тремя, заинтересованными въ этомъ дѣлѣ, державами уже подписана. Вслѣдствіе этого повелѣвалось, чтобы между первымъ и седьмымъ числомъ сентября, бѣлорусскій край былъ взятъ въ дѣйствительное владѣніе русскаго царства, — чтобы въ немъ расположены были войска для сохраненія тишины и спокойствія и для „вкорененія" повиновенія новой власти, — чтобы назначены были сроки для принятія присяги на новое подданство, границы края обнесены были столбами съ двуглавымъ орломъ, — чтобы въ казну собирались публичные доходы и чтобы, наконецъ, судъ и расправа чинились, „до времени," по тамошнимъ правамъ и обычаямъ. Вслѣдъ затѣмъ, Чернышевъ обнародывалъ плакатъ о присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи, въ которомъ, между прочимъ, объявлялось, что императрица изволитъ нынѣ брать подъ державу свою эти земли „въ удовлетвореніе и замѣну многихъ имперіи своей на рѣчь посполитую польскую издревле законно принадлежащихъ, неоспоримыхъ правъ и требованій." Самъ Чернышевъ, въ этомъ плакатѣ, называетъ уже бѣлоруссовъ своими „любезными согражданами," обѣщаетъ имъ спокойствіе, правосудіе и ми-

лость, приглашаетъ духовенство приносить теплыя молитвы о здравіи попечительной императрицы и т. д. (Тамъ же, 13,850).

Наконецъ 23 октября объявлено было всему русскому народу о присоединеніи бѣлорусскаго края. „Неутомленными ея императорскаго величества трудами и неусыпнымъ матернимъ о благополучіи россійской имперіи попеченіемъ присоединены къ державѣ ея отъ рѣчи посполитой польской нѣкоторыя земли, которыя раздѣлены на двѣ губерніи: первая наименована псковскою, а вторая могилевскою,“ говорилось въ этой всенародной публикаціи. Въ ней обозначены были и границы новопріобрѣтенныхъ земель. (Тамъ же, 13,888). Фридрихъ II на основаніи конвенціи получилъ свою часть; на долю Маріи-Терезіи также достался клочекъ землицы,— ein elendes Stück von Polen. Принимая его, Марія-Терезія плакала, говорятъ, однако, тѣмъ не менѣе землю взяла.

Что̀ было въ это время въ Польшѣ, мы не будемъ говорить. Событія, слѣдовавшія за первымъ раздѣломъ рѣчи посполитой, составляютъ другой періодъ въ исторіи ея послѣднихъ дней. Скажемъ только, что и послѣ этого тяжелаго испытанія поляки не понимали причины своей гибели. Они еще не знали той простой исторической истины, что рано или поздно, а должно погибнуть государство, представители котораго, ради личныхъ интересовъ, забываютъ интересы народа; что, рано или поздно, а приходитъ наконецъ время, когда въ свою очередь и народъ забываетъ своихъ представителей и равнодушно отдаетъ себя другой власти, въ надеждѣ на лучшую долю или хоть бы только для того, чтобъ избавиться отъ стараго гнета. Это законъ историческаго возмездія. Во всякомъ случаѣ, Польша потому

перестала существовать, что правительство ея недостойно было располагать судьбою милліоновъ подданныхъ, о которыхъ оно не заботилось, какъ безучастно съ своей стороны и народъ отнесся къ гибели своего государства.

II.

1772 и 1773.

Если кто былъ смѣшенъ въ то время, когда въ Польшѣ разыгрывалась, во второй половинѣ прошлаго вѣка, печальная политическая трилогія, такъ это гордые мудрецы — Вольтеръ, Далаберъ и Руссо, не подозрѣвавшіе, что, осмѣивая все на свѣтѣ, сами играютъ жалкую и далеко не лестную роль изъ-за ласковаго слова Фридриха II, или изъ-за соболей шубы съ его плеча, или, наконецъ, изъ-за табакерки съ портретомъ какого нибудь другаго коронованнаго литератора. Саркастическая улыбка не кривила уста капризнаго фернейскаго отшельника, когда онъ читалъ письма Фридриха, въ которыхъ тотъ дурачилъ самолюбиваго старика, а Даламберъ наивно вѣрилъ безкорыстію коронованнаго философа, читая приведенныя нами въ эпиграфѣ похвальбы Фридриха о томъ, какъ онъ осчастливилъ Польшу. „Я основалъ въ ней сорокъ школъ протестантскихъ и католическихъ, говоритъ онъ въ этомъ письмѣ, — и смотрю на себя какъ на Ликурга или Солона этихъ варваровъ.“ А между тѣмъ эти варвары были до того слѣпы къ благодѣяніямъ такихъ попечительныхъ сосѣдей, какъ Фридрихъ, что никакъ не хотѣ-

ли понять добра, которое имъ дѣлали, можетъ быть потому, что ни Пулавскій, ни Огиньскій, ни Пацъ и никто изъ конфедератовъ не были знакомы съ Вольтеромъ, а иначе онъ вразумилъ бы ихъ. Можетъ быть также, конфедераты не вполнѣ догадывались, какіе добрые виды имѣютъ на Польшу сосѣднія государства, и смотрѣли на прусскихъ драгунъ и русскихъ казаковъ не какъ на цивилизаторовъ, пришедшихъ заводить у нихъ школы, а просто какъ на вооруженнаго непріятеля. Какъ бы то ни было, но и въ то время, когда переговоры объ умиротвореніи Польши уже были совершенно покончены и когда оставалось только обнародовать эту новость, конфедераты не только продолжали защищаться въ своихъ крѣпостяхъ, но и готовы были выгнать ихъ изъ Польши совсѣмъ, еслибы могли. Вообще событія въ Польшѣ, слѣдовавшія за первымъ извѣстіемъ о раздѣлѣ значительной части королевства между сосѣдними державами, болѣе всего доказываютъ, какъ непрочно государство, въ которомъ интересы правительства мало гармонируютъ съ интересами управляемой имъ націи. Въ 1772 году Польшѣ данъ былъ такой урокъ, который долженъ бы былъ вразумить всѣхъ, отъ кого зависѣла участь этой страны. Но этотъ же 1772 годъ до очевидности показалъ Европѣ, что Польшу уже едва ли что́ могло вразумить. Еще съ начала года конфедераты имѣли надежду на успѣхъ; имъ казалось, что, засѣвъ въ двухъ-трехъ крѣпостяхъ, они могутъ не только держаться въ нихъ до наступленія болѣе благопріятныхъ временъ въ Польшѣ, но и оказывать вліяніе на страну; имъ посчастливилось даже, съ помощью французскихъ офицеровъ, сдѣлать одно важное пріобрѣтеніе. Но къ чему все это могло служить имъ, когда впереди не видѣлось ничего хорошаго?

Вообще польское правительство, во все продолженіе существованія этого государства, такъ мало сдѣлало добра народу, что на его помощь оно никогда не могло разсчитывать. Другое дѣло, еслибъ народу легко жилось подъ управленіемъ шляхты и королей; тогда этотъ народъ защитилъ бы и шляхту, и страну отъ всякой посторонней обиды; тогда онъ выгналъ бы изъ своей земли всякаго, на кого указала бы ему шляхта, какъ на врага. Но хорошаго онъ не видѣлъ въ жизни; онъ не выгонялъ изъ своей земли чужихъ солдатъ, потому что скорѣе желалъ бы выгнать свою шляхту. Этой-то нелюбовью народа и парализировалось дѣло польскихъ патріотовъ; конфедераты были безсильны потому, что не были популярны, что защищали не Польшу, а то сословіе, которое и было причиною несчастія всей страны.

Извѣстно, что неудачная попытка похитить короля не мало повредила конфедератамъ, какъ во мнѣніи ихъ соотечественниковъ, такъ и въ глазахъ всей Европы, которая слѣдила по газетамъ и по слухамъ за тѣмъ, что происходило въ Польшѣ. Французскіе офицеры, находившіеся въ войскѣ конфедератовъ и не мало помогавшіе имъ и совѣтами и личной распорядительностью, лучше другихъ понимали, что только дѣйствительнымъ заявленіемъ своей силы конфедераты могли поддержать свою, съ каждымъ днемъ упадавшую, славу. И французы заботились о поддержаніи этой славы, потому что сами конфедераты видимо упали духомъ. „Въ томъ отчаянномъ положеніи, въ какомъ находится конфедерація, нуженъ какой-нибудь громкій подвигъ, который возвратилъ бы ей и силу и мужество,“ писалъ одинъ изъ этихъ французовъ, Віомениль, и къ февралю 72 года уже все подготовилъ для этого подвига. Такъ какъ Варшава и

Краковъ, самые важные пункты королевства, были заняты русскими войсками, которыя изъ-за цитаделей этихъ городовъ управляли всею страною, то надо было вытѣснить ихъ или изъ Варшавы или изъ Кракова. О Варшавѣ конфедератамъ и думать было нечего, потому что ее бдительно сторожили и королевскія и русскія войска; хотя и Краковъ трудно было взять правильной осадой, и притомъ съ такими ничтожными силами, какими располагали патріоты, едва ли долго можно было держаться даже въ своихъ собственныхъ крѣпостяхъ, однако Французы рѣшились вывести конфедератовъ изъ ихъ тягостнаго положенія: они положили во что бы ни стало ввести патріотовъ въ Краковъ.

Но прежде сами конфедераты рѣшились попытать счастья. Краковъ, сильно укрѣпленный искусствомъ и природой, казался рѣшительно неприступнымъ городомъ, особенно для ничтожной горсти патріотовъ. Кромѣ того его защищали русскія войска: въ самой крѣпости было 400 солдатъ, восемь сотъ человѣкъ въ городѣ, и въ отрядахъ, расположенныхъ по предмѣстью, и бродившихъ по окрестностямъ Кракова, насчитывали до трехъ тысячъ русскихъ. Войско, оберегавшее Краковъ, имѣло и запасы, и артиллерію; притомъ къ Кракову, въ случаѣ опасности, можно было стянуть и другіе отряды, которые Суворовъ постоянно передвигалъ съ мѣста на мѣсто. У конфедератовъ, напротивъ, была только личная храбрость—и больше ничего. Однако они надѣялись войти въ крѣпость съ той стороны, которая не имѣла никакихъ искусственныхъ укрѣпленій, исключая обрывистаго спуска, по которому съ помощью лѣстницъ можно было добраться до самой цитадели. Въ этой части крѣпости находился архивъ, одинъ изъ чиновниковъ котораго имѣлъ

тайныя сношенія съ конфедератами. Окна въ жилищѣ этого чиновника выходили прямо къ спуску и одно окно имѣло деревянную рѣшетку, которую очень легко можно было выломать. Чиновникъ извѣстилъ конфедератовъ, что чрезъ это окно онъ проведетъ ихъ въ крѣпость, если только у нихъ будутъ лѣстницы, съ помощью которыхъ они могли бы взобраться вверхъ по обрыву, идущему отъ оконъ архива. Этимъ предложеніемъ воспользовался Валевскій, которому Пулавскій предоставилъ защиту Тырняка, и который, несмотря на свою молодость, успѣлъ пріобрѣсти хорошую репутацію между патріотами, какъ одинъ изъ талантливыхъ офицеровъ. Онъ вышелъ изъ Тырняка ночью, съ небольшимъ отрядомъ, и направился вдоль Вислы, но, наткнувшись на русскій патруль, былъ узнанъ и принужденъ возвратиться въ свою маленькую крѣпость, въ ожиданіи болѣе благопріятнаго случая. Случай этотъ вскорѣ представился. Одинъ еврей, котораго конфедераты употребляли иногда шпіономъ, содержалъ трактиръ, находившійся у самой подошвы той возвышенности, на которой стояла краковская крѣпость. Еврей этотъ явился къ Валевскому съ предложеніемъ—устроить отъ его дома подземное сообщеніе съ городомъ, прокопавъ тайный проходъ изъ внутренности дома до самой крѣпости, такъ чтобы чрезъ это подземелье можно было пробраться въ самую середину укрѣпленій Кракова въ какое угодно время. Валевскій сообщилъ объ этомъ Шуази, одному изъ болѣе вліятельныхъ французскихъ офицеровъ, которыхъ версальскій кабинетъ тайно прислалъ въ помощь конфедератамъ по выѣздѣ изъ Польши Дюмурье. Шуази, вмѣстѣ съ Віоменилемъ и другими офицерами, находился въ то время въ Тырыкѣ. Онъ приказалъ явиться къ себѣ

еврею-шпіону и, условившись съ нимъ насчетъ предложенія объ устройствѣ тайнаго хода изъ трактира въ краковскую крѣпость, для предупрежденія измѣны со стороны еврея, велѣлъ ему прислать часть своего семейства въ Тырнякъ, въ качествѣ заложниковъ, выдалъ двѣ тысячи франковъ въ уплату за домъ, изъ котораго долженъ былъ устроиться подземный ходъ въ Краковъ, и тотчасъ же послалъ людей въ домъ еврея, которые поселились тамъ и начали копать подземелье. Между тѣмъ Шуази имѣлъ въ виду воспользоваться также и предложеніемъ чиновника краковскаго архива и думалъ исполнить оба предпріятія разомъ. Но въ тоже время его извѣстили, что русскіе, просто ли вслѣдствіе военной предосторожности или какихъ-либо подозрѣній, или наконецъ въ предупрежденіи измѣны со стороны архивнаго чиновника, замѣнили деревянную рѣшетку въ окнѣ его желѣзною. Это обстоятельство заставило Шуази дѣйствовать съ большею осмотрительностью, чтобы, въ случаѣ тайнаго нападенія на Краковъ, самому не сдѣлаться жертвою обмана. Но и эти два плана нападенія онъ считалъ еще недостаточными и, чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ въ успѣхѣ такого опаснаго предпріятія, какъ взятіе Кракова, рѣшился не ограничиваться предложеніями архивнаго чиновника и еврея-шпіона. Онъ совѣтовалъ Валевскому изыскать другія, болѣе вѣрныя средства завладѣть Краковомъ и еврей указалъ еще одинъ путь, черезъ который можно было попасть въ крѣпость. Онъ сообщилъ, что часть крѣпостныхъ стѣнъ составляетъ ограду кармелитскаго сада и что если кармелиты позволятъ, то можно начать подкопъ въ самомъ саду. Обратились къ настоятелю монастыря, и онъ согласился помогать предпріятію конфедератовъ. Вскорѣ увѣдомили Шуа-

зи, что подземный ходъ готовъ, что три человѣка могутъ взойти въ отверстіе и что остается прорыть очень небольшое пространство земли, чтобы войти въ крѣпость, но что продолжать работу опасно, потому что русскіе могутъ услышать шумъ и открыть подземный ходъ. Шуази не хотѣлъ ограничиваться и этими, кажется, вѣрными средствами, и потому Віомениль совѣтовалъ испытать еще одно: изъ середины крѣпости проведена была до самой Вислы клоака, для стока нечистотъ изъ цитадели, и Віомениль рѣшился пробраться въ Краковъ этимъ путемъ.

Ночь съ 2 на 3 февраля была назначена для исполненія тайнаго предпріятія. Шуази выступилъ изъ Тырняка съ пятью стами человѣкъ. Два главные отряда, въ каждомъ по тридцати человѣкъ самыхъ отборныхъ изъ войска конфедератовъ, шли къ Кракову подъ начальствомъ Віомениля и другаго французскаго офицера Сэльяна; другіе небольшіе отряды, отъ 12 до 15 человѣкъ, должны были дѣлать фальшивыя тревоги въ разныхъ мѣстахъ, чтобы отвлечь вниманіе русскихъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ предполагалось проходить Віоменилю и Сэльяну. Сэльянъ долженъ былъ пройти съ своимъ отрядомъ подземнымъ ходомъ, Віомениль избралъ путь черезъ клоаку, хотя этотъ проходъ не былъ предварительно никѣмъ осмотрѣнъ. Выступивъ изъ Тырняка, Шуази, Віомениль и Сэльянъ переправились тотчасъ же черезъ Вислу и направились вдоль этой рѣки до того мѣста, гдѣ должны были разойтись въ разныя стороны, каждый съ своимъ отрядомъ; мелкія группы конфедератовъ отдѣлились отъ главныхъ отрядовъ и потянулись къ Кракову окольными дорогами, чтобъ обойти непріятельскіе апроши. Передъ тѣмъ, какъ раздѣлиться на отряды, конфедераты переодѣлись такъ, что-

бы въ темнотѣ ночи могли отличать своихъ товарищей отъ русскихъ солдатъ. Несмотря на разсѣянные по всѣмъ направленіямъ русскіе отряды, Сэльянъ благополучно достигъ трактира и привелъ своихъ солдатъ къ подземелью. Входъ былъ очень удобенъ, но чѣмъ дальше подвигались они, тѣмъ проходъ становился уже, такъ что они дошли наконецъ до такого узкаго мѣста, гдѣ одинъ человѣкъ едва могъ ползкомъ пробираться къ выходу. Ясно, что тридцать человѣкъ опасно было вводить въ это подземелье, и Сэльянъ принужденъ былъ воротиться, чтобы осмотрѣть укрѣпленія со всѣхъ сторонъ и поискать, не найдетъ-ли, хотя случайно, болѣе удобнаго мѣста для входа въ крѣпость. Въ это время Віомениль уже пробирался съ своимъ отрядомъ по клоакѣ. Онъ первый вошелъ въ нее и, не зная что ожидаетъ его впереди, ползкомъ, со шпагою въ рукѣ, повелъ за собой храбрыхъ товарищей, говоря, что черезъ нѣсколько минутъ они будутъ въ самой крѣпости. Послѣдніе изъ его отряда уже вошли въ клоаку, когда приблизился Сэльянъ, котораго привелъ сюда одинъ сержантъ, наканунѣ осматривавшій эту мѣстность. Товарищи Віомениля узнали отрядъ Сэльяна по платью, въ цвѣтѣ котораго они условились заранѣе; Сэльянъ, не медля ни минуты, ввелъ и свой отрядъ въ клоаку. Между тѣмъ Шуази, явившись подъ стѣнами крѣпости съ четырьмя стами человѣкъ, тщетно старался найти какой-либо входъ въ середину укрѣпленій; онъ прошелъ вдоль стѣны сада кармелитовъ и нигдѣ не встрѣчалъ ни Сэльяна, ни Віомениля. Отправляясь въ путь, они, кажется, не условились ни въ сигналахъ, ни въ паролѣ; между тѣмъ еврей-шпіонъ, служившій проводникомъ въ отрядѣ Шуази, самъ растерялся, опознался въ мѣстности, — а заря уже начинала зани-

маться, до утра было недалеко. Потерявъ всякую надежду, Шуази рѣшился наконецъ собрать свои отряды и отступить отъ крѣпости; но онъ напрасно ждалъ Віомениля и Сэльяна; онъ не зналъ, гдѣ они и что съ ними, потому что никто не могъ дать ему вѣсть объ участи первыхъ пришедшихъ къ Кракову отрядовъ. Кругомъ и вдали было тихо, потому что въ крѣпости всѣ спали, не ожидая опасности столь близкой, а Віомениль и Сэльянъ не выходили еще изъ клоаки. Боясь погубить весь свой отрядъ, въ случаѣ если утромъ онъ наткнется на русское войско, Шуази съ горестью долженъ былъ, еще до разсвѣта, ретироваться отъ крѣпости. Возвращаясь къ Тырняку, онъ никакъ не могъ думать, чтобы Віоменилю и Сэльяну удалось опасное предпріятіе и считалъ ихъ погибшими.

Между тѣмъ Віомениль, Сэльянъ и ихъ храбрые товарищи вошли въ крѣпость. Віомениль первый выступилъ изъ клоаки и, наткнувшись на часоваго, который въ просонкахъ окликнулъ его, прокололъ несчастнаго шпагою, молча продолжалъ путь, убилъ другаго часоваго и закололъ русскаго капитана, встрѣтившагося на дорогѣ. Все это сдѣлано было безъ малѣйшаго шума, такъ что въ крѣпости никто и не подозрѣвалъ, что непріятель находится уже въ центрѣ укрѣпленій. Отряды пошли далѣе по направленію къ огоньку, который, какъ они справедливо предполагали, выходилъ изъ крѣпостной гауптвахты. Вбѣжавъ на гауптвахту, Віомениль закричалъ: „сдавайся!“ и всѣ сдались безъ сопротивленія, исключая одинадцати человѣкъ, которые поскакали въ окна, бросились въ городъ и произвели тревогу. Русскіе быстро собрались и пошли на крѣпость. Віомениль и Сэльянъ, еще не вполнѣ увѣренные въ томъ, что совершенно овладѣли крѣ-

постью и опасавшіеся встрѣтить непріятеля внутри укрѣпленій, принуждены были, кромѣ того, отражать нападеніе извнѣ. А нападенія, дѣйствительно, начались въ разныхъ пунктахъ и приступы были очень дружные. Горсть побѣдителей состояла между тѣмъ только изъ шестидесяти человѣкъ, которые, не имѣвъ ни минуты отдыха съ девяти часовъ вечера, со времени выступленія изъ Тырняка, были очень истомлены; кромѣ ружей и сабель они не имѣли ничего для защиты крѣпости, которою завладѣли въ нѣсколько минутъ; у русскихъ же имѣлись и пушки, и число ихъ было огромно въ сравненіи съ горстью храбрыхъ, засѣвшихъ въ крѣпости. По счастью непріятельскія пушки, принужденныя стрѣлять вверхъ, на довольно значительную высоту, дѣйствовали безъ всякой пользы и не причиняли осаждаемымъ ни малѣйшаго вреда, тогда какъ русская пѣхота, взбиравшаяся на крѣпость, была открыта для выстрѣловъ и испырывала губительный огонь. Болѣе двухъ третей изъ осаждавшихъ остались на мѣстѣ отъ мѣткихъ выстрѣловъ изкрѣпости; между осаждаемыми, напротивъ, находился только одинъ раненый, юный французъ Шарло, который получилъ ударъ въ ногу. Но при всемъ томъ положеніе осаждаемыхъ было очень сомнительно и они ни въ какомъ случаѣ не могли одними своими ничтожными силами удержать за собою крѣпость, со всѣхъ сторонъ окруженную русскими отрядами; къ нимъ никто не приходилъ на помощь,—ни Шуази, который съ главнымъ отрядомъ долженъ былъ напасть на городъ, ни тѣ мелкія группы, которыя разсѣялись по окрестностямъ Кракова съ цѣлью тревожить русскихъ. Силы послѣднихъ, напротивъ, безпрерывно возрастали. Истомленные походомъ и отраженіемъ непріятеля, Віомениль и Сэльянъ не думали од-

нако о капитуляціи, какъ о единственномъ средствѣ къ спасенію, а напротивъ рѣшились выйти изъ крѣпости, пробившись сквозь ряды непріятеля съ оружіемъ въ рукахъ. Положеніе ихъ такъ было опасно, что оставаться въ крѣпости до утра—значило подвергаться неминуемой гибели. До сихъ поръ по крайней мѣрѣ оставались еще выходы изъ крѣпости, но скоро и отступленіе сдѣлалось бы невозможнымъ. Все уже приготовлено къ этому новому и опасному подвигу; оставалось отворить крѣпостныя ворота,—какъ вдругъ осажденные услышали шумъ въ городѣ, и не ошиблись, предположивъ, что Шуази идетъ къ нимъ на помощь и сдѣлалъ нападеніе на самый городъ. Осажденные остались на своихъ мѣстахъ и съ новой стойкостью продолжали отражать нападеніе.

Дѣйствительно, Шуази, послѣ неудачнаго обхода вокругъ крѣпостныхъ стѣнъ, удивленный невозмутимой тишиной въ Краковѣ, уже отступалъ отъ города, и въ тотъ самый моментъ, когда входилъ въ Тырнякъ, услышалъ вдругъ пушечные выстрѣлы и частую ружейную пальбу. Выстрѣлы неслись изъ Кракова и не оставалось никакого сомнѣнія, что перестрѣлка завязалась вслѣдствіе нападенія на крѣпость или Віомениля или Сэльяна, которыхъ Шуази могъ считать уже погибшими. Не медля ни минуты, онъ двинулся къ Кракову, опрокидывая попадавшіеся на пути русскіе отряды и отстрѣливаясь отъ другихъ, завладѣлъ краковскимъ мостомъ, прошелъ городомъ и, отбившись отъ русскихъ отрядовъ, вступилъ въ крѣпость. Тамъ онъ нашелъ Віомениля, Сэльяна и ихъ шестьдесятъ храбрыхъ товарищей, которые, впродолженіи пяти часовъ, неутомимо отбивались отъ многочисленнаго непріятеля. Вмѣстѣ съ отрядомъ Шуази, въ крѣпости на-

ходилось теперь все еще менѣе пяти сотъ человѣкъ;—а съ такими ничтожными силами нельзя было долго держаться. Правда, изъ Ландскроны высланъ былъ къ нимъ на подмогу, на другой день послѣ взятія крѣпости, еще одинъ отрядъ, въ которомъ имѣлось орудіе; но, пробиваясь сквозь русское войско, отрядъ этотъ потерпѣлъ значительный уронъ, выдержавъ губительный огонь въ городѣ; только кавалеристы, предводительствуемые Келлерманомъ, успѣли поддержать этотъ отрядъ, который и прошелъ въ крѣпость. Между тѣмъ, на слѣдующій же день подъ стѣнами Кракова явился Суворовъ съ новыми силами, и Шуази принужденъ былъ запереться въ крѣпости, рѣшившись защищаться до послѣдней крайности.

Но въ то время, когда Шуази запирался въ краковской крѣпости, а Пулавскій, Валевскій и другіе конфедераты укрѣпились въ Ченстоховѣ, Тырнякѣ и Ландскронѣ, конфедераты не знали, что говорилось въ Берлинѣ, Вѣнѣ и Петербургѣ въ тиши кабинетовъ. Еслибы Шуази и Віомениль,—въ тотъ самый день, когда они, измученные защитой Кракова, готовы были вѣрить, что конфедератамъ начинаетъ улыбаться счастье,—подслушали разговоръ Фридриха II съ австрійскимъ посланникомъ Фанъ-Свитенъ, они увидѣли бы, что для конфедератовъ уже все было потеряно.

— Если ваше величество уступите намъ графство Глацъ, мы уступимъ вамъ часть Польши, говорилъ Фанъ-Свитенъ (Это было первый разъ, что Австрія заговорила о раздѣлѣ Польши, а до сихъ поръ она все лавировала).

— У меня теперь подагра только въ ногахъ, отвѣчалъ Фридрихъ:—когдабъ она была у меня и въ головѣ, тогдабъ можно было сдѣлать такое предложеніе. Рѣчь идетъ о Поль-

шѣ, а не о моемъ королевствѣ. Притомъ я соблюдаю мирные трактаты и помню увѣренія, данныя мнѣ императоромъ (Іосифомъ II)—не думать больше о Силезіи.

— Но, возразилъ Фанъ-Свитенъ, Карпаты отдѣляютъ Венгрію отъ Польши, и всѣ пріобрѣтенія, которыя мы можемъ сдѣлать по сю сторону Карпатъ, нисколько для насъ не выгодны.

— Но, замѣтилъ съ своей стороны Фридрихъ, Альпы отдѣляютъ васъ отъ Италіи, однако вы не смотрите на Миланъ и Мантуу, какъ на невыгодныя владѣнія.

Это нѣсколько смутило Фанъ-Свитена и онъ отвѣчалъ:— въ такомъ случаѣ можно найти средства сдѣлать раздѣлъ болѣе выгоднымъ, если намъ позволятъ пріобрѣсти отъ Турокъ Бѣлградъ и Сербію.

Фридрихъ, въ письмѣ къ Сольмсу, въ Петербургъ, признавался, что эти слова ошеломили его, потому что онъ никакъ не ожидалъ услышать ихъ отъ союзника Турціи и отъ представителя того двора, любимой фразой котораго было „равновѣсіе востока.“

Въ отвѣтъ Фанъ-Свитену король замѣтилъ такъ:

— Мнѣ очень пріятно слышать, что австрійцы еще не обрѣзаны, въ чемъ иные обвиняли ихъ, и что это обрѣзаніе выпадаетъ на долю ихъ добрыхъ друзей, турокъ... (каламбуръ, намекающій на дружественныя отношенія этихъ двухъ державъ).

— А вы, какъ думаете объ этомъ, ваше величество? спросилъ посланникъ.

— Я не думаю, чтобъ этого нельзя было сдѣлать.

— Въ такомъ случаѣ я напишу своему двору и надѣюсь,

что это ему будетъ пріятно узнать, сказалъ Фанъ-Свитенъ ([1]).

Этотъ разговоръ рѣшилъ дѣло конфедератовъ и раздѣлъ Польши.

Но возвратимся къ конфедератамъ, которые не вѣдали, что творилось въ кабинетахъ сосѣднихъ государствъ.

Краковская крѣпость составляла важное пріобрѣтеніе для конфедератовъ, которые владѣли теперь нѣсколькими наиболѣе укрѣпленными пунктами въ государствѣ. Изъ-за краковскихъ стѣнъ, а также изъ Ченстохова, Ландскроны и Тырняка, они могли постоянно тревожить русскихъ, и въ тоже время могли считать себя, по крайней мѣрѣ при тогдашнемъ состояніи дѣлъ въ Польшѣ, на долго безопасными. Взятіе краковской крѣпости было важно длл конфедератовъ и въ другомъ отношеніи: оно возбудило въ нихъ новое мужество, которое въ послѣднее время начинало сильно колебаться; оно снова нѣсколько возвысило конфедератовъ въ глазахъ людей, для которыхъ не чужды были интересы Польши. Извѣстіе о взятіи крѣпости возбудило и въ Варшавѣ разнородныя чувства и надежды. Самъ суровый Сальдернъ отзывался о французахъ съ похвалою и за обѣдомъ пилъ за здоровье Шуази и Віомениля. Русскаго же офицера, допустившаго взятіе Кракова, Сальдернъ приказалъ арестовать,

---

(1) Frédéric II, Catherine et le partage de Pologne, d'aprés les documens authentiques. Par. Fr. de Smitt. 1861. Авторъ, по ходатайству графа Нессельроде, имѣлъ доступъ въ московскіе архивы. Изданные имъ документы очень важны. Жаль только, что изъ нихъ не вполнѣ видно, какъ петербургскій дворъ велъ дѣло о раздѣлѣ Польши. Пробѣлъ этотъ пополняютъ отчасти матеріалы, напечатанные г. Дубровинымъ.

но тотъ свалилъ всю вину на Ксаверія Браницкаго. Въ первое время послѣ взятія крѣпости, Шуази сильно безпокоилъ русскихъ. Двѣ удачныя вылазки, сдѣланныя имъ, произвели въ рядахъ послѣднихъ большой уронъ, хотя нельзя было не видѣть, что самые успѣхи ослабляли осажденныхъ, постоянно уменьшая ихъ и безъ того незначительныя силы. Два раза Суворовъ, разными военными хитростями, старался вызвать осажденныхъ изъ крѣпости и напасть на нихъ изъ засады, предварительно имъ приготовленной; но гарнизонъ продолжалъ сидѣть въ крѣпости, защищенной природой и искусствомъ. Тогда Суворовъ принужденъ былъ подвинуть къ стѣнамъ крѣпости тяжелую артиллерію и 20 февраля приступилъ къ правильной осадѣ Кракова. Два раза онъ водилъ русскихъ на приступъ, 27 и 29 февраля; оба раза дѣло было жаркое, огонь съ обѣихъ сторонъ былъ убійственный; но Суворовъ не побѣдилъ. У русскихъ было пять тысячъ человѣкъ пѣхоты; идя на приступъ, они держали передъ собой крестьянъ, которые должны были ставить лѣстницы къ стѣнамъ крѣпости. Шуази медлилъ стрѣльбой, пока толпы осаждающихъ не приблизились на разстояніе выстрѣла, и тогда только открылъ огонь. Три часа русскіе работали подъ выстрѣлами; они упорно били въ амбразуры крѣпостной стѣны, чтобы подѣлать значительныя бреши въ этихъ углубленіяхъ, и такъ расширили ихъ, что шесть человѣкъ въ рядъ могли проходить свободно въ эти бреши. Два орудія, направленныя противъ нихъ изъ этихъ самыхъ амбразуръ и постоянно стрѣлявшія по нимъ, наконецъ безпрерывный ружейный огонь съ крѣпостной стѣны— ничто не могло остановить русскихъ, которые продолжали двигаться къ брешамъ. Они завладѣли было также еще дву-

мя входами, и только удивительнымъ мужествомъ Віомениля были выбиты обратно. Вообще, по всѣмъ отзывамъ, и эта защита, и эта осада Кракова были замѣчательными подвигами послѣдней войны въ Польшѣ. „Если наши офицеры (говорилъ на другой день послѣ этого жаркаго дѣла Шуази) показали столько мужества при взятіи крѣпости, то они показали его во сто разъ болѣе при защитѣ.“

Послѣдній изъ этихъ приступовъ, какъ замѣчено выше, былъ 29 февраля. 29-же февраля у Фридриха II происходилъ новый разговоръ съ Фанъ-Свитеномъ о Польшѣ. Къ Фанъ-Свитену пріѣхалъ изъ Вѣны курьеръ съ извѣстіемъ о согласіи Австріи на раздѣлъ Польши. На этой аудіенціи Фанъ-Свитенъ говорилъ Фридриху, что „его дворъ, по зрѣломъ размышленіи о положеніи дѣлъ вообще, рѣшился отказаться отъ пріобрѣтенія Бѣлграда и Сербіи, но для поддержанія равновѣсія на сѣверѣ, желалъ бы также и для себя получить часть Польши и желалъ бы, чтобы доли были равныя.“ Фанъ-Свитенъ показалъ при этомъ королю актъ, подписанный Маріею-Терезіей и Іосифомъ II относительно Польши, и просилъ, не угодно ли и ему сообщить вѣнскому кабинету подобный же актъ. Фридрихъ сказалъ, что подумаетъ,—и Фанъ-Свитенъ прибавилъ, что отъ его двора уже писано объ этомъ и въ Петербургъ къ князю Лобковичу. Въ тотъ же день, сообщая о настоящемъ разговорѣ въ Петербургъ, къ своему посланнику Сольмсу, Фридрихъ прибавлялъ, что пора уже заставить конфедератовъ образумиться и т. д. (Smitt).

Но конфедераты не хотѣли образумиться. Французскіе офицеры, помогавшіе имъ и совѣтами, и дѣломъ, также продолжали оставаться въ невѣдѣніи относительно участи Польши.

Хотя между русскими, осаждавшими Краковъ, не было ни одного прусскаго отряда, однако Шуази предложено было, именемъ Фридриха, очистить крѣпость. Когда онъ отвергъ предложеніе, то оно снова повторено было съ прибавленіемъ угрозы, что если онъ не оставить крѣпости, то будетъ отправленъ въ Сибирь. Шуази отвѣчалъ, что онъ скорѣе согласится протерпѣть всѣ непріятности плѣна самаго суроваго и идти всюду, куда поведутъ его русскіе, чѣмъ уступитъ угрозѣ. Къ счастію его, онъ узналъ о приближеніи вспоможенія, на которое совершенно не надѣялся: нѣкоторымъ отрядамъ удалось пробраться въ крѣпость. Когда они шли къ Кракову, то встрѣтились съ русскими карабинерами и разсѣяли ихъ. Въ отрядѣ находился самъ Суворовъ, и когда карабинеры были разбиты, Суворовъ также бѣжалъ въ числѣ прочихъ и едва не попался въ плѣнъ: его преслѣдовалъ одинъ молодой конфедератъ изъ Ливоніи; Суворовъ выстрѣлилъ въ него и промахнуся. Конфедератъ догналъ Суворова, схватилъ его и уже велъ къ своему отряду, отъ котораго, въ пылу преслѣдованія, ускакалъ на довольно значительное разстояніе, какъ былъ настигнутъ русскимъ кавалеристомъ, который застрѣлилъ его изъ пистолета и спасъ Суворова. Суворовъ, съ новой силой и упорствомъ, приступилъ къ осадѣ крѣпости, съ каждымъ днемъ стѣснялъ осажденныхъ и своей артиллеріей громилъ всѣ ихъ сооруженія, которыми они старались поддержать разрушающіяся укрѣпленія. Гарнизонъ, со всѣхъ сторонъ открытый для выстрѣловъ, уменьшался весьма чувствительно. Въ это время къ осажденнымъ дошли первыя вѣсти о раздѣлѣ Польши и не оставалось уже никакого сомнѣнія, что конфедератовъ ничто не въ состояніи спасти отъ неминуемой гибели. Шуази увидѣлъ, что

продолжать защиту было безполезно, потому что уже не на что было надѣяться. Притомъ положеніе гарнизона день ото дня становилось невыносимѣе, а помощи уже ждать было не откуда. Казалось, всѣ покинули Польшу, крѣпость должна была погибнуть, потому что погибала вся Польша. У осажденныхъ не было ни лекарствъ, ни хирурговъ, которые могли бы облегчать страданія раненымъ и больнымъ. Юный Шарло, раненый еще при взятіи крѣпости, первый изъ пострадавшихъ въ этомъ подвигѣ, съ дозволенія Шуази, добровольно отдался въ плѣнъ Суворову для того только, чтобъ въ русскомъ лагерѣ найти помощь хирурга и получить облегченіе. Дольше оставаться въ крѣпости не стоило. Русское правительство приказало своимъ генераламъ заставить осажденныхъ сдаться военноплѣнными. Они вышли или скорѣе ихъ вывели изъ крѣпости, 24 апрѣля, тремя партіями: одну отвели въ Кіевъ, другую въ Полтаву, третью въ Казань. Шуази находился полтора года въ плѣну. Возвратясь на родину, онъ громко говорилъ въ Версали, въ присутствіи русскаго посланника, что, впродолженіи четырнадцати мѣсяцевъ, всѣ плѣнные, какъ онъ самъ, такъ и его братья по оружію, испытали—лишенія. Подлинныя свидѣтельства очевидцевъ, сохранившіяся отъ прошлаго вѣка, раскрываютъ передъ нами печальную картину того положенія, въ какомъ находились французскіе и польскіе плѣнные въ Россіи; особенно интересенъ въ этомъ случаѣ дневникъ французскаго офицера, сражавшагося вмѣстѣ съ конфедератами Польши и вмѣстѣ съ конфедератами отправленнаго въ Сибирь ([1]). Когда его провозили черезъ Казань, онъ

([1]) Tagebuch eines französischen Officiers in Diensten der Polnischen Konfederation, welcher von den Russen gefangen und nach Sibirien verwiesen worden. Aus dem französischen. Amsterdam. 1776.

уже засталъ тамъ многихъ изъ плѣнныхъ конфедератовъ и въ томъ числѣ графа Петра Потоцкаго, молодаго Пулавскаго и другихъ, которые содержались въ Казани уже около года. Авторъ дневника былъ отправленъ въ Сибирь въ числѣ 152 плѣнныхъ. Бывшій тогда въ Казани губернаторъ, Самаринъ, хотѣлъ не отсылать ихъ въ Сибирь, а оставить въ этомъ городѣ; но одинъ русскій князь, объ имени котораго авторъ дневника умалчиваетъ, чтобы „пощадить честь" этого князя, вслѣдствіе ссоры съ Потоцкимъ (1) и по неудовольствію на Самарина, донесъ объ этомъ двору, жалуясь, что губернаторъ не буквально исполняетъ предписанія правительства, — и ихъ выслали въ Сибирь. Французскіе офицеры отправлены были въ Сибирь потому, что тайно сносились съ татарами и черезъ нихъ думали освободиться изъ плѣна (Tagebuch S. 55). Многіе изъ плѣнныхъ конфедератовъ, впослѣдствіи, когда Казани угрожала опасность отъ Пугачова, служили, какъ говоритъ авторъ дневника, изъ-за денегъ, и казанскія власти образовали изъ нихъ особенный отрядъ уланъ, которые и должны были съ прочими войсками защищать городъ отъ самозванца. Всѣмъ извѣстно, какую роль игралъ молодой Пулавскій у Пугачова, послѣ того какъ бѣжалъ изъ Казани, гдѣ онъ жилъ плѣнникомъ, и при появленіи самозванца вошелъ въ тайныя сношенія съ казанскими татарами, при помощи ихъ и, какъ говорятъ, при содѣйствіи жены казан-

---

(1) Князь, поссорившись съ Потоцкимъ на обѣдѣ у Самарина, хотѣлъ дать конфедерату пощечину, и когда губернаторъ помѣшалъ этой боярской расправѣ, князь приказалъ схватить Потоцкаго и дать ему 360 ударовъ батогами, и только Самаринъ спасъ конфедерата отъ этой обиды (Tagebuch S. 53—54).

скаго губернатора, готовилъ для Пугачова запасы оружія и пороха, и потомъ помогалъ ему своими совѣтами. Вообще плѣнные конфедераты имѣли не малое значеніе въ смутное для Россіи время пугачовщины, то какъ агитаторы народныхъ массъ, то какъ совѣтники самозванца, усмирявшіе иногда дикіе порывы его грубыхъ атамановъ и полковниковъ ([1]).

Вслѣдъ за Краковомъ отняты были у конфедератовъ и остальныя крѣпости. Много мужества показали поляки при защитѣ Тырняка; но все было безполезно. Личное мужество и благородство однихъ не могло спасти націю, когда другіе губили и продавали ее. Въ самомъ Тырнякѣ открытъ былъ заговоръ между офицерами, которые намѣрены были предать крѣпость непріятелю. Два главные измѣнника осуждены на смерть, но одинъ изъ нихъ бѣжалъ въ то самое время, когда его вели на казнь. Его преслѣдовалъ комендантъ крѣпости, настигъ вблизи русскаго отряда, схватилъ и привелъ на мѣсто казни. Но Тырнякъ, какъ и Краковъ, не могъ устоять противъ русскихъ; монастырь, церковь, башни—все было разрушено, и крѣпость представляла груду пепла и развалинъ. Гарнизонъ ретировался въ наскоро сдѣланные ретраншементы. Но скоро и тамъ нельзя было укрыться: все было сожжено и разбито, такъ что конфедераты стояли передъ русскими, ничѣмъ не защищенные, какъ въ открытомъ полѣ. Но и здѣсь они не уступали, отражая всѣ усилія рус-

---

([1]) Bemerkungen über Estland, Liefland, Russland, nebst einigen Beitragen zur Empörungs-Geschichte Pugatschew, während eines achtjährigen Aufenthalts gesamlet von einem Augenzeugen. Prag und Leipzig, 1792. Напримѣръ, разсказъ одного нѣмца, изъ Богеміи, бывшаго учителемъ у помѣщика Шилова. Нѣмецъ спасенъ отъ висѣлицы конфедератомъ (S. 231—232).

скихъ выбить ихъ изъ позиціи. Русскіе сдвинули къ Тырнику все, что имѣли лучшаго — и все напрасно. Солдаты этой маленькой крѣпости проникнуты были однимъ духомъ— умереть, но не сдаваться. Подозрѣвая, что офицеры желаютъ сдаться на капитуляцію, солдаты сами избрали себѣ командировъ и торжественно поклялись стоять до послѣдней возможности. Но наконецъ и они уступили, когда узнали, что, кромѣ русскихъ, вблизи находятся еще австрійскія войска. У патріотовъ, такимъ образомъ, стало еще одной крѣпостью меньше. Дольше другихъ Пулавскій отстаивалъ свою независимость. Когда Віомениль и Шуази овладѣли Краковомъ, онъ отваживался на всѣ мѣры, чтобы только подать помощь тѣснимому со всѣхъ сторонъ гарнизону этой крѣпости и, не располагая самъ значительными силами, умѣлъ поддерживать мужество патріотовъ. Ему помогалъ во всемъ Коссаковскій, еще такъ недавно надѣлавшій столько шуму по Литвѣ и по всей Польшѣ. Но русскія силы были слишкомъ велики; все населеніе было слишкомъ равнодушно, даже враждебно къ конфедератамъ, тогда какъ русскіе дѣйствовали какъ полные господа въ Польшѣ: за нихъ былъ и король и королевское войско; ихъ же руку держалъ отчасти и народъ, не наученный исторіею любить пановъ, а съ ними вмѣстѣ и конфедератовъ; начальники русскихъ отрядовъ Древичъ и Лопухинъ не были заперты, какъ Пулавскій и Коссаковскій въ крѣпостяхъ, а могли свободно передвигать свои силы съ мѣста на мѣсто и являться тамъ, гдѣ наиболѣе требовали обстоятельства; Суворовъ, съ своей стороны, неожиданною тактикою разстроивалъ всякія соображенія патріотовъ. Мы видѣли, что Краковъ долженъ былъ пасть, и Пулавскому, потерявшему такихъ помощниковъ, какъ Шуази и Віомениль,

ничего не оставалось больше, какъ защищаться самому и засѣсть въ Ченстоховѣ. Защита этой крѣпости была продолжительна и упорна; осьмнадцать дней русскіе не переставали громить ее своей артиллеріей и ходили на приступъ; четыреста бомбъ было брошено въ середину укрѣпленій; во время двухъ губительныхъ приступовъ русскіе потеряли много народа,—и между тѣмъ крѣпость не сдавалась. Но наконецъ и Пулавскій получилъ печальное извѣстіе, что участь Польши рѣшена сосѣдними державами. Другіе конфедераты, непоставленные лично въ непріязненныя отношенія къ королю, могли соединиться съ нимъ и дѣйствовать за-одно противъ иностранцевъ; а у Пулавскаго и этой надежды не оставалось. За участіе въ заговорѣ Стравинскаго и Лукавскаго, за покушеніе похитить короля, чтобы спасти и его, и королевство отъ сосѣдей, Пулавскій признанъ былъ цареубійцей и осужденъ на казнь. Его считали преступникомъ и король, и собственная нація; державы, рѣшившіяся раздѣлить Польшу, ни въ какомъ случаѣ не могли также щадить его. Вообще положеніе Пулавскаго было безвыходное, печальнѣе положенія всѣхъ прочихъ патріотовъ: тѣхъ ожидала ссылка, лишеніе имущества или наконецъ даже амнистія, а ему предстояла или висѣлица, или колесо, или другая смертная казнь. Конфедераты, находившіеся подъ его прямымъ начальствомъ, должны были пострадать болѣе другихъ, потому что предводитель ихъ считался виновнѣе прочихъ; крѣпость, защищаемая Пулавскимъ, стала цѣлью всѣхъ партій — какъ королевской, такъ и партіи чужеземцевъ. Слѣдовательно, на взятіе Ченстохова, должны были обратиться взоры всѣхъ; противъ Пулавскаго должны были теперь выступить всѣ свободныя войска, находившіяся въ Польшѣ, какъ свои,

такъ и чужія. Пулавскій понималъ это и не хотѣлъ подвергать опасности свой храбрый гарнизонъ и своихъ вѣрныхъ товарищей. Не дожидаясь послѣдняго рѣшительнаго приступа русскихъ войскъ, Пулавскій выбралъ изъ всего ченстоховскаго гарнизона четыреста конфедератовъ лучшихъ, какіе еще оставались между патріотами, далъ имъ всѣ средства, чтобъ они могли возвратиться каждый въ свой домъ, и притомъ какъ можно поспѣшнѣе. Потомъ онъ написалъ письмо и вручилъ его одному офицеру, съ тѣмъ чтобы письмо это было прочитано гарнизону, когда Пулавскаго уже не будетъ въ крѣпости. Онъ рѣшился покинуть своихъ товарищей, потому что со взятіемъ Ченстохова конфедерація сама собой распадалась. Въ письмѣ своемъ Пулавскій говоритъ: „Я взялъ оружіе для общественной пользы; для общественной же пользы я бросаю его. Союзъ трехъ могущественнѣйшихъ державъ лишаетъ насъ теперь всякой возможности защищаться; дѣло, въ которое я замѣшанъ, помѣшаетъ мнѣ выговорить для васъ условія сдачи и вовлечетъ васъ въ несчастіе, которое меня ожидаетъ. Я испыталъ вашу ревность и ваше мужество, и вѣрю, что вы останетесь всегда такими же, какими были со мною.“ Потомъ онъ далъ этому офицеру инструкцію, какъ поступать послѣ его отъѣзда изъ крѣпости. Пулавскій приказалъ, чтобы ченстоховскіе конфедераты, какъ только Суворовъ возьметъ Краковъ, дали знать королю, что они готовы сдаться на капитуляцію и впустить въ крѣпость польскія или коронныя войска, показывая этимъ, что конфедераты, если и враждовали до сихъ поръ противъ короля, такъ не потому, что желали власти для себя собственно. Только трое изъ офицеровъ знали о намѣреніи и днѣ отъѣзда Пулавскаго: прощаясь съ ними, онъ плакалъ и по-

ручалъ имъ свой гарнизонъ, которому не могъ даже сказать послѣдняго—прости. Пулавскій взялъ съ собой только адъютанта и двухъ ординарцевъ; съ нимъ отправились также и двое слугъ, которые никогда его не покидали.

Извѣстіе объ отъѣздѣ Пулавскаго произвело тяжелое впечатлѣніе на покинутый имъ гарнизонъ. Ченстоховъ остался безъ своего любимаго военачальника, имя котораго сдѣлалось славнымъ между конфедератами и дорогимъ для каждаго патріота. Оставленное имъ письмо и инструкція были прочитаны гарнизону и возбудили въ немъ новое мужество. Но приближались послѣднія минуты независимости и этой крѣпости. Суворовъ взялъ Краковъ и отрядилъ новые отряды къ Ченстохову. Онъ обѣщалъ конфедератамъ полную амнистію, если они сдадутся; три раза онъ посылалъ въ Ченстоховъ съ этимъ предложеніемъ и три раза ему отвѣчали, что они готовы отворить ворота крѣпости коронным войскамъ и покориться королю, но русскихъ не впустятъ. И несмотря на этотъ отвѣтъ, Суворовъ, дѣйствовавшій будто бы въ интересахъ Станислава-Августа, приказалъ войскамъ снова идти на приступъ. Но и послѣ этого ужаснаго приступа крѣпость не сдавалась. Тогда изъ Варшавы пришло повелѣніе сдать крѣпость русскимъ. 15 августа 1772 года конфедераты вышли изъ Ченстохова.

Черезъ недѣлю послѣ этого Фридрихъ писалъ къ Сольмсу въ Петербургъ, что Ченстоховъ взятъ и что конфедераты бѣгутъ во Францію ([1]). Дѣйствительно, конфедератамъ ничего больше не оставалось, какъ покидать родину.

([1]) Ce réfuge nous doit être cependant fort indifférent. Il ne pourra altérer nos arrangements en aucune façon, et dès que nous parvien-

Но положеніе эмигрантовъ было самое плачевное. Австрія, во владѣнія которой конфедераты до сихъ поръ имѣли свободный доступъ, теперь гнала ихъ какъ личныхъ враговъ, и Фридрихъ радовался, видя конечную гибель патріотовъ; Пруссія готовила для нихъ не лучшій пріемъ; турки сами находились въ такомъ положеніи, что должны были трепетать за цѣлость своихъ собственныхъ владѣній и не вполнѣ были увѣрены, что три союзницы,—Австрія, Пруссія и Россія, не выгонятъ ихъ совершенно изъ Европы, вмѣстѣ съ скрывавшимися въ Турціи конфедератами; одна Франція могла еще пріютить эмигрантовъ, но и то только до перваго каприза какой нибудь любовницы короля или его министровъ. Нѣкоторые изъ конфедератовъ, собственно тѣ, которые не желали разстаться съ Польшею, должны были покориться. Они отправили къ Станиславу-Августу двухъ депутатовъ съ изъявленіемъ покорности, но въ то же время выразили надежду, что король употребитъ всѣ усилія, чтобъ воспрепятствовать раздѣлу Польши. Сами они еще думали дѣйствовать противъ общихъ враговъ соединенными усиліями націи и короля. Но было уже поздно. Остальные конфедераты, а особенно люди, руководившіе патріотическимъ движеніемъ послѣдняго времени, по необходимости покидали родину. Пацъ, руководившій по преимуществу дипломатическими дѣлами конфедераціи и находившійся въ Австріи, не могъ уже оставаться тамъ послѣ уничтоженія остальной партіи патріотовъ

---

drons à la diéte de pacification, ils seront peut-être bien obligés de retourner dans leur patrie, pour éviter l'éxil, auquel ils pourraient être condamnés. Nos intérêts ne s'en repentiront pas nullement quelque partie qu'ils prennent (Smitt, 163).

и принужденъ былъ искать убѣжища вдали отъ родины. На его рукахъ находились всѣ бумаги, акты и дипломатическая переписка патріотической партіи; покидая Венгрію, онъ не могъ взять съ собой архива конфедераціи, и только при посредствѣ Франціи архивъ былъ перевезенъ въ Страсбургъ и принятъ Віоменилемъ.

Пулавскій также покинулъ Польшу. Этотъ человѣкъ потерялъ все, что имѣлъ дорогаго въ жизни: отечество, которое онъ такъ любилъ, для него не существовало; онъ сталъ чужимъ для Польши, которая отреклась отъ своего любимца или не умѣла отстоять его передъ врагами; онъ потерялъ имущество, власть, друзей; онъ лишился, наконецъ, въ этой несчастной борьбѣ за независимость Польши, самыхъ близкихъ родныхъ: отецъ его, Іосифъ Пулавскій, навлекъ на себя подозрѣніе патріотовъ, и—какъ говоритъ любимый польскій историкъ - w więzieniu umarł. Вѣсть о погибели отца была тяжелымъ для него испытаніемъ (przeniknęła Kazimierza boleścią, zapaliła do działania). Участь меньшаго брата, сосланнаго въ Казань и бывшаго потомъ въ свитѣ Пугачева, всѣмъ извѣстна. Самъ онъ, оставивъ тайно Ченстоховъ, когда не оставалось никакой надежды помочь родинѣ, долго скитался на границахъ Польши, удалился потомъ въ Турцію, примкнулъ къ оттоманской арміи, въ которой недолго оставался; послѣ мира въ Кайнарджи, онъ пробрался въ Баварію. Тамъ онъ видѣлся съ Огиньскимъ, участь котораго была не лучше участи другихъ конфедератовъ. Наконецъ Пулавскій является въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ и умираетъ за независимость чуждой ему народности.

Одинъ Заремба, поставившій свое имя на ряду съ именами Пулавскаго, Огиньскаго, Красинскаго, Паца, самъ

убилъ свое прошедшее, показавъ слабость. Мало того, онъ оказался смѣшнымъ и жалкимъ въ глазахъ русскихъ. Послѣ принесенія покорности королю, онъ, по зову его, явился въ Варшаву и далъ обѣщаніе не дѣйствовать не только противъ него и республики, но и противъ русскихъ. Его задержали въ Варшавѣ вмѣстѣ съ его штабомъ. Прежде непримиримый врагъ русскихъ, онъ теперь поступилъ къ нимъ въ службу съ отрядомъ гусаръ, изъ которыхъ половина отказалась отъ такой перемѣны роли и оставила его, примкнувъ къ другимъ отрядамъ конфедератовъ. Надо замѣтить, что это было еще тогда, когда Ченстоховъ не былъ взятъ русскими и когда Пулавскій надѣялся, что усилія конфедератовъ не будутъ безплодны. Презираемый патріотами, дурно принятый въ Варшавѣ, какъ королевскою, такъ и русскою партіею, Заремба написалъ къ Сальдерну письмо, дышащее крайнимъ униженіемъ передъ русскимъ посланникомъ. Въ этомъ письмѣ онъ просилъ у Сальдерна прощенія за свои дѣла, отъ которыхъ теперь отказался публично, называя ихъ чуть-ли не преступленіями (les écarts); приписывалъ Сальдерну такія великодушныя намѣренія въ отношеніи къ Польшѣ, какихъ этотъ безцеремонный голштинецъ никогда не могъ имѣть; изливалъ передъ нимъ чувства уваженія и покорности. Заремба жаловался и на русскихъ, которые опустошили его имѣнія, захватили деньги и пожитки, и даже на Пулавскаго, который, безъ сомнѣнія, въ негодованіи за трусость Зарембы, приказалъ разрушить и предать огню двѣ деревни, ему принадлежавшія. Все мужество Зарембы и любовь къ родинѣ оказались пустяками, когда онъ увидѣлъ, что лишился своихъ богатствъ. Нищета испугала его такъ, что онъ забылъ и Польшу, и конфедера-

и принужденъ былъ искать убѣжища вдали отъ родины. На его рукахъ находились всѣ бумаги, акты и дипломатическая переписка патріотической партіи; покидая Венгрію, онъ не могъ взять съ собой архива конфедераціи, и только при посредствѣ Франціи архивъ былъ перевезенъ въ Страсбургъ и принятъ Віоменилемъ.

Пулавскій также покинулъ Польшу. Этотъ человѣкъ потерялъ все, что имѣлъ дорогаго въ жизни: отечество, которое онъ такъ любилъ, для него не существовало; онъ сталъ чужимъ для Польши, которая отреклась отъ своего любимца или не умѣла отстоять его передъ врагами; онъ потерялъ имущество, власть, друзей; онъ лишился, наконецъ, въ этой несчастной борьбѣ за независимость Польши, самыхъ близкихъ родныхъ: отецъ его, Іосифъ Пулавскій, навлекъ на себя подозрѣніе патріотовъ, и—какъ говоритъ любимый польскій историкъ - w więzieniu umarł. Вѣсть о погибели отца была тяжелымъ для него испытаніемъ (przeniknęła Kazimierza boleścią, zapaliła do działania). Участь меньшаго брата, сосланнаго въ Казань и бывшаго потомъ въ свитѣ Пугачева, всѣмъ извѣстна. Самъ онъ, оставивъ тайно Ченстоховъ, когда не оставалось никакой надежды помочь родинѣ, долго скитался на границахъ Польши, удалился потомъ въ Турцію, примкнулъ къ оттоманской арміи, въ которой недолго оставался; послѣ мира въ Кайнарджи, онъ пробрался въ Баварію. Тамъ онъ видѣлся съ Огиньскимъ, участь котораго была не лучше участи другихъ конфедератовъ. Наконецъ Пулавскій является въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ и умираетъ за независимость чуждой ему народности.

Одинъ Заремба, поставившій свое имя на ряду съ именами Пулавскаго, Огиньскаго, Красинскаго, Паца, самъ

убилъ свое прошедшее, показавъ слабость. Мало того, онъ оказался смѣшнымъ и жалкимъ въ глазахъ русскихъ. Послѣ принесенія покорности королю, онъ, по зову его, явился въ Варшаву и далъ обѣщаніе не дѣйствовать не только противъ него и республики, но и противъ русскихъ. Его задержали въ Варшавѣ вмѣстѣ съ его штабомъ. Прежде непримиримый врагъ русскихъ, онъ теперь поступилъ къ нимъ въ службу съ отрядомъ гусаръ, изъ которыхъ половина отказалась отъ такой перемѣны роли и оставила его, примкнувъ къ другимъ отрядамъ конфедератовъ. Надо замѣтить, что это было еще тогда, когда Ченстоховъ не былъ взятъ русскими и когда Пулавскій надѣялся, что усилія конфедератовъ не будутъ безплодны. Презираемый патріотами, дурно принятый въ Варшавѣ, какъ королевскою, такъ и русскою партіею, Заремба написалъ къ Сальдерну письмо, дышащее крайнимъ униженіемъ передъ русскимъ посланникомъ. Въ этомъ письмѣ онъ просилъ у Сальдерна прощенія за свои дѣла, отъ которыхъ теперь отказался публично, называя ихъ чуть-ли не преступленіями (les écarts); приписывалъ Сальдерну такія великодушныя намѣренія въ отношеніи къ Польшѣ, какихъ этотъ безцеремонный голштинецъ никогда не могъ имѣть; изливалъ передъ нимъ чувства уваженія и покорности. Заремба жаловался и на русскихъ, которые опустошили его имѣнія, захватили деньги и пожитки, и даже на Пулавскаго, который, безъ сомнѣнія, въ негодованіи за трусость Зарембы, приказалъ разрушить и предать огню двѣ деревни, ему принадлежавшія. Все мужество Зарембы и любовь къ родинѣ оказались пустяками, когда онъ увидѣлъ, что лишился своихъ богатствъ. Нищета испугала его такъ, что онъ забылъ и Польшу, и конфедера-

товъ, и отношенія дружбы къ патріотамъ, и свое честолюбіе, и наконецъ — славу, которою справедливо пользовалось его имя не только между соотечественниками, но и у русскихъ. „Наконецъ (заключаетъ онъ свое письмо), когда я покорился, когда я умоляю ваше превосходительство о защитѣ, неужели я долженъ буду лишиться даже полка гусаръ, который я снарядилъ на свой собственный счетъ?

Всѣ эти обстоятельства повергаютъ меня въ отчаяніе.“

Естественно, что на такое письмо даже Сальдернъ не могъ отвѣчать ничѣмъ другимъ, кромѣ жестокости и презрѣнія. И онъ отвѣчалъ конфедерату въ тотъ же день, 6 мая, въ такихъ выраженіяхъ, какія не всякій полякъ могъ бы выслушать хладнокровно, а тѣмъ болѣе они должны были оскорбить Зарембу, одного изъ первыхъ представителей патріотической партіи. Но Заремба уже упалъ слишкомъ низко — и не смѣлъ оскорбляться. „Вы не стоите никакого состраданія,“ писалъ ему между прочимъ Сальдернъ, и прибавлялъ, что его дверь закрыта для Зарембы и для людей ему подобныхъ. Потомъ, наговоривъ ему разныхъ дерзостей, Сальдернъ, какъ бы въ насмѣшку, весьма деликатно заканчиваетъ свое письмо слѣдующими словами: „telle est la réponse que vous fait l'ambassadeur de Russie,“ — и дѣйствительно, лучшаго отвѣта не заслуживалъ Заремба.

Въ такомъ положеніи находились дѣла въ Польшѣ, когда король ея только началъ догадываться, что происходило вокругъ него и что дѣлаютъ сосѣднія государства, которымъ онъ довѣрилъ охраненіе своей особы и, между прочимъ, своего королевства. Онъ увидѣлъ, что войска протекторовъ все тѣснѣе и тѣснѣе охватываютъ со всѣхъ сторонъ владѣ-

нія рѣчи посполитой; къ нему начали доходить слухи, касательно раздѣла и что рѣчь идетъ уже не о его королевской особѣ, а о томъ, кому изъ протекторовъ достанется лучшій кусокъ Польши. Теперь только, когда все уже было кончено, открылись глаза у добраго Станислава-Августа. Онъ ничего не понималъ до сихъ поръ; онъ не понималъ что дѣлалось вокругъ него даже и тогда, когда послѣдніе изъ конфедератовъ, потерявъ всякую надежду возстановить самостоятельность Польши, покорились тяжкой необходимости и, явившись въ Варшаву съ повинной, говорили королю, что не они конфедераты—его враги, а тѣ, кому всецѣло отдался онъ; что они, конфедераты, объявившіе Станислава-Августа лишеннымъ престола, готовы соединиться съ нимъ, лишь бы дѣйствовать заодно противъ общихъ недоброжелателей рѣчи посполитой. Но прошло нѣсколько мѣсяцевъ и король созналъ опасность своего положенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ увидѣлъ, какъ много безотраднаго въ тогдашнемъ состояніи Польши и какое предстоитъ ей будущее. Онъ рѣшился дѣйствовать, но уже не такъ какъ дѣйствовалъ до сихъ поръ. Тѣ, которыхъ онъ считалъ своими защитниками и друзьями, оказались врагами и претендентами на его владѣнія; онъ сталъ бояться тѣхъ, кому довѣрялся такъ слѣпо; конфедераты, напротивъ, хотя и не заботились лично о королѣ, о его спокойствіи и его правахъ, зато хотѣли добра всей Польшѣ. Роли, такимъ образомъ, совершенно измѣнились. Присутствіе Сальдерна въ Варшавѣ оказалось не нужнымъ. Потому ли, что онъ своимъ суровымъ обращеніемъ съ поляками успѣлъ вооружить противъ себя всѣ партіи, начиная отъ патріотовъ до самыхъ крайнихъ руссофиловъ, потому ли, что, считаясь сторонни-

комъ Панина, не вполнѣ одобрявшаго раздѣлъ Польши, онъ сдѣлался жертвою придворныхъ интригъ партій Орловыхъ и Чернышевыхъ, или потому просто, что надо же было кого нибудь показать искупительною жертвою передъ Европой за тотъ образъ дѣйствій, который дозволяли себѣ въ Польшѣ ея протекторы, — только Сальдернъ былъ отозванъ въ Петербургъ, холодно принятъ, подвергся публичнымъ нареканіямъ за свои поступки въ Варшавѣ и былъ удаленъ изъ Россіи съ лишеніемъ всѣхъ должностей и званій. Сальдернъ удалился въ свою Голштинію съ огромнымъ капиталомъ, сколоченнымъ или, какъ говоритъ Рюльеръ, „награбленнымъ“ впродолженіи долголѣтней, безпорядочной службы. На мѣсто его прислали Штакельберга, родомъ изъ Ливоніи, бывшаго передъ тѣмъ посломъ въ Испаніи. Этотъ человѣкъ далеко не былъ похожъ на своего предшественника, хотя для Польши уже было все равно, кого бы ни присылали взамѣнъ Сальдерна, потому что и послѣ его отбытія система умиротворенія Польши нисколько не измѣнилась. Въ числѣ патріотовъ, не хотѣвшихъ разстаться съ мыслью о возстановленіи независимости рѣчи посполитой, былъ Адамъ Красинскій, епископъ каменецкій, котораго польскіе историки называютъ душою барской конфедераціи. Когда еще у конфедератовъ была надежда на избавленіе Польши отъ постигшихъ ее бѣдствій и когда патріоты ожидали, что какимъ нибудь чудомъ, сверхъестественной силой рѣчь посполитая спасется отъ тяжелой и опасной опеки сосѣдей, Адамъ Красинскій являлся ко всѣмъ европейскимъ дворамъ и напрасно просилъ помощи своей родинѣ: его слушали съ сочувствіемъ, но помочь никто не могъ, потому что никто не осмѣлился бы стать въ открытую вражду съ такими держа-

вами, какъ Пруссія, Австрія и Россія. Теперь, когда даже Станиславъ-Августъ понялъ всю безвыходность положенія своего королевства и въ этихъ обстоятельствахъ рѣшился прибѣгнуть за совѣтомъ ко всей націи, для чего и думалъ созвать сеймъ; Красинскій не оправдывалъ этой безполезной мѣры и говорилъ, что сеймъ теперь ни къ чему не поведетъ, что рѣшеніями его будутъ заправлять не истина и не сила убѣжденій, а солдаты сосѣдей—протекторовъ Польши. „Не надо сейма, писалъ онъ въ октябрѣ, 1772 года; подождемъ случая; король согласится на все и все приметъ. Деньги, обѣщанія, мѣста, угрозы, — не оставятъ никого на сеймѣ, кромѣ людей слабыхъ и подкупныхъ, и мысль о сопротивленіи среди сабель и пушекъ чистая химера... Намъ нужно разумное мужество — и не нужно сейма.“ Въ томъ отчаянномъ положеніи, въ какомъ находилась Польша, ничего не оставалось болѣе, какъ прибѣгнуть къ милости сосѣднихъ государей и другихъ представителей власти. Но къ кому было обращаться? Франція чувствовала безсиліе, а прочія державы сами заинтересованы были въ дѣлахъ рѣчи посполитой. Порта, униженная послѣднею войною съ Россіею, жаждала мира; въ Швеціи вспыхнула въ это самое время революція. Оставалось умолять о пощадѣ Пруссію, Австрію и Россію, — и поляки обратились къ нимъ въ отчаянномъ порывѣ спасти хотя что нибудь. Но все было напрасно. Эти несвоевременные порывы служили только къ тому, что Фридрихъ счелъ нужнымъ еще рѣшительнѣе добиваться окончанія польскаго дѣла. Точно въ насмѣшку надъ ними (ces gens là, какъ онъ называетъ короля и прочихъ представителей рѣчи посполитой) Фридрихъ, въ отвѣтъ на ихъ жалобы и мольбы, велитъ войскамъ подвигаться далѣе къ цент-

ру государства, и когда поляки, протестуя противъ раздѣла своихъ территорій, клялись умереть съ оружіемъ въ рукахъ, лишь бы не видѣть позора отчизны ([1]), онъ, не отвѣчая имъ ничего, писалъ въ Петербургъ, что силой заставитъ ихъ повиноваться.

Слова Фридриха не были пустой угрозой. Раньше этого былъ схваченъ Красинскій, который, опасаясь оставаться въ предѣлахъ Польши (потому что патріотамъ менѣе всего представляла безопасности Польша), жилъ въ одномъ изъ округовъ Силезіи. Поводомъ къ преслѣдованію этого человѣка послужило сейчасъ упомянутое нами письмо, въ которомъ онъ говорилъ, что не нужно сейма, что всякаго, кто осмѣлится говорить въ пользу отечества, ждетъ ссылка. Письмо, кажется, было перехвачено пруссаками, потому что шпіоны тщательно слѣдили за поступками Красинскаго, какъ одного изъ самыхъ опасныхъ конфедератовъ, если только конфедераты могли еще возбуждать въ комъ либо серьезныя опасенія. Въ одну изъ октябрьскихъ ночей домъ епископа былъ окруженъ отрядомъ вооруженныхъ людей, которыми начальствовалъ какой-то гусаръ въ прусскомъ мундирѣ. Гусаръ, явившись въ домъ епископа, перебудилъ всѣхъ и сказалъ, что онъ имѣетъ порученіе и письмо отъ одного прусскаго маіора и, приставивъ пистолетъ къ горлу слуги Красинскаго, велѣлъ ему провести къ барину. Слуга поднялъ крикъ, надѣясь, что епископъ, поняв опасность своего положенія, успѣетъ спа-

---

([1]) ...«On renonce au premier projet de convoquer l'arrière-ban, et de mourir les armes à la main plutôt que designer ce qu'ils appèllent l'opprobre de la Pologne.» (Фридрихъ къ Сольмсу, у Smitt'a 182—183. Самъ Фридрихъ не считалъ этого позоромъ для Польши.)

стись; но въ это время епископъ самъ вышелъ на крикъ, спросилъ, что̀ тамъ зашумъ и тотчасъ же былъ схваченъ. Надо замѣтить, что отрядъ, напавшій на жилище Красинскаго и арестовавшій его посредствомъ обмана, состоялъ не изъ прусаковъ и не изъ русскихъ, а изъ поляковъ, между которыми былъ, какъ говорятъ, одинъ только казакъ. Поляки обращались съ своимъ плѣнникомъ жестоко. Говорятъ, что Красинскій едва могъ выпросить позволеніе, когда его уводили изъ дому, надѣть сапоги и довольно легкое платье, и только казакъ явилъ себя столько великодушнымъ, что помогъ епископу одѣться. Красинскаго посадили на лошадь, и болѣе шести миль онъ принужденъ былъ ѣхать верхомъ, пока ему не позволили сѣсть въ карету князя Голицына. Слуга бѣжалъ за нимъ, чтобы вручить арестованному хотя небольшую сумму денегъ, полтораста флориновъ; но гусаръ взялъ себѣ эти деньги. У Красинскаго захватили также всѣ бумаги, однако въ нихъ не нашли ничего, что̀ могло бы дать поводъ обвинить его въ чемъ бы то ни было. Говорятъ, что гусаръ въ прусскомъ мундирѣ, арестовавшій епископа, былъ переодѣтый русскій и дѣйствовалъ по приказанію Бибикова. Красинскаго привезли въ Варшаву и ввели къ Бибикову, у котораго въ это время находились Штакельбергъ, папскій пунцій и посланники австрійскій и прусскій. Здѣсь его допрашивали. Красинскій просилъ позволенія писать къ королю, чтобы Станиславъ-Августъ прислалъ къ нему кого либо, съ кѣмъ бы онъ могъ объясниться, и король прислалъ Огродскаго. Красинскій говорилъ, что никогда не былъ противникомъ ни короля, ни Россіи; но что желалъ и всегда будетъ желать освободить свое отечество отъ того положенія, въ которое поставилъ его Репнинъ.

еще въ то время, когда распоряжался дѣлами Польши. Красинскому приписывали объявленіе междуцарствія, то есть объявленіе польскаго трона вакантнымъ; но онъ отвѣчалъ, что это было сдѣлано противъ его воли; что актъ такой важности, какъ объявленіе междуцарствія, по его мнѣнію, нельзя публиковать, не убѣдившись, что онъ будетъ принятъ и поддержанъ большинствомъ. Ему предложили тогда вновь признать законнымъ избраніе Понятовскаго: онъ отказался, говоря, что уже узналъ короля, и что это значило бы бросать тѣнь сомнѣнія на свободу его избранія на престолъ. Хотѣли замѣшать его въ процессъ похищенія короля, но и тутъ ничего не могли сдѣлать. Красинскій былъ опасенъ своимъ умомъ, своей энергіей и желаніемъ общественной пользы; на его долю выпала рѣдкая популярность: его считали мученикомъ за вѣру и отечество. Штакельбергъ, вообще поступавшій много деликатнѣе своего предшественника, Сальдерна, старался избѣгать крайнихъ мѣръ и, сколько могъ, оказывалъ епископу свое уваженіе и участіе къ его положенію. Ожидая предписаній изъ Петербурга насчетъ Красинскаго, Штакельбергъ отвелъ ему приличное помѣщеніе въ шести миляхъ отъ Варшавы, и часто приглашалъ къ себѣ на обѣдъ, куда епископъ отправлялся всегда въ сопровожденіи офицера и двухъ казаковъ.

Папскій нунцій, входя въ положеніе католическихъ епископовъ въ Польшѣ, писалъ въ Петербургъ и именемъ папы просилъ свободы не только для Красинскаго, но и для нѣкоторыхъ другихъ епископовъ и сенаторовъ польскихъ. Просьба нунція была уважена.

Такъ прошелъ 1772 годъ, одинъ изъ самыхъ роковыхъ для Польши. Къ концу года Пруссія, Австрія и Россія пе-

редъ всѣмъ міромъ заявили актъ раздѣленія рѣчи посполитой.

Станиславъ-Августъ, испытавъ безполезность униженія передъ сильными сосѣдями, догадывается, хотя уже слишкомъ поздно, что онъ долженъ искать опоры не внѣ своего царства, а дома, не въ расположеніи сосѣдей, а въ любви народа, которой онъ не умѣлъ заслужить, потому что и не думалъ объ этомъ, гордый любовью Россіи, Австріи и Пруссіи. Теперь онъ рѣшился прибѣгнуть къ націи. Но и здѣсь онъ поступилъ также непрактически, какъ привыкъ поступать всю жизнь. Вмѣсто того, чтобъ думать о Польшѣ, онъ думалъ только о себѣ; вмѣсто сожалѣнія о постигшихъ націи бѣдствіяхъ, онъ только и помнилъ, только и говорилъ всѣмъ, какимъ бѣдствіямъ подвергался онъ, какъ злые цареубійцы покушались на его жизнь, какъ хватали его заговорщики и какъ чудесный промыслъ спасъ его отъ рукъ убійцъ; вмѣсто того, чтобы высказать передъ націей всю свою несостоятельность, сознаться въ ошибкахъ, въ отсутствіи политическаго такта, и просить у націи совѣта и нравственной поддержки, король продолжаетъ плакаться надъ своей собственной участью, не перестаетъ говорить о томъ, какъ чуть чуть не была пролита его „неповинная кровь“ (нѣсколько капель впрочемъ было пролито). Узнавъ положительно о рѣшеніи кабинетовъ сосѣднихъ государствъ—отрѣзать отъ Польши нѣсколько провинцій, Станиславъ-Августъ, въ началѣ 1773 года созываетъ сенатъ (senatus consilium). Но въ циркулярахъ, разосланныхъ по этому случаю, поднимаетъ такія исторіи, о которыхъ вовсе не слѣдовало бы говорить, и, въ особенности, ставитъ себя въ такія неловкія отношенія съ патріотами, что едва ли уже можно было надѣяться на успѣхъ. Безтактность короля проявилась въ томъ, что онъ,

вмѣсто того, чтобы умолчать о дѣлѣ конфедератовъ, выставилъ его въ самомъ оскорбительномъ свѣтѣ. Онъ и теперь не хотѣлъ понять, что патріоты любили Польшу не меньше того, какъ онъ ее любилъ,—по крайней мѣрѣ ему такъ казалось, что онъ ее любитъ; онъ не хотѣлъ понять, что у патріотовъ непріязни лично къ нему, какъ къ Понятовскому, не было; а была непріязнь къ нему, какъ къ королю, который отдалъ свое государство въ руки генераламъ и полковникамъ, пришедшимъ въ Польшу съ чужими войсками и полонившимъ ее; онъ не умѣлъ понять, что конфедераты меньше его были виноваты передъ Польшей; что не они накликали бѣду на свое царство, а онъ; не они призвали войска чужихъ государей, а онъ, для охраны своей персоны; что если кто погубилъ Польшу—такъ это онъ прежде всего, а потомъ правительственная шляхта, не хотѣвшая знать другихъ сословій, не понимавшая, что троны крѣпки любовью націи. Въ самую тяжелую минуту своего царствованія, Станиславъ-Августъ остался все такимъ же, какимъ былъ до сихъ поръ, и не образумился на столько, чтобъ догадаться, что можно было бы и не оскорблять несправедливымъ упрекомъ конфедератовъ въ то время, когда Польша дѣйствительно находилась въ опасности и когда тронъ нуждался въ поддержкѣ націи. Оскорбляя конфедератовъ, Станиславъ-Августъ отталкивалъ отъ себя едва ли не большую половину націи, въ то время, когда наиболѣе нуждался въ ея помощи, и разрушалъ единодушіе въ государствѣ, когда только единодушіе могло еще спасти Польшу. Онъ напомнилъ и о своемъ низложеніи съ престола и о „цареубійствѣ,“ которое, къ счастью, не совершилось, и о злодѣйствахъ, о безчестіи націи и проч., — и все это связалъ съ именемъ

конфедераціи, хотя, конечно, мнимая деликатность не позволила ему употребить самаго имени ея, когда идея, скрывавшаяся подъ этимъ именемъ, была совершенно имъ опозорена, оскорблена и дѣло конфедератовъ унижено. Между тѣмъ, о себѣ Станиславъ-Августъ выражается отборными фразами: онъ говоритъ, что скипетръ врученъ ему единодушною и свободною волею народа и наконецъ распространяется даже о своей любви къ подданнымъ.

Но подданные сами знали всю силу этой любви и заплатили королю равносильнымъ чувствомъ. Они и не думали спасать такого короля, какъ Станиславъ-Августъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дали погибнуть и всей рѣчи посполитой.

Мало того что Станиславъ-Августъ своимъ призывомъ къ открытію сената оскорбилъ полъ-націи и тѣмъ ослабилъ и безъ того ничтожныя свои силы, союзныя державы, дѣлившія между собой Польшу, запретили присутствовать въ senatus consilium тѣмъ сенаторамъ, которые считались представителями отпавшихъ отъ рѣчи посполитой территорій. „Вы не должны присутствовать въ сенатѣ (писалъ Штакельбергъ тѣмъ депутатамъ рѣчи посполитой, которые должны были отстаивать интересы провинцій, отходившихъ къ Россіи), и если вы преступите это приказаніе, то я предупреждаю васъ, что вы навлечете на себя жестокое преслѣдованіе и послѣдствія вашего неповиновенія будутъ для васъ гибельны.“ Области, отходившія отъ Польши, уже потому не могли выслать своихъ представителей въ сенатъ, что и легально и фактически стали чужими для рѣчи посполитой территоріями; въ нихъ уже организовалось свое управленіе, сообразно съ общей административной организаціей тѣхъ государствъ, къ которымъ они отходили. Такъ, напримѣръ, въ той части

польскаго королевства, которая отрѣзывалась въ пользу Россіи, уже находились русскіе губернаторы, генералы Каховскій и Кречетниковъ, а главнымъ правителемъ всѣхъ отрѣзанныхъ земель уже фактически былъ графъ Чернышевъ; тамъ уже находились не только русскіе офицеры и солдаты, но и русскіе чиновники; тамъ быстро вводилось русское судоустройство; тамъ шла въ это время присяга на подданство Россіи и должна была быть кончена непремѣнно къ 15-му января 1773 года, и то только для тѣхъ, которые, вслѣдствіе отлучекъ за границу или по какимъ-либо другимъ препятствіямъ, не успѣли присягнуть въ 1772 году. Отправленіе депутатовъ въ варшавскій сенатъ, по призыву короля, уже чужаго для нихъ, могло считаться теперь государственной измѣной или по крайней мѣрѣ нарушеніемъ тишины и спокойствія гражданъ: — а „дѣла, нарушающія спокойствіе и тишину гражданъ (сказано въ русскихъ правительственныхъ публикаціяхъ), да будутъ вѣдомы не въ иныхъ мѣстахъ, какъ въ тѣхъ, кои отъ власти верховной (русской) на то устроены;“ даже „аппеляціи изъ нижнихъ судовъ, кои были въ высшіе суды, подвластные республикѣ или коронѣ польской, нынѣ перенесутся въ русскія правительства по порядку, куда какія дѣлать надлежитъ“ (Полн. Собр. зак. рос. имп. XIX, 13, 808).

Нехотѣвшіе покориться вновь вводимымъ порядкамъ добровольно бѣжали изъ Польши, потому что они не могли укрыться даже въ такъ называемой свободной Польшѣ и не могли быть безопасны въ самой Варшавѣ, окруженной иностранными войсками, которыя должны были наблюдать за общественной тишиной и спокойствіемъ. Русское правительство, впрочемъ, распорядилось очень человѣколюбиво съ тѣми, которые не

желали дѣлаться русскими подданными: оно позволило имъ продать въ извѣстный срокъ свое имущество и покинуть родину; а если въ назначенный срокъ имѣніе не продавалось, то отбиралось въ казну.

Какъ же самъ народъ относился къ новому господству? Народу было все равно, кто бы ни повелѣвалъ имъ, лишь бы не мучили его войнами, поборами, грабежами, судебною волокитою и шляхетскимъ произволомъ; но во всякомъ случаѣ онъ не желалъ продолженія господства польскихъ пановъ и радъ былъ перемѣнить ихъ на другихъ, чтобы по крайней мѣрѣ попытать счастья и спробовать, не будетъ ли лучше въ другихъ рукахъ. Польскому народу терять было нечего, потому что онъ все потерялъ, —и матеріальное довольство, и покой, и даже послѣднее достояніе, какое могъ имѣть самый бѣдный подданный самаго бѣднаго государства. Слѣдовательно, народъ молчалъ, равнодушно или даже съ радостью слушая публикаціи, что онъ переходитъ въ подданство другому государству. Ему не жалко было разставаться съ панами, притомъ многіе паны оставались на своихъ мѣстахъ и сами не хотѣли разставаться съ своими хлопами, а чтобъ не разстаться съ ними— присягали на вѣрность другому правительству. Вмѣстѣ съ ними присягали и хлопы. Притомъ, новыя правительства на первый же разъ оказали разныя милости новымъ своимъ подданнымъ. „Всемилостивѣйше восхотя (объявляло русское правительство) оказать новымъ подданнымъ нашимъ опытъ монаршаго нашего къ нимъ попеченія, освобождаемъ ихъ на полгода отъ положенныхъ государственныхъ поголовныхъ и винныхъ податей.“ (Пол. Собр. зак. рос. имп. XIX, 13, 923). Русское правительство пріобрѣтало сторонниковъ въ Польшѣ и другими средствами,

парализируя силы республиканскаго правительства. Въ то время, когда Станиславъ-Августъ призывалъ своихъ подданныхъ въ сенатъ къ чрезвычайному собранію, генералъ губернаторъ вновь пріобрѣтенныхъ Россіею странъ дѣлалъ-свое дѣло: такъ какъ россійскіе подданные (докладывалъ графъ Чернышевъ государынѣ) удостоены имѣть опытъ матерняго вашего милосердія, въ милостивомъ соизволеніи, чтобъ къ сочиненію проекта новаго уложенія призваны были изъ всѣхъ уѣздовъ имперіи депутаты, не только для того, чтобъ отъ нихъ выслушать нужды и недостатки каждаго состоянія, но допущены они и въ коммиссію сочиненія великаго сего и отечеству полезнаго дѣла," то „позвольте мнѣ, всемилостивѣйшая государиня (продолжалъ Чернышевъ), какъ учрежденному отъ васъ попечителю новоприсоединенныхъ державъ вашего величества двухъ бѣлорусскихъ губерній" просить „о удостоеніи такой же матерней милости" новыхъ подданныхъ, дабы, какъ онъ выражался, они щедротами были „во всемъ сравнены съ древними вѣрноподданными вашими" (16 генваря 1773 года, Пол. Собр. зак. 13, 938). Государыня согласилась и на эту милость.

Черезъ мѣсяцъ оказаны были новыя милости народу. „Чтобъ усугубить новымъ подданнымъ нашимъ знаки монаршаго нашего объ нихъ и о благоденствіи ихъ попеченія," объявлялось именнымъ указомъ,—всемилостивѣйше повелѣно было всѣ староства, купленныя владѣльцами, учинившими присягу на подданство Россіи, отдать имъ же на аренду по смерть, безъ платежа аренды до тѣхъ поръ, пока не выплатятъ весь долгъ за покупку, а всѣ староства, доставшіяся по наслѣдству или въ даръ отъ короны польской, отдать

владѣльцамъ по смерть же, съ платежемъ арендныхъ денегъ" (Тамъ же, № 13, 957).

Черезъ мѣсяцъ—еще милости:—„Милосердуя о нашихъ подданныхъ бѣлорусской губерніи (объявлялось въ новомъ именномъ указѣ), повелѣли мы уже на первую половину сего 1773 года поголовныхъ и винныхъ денегъ съ нихъ не взыскивать; а нынѣ паки повелѣваемъ, для лучшаго въ домашнемъ ихъ состояніи поправленія"—снова брать, только въ уменьшенномъ размѣрѣ (Тамъ же, № 13, 973).

Прошелъ еще мѣсяцъ—и снова публиковалось, что императрица „всемилостивѣйше оказать соизволила новый знакъ матерняго своего къ тамошнимъ жителямъ милосердія." Именно: „къ вящшему удовольствію тамошнихъ жителей" (какъ сказано въ указѣ), въ судопроизводствѣ дозволенъ польскій языкъ и судей разрѣшено выбирать изъ тамошняго шляхетства ([1]).

Всѣми этими мѣрами не мало подрывалась и безъ того сомнительная популярность польскаго правительства, а значеніе Станислава-Августа дѣлалось еще ничтожнѣе, если только это возможно. Безполезна была всякая попытка оживить мертвый трупъ польскаго королевства, когда королевство это давно не существовало, хотя видимый призракъ его какъ будто и жилъ, и волновался, и предъявлялъ права свои на самостоятельное значеніе. Безполезны уже были и сеймы, и конфедераціи, и senatus consilium: въ Варшавѣ продолжали находиться войска протекторовъ и нетолько не остав-

---

([1]) Пол. Собр. зак. XIX, указъ 8 мая. Мы не говоримъ о другихъ распоряженіяхъ, касающихся блага подданныхъ, какъ, напр., дозволеніе казенной продажи соли при вольной и т. п.

ляли столицу, но еще увеличивали свой составъ, и все это для того, чтобъ въ Варшавѣ было тихо и спокойно. Надо было ожидать, что войска эти будутъ охранять засѣданія senatus consilium, и поляки видѣли это съ горестью, и безсильны были протестовать противъ такой обязательной опеки. Естественно, что собраніе сената было послѣднимъ палліативомъ, къ которымъ, въ ослѣпленіи, всегда прибѣгаютъ государства, когда замѣчаютъ, что стоятъ на краю пропасти. Это были отчаянныя и почти не самопроизвольныя движенія умирающаго, когда тѣло, еще не перешедшее въ трупъ, безсознательными порывами силится сократить послѣднюю предсмертную агонію. Сенатъ долженъ былъ начать и кончить свои засѣданія по программѣ протекторовъ, не смѣя разсуждать о томъ, о чемъ не приказано, хотя одинаково уже было бы безполезно, еслибы позволили разсуждать обо всемъ. Притомъ сенатъ не могъ быть въ полномъ составѣ: иные изъ сенаторовъ сами сознавали, что не стоитъ труда хлопотать о чемъ бы то ни было, потому что уже поздно, и не явились въ собраніе; другимъ пригрозили ссылкой — и они тоже не явились; третьи сами махнули рукой на все и стали — или врагами родины, или равнодушными къ ней. Оказалось, что сенатъ не имѣлъ сенаторовъ, изъ коихъ въ сборѣ была только четвертая часть, рѣшенія которой не могли имѣть важнаго значенія для государства, полагавшаго въ основу управленія конституціонные принципы. Протекторы настаивали на томъ, отчего, еще полгода назадъ, Адамъ Красинскій предостерегалъ поляковъ, за что и былъ арестованъ, — именно на созваніи сейма, что Красинскій считалъ нетолько безполезнымъ для Польши въ ея положеніи, но и опаснымъ, и на что протекторы смотрѣли, какъ на единственно-благовидное

средство дать возможно законную наружность своимъ поступкамъ въ Польшѣ, показавъ Европѣ, что нетолько протекторство ихъ, но и самые захваты власти, земель и людей дѣлаются по волѣ представителей націи. Протекторы нетолько настаивали, но просто повелѣли, чтобы сеймъ былъ созванъ. Въ декларацiи, публикованной Штакельбергомъ, фразы такія, можно сказать, уемистыя, что подъ ними можно было скрыть какой угодно смыслъ: они видѣли въ ней дипломатическую, благородно и деликатно въ отношеніи къ чувству поляковъ написанную ноту, другіе видѣли въ ея фразахъ совершенно другой тонъ; Европѣ она представлялась весьма обыкновеннымъ выраженіемъ сочувствія Россіи къ бѣдственному положенію сосѣдки; сосѣдкѣ же въ дипломатическихъ фразахъ Штакельберга слышались несдержанныя угрозы сильнаго сосѣда. Конечно, и Европа читала много между строкъ во всѣхъ публиковавшихся тогда нотахъ относительно событій въ Польшѣ; и Европа догадывалась, что сильные сосѣди слишкомъ усердно хлопочутъ вокругъ сосѣдки,—и хлопочутъ не безкорыстно; однако, нельзя было не согласиться, что законность притязаній протекторовъ на нѣкоторыя провинціи сосѣдки и даже на ея домашнюю жизнь, была по возможности соблюдена. Россія говорила Европѣ и Польшѣ, что только анархія, столько лѣтъ раздирающая рѣчь посполитую, вынуждаетъ ее предъявить „древнія права“ свои на нѣкоторыя польскія земли, издавна принадлежавшія Россіи, и теперь имѣющія возвратиться въ ея собственность, такъ какъ сама Польша не умѣетъ управляться съ своимъ добромъ; притомъ Россія указывала на то обстоятельство, что она имѣетъ право на вознагражденіе за всѣ убытки, понесенные ею по винѣ Польши, которая, по своимъ безпрерыв-

нымъ смутамъ, требовала постояннаго присутствія русскаго войска въ Варшавѣ и въ другихъ неспокойныхъ частяхъ рѣчи посполитой. Съ государственной точки зрѣнія того времени, да пожалуй и всѣхъ временъ, Россія была логична. Поляки, по своей нелогичности и по отсутствію политическаго такта, не хотѣли понять, что въ политическомъ мірѣ справедливость всегда на сторонѣ сильнаго. Нота Штакельберга казалась имъ насмѣшкою надъ участью государства, столько пострадавшаго въ послѣднее время. Имъ все казалось обидною насмѣшкою въ этой нотѣ, — и то, будто Россія безпокоится о возстановленіи спокойствія въ Польшѣ, и что будто бы съ горестью взираетъ она, какъ польская нація, вмѣсто того, чтобы заботиться о созваніи сейма, безъ котораго невозможно умиротвореніе государства, зямышляетъ новыя измѣны, готовитъ новыя интриги и т. д. Обидно было имъ слышать, какъ ихъ самихъ же обвиняли въ гнусномъ намѣреніи продлить волненія въ своемъ собственномъ государствѣ, упрекали какъ ихъ въ томъ, будто они тайно возбуждаютъ умы гражданъ, готовятъ заговоры, чтобы только поставить преграды давно желанному успокоенію своей собственной страны. Полякамъ потому это было обидно, что они никакъ не могли считать себя виновными въ томъ, будто они сами желаютъ гибели своему государству. Штакельбергъ зналъ, что поляки постоянно будутъ оттягивать время созванія сейма и потому, согласно волѣ своего двора, самъ назначилъ это время, присовокупивъ въ декларацiи, что было бы безполезно сопротивляться этому твердому рѣшенію его правительства. Сеймъ созывался на 19 апрѣля этого года.

Мало того, что протекторы приказали созвать сеймъ, назначили для этого срокъ,—они были до того заботливы, что, входя въ разстроенное положеніе поляковъ и зная ихъ опытомъ доказанную политическую безтактность и неспособность къ самоуправленію, составили программу всего, о чемъ поляки должны были говорить на сеймѣ и чѣмъ должны были рѣшить свою судьбу. Протекторы не могли не догадываться, что сенатъ, даже и въ безсильныхъ рукахъ польскихъ магнатовъ, будетъ мѣшать сосѣдямъ свободно распоряжаться въ Польшѣ, и вслѣдствіе того они приказывали, чтобы на предстоящемъ сеймѣ поляки уничтожили свой сенатъ, какъ учрежденіе безполезное и даже вредное, и вмѣсто него учредили бы двѣ коммисіи, одну подъ предсѣдательствомъ короля, другую — примаса республики. Протекторы повелѣвали также, чтобы всѣ имѣнія, принадлежащія духовенству (а такихъ Польша насчитывала очень много) были секуляризованы и чтобы архіепископы, епископы, аббаты, прелаты, ксендзы и вообще все клерикальное сословіе жили не доходами отъ своихъ богатыхъ помѣстій, а ежегодною пенсіею. Протекторы приказывали, чтобы на сеймѣ постановлено было общее изгнаніе евреевъ, кромѣ небольшаго числа занимающихся торговлею. Они требовали, чтобы число шляхты было ограничено извѣстною цифрою. Они требовали уничтоженія знаменитой, сумасбродной привиллегіи шляхты—говоритъ „nie pozwalam“ —привиллегіи, служившей иногда источникомъ страшныхъ сценъ на сеймахъ и бывшей причиною многихъ бѣдствій страны. Вмѣстѣ съ этимъ, на предполагаемомъ сеймѣ, поляки должны были отнять у себя свое liberum veto, отпустить на волю кресть-

янъ ([1]), предоставивъ имъ право выбирать, въ каждой общинѣ, своихъ собственныхъ судей и на рѣшенія ихъ апеллировать мѣстнымъ землевладѣльцамъ, а на этихъ послѣднихъ — мѣстной административной власти. Въ программѣ сейма, заявленной протекторами Польши, упоминалось и о томъ, чтобы поляки сами уничтожили цвѣтъ своего войска, именно гусарскіе полки, которыми рѣчь посполитая всегда славилась. Мало того, протекторы поставили полякамъ въ непремѣнное условіе постановить на сеймѣ опредѣленіе о покроѣ, цвѣтѣ и достоинствѣ матеріи на платьѣ, какое должны носить вольные поляки, сообразно званію и другимъ условіямъ жизни. Протекторы откровенно включили въ программу сейма и 21-ю главу, въ которой говорится, что австрійскія и русскія войска, въ числѣ пяти тысячъ съ каждой стороны, будутъ оставлены въ Польшѣ и что король обязанъ назначать имъ мѣста для стоянокъ. Вообще, настоянія державъ, дѣлившихъ рѣчь посполитую, выражены въ 23 главахъ.

Въ послѣднее засѣданіе сената, знаменитаго, какъ мы сейчасъ замѣтили, отсутствіемъ сенаторовъ, король, не смѣя ослушаться приказаній сильныхъ протекторовъ, просилъ созванія сейма. Сенаторы исполнили просьбу короля или, скорѣе, побоялись ослушаться тѣхъ же сильныхъ протекторовъ, и положили приступить къ собранію сейма. Впереди ничего не предвидѣлось утѣшительнаго; уже большинство патріотовъ, всѣ, болѣе или менѣе понимавшіе образъ дѣйствія

([1]) Les paysans seront affranchis de la servitude, какъ сказано было въ проектѣ сейма, напечатанномъ въ одной изъ тогдашнихъ газетъ (Gazette de Leyde).

сосѣднихъ державъ, видѣли, какая будущность ожидаетъ Польшу. Европейскіе дворы, къ которымъ въ порывѣ отчаянія обратилась республика, занятые собственными дѣлами, не въ силахъ были спасти ее отъ гибели; иные даже не отвѣчали на ея горестный вопль. Польша увидѣла себя всѣми покинутою. Говорятъ, когда сенатъ, вмѣстѣ съ опредѣленіемъ о созваніи сейма, представилъ Штакельбергу и нѣкоторыя другія свои постановленія, этотъ посланникъ, отличавшійся гораздо большей деликатностью, чѣмъ Сальдернъ, сухо и презрительно сказалъ сенаторамъ: „мы требуемъ только сейма и постановленія его о томъ, о чемъ мы заявили и заявимъ еще.“ Подъ заявленіемъ Штакельбергъ разумѣлъ, во-первыхъ, декларацію, къ которой польской націи повелѣвалось созвать сеймъ, и во-вторыхъ, программу, въ которой означалось, о чемъ сеймъ долженъ былъ разсуждать и на чемъ остановиться. Напрасно Станиславъ-Августъ униженно просилъ милости у императрицы Екатерины II, называя ее „ma bienfaitrice et mon amie,“ — его просьба осталась безъ отвѣта.

И вотъ злополучный король снова обращается къ своему народу, ищетъ опоры въ его нравственномъ величіи. Но это величіе давно не существовало: и король, и нація были безсильны во всѣхъ отношеніяхъ. Въ это отчаянное время написанъ былъ универсалъ, въ которомъ бы должны были, кажется, вылиться всѣ наболѣвшія чувства короля, и его раскаяніе передъ всей націей, и его скорбь за то горе, кототорое причинено странѣ его неразумной довѣрчивостью къ сильнымъ державамъ, его безпечностью, легкомысліемъ, отсутствіемъ любви къ своему народу, его неспособностью къ государственнымъ дѣламъ, вообще, ошибками всей его жиз-

ни... Нѣтъ! ничего этого не было въ универсалѣ. Жалобы, упреки и громкія фразы, заглушающія собой всякую мысль,— вотъ содержаніе этого воззванія, обращеннаго къ націи въ такой критическій моментъ жизни всего государства. Что особенно рѣзко бросается въ глаза—это полное непониманіе источниковъ страданія Польши, отсутствіе всякаго знанія смысла явленій и даже клевета, брошенная въ лицо лучшихъ представителей польскаго народа. Можно было заранѣе сказать, что ихъ всѣхъ усилій польскаго правительства ничего не выйдетъ, еслибъ протекторы и представители его собственному уму-разуму не начертали плана будущихъ совѣщаній и рѣшеній, еслибъ даже Польшѣ никто и не угрожалъ. Ясно, что ни король, на котораго, впрочемъ и сѣтовать нечего, какъ на человѣка умственно ни въ чемъ не виноватаго, ни сенаторы, ни конфедераты-патріоты, послѣ потери Пулавскаго, Огиньскаго и Паца окончательно потерявшіе голову, никто не понималъ болѣзни королевства, и потому, еслибъ даже поляки предоставлены были самимъ себѣ, то и тогда они не съумѣли бы спасти свою независимость. Въ универсалѣ этомъ на первомъ планѣ являются не Польша, не нація, не общественныя бѣдствія, а красуется фигура короля, которую стараются поставить передъ всѣмъ свѣтомъ въ самыхъ привлекательныхъ позахъ. Только и попадаются въ универсалѣ фразы—„мы любимъ Польшу,“ „любезная намъ нація,“ „никто болѣе насъ не былъ воодушевленъ желаніемъ общественнаго блага“ и т. п.; если угрожала и угрожаетъ опасность, то не Польшѣ, не государству, а все только королю. Въ универсалѣ снова подняли старую исторію, которая давно надоѣла Польшѣ, — о томъ, какъ конфедераты не хотѣли дѣйствовать заодно съ королемъ,

какъ ставили ему въ вину наводненіе рѣчи посполитой чужеземными войсками, какъ потомъ хотѣли похитить короля и едва не совершили цареубійства. Надъ Польшей висѣла страшная туча, а ея правительство не стыдилось лгать передъ своей націей и передъ цѣлой Европой, увѣряя, будто король, едва спасшись отъ рукъ мнимыхъ убійцъ, въ самую первую минуту своей безопасности, былъ такъ великодушенъ, что забылъ о себѣ и не за себя ходатайствовалъ передъ сильными сосѣдями, а за любимую имъ націю, забывъ о мщеніи. Между тѣмъ, извѣстно, что изъ-за пустяковъ король надѣлалъ столько шуму на всю Европу, что самъ былъ не радъ, когда войска сосѣдей, подъ видомъ возстановленія порядка въ республикѣ, оцѣпили всю Польшу; единственно изъ трусости, король, самъ того не замѣчая, способствовалъ захвату польскихъ земель войсками протекторовъ и освящалъ эти захваты, прибѣгая подъ защиту иноземныхъ солдатъ отъ своихъ подданныхъ, которые для его же пользы хотѣли похитить его, но отнюдь не думали убивать, потому что своей смертью онъ причинилъ бы Польшѣ столько же вреда, сколько причинялъ жизнью, или, во всякомъ случаѣ, не спасъ бы смертью своей того, что въ теченіи жизни погубилъ своимъ неразуміемъ.

Похваливъ себя за великодушіе и отдавъ должную дань справедливости своему уму за успокоеніе Польши, послѣ спасенія отъ рукъ похитителей, король продолжалъ въ своемъ универсалѣ: „Но въ этотъ же самый годъ, когда, загладивъ всѣ бѣдствія войны, моровой язвы, бунта крестьянъ и послѣдствія нашихъ личныхъ опасностей (король въ самомъ дѣлѣ думалъ, что осчастливилъ Польшу, и что, по этому счастливому обстоятельству, Польша должна была за-

быть всѣ бѣдствія войны, мора и бунты крестьянъ), мы думали, что наступаютъ уже дни, тишина порадуетъ нашу родину, какъ мы увидѣли, что возстаетъ новая буря, тѣмъ болѣе ужасная, что никѣмъ не была предвидѣна. Три христіанскія державы, сосѣдственныя намъ, вдругъ объявили притязанія на самыя богатыя части владѣній республики.“ Потомъ онъ разсказываетъ то, что намъ уже извѣстно. Жалуется, что сосѣднія державы грозятся нетолько уничтожить послѣдній остатокъ Польши, но истребить и самое имя поляковъ; плачется наконецъ, что иностранные дворы, къ которымъ онъ писалъ, прося помощи и защиты, или отказали въ помощи, или отвѣчали обиднымъ равнодушіемъ. „Вотъ то опасное, то ужасное положеніе, въ которомъ находится наша республика,“ восклицаетъ король, не высказавъ никакихъ дѣльныхъ предположеній относительно того, какъ бы можно было выйти изъ такого тяжелаго положенія. „Однако мы не должны отчаяваться за наше государство; кормчій не долженъ покидать руля, ни матросы покидать кормчаго. Отечество—это корабль, который завѣщали намъ предки и который мы обязаны отдать потомству. Хотя ураганъ сломилъ его мачты и разорвалъ паруса, хотя на добычу жадному морю бросаются драгоцѣннѣйшія сокровища, однако обуреваемый корабль долженъ быть приведенъ въ гавань“ и т. д. Конечно, эти фразы въ универсалѣ произвели бы и на шляхту и на хлоповъ сильное впечатлѣніе, еслибы и шляхта и хлопы знали стихотвореніе Горація — „o navis! referent in mare te novi fluctus,“—которое, безъ сомнѣнія, бродило въ головѣ Станислава-Августа, когда онъ составлялъ свой громкій универсалъ, и въ которомъ Горацій сравниваетъ римскую республику, довольно таки поизмятую такими че

столюбцами, какъ Помпей и Цезарь, съ кораблемъ, у котораго буря изломала мачту и поизорвала паруса; но универсалъ не произвелъ сильнаго впечатлѣнія ни на шляхту, ни на хлоповъ. Какъ римская республика, сравненная Гораціемъ съ кораблемъ послѣ штурма, такъ и республика польская, сравненная тоже съ кораблемъ во время бури, не спаслись: истрепанные корабли не были даже приведены въ гавань.

Однако время открытія сейма приближалось и провинціи должны были позаботиться о созваніи мѣстныхъ сеймиковъ для избранія депутатовъ на общій государственный сеймъ. Мы видѣли, что дѣлалось въ провинціяхъ, объявленныхъ присоединенными въ Россіи: онѣ подлежали уже русскому государственному устройству. Тоже самое дѣлалось и въ областяхъ, присоединенныхъ къ Австріи и Пруссіи, гдѣ, кромѣ того, вслѣдствіе интригъ и угрозъ Фридриха II, должна была явиться реакція тому патріотическому порыву, который неизбѣжно слѣдовалъ за торжественнымъ объявленіемъ о раздѣлѣ Польши. Продажность поляковъ того времени представляетъ замѣчательное подтвержденіе того грустнаго историческаго закона, что несчастныя условія, выпадающія на долю какого-либо государства, или жалкія правительственныя формы всегда отражаются на всей исторической жизни націи, деморализированы были отношенія администраціи къ польскому народу. Поляки были испорчены — можно сказать — исторически, и потому, оставаясь съ тѣми же понятіями о государствѣ, какія выработались у нихъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ, съ тѣми же недостатками, какіе привила къ нимъ вся ихъ прошедшая жизнь, они должны были погубить свое государство и лишиться автономіи. Въ самомъ дѣлѣ, поляки сдѣлались какъ будто неспособны

къ самоуправленію; они потеряли способность поддерживать политическое существованіе націи съ обстановкой самостоятельнаго и независимаго царства. Мало того, поляки упали нравственно: они и продавали свою страну, и измѣняли ей для личныхъ выгодъ. Измѣной и продажностью опозорены и унижены почти всѣ предпріятія, всѣ начинанія, всѣ попытки и всѣ порывы послѣднихъ патріотовъ этой страны. Фридрихъ II зналъ этотъ національный порокъ, развившійся вслѣдствіе неблагопріятныхъ историческихъ условій, и потому обѣщаніями, ласками, лестью, а наконецъ—когда ни ласки, ни обѣщанія не помогали—угрозами и арестами поставилъ поляковъ, обитавшихъ въ той части Великой Польши, которая отходила къ Пруссіи вмѣстѣ съ другими провинціями,—въ необходимость созвать свой сеймъ, какъ бы въ противодѣйствіе общему государственному сейму, собиравшемуся тогда въ Варшавѣ. Этимъ антипатріотическимъ движеніемъ руководилъ Сульковскій, при помощи одного прусскаго генерала, который, желая угодить Фридриху, пугалъ поляковъ своими солдатами, и когда патріоты желали послать депутатовъ на сеймъ въ Варшаву, онъ грозилъ имъ войною и вынуждалъ посылать депутатовъ на другой сеймъ, коноводомъ котораго былъ самъ Фридрихъ, только подъ польской маской Сульковскаго. Сеймики въ тѣхъ провинціяхъ, которыя оставались за Польшей, шли очень неудачно: въ иныхъ мѣстахъ никто не хотѣлъ собирать депутатовъ на варшавскій сеймъ, въ другихъ сами депутаты отказывались принять на себя роль сдѣлаться невольнымъ орудіемъ чужеземныхъ протекторовъ. Волненіе было всеобщее.

Созваніе сейма представлялось полякамъ чѣмъ-то ужаснымъ. Они чувствовали, что это долженъ быть ихъ послѣд-

ній сеймъ, на которомъ они сами должны будутъ похоронить свою вольность, свои права и свою прошедшую славу, хотя въ сущности сомнительную, но для нихъ самихъ очень дорогую. Будетъ-ли сеймъ или нѣтъ—но, во всякомъ случаѣ, Польша должна погибнуть: на сеймѣ иностранные дворы вынудили бы Польшу подписать свой собственный приговоръ; а не будь созванъ сеймъ — иностранные дворы, и безъ воли польской націи, рѣшили бы ея горькую участь, и рѣшили бы далеко не снисходительно. Что же оставалось полякамъ дѣлать, какъ не повиноваться, когда сосѣди, требуя созванія сейма, въ тоже время отрывали у государства огромныя провинціи и еще грозили большими потерями, а между тѣмъ провозглашали, что они ни о чемъ другомъ не заботятся какъ только о благѣ Польши. Поляки видѣли, насколько эта забота была безкорыстна. „Я никогда не отказывался быть полезнымъ отчизнѣ (писалъ передъ сеймомъ Адамъ Красинскій, знаменитый епископъ каменецкій, еще болѣе знаменитому епископу краковскому Солтыку); но я сомнѣваюсь, чтобы сеймъ, созываемый нынѣ, облегчилъ ея страданія, сеймъ, который будетъ состоять изъ такого малаго числа депутатовъ. Тяжело подписать раздѣлъ; но не подписать его—опасно. Я вижу съ одной стороны гибель націи, съ другой—угнетеніе вѣрныхъ согражданъ. Какой свѣточъ будетъ свѣтить намъ въ этомъ погибельномъ лабиринтѣ? Мы ничего не знаемъ, что происходитъ теперь въ Букарестѣ; въ какой силѣ ведутся переговоры; ни при одномъ изъ иностранныхъ дворовъ мы не имѣемъ своего посланника; мы не вѣдаемъ ни того, что тамъ дѣлаютъ, ни того, что тамъ думаютъ—мы дѣйствуемъ точно слѣпые... Если наша отчизна должна погибнуть, такъ не будемъ же по крайней мѣрѣ рыть

ей могилу собственными руками; пусть эти руки будутъ невинны и въ глазахъ націи, и въ глазахъ чужеземныхъ народовъ. Я возвращусь въ Варшаву, какъ только будетъ можно; но я скорѣе соглашусь ничего не дѣлать, чѣмъ сдѣлаться участникомъ въ дѣлѣ, въ которомъ погибнетъ общественная свобода, и потомъ отпѣвать убитую націю.“

Какъ-то невольно задумываешься надъ послѣдними днями Польши. Что за странная участь этого государства... Приходится все-таки согласиться, что въ это трагическое для него время единственными, мало-мальски порядочными дѣятелями оказались—кто же? попы, т. е. епископы и ксендзы, а отнюдь не шляхта. Можетъ быть, все это оттого, что ими идея руководила больше, чѣмъ панами.

Одною изъ самыхъ энергическихъ личностей, въ это бѣдственное для Польши время, является Солтыкъ, краковскій епископъ, недавно только возвращенный изъ Сибири. Его вліяніемъ сдѣлано то, что никто не хотѣлъ идти на сеймъ, и провинціальные сеймики или вовсе не собирались для избранія депутатовъ на общій сеймъ, или кончались бурными, но безсильными демонстраціями противъ чужеземцевъ. Краковскій сеймикъ, конечно не безъ вліянія Солтыка, прямо постановилъ, что такъ какъ поляки не желаютъ ни уничтоженія Польши, ни раздѣленія ея, ни какого бы то ни было измѣненія въ образѣ правленія, то сеймикъ и не хочетъ никого избирать для этой роли. На сеймикѣ въ Вилкомирѣ лилась кровь, потому что избиратели раздѣлились на партіи. Эти партіи разрывали и безъ того умиравшую Польшу, а продажность и измѣна лишили ее послѣднихъ силъ. Напрасно Солтыкъ, передъ созваніемъ сейма, указывая на эту продажность, взывалъ къ полякамъ, чтобы они опомнились

и подумали о спасеніи отчизны. Какъ ни сильно, какъ ни впечатлительно это воззваніе, особенно если вспомнить, въ какое страшное время оно писалось къ народу; однако, все было безполезно:—точно вымерли поляки, точно и не было у нихъ ни добрыхъ чувствъ, ни любви къ своему государству, ни даже любви къ своему собственному счастію. „Восплачемъ и смиримся вмѣстѣ съ ниневитянами,“ говорилъ въ своемъ посланіи Солтыкъ,—и въ самомъ дѣлѣ, ничего больше не оставалось для поляковъ какъ плакать и смириться, хотя самъ Солтыкъ былъ очень далекъ отъ смиренія. Передъ самымъ открытіемъ сейма, у него завязалась переписка съ барономъ Штакельбергомъ по поводу того, что епископъ отказывался присутствовать на сеймѣ, потому что, какъ умный человѣкъ, онъ понялъ, что уже все будетъ безполезно для Польши. „Князь епископъ города Кракова,“ писалъ Солтыкъ къ барону, „размысливъ основательно о двухъ послѣднихъ совѣщаніяхъ, которыя онъ имѣлъ съ вашимъ превосходительствомъ, принялъ намѣреніе удалиться отъ дѣлъ и отъ сейма; но онъ заявляетъ, что вездѣ сохранитъ и нѣжнѣйшую дружбу и живѣйшую признательность къ вашему превосходительству.“ Когда Штакельбергъ упрекнулъ его въ томъ, что епископъ употребляетъ свое вліяніе противъ созванія сейма, Солтыкъ отвѣчалъ ему, что, какъ полякъ, онъ не могъ защищать свою отчизну; что равнодушіе съ его стороны было бы противно законамъ природы; что, какъ сенаторъ, онъ былъ бы измѣнникомъ, еслибъ не заботился о спокойствіи своего государства.

Однако, при всемъ томъ, время открытія сейма приближалось. Депутаты, хотя въ ограниченномъ числѣ, собирались въ Варшаву, чтобъ еще разъ удивить Европу своей

безтактностью. Для того чтобъ какая-нибудь безумная голова, въ самый важный моментъ сейма, когда будетъ рѣшаться участь Польши, не крикнула „nie pozwolam!„ и тѣмъ не уничтожила всего, что общими усиліями могли сдѣлать представители польской націи на предстоящемъ сеймѣ, положено было соединить открытіе сейма съ образованіемъ новой генеральной конфедераціи. Эта мѣра бросала поляковъ въ другую крайность, и отъ нея можно было ожидать столько же добра, какъ и отъ сохраненія права liberum veto, которое, на этомъ сеймѣ, пригодилось бы, по крайней мѣрѣ для того, чтобъ разогнать сеймъ въ то самое время, когда бы поляки рѣшились своими руками передать Польшу чужеземцамъ. Конфедерація была теперь такъ не кстати; она такъ вполнѣ отвѣчала тайнымъ планамъ сосѣднихъ государствъ, что только поляки, окончательно обезумѣвшіе въ это время, не видѣли, что дѣлали покровители, косвенно отнимая у нихъ liberum veto, и именно тогда, когда оно, принесшее столько зла Польшѣ, могло хоть разъ оказать ей услугу. Предводителями конфедераціи избраны были Адамъ Понинскій—отъ королевства польскаго и князь Михаилъ Радзивиллъ отъ великаго княжества литовскаго. Всѣ благоразумные люди возстали противъ конфедераціи, которая была однимъ изъ политическихъ промаховъ польскаго народа,—а онъ такъ много дѣлалъ промаховъ...Даже король, котораго несчастія научили слушаться людей болѣе его умныхъ, не желалъ конфедераціи, понимая, что она будетъ выгодна только для его враговъ и гибельна для Польши. Но на короля уже никто не обращалъ вниманія, которымъ, впрочемъ, его никогда не баловали подданные; теперь же, сверхъ того, ему предстояло или бѣжать изъ

своего королевства и на границахъ попасться въ руки недоброжелателей, или своими руками снять съ себя корону. Въ актѣ конфедераціи, обнародованномъ за три дня до открытія сейма, говорилось—въ порывѣ-ли неразумнаго увлеченія своими собственными фразами или подъ диктовку барона Штакельберга, что „предстоящій сеймъ положитъ конецъ бѣдствіямъ отечества, тяготѣвшимъ надъ нимъ столько лѣтъ, высушитъ слезы гражданъ, заставитъ утихнуть вопли и рыданія, которые раздаются въ провинціяхъ республики, и остановитъ потоки крови нашихъ братьевъ, которая льется до сихъ поръ„ и т. д. Впрочемъ самый актъ конфедераціи представляетъ не мало доказательствъ поразительной безтактности представителей польскаго королевства: въ немъ одна половина совершенно противорѣчитъ другой.

Наконецъ сеймъ былъ открытъ 19 апрѣля 1773 года. Начало его напомнило самые шумные и бурные сеймы того стараго времени, когда шляхта могла свободно кричать на все собраніе и заявлять самыя безумныя требованія, когда за звяканьемъ сабель не всегда можно было разслышать умное предложеніе какого-нибудь скромнаго депутата и когда поляки могли вполнѣ предаваться безумному разгулу неограниченной воли, не опасаясь, что въ залѣ собранія появятся штыки, и смѣлые депутаты будутъ изъ нея выведены, чтобъ отправиться въ Шпандау или въ какую-нибудь другую крѣпость. Этотъ сеймъ былъ очень буренъ, несмотря на то, что въ первое время явилось очень мало депутатовъ. 19-го же числа, въ день открытія сейма, вспыхнула борьба между новыми конфедератами и депутатами другой партіи. Во главѣ послѣднихъ выступилъ знаменитый Рейтанъ, депутатъ изъ Новогрудка, хотя родомъ нѣмецъ, однако въ такой мѣ-

рѣ ополячившійся, что сталъ едва-ли не болѣе полякъ, чѣмъ многіе изъ природныхъ, старинныхъ шляхтичей, производившихъ свой родъ отъ Пястовъ, Рейтанъ, получившій громкую европейскую славу, былъ однимъ изъ лучшихъ людей Польши и пользовался большимъ авторитетомъ въ своей области.

Едва открылся сеймъ, какъ Рейтанъ возсталъ противъ Понинскаго, котораго лично ненавидѣлъ, а теперь смотрѣлъ на него какъ на главу противной партіи, дѣйствующей на гибель Польшѣ. Рейтанъ, опираясь на королевскіе универсалы, говорилъ, что сеймъ долженъ дѣйствовать независимо отъ конфедераціи, которая вовсе не можетъ имѣть мѣста въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ какихъ находилась тогда Польша. Рейтана поддерживали и другіе депутаты Литвы. Раздражительные споры продолжались до самаго вечера. На утро, 20 апрѣля, зала собранія окружена была королевскими войсками. Вошелъ Рейтанъ. Когда депутатъ конфедераціи явился въ залу и спросилъ, признаетъ-ли Рейтанъ Понинскаго маршаломъ, тотъ отвѣчалъ, что нѣтъ. Такъ какъ не только домъ собранія былъ окруженъ солдатами, но военные мундиры красовались и въ залѣ, что было противно правамъ конституціоннаго сейма, то Рейтанъ требовалъ удаленія изъ залы военной силы. Голосъ его напрасно звучалъ на все собраніе. Передъ окончаніемъ засѣданія, когда всѣ собрались уходить изъ залы, Рейтанъ сталъ въ дверяхъ и громко провозгласилъ, что знать не хочетъ конфедераціи и скорѣе пожертвуетъ своею жизнью, чѣмъ признаетъ законными ея рѣшенія. Голосъ Рейтана нашелъ энергическую поддержку въ одномъ изъ литвиновъ, которые всегда дѣйствовали лучше кровныхъ поляковъ. Это былъ юноша, почти ребенокъ. Когда

его избрали депутатомъ Минска, старикъ-отецъ, отправляя своего сына въ Варшаву на сеймъ, гдѣ поляки должны были похоронить послѣдніе остатки своей воли, говорилъ ему: „сынъ мой! я посылаю съ тобой въ Варшаву моихъ старыхъ слугъ... Я имъ наказываю принести ко мнѣ твою голову, если ты не будешь всѣми силами бороться противъ того, что будетъ предпринято во вредъ твоей отчизнѣ.“ Дѣйствовалъ-ли Корсакъ по внушенію собственнаго разсудка или подъ вліяніемъ другаго чувства—только онъ оставилъ по себѣ хорошую память и поляки съ гордостью произносятъ его имя, а польскіе историки въ массѣ личностей, дѣйствовавшихъ при послѣднихъ дняхъ Польши, особенно отличаютъ Рейтана и Корсака. Впрочемъ, въ это время Польша находилась уже въ томъ безвыходномъ положеніи, что, потерявъ Пулавскаго, Огиньскаго, Паца, Саву и другихъ патріотовъ, которые умѣли дѣйствовать неустрашимо, она по необходимости должна была гордиться уже и такими личностями, какъ Рейтанъ и Корсакъ, которые, по крайней мѣрѣ, еще говорили неустрашимо. Такъ какъ большая часть вотчинъ Корсака находилась въ той половинѣ Литвы, которая, въ первый раздѣлъ Польши, отходила къ Россіи и какъ, на основаніи манифеста 1772 года и тайныхъ инструкцій, данныхъ петербургскимъ дворомъ графу Чернышеву и генераламъ Каховскому и Кречетникову, Корсакъ долженъ былъ или присягнуть на подданство Россіи, или, немедленно продавъ имѣнія, выѣхать изъ отечества; то онъ, протестуя противъ дѣйствій трехъ союзныхъ державъ въ отношеніи къ Польшѣ, говорилъ вслѣдъ за Рейтаномъ, что охотно отдастъ непріятелямъ всѣ свои имѣнія, деньги, мебель, даже послѣднюю рухлядь, и готовъ жертвовать жизнью, если нужна будетъ эта жертва. И дѣй-

ствительно, онъ отдавалъ себя въ руки Штакельберга и вмѣстѣ съ тѣмъ подалъ ему опись и оцѣнку имѣній, какъ недвижимыхъ, такъ и движимыхъ, говоря: „Вотъ все, что я могу принести въ жертву; вы властны также располагать моею жизнью. Но на землѣ нѣтъ человѣка на столько богатаго, чтобъ подкупить и на столько могущественнаго, чтобъ устрашить меня.“

Однако протестаціи эти были безсильны, и баронъ Штакельбергъ, баронъ Ревицкій и Бонуа, полномочные министры Россіи, Австріи и Пруссіи, не обращали вниманія на усилія поляковъ. На другой день послѣ протестаціи Корсака и Рейтана (21 апрѣля) они приказали Понинскому, маршалу конфедераціи, запретить депутатамъ входъ въ залу засѣданій. Однако Рейтанъ взошелъ въ залу и сказалъ, что остается въ ней, какъ въ священномъ мѣстѣ, гдѣ не посмѣютъ привести въ исполненіе того, что будетъ постановлено противъ него конфедераціею. Такъ какъ засѣданія сейма обыкновенно происходили съ открытыми дверями, то Рейтанъ требовалъ, чтобы войска, окружавшія залу, были удалены и депутатамъ открытъ свободный входъ въ сеймовую палату, и когда ему объявили, что всякое сопротивленіе будетъ наказано смертью, по правамъ и неограниченной власти генеральной конфедераціи, Рейтанъ отвѣчалъ:

— Лучше умереть со славою за отчизну, чѣмъ дожидаться естественной смерти.

Всѣ эти фразы, разумѣется, не измѣнили теченія дѣлъ въ Польшѣ, потому что служили выраженіемъ не общаго народнаго чувства негодованія, а были, такъ сказать, единичными исключеніями, слишкомъ ничтожными въ массѣ дурнаго. Притомъ, еслибы и вся шляхта думала и дѣйствовала такъ какъ

Рейтанъ, Корсакъ, Солтыкъ и Адамъ Красинскій, то уже поздно было ждать спасенія, еслибы нетолько всѣ депутаты сейма, но и всѣ землевладѣльцы рѣчи посполитой возстали противъ общей бѣды, то напрасно бы потрачены были ихъ силы: спасать Польшу въ то время значило тоже, что не давать заколачивать крышку гроба надъ умершимъ, когда трупъ его разлагался окончательно. Во всякомъ случаѣ, войска союзныхъ державъ были на столько сильны, что могли задавить всякое реакціонное движеніе въ Польшѣ. Ими задавлена была первая открытая попытка Станислава-Августа— стать во главѣ патріотическаго движенія. Въ четвертый день послѣ открытія засѣданій сейма (22 апрѣля), когда къ нему присланы были депутаты отъ лица генеральной конфедераціи и когда король не хотѣлъ признать законности ея существованія, прося два дня на размышленіе, хотя и въ два года онъ уже не могъ поправить дѣла, Штакельбергъ, Ревицкій и Бенуа были раздражены этой безполезной уклончивостью и требовали отъ него полнаго повиновенія. Отъ имени трехъ правительствъ Штакельбергъ велѣлъ объявить королю, что, при малѣйшемъ, сопротивленіи въ тотъ же день, 50,000 союзнаго войска вступятъ въ Варшаву и предадутъ ее контрибуціи. Королевскія войска были слишкомъ безсильны, а войскъ прежней конфедераціи уже давно не существовало; предводители ихъ или были убиты, или бѣжали въ другія страны, или просто измѣнили, какъ Заремба, и потому Станиславъ-Августъ долженъ былъ покориться.

Въ эти послѣднія минуты польской независимости боролся одинъ только Рейтанъ. Тридцать шесть часовъ онъ не выходилъ изъ залы депутатовъ сейма; тридцать шесть часовъ онъ старался своими слабыми руками удержать тяжелое зда-

ніе республики, которое по частямъ обваливалось въ пропасть. Все напрасно. Съ Рейтаномъ остались только четыре депутата, которые готовы были раздѣлить его несчастія: — то были депутаты Новогрудка и Минска. Зала осталась пустою. Не передъ кѣмъ защищать было погибшую вольность. Наконецъ и самъ Рейтанъ съ четырьмя патріотами принужденъ былъ выйти изъ залы.

Здѣсь кончается автономія польскаго народа. Это было 22 апрѣля 1773 года; а впродолженіе нѣсколькихъ, слѣдовавшихъ затѣмъ мѣсяцевъ, поляки успѣли подписать и свой смертный приговоръ — раздѣлъ своей страны, уничтоженіе нѣкоторыхъ конституціонныхъ формъ правленія и признаніе чужеземной протекціи и гарантіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ подписанъ былъ смертный приговоръ послѣднимъ патріотамъ, которые думали похищеніемъ короля изъ рукъ чужеземцевъ спасти отъ нихъ и свою отчизну, и замыслъ которыхъ такъ несчастливо разрушился въ ночь съ 3 на 4 ноября 1771 года, когда одинъ изъ заговорщиковъ своей оплошностью или измѣною погубилъ все дѣло. Объ участи послѣднихъ польскихъ патріотовъ дошли вѣсти и въ тогдашнюю Россію и русское общество, съ любопытствомъ ловившее слухи о странныхъ событіяхъ въ Польшѣ, вмѣстѣ съ манифестомъ о присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи, читало въ своихъ газетахъ слѣдующее оффиціальное извѣстіе:

„Изъ Варшавы отъ 28 августа. Сегодня обнародованъ приговоръ для королевскихъ убійцъ и разосланъ во всѣ городскія судебныя мѣста. Всѣ преступники лишены всякой чести и достоинства и объявлены безчестными; имѣніе ихъ конфисковано и отдано будетъ доносителямъ; потомки ихъ также лишены дворянства и никогда онаго получить не мо-

гутъ. Пулавскому, Стравинскому и Лукавскому сперва отсѣкутъ правую руку, потомъ голову, напослѣдокъ будутъ ихъ четвертовать; а послѣ того, лежавшіе нѣсколько времени на улицѣ ихъ трупы, сожгутъ и пепелъ развѣютъ. Но какъ Пулавскій и Стравинскій еще не пойманы, то оное надъ ними будетъ учинено тогда, когда ихъ поймаютъ; а между тѣмъ имена ихъ будутъ прибиты на висѣлицѣ. Кузьма или Козинскій, хотя и освобожденъ отъ всякаго достойнаго наказанія, однако присужденъ выѣхать изъ Польши и никогда больше не входить въ ея провинціи подъ смертною казнію" (Моск. Вѣдом. 1773 г., № 78).

Вообще, чѣмъ глубже вникаемъ мы въ смыслъ польской исторіи, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что королевство это погибло не вслѣдствіе насилій сосѣднихъ державъ, а вслѣдствіе внутреннихъ застарѣлыхъ болѣзней въ организмѣ государства: неумѣнье правительственныхъ сословій осчастливить народъ, деморализація высшихъ классовъ — естественное послѣдствіе существованія крѣпостнаго права, которое всегда лишаетъ владѣтельные классы нравственной силы и упругости, а у низшихъ классовъ отнимаетъ послѣднія качества человѣчности,—вотъ причины паденія Польши. Шляхта, живя на счетъ хлоповъ, не знала ни физическаго, ни умственнаго труда и постоянно тупѣла; безпечность и увѣренность въ томъ, что хлопъ всегда дастъ средство къ существованію, вовлекали ихъ въ долги и разоряли, а привычка жить роскошно и ни въ чемъ себѣ не отказывать вызвала у промотавшейся шляхты желаніе добыть, во что бы то ни стало, богатыя средства къ жизни; за этимъ слѣдовала продажность, безстыдная измѣна, торгашество всѣмъ, что дорого для человѣка—чувствомъ, истиной, добромъ и совѣстью. Гдѣ

же было этой продажной и разучившейся шляхтѣ мыслить, чувствовать и честно управлять страной? Въ одной мѣрѣ съ шляхтою тупѣлъ народъ, которымъ управляло отупѣвшее дворянство, и терялъ свой человѣческій образъ, дѣлаясь подобіемъ животнаго, для котораго все равно, кому бы ни служить. Онъ былъ бѣденъ до того, что даже не понималъ возможности быть бѣднѣе, а если ему и удавалось пріобрѣтать что либо, то онъ имъ не дорожилъ, потому что все, что у него было, принадлежало не ему, а пану, и потому все, что составляло для него излишекъ, онъ несъ въ кабакъ, гдѣ, въ отвратительномъ опьяненіи, забывалъ, что его ждутъ дома голодныя дѣти и изнуренная работою жена. Онъ былъ до того деморализованъ, что не понималъ даже самаго обыкновеннаго чувства—любви къ своей странѣ, и не защищалъ ее, когда она находилась въ опасности, а если и поступалъ въ ряды солдатъ, такъ только изъ подъ палки, да закованный въ кандалы. Понятно, какой это былъ защитникъ государства. Еще въ большей мѣрѣ не любилъ своихъ пановъ, а въ лицѣ ихъ—свое правительство, отъ котораго истекали незаконные поборы, притѣсненія, неравномѣрная рекрутчина, судебныя волокиты, взяточничество урядовъ и прочія бѣдствія. Оттого, когда правительство это было въ опасности и обратилось къ народу за помощью—народъ не далъ ее, и государство погибло. Поляки отчасти поняли эту простую истину, когда уже Польша, какъ самостоятельная страна, не существовала. Вслѣдъ за первымъ раздѣломъ поляки подумали и о народѣ, да было уже поздно (wielu znamienitych obywateli zapewniając własność poddanym swoim, ich stan polepszali i swobodę im zapewniali, говоритъ Лелевиль). Знаменитый Замойскій, болѣе другихъ понимавшій причины

паденія Польши, составилъ даже проектъ уравненія правъ хлоповъ съ правами шляхты ([1]): но на сеймѣ шляхта не хотѣла даже разсматривать такой обидный для ея самолюбія проектъ и отвергла его.

Послѣ 1773 года Польша, какъ отдѣльное королевство, еще существовала около четверти столѣтія; но это было жалкое существованіе, хотя однако много драматизма представляетъ оно. Потомъ, на картѣ Европы уже и не изображалось отдѣльно польское королевство.

Русскій же народъ, эти самые хлопы, о которыхъ Замойскій (и то одинъ только Замойскій) вспомнилъ слишкомъ поздно, стоялъ въ сторонѣ и, неся на своихъ плечахъ всю тяжесть разлагающагося государственнаго трупа Польши, безучастно тащилъ этотъ трупъ къ могилѣ. Пять лѣтъ назадъ онъ самъ хотѣлъ было покончить съ этимъ трупомъ, но ему не дали порѣшить съ нимъ окончательно: политическое движеніе его, заправляемое Желѣзнякомъ и Гонтою, признано было не согласнымъ съ законами дипломатіи. Народу оставалось ждать что будетъ.

([1]) ...Aby poddanni chłopy powszechnemu prawu, podobnie jak szlachta podlegali (Dzieje polskie, przez J. Lelewela).

VI

ЮЖНОРУССКІЙ НАРОДЪ ПОДЪ ПОЛЬСКИМЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ.

Безпокойному и воинственному характеру малорусской исторіи много помогала неопредѣленность гражданскихъ правъ подданныхъ Рѣчи Посполитой и такая же неопредѣленность отношеній малорусскаго народа къ польскому. Постановленія статутовъ почти не ограждали личности низшаго сословія отъ произвола сильнаго; права владѣльцевъ были слишкомъ неограниченны; матеріальное благосостояніе несвободныхъ классовъ —слишкомъ сомнительно. Рано или поздно, но во всякомъ случаѣ неминуемо должно было ожидать столкновеній подвластнаго народа съ его законными властями, хотя эти послѣднія, съ своей стороны, были отчасти справедливы, дѣйствуя въ духѣ того времени и въ силу опредѣленій Статута. Помимо законодательныхъ кодексовъ, разные юридическіе обычаи, имѣвшіе силу формальнаго закона, оставались неизмѣнными отъ минувшихъ временъ и всей тяжестью своей падали на несвободное сословіе, находившее слишкомъ малую защиту въ Статутѣ и въ исполнителяхъ его постановленій:

помимо статутовъ, законодательный обычай старины отдавалъ хлопа жиду-арендатору въ полное распоряженіе, *съ правомъ живота и смерти.* Въ понятіи самаго закона между человѣкомъ „простаго стану“ и „станомъ шляхетскимъ“ существовало неизмѣримое разстояніе. Шляхтичъ, позволившій себѣ заняться какимъ бы то ни было ремесломъ, уничтожающимъ его шляхетское достоинство, терялъ свои благородныя права и становился въ уровень съ прочими неблагородными сословіями: только осмѣлься онъ взять въ руки аршинъ, или сѣсть за ткацкій станъ, или наконецъ поселиться въ городѣ съ цѣлями пріобрѣтеній посредствомъ торговли,—онъ уже выходилъ изъ круга шляхетскихъ вольностей. Дѣйствительно, разграниченіе этихъ двухъ классовъ замѣтно во всемъ, что касается правъ и гражданскаго положенія этихъ сословій, и взглядъ Статута на то и другое вполнѣ выразился въ нѣкоторыхъ его постановленіяхъ, изъ которыхъ мы приведемъ здѣсь самую малую часть:

1) Вдова стану шляхетскаго, выходя замужъ, безъ воли родственниковъ, за „человѣка простаго стану, не шляхтича,“ *на всегда теряетъ все свое достояніе*, не только то, которое далъ ей мужъ, но и свое собственное, свое приданое, свою „отчизну и материзну“ (1).

2) Дѣти, происшедшія отъ шляхтича и нешляхтянки, причисляются къ благородному сословію отца, съ тою однако оговоркой, чтобъ „ремесломъ и шинкомъ не жили, и

---

(1) Статутъ великаго князьства Литовскаго, изд. Сигизмундомъ III, стр. 203—204. Мы пользуемся изданіемъ этого статута, сдѣланнымъ Москв. Общ. Истор. и Древн. Р. съ Краковскаго изданія 1588 года. См. Времен., кн. 19 М. 1854 г.

локтемъ не мѣрили“ (т. е. аршиномъ; не были бы купцами); а впрочемъ и таковой, если бы шинкъ и ремесло мѣщанское и холопское покинулъ и поступковъ шляхетскихъ и рыцарскихъ наслѣдовалъ, тогда опять долженъ считаться шляхтичемъ (1).

Такимъ же образомъ, если бы шляхтичъ, пренебрегая своимъ благороднымъ происхожденіемъ и стараясь о приращеніи своего имущества, поселился въ городѣ, „торгъ местскій ведучи, або и шинкъ въ дому маючи, и локтемъ меречы, або ремесло робечи на варстате, таковый вжо з вольностей шляхетскихъ веселитесе не маеть“ (2), и т. д.

3) Всякій родившійся въ простомъ сословіи, никогда не могъ пріобрѣсти правъ шляхетскихъ (развѣ за какія-либо рыцарскія доблести, ни достигнуть какой бы то ни было должности (3); покупка имъ всякой поземельной собственности считалась недѣйствительною и могла быть отнята прежнимъ хозяиномъ, не смотря на давность владѣнія (4)

4) Разница между шляхтичемъ и человѣкомъ простого стану опредѣляется Статутомъ и въ отношеніи наказаній за уголовныя преступленія: убійство жены мужемъ, мужа женою, сестры братомъ, брата сестрою и вообще равныхъ равными, наказывалось смертью, безъ всякаго усиливающаго эпитета (5); но если слуга убивалъ пана или только наносилъ ему рану, то наказывался, по выраженію Статута, *срого горѣломъ* (srogogardlem), и какъ измѣнникъ подлежалъ *четверто-*

---

(1) Стат. Сигиз., стр. 61—62.
(2) Тамъ же стр. 63—64.
(3) Стат. Сигиз. стр. 60—61.
(4) Тамъ же, стр. 64.
(5) Тамъ же, стр. 287—289.

ванью ([1]), что въ сущности равнялось почти наказанію за отцеубійство, виновнаго въ которомъ возили по рынку, терзая тѣло клещами, потомъ сажали въ кожаный мѣшокъ вмѣстѣ съ собакой, пѣтухомъ, ужомъ и кошкой, зашивали и топили въ самомъ глубокомъ мѣстѣ рѣки или озера ([2]). Но если слуга и не убилъ бы господина и даже не ранилъ бы его, а осмѣлился бы только защищаться, то лишался руки.

5) Еслибы люди простаго стану убили шляхтича, то сколько бы ихъ ни было, всѣ наказываются смертью; впрочемъ далѣе прибавлено, что *три головы простыхъ полагается за одну шляхетскую*— не больше ([3]).

6) Статутъ, хотя, повидимому, и безсознательно, но никакъ не хотѣлъ поставить подданнаго, какъ короннаго, такъ и владѣльческаго, и даже купца — наравнѣ съ жидомъ, отдавая послѣднему преимущество въ его гражданскихъ правахъ и первенство въ его общественныхъ отношеніяхъ. Но жидъ, принявшій христіанскую вѣру, дѣлался не только шляхтичемъ лично, но и семейство его и потомство пріобрѣтали на вѣчныя времена права дворянства ([4]).

7) По опредѣленію Статута, хлопъ и вообще всякій человѣкъ, не отличенный шляхетскимъ достоинствомъ, по своимъ гражданскимъ правамъ стоялъ ниже всего, что только было подвластно коронѣ польской: татаринъ, врагъ христіанства во мнѣніи всей Европы и во мнѣніи самой Польши, личный врагъ Рѣчи Посполитой и ея интересовъ, — татаринъ

([1]) Тамъ же, стр. 289.
([2]) Тамъ же, стр. 288.
([3]) Тамъ же, стр. 314.
([4]) Тамъ же, стр. 336—337.

имѣлъ бо̀льшую защиту въ законѣ польскомъ, чѣмъ малорусскій хлопъ. И это было бы не удивительно, еслибъ, во мнѣніи закона, отдавалось предпочтеніе мусульманину, отправлявшему королевскую службу; но предпочтеніемъ этимъ пользовался всякій татаринъ, имѣвшій осѣдлость въ территоріяхъ Рѣчи Посполитой и отправлявшій самыя низкія ремесла,—занимавшійся продажею скота, дубленіемъ кожъ, что̀ вообще считалось унизительнымъ: не смотря даже на такія неблагородныя занятія, татаринъ стоялъ выше хлопа, и голова его цѣнилась много дороже, чѣмъ головы тяглыхъ людей, такъ что за увѣчье или убіеніе татарина полагалась бо̀льшая пеня, чѣмъ за убіеніе тяглаго и двороваго человѣка (1).

Этихъ немногихъ примѣровъ достаточно, кажется, чтобы видѣть то состояніе, въ которое самъ законъ ставилъ несвободныя сословія Рѣчи Посполитой, включая въ число ихъ и всѣ прочіе классы общества, которымъ рожденіе не дало счастья принадлежать ни къ кровному дворянству, ни къ жидамъ, ни даже къ татарамъ: все, начиная отъ двороваго человѣка и тяглаго отчинника до мѣщанина и купца, во мнѣніи закона стояло ниже этихъ привиллегированныхъ сословій. Однимъ только цыганамъ, пользовавшимся всеобщимъ презрѣніемъ, предпочитались несвободныя сословія короны польской (2).

Естественно ожидать, что законодательство польское осталось вѣрнымъ самому себѣ въ примѣненіи этихъ началъ къ

---

(1) Стат. Сигиз., стр. 334—338.
(2) Тамъ же, стр. 381—382.

дѣлу. Каждая статья его постановленій относительно низшихъ сословій нисколько не противорѣчитъ основному взгляду, выраженному въ опредѣленіи значенія каждаго класса общества: законодательныя идеи Рѣчи Посполитой только яснѣе выразились въ примѣненіи ихъ къ самому закону и къ его исполненію (1).

Низшими сословіями, людьми „простаго стану" считались всѣ подданные королевства польскаго, или непосредственно состоявшіе во владѣніи короны, или принадлежавшіе дворянству и не имѣвшіе правъ шляхетскихъ; къ среднимъ сословіямъ причислялись мѣщане и всѣ обыватели городовъ, пользовавшіеся магдебургскимъ правомъ. Немалый классъ населенія королевства польскаго и великаго княжества литовскаго составляли собственно такъ называемые „подданные" — крестьяне, судьба которыхъ тѣсно связана съ исторіей Малороссіи, хотя въ событіяхъ этой исторіи они играли довольно ничтожную роль, не имѣя ни смѣлости жаловаться на свою участь, ни средствъ улучшить ее, хотя бы такими трудными путями, какими, по возможности, облегчали тяжесть своего безвыходнаго состоянія малорусскіе казаки. Состояніе этихъ послѣднихъ всякому изъ насъ болѣе или менѣе извѣстно изъ исторіи; политическая исторія южнорусскихъ героевъ, ихъ трудные и славные подвиги, успѣхи и неудачи въ войнахъ съ сосѣдями, слава ихъ полководцевъ — гетмановъ, кошевыхъ, куренныхъ, баснословные морскіе походы

---

(1) Вся эта путаница юридическихъ отношеній русскаго народа какъ къ полякамъ, такъ и къ своимъ русскимъ панамъ съ большей полнотой выяснена нами въ особой монографіи («Гайдамачина»).

ихъ—все это знакомо намъ; но исторія не заглядывала еще въ бѣдныя крестьянскія хаты, не слѣдила за домашнею жизнью обывателей деревень и хуторовъ, не открывала передъ нами картины семейной ихъ жизни, повседневныхъ занятій, домашнихъ и полевыхъ работъ, не перечисляла намъ ихъ повинностей въ отношеніи къ казнѣ и къ владѣльцу и не опредѣляла на сколько тяжелы или легки были эти повинности. Южнорусскій народъ,—какъ почти всякій народъ во всѣхъ государствахъ, исключая немногихъ—жилъ и отжилъ свое время, почти незамѣченный исторіей; какъ и вездѣ, народъ южнорусскій, собственно масса, въ томъ числѣ и многочисленный классъ хлоповъ, не выступая нигдѣ рельефно въ политическихъ событіяхъ, постоянно оставался въ тѣни за знаменами воиновъ побѣдителей и побѣжденныхъ и почти не сдѣлался достояніемъ исторіи.—Были періоды, выдававшіеся въ исторіи южнорусскаго народа; но они, войдя по частямъ въ періоды исторіи о войнахъ, сгладились окончательно, не оставивъ по себѣ и слѣда замѣтнаго, по которому можно было бы прослѣдить жизнь и мысль (если только она была и дала плодъ) народа и его участіе, хотя отрицательное, въ осуществленіи великой идеи развитія человѣчества.

Южнорусскій поселянинъ тогда только становился достояніемъ исторіи, когда, доведенный до послѣдней степени нищеты и безпрестанно оскорбляемый въ самыхъ лучшихъ своихъ чувствованіяхъ,—въ чувствѣ религіозномъ и патріотическомъ,—мѣнялъ косу и цѣпъ на саблю и винтовку, или же просто съ косою и граблями уходилъ къ казакамъ, движимый послѣднимъ чувствомъ—животнаго самосохраненія. Эти моменты его жизни записала исторія, не входя въ под-

робности о его прежней, обыденной жизни, о его лишеніяхъ, о томъ, чѣмъ онъ былъ до того времени, чѣмъ существовалъ, чѣмъ кормилъ жену и дѣтей и что заставило его кинуть то и другое.

Вторая половина XVI-го вѣка и начало XVII-го имѣютъ едвали не первостепенную важность въ исторіи Малороссіи; такую же важность эта эпоха имѣла и въ отношеніи внутренней жизни южнорусскаго народа. Въ этотъ періодъ обозначились довольно точно права и обязанности разныхъ сословій въ Рѣчи Посполитой, объясненныя и подтвержденныя статутами вмѣстѣ съ частными законодательными постановленіями, между коими уставы, граматы и привиллегіи играютъ немаловажную роль. Вообще положеніе низшихъ сословій окончательно опредѣлилось къ тому времени. Положеніе это было именно такое, что единственнымъ его исходомъ оставалась борьба противъ существующаго порядка вещей.—Эту самую эпоху и взялъ я для моей статьи, ограничиваясь еще притомъ и тѣмъ, что въ обозрѣніе мое войдутъ не всѣ низшія сословія, а одни „хлопы,“ которыхъ жизнь, состояніе и обязанности представляютъ, въ эту эпоху, поразительную картину нравственнаго упадка Рѣчи Посполитой, упадка, выразившагося въ безразсудствѣ и жестокости ея постановленій въ отношеніи къ несвободнымъ классамъ королевства (1).

---

(1) Что особенно замѣчательно въ исторіи южнорусскаго народа, собственно крестьянства, такъ это то, что со второй половины XVIII-го вѣка, южнорусскому крестьянину уже лучше жилось подъ властью пана-поляка, чѣмъ подъ властью пана-украинца (см. нашу Гайдамачину).

Крестьяне ([1]) королевства польскаго, или вѣрнѣе княжества литовскаго, состояли изъ двухъ отдѣловъ: изъ крестьянъ коронныхъ и крестьянъ частныхъ владѣльцевъ; были также въ сословіи крестьянъ и люди вольные, именно тѣ, которые не были прикрѣплены къ землѣ и имѣли право свободнаго перехода отъ одного владѣльца къ другому, соотвѣтственно чему и назывались людьми *похожими*.

Права и обязанности коронныхъ крестьянъ, хотя имѣли много общаго съ правами крестьянъ помѣщичьихъ, однако далеко не такъ зависѣли отъ произвола лицъ, облеченныхъ властію, какъ права или, лучше сказать, отсутствіе правъ послѣднихъ: чиновникъ, властвуя надъ подданными своего короля именемъ закона, былъ, хотя наружно, ограниченъ въ своихъ дѣйствіяхъ буквою этого закона, тогда какъ между владѣльцемъ и хлопомъ не было постановлено никакого ограничивающаго начала, которое бы напоминало имъ о ихъ человѣческихъ отношеніяхъ. Чиновникъ, какъ членъ мѣстнаго начальства, былъ только орудіемъ королевской воли и помнилъ, что дѣйствія его подлежатъ контролю его собственныхъ начальниковъ; что произволъ, встрѣчая препятствіе со стороны другихъ исполнителей закона, не долженъ и не можетъ зайти слишкомъ далеко и не можетъ быть вполнѣ безнаказанъ: между тѣмъ какъ владѣлецъ оставался одинъ лицемъ къ лицу съ своею собственностію, наслѣдственною или купленною, или другимъ образомъ благопріобрѣ-

---

([1]) Мы позволяемъ себѣ употребленіе этого слова потому, что слова хлопъ и подданный, встрѣчающіяся въ юридическомъ языкѣ того времени, въ настоящее время измѣнили свое значеніе.

тенною, и имѣлъ дѣло развѣ только съ своею личною совѣстью, настроенною на общій ладъ понятій того времени, когда вопросы общечеловѣческіе не имѣли мѣста ни въ литературѣ, ни въ общественномъ мнѣніи, ни на королевскихъ сеймахъ.

Коронными крестьянами были собственно тѣ, которые непосредственно принадлежали коронѣ и, въ родѣ крестьянъ помѣщичьихъ, жили при королевскихъ имѣніяхъ, замкахъ, дворахъ, разсѣянныхъ по всему княжеству литовскому, Волыни и Малороссіи, и отправляли на короля такія же повинности, какъ подданные частныхъ владѣльцевъ на своихъ господъ, хотя менѣе стѣснительныя. — Въ каждомъ такомъ королевскомъ имѣніи былъ дворъ, или замокъ,—нѣчто въ родѣ помѣщичьей усадьбы. Изъ всего участка земли, принадлежавшаго имѣнію, обыкновенно выдѣлялась самая лучшая пахатная и сѣнокосная земля въ пользу двора или казны, и эта земля называлась *фольваркомъ* или „землею фольварковою“ (1). Такъ какъ по образцу нѣмецкихъ хозяйственныхъ заведеній земля каждаго помѣстья разбивалась на *волоки* и на *морги* (2), то имѣніе заселялось такъ, что на обработку каждой казенной, фольварковой волоки приходилось семь обывательскихъ волокъ и что первыя и послѣднія должны были обработываться однѣми и тѣми же руками (3). На извѣстное число волокъ полагалось извѣстное

(1) Надо прибавить, что въ большей части помѣстьевъ княжества литовскаго введено было хозяйство на образецъ нѣмецкихъ экономическихъ заведеній того времени.

(2) Каждая волока заключала въ себѣ около 20 нашихъ десятинъ (19 дес. и 2010 кв. саж.) и дѣлилась на 30 морговъ.

(3) Памятн. изд. Времен. Коммис., Кіевъ, 1846, т. II, отд. II, стр. 63—64.

число тяголъ, и если, въ теченіи времени, увеличивалось населеніе въ одномъ имѣніи, то лишнихъ членовъ семьи выселяли въ другіе повѣты, имѣвшіе свободныя земли, населяя такимъ образомъ пустопорожнія мѣста и увеличивая количество тягловыхъ людей: вслѣдствіе такого хозяйственнаго порядка естественно, что число рабочихъ силъ въ одномъ и томъ же королевскомъ владѣніи мало измѣнялось въ своемъ составѣ. Изъ числа двухъ или трехъ братьевъ, семейство одного переводили на пустые волоки, или оставляли отцу одного только взрослаго сына, а другаго выселяли на тѣ земли, гдѣ недоставало рукъ къ обработкѣ полей (1). Отъ этого обычая много выигрывали интересы казны, хотя страдали интересы несвободныхъ классовъ. Живя на казенной землѣ, коронный подданный обязанъ былъ платить за нее 21 грошъ съ волоки, кромѣ платы натурою и обязанности работать на казну каждые два дня въ недѣлю и выходить безотговорочно на работу во всякое время, когда *войтъ* признаетъ это необходимымъ, хотя бы для того поселянинъ долженъ былъ погноить въ полѣ свой собственный хлѣбъ или потерять все, что имѣетъ. Величина поземельной платы—21 грошъ, будетъ понятна для насъ вполнѣ только тогда, когда мы эти деньги переведемъ на наши цѣны и опредѣлимъ, чему равнялся бы этотъ поземельный платежъ въ настоящее время. 21 литовскій грошъ приблизительно равнялся стоимости 1 р. 5 к. сер. на наши деньги (2); но такъ какъ въ то время хорошій волъ цѣнился въ 50—40 грошей и даже мень-

---

(1) Памятн. изд. Времен. Коммис., Кіевъ, 1846, т. II, отд. II, стр. 201.

(2) Тамъ же, т. III, отд. II, стр. 188.

ше, то изъ этого можно заключить, что и 21 грошъ, по тогдашнимъ цѣнностямъ, стоилъ поселянамъ многихъ трудовъ и лишеній.

Чтобы лучше понять жизнь и состояніе крестьянина того времени и сознательнѣе войти въ его положеніе, необходимо прослѣдить его повседневные труды и заботы, вглядѣться въ его отношенія къ мѣстнымъ властямъ, взглянуть на его собственное хозяйство, приблизительно вычислить его скудные доходы и расходы и опредѣлить когда и при какихъ условіяхъ могъ онъ поддерживать свое существованіе. Я сказалъ, что коронные крестьяне княжества литовскаго жили на землѣ, принадлежавшей королевскимъ помѣстьямъ, платили за эту землю поземельный оброкъ деньгами, прибавляя къ нему плату натурою, и работали для казны по опредѣленію мѣстныхъ властей. Самыя близкія власти, съ которыми крестьянинъ имѣлъ постоянно дѣло, были „войты“ и “лавники,“ избиравшіеся изъ среды самихъ же крестьянъ; но они не были избавлены и отъ казенныхъ чиновниковъ, „ревизоровъ,“ „возныхъ,“ „подкоморыхъ“ и другихъ, наводившихъ на нихъ ужасъ своимъ появленіемъ. Земская полиція и все, что относилось до судебной и распорядительной власти, сосредоточивалась въ такъ называемыхъ „урядахъ,“ которые посылали чиновниковъ на слѣдствія, для разбора тяжебныхъ дѣлъ, на ревизіи, за сборомъ податей, и пр.; чинили судъ и расправу надъ крестьянами, неимѣвшими права апелляціи; дѣлали смертные приговоры и приводили ихъ въ исполненіе, не относясь къ высшимъ судебнымъ властямъ.

Такъ какъ для крестьянина единственнымъ источникомъ къ поддержанію своего существованія и для прокормленія семьи служитъ физическій трудъ, то интересно знать сколько вре-

мени удѣлялъ онъ на казенныя работы и что̀ за тѣмъ оставалось у него для работы на самаго себя и на свое семейство. Статутъ и другіе законодательные уставы опредѣляли эти повинности такимъ образомъ: Каждый крестьянинъ необходимо долженъ былъ работать на короля по два дня въ недѣлю, не считая четырехъ лѣтнихъ дней такъ называемой „толоки.“ Изъ пятидесяти двухъ недѣль, составляющихъ годъ, крестьянинъ свободенъ былъ отъ казенныхъ работъ только въ недѣлю Свѣтлаго Христова Воскресенія, на Рождество Христово и на масляницу (1): слѣдовательно изъ 365 дней года - 100 дней онъ не былъ свободенъ, изъ чего видно, что свободнаго времени у него оставалось очень довольно. Но кромѣ того, смотря по обстоятельствамъ дѣла и по усмотрѣнію чиновниковъ, крестьяне обязаны были работать и во всякое другое время, когда находились уважительныя къ тому причины, за что̀, впрочемъ, слагались съ нихъ нѣкоторыя повинности, но въ такомъ только случаѣ, когда работы эти выходили изъ круга ихъ обыкновенныхъ занятій: такъ давались крестьянамъ нѣкоторыя льготы, когда на нихъ возлагалась доставка подводъ на слишкомъ большія разстоянія, постройка казенныхъ замковъ и дворовъ, и когда повинности эти отвлекали ихъ отъ хозяйства надолго и производили ущербъ въ ихъ собственной экономіи. Но поставка подводъ, доставка лѣсу и постройка казенныхъ зданій въ сосѣдственныхъ помѣстьяхъ не считались отягченіемъ для крестьянъ и предоставлялись благоусмотрѣнію чиновниковъ (2). Если посылался чиновникъ съ казенными деньгами въ виленское каз-

---

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т. II, отд. II, стр. 153.
(2) Пам. изд. Врем. Ком. т. II, отд. II, стр. 154—155.

начейство, тогда войты, чередуясь погодно, изъ войтовствъ своихъ должны были снаряжать подводу для доставки этихъ денегъ: если чиновникъ везъ съ собой до 500 копъ денегъ ([1]), то ему давались двѣ подводы, если 1000 копъ, то четыре подводы. Плата прогонныхъ денегъ производилась также изъ мірской, т. е. крестьянской складчины: прогоны эти получали тѣ крестьяне, которые съ своими лошадьми употреблялись для перевозки денегъ изъ одного войтовства въ другое: они получали мірскихъ денегъ по грошу съ мили на одного коня. Не говорю здѣсь о прочихъ законахъ почтоваго вѣдомства, которые были организованы довольно правильно и тяжесть которыхъ падала опять таки почти на одно сословіе крестьянъ.—Кромѣ всего этого, крестьяне обязаны были, по распоряженію начальства, возить къ пристанямъ казенный хлѣбъ; лѣсные товары и камень для казенныхъ построекъ въ мѣста, которыя имъ назначитъ ревизоръ; они занимались также сплавомъ казеннаго лѣса и дровъ въ Вильно; на ихъ отвѣтственности лежало исправное содержаніе мостовъ по дорогамъ, и каждое войтовство, подъ начальствомъ своего войта, не дожидаясь распоряженій „мостовничаго,“ устроивало мосты и переѣзды на свой счетъ и своими руками. Впрочемъ, за всѣ эти работы положена была для нихъ небольшая льгота въ ихъ обычныхъ повинностяхъ ([2]). Крестьяне обязаны были еще ходить поочередно на стражу въ казенные замки и дворы по всѣмъ королевскимъ помѣстьямъ; полагалось также извѣстное число сторожей изъ крестьянъ судебныхъ мѣстъ тѣхъ повѣтовъ и волостей, къ которымъ они принадлежали.

([1]) Около 1500 руб. сер.
([2]) Тамъ же, стр. 155—162.

А гдѣ находились казенныя лошади, тамъ для каждой конюшни наряжали одного сторожа; на каждые двадцать кормленыхъ воловъ также наряжался сторожъ изъ крестьянъ. Ремесленники всѣхъ возможныхъ ремеслъ, — столяры, кузнецы, слесари, колесники, бочары, рыболовы, землекопы, — были водворяемы при всѣхъ замкахъ и дворахъ казенныхъ, особенно при большихъ дорогахъ и при тѣхъ дворахъ, куда король чаще навѣдывался ([1]).

Въ статутѣ Сигизмунда III повинности эти являются такими же, какими изображены здѣсь: и тамъ и здѣсь видимъ неопредѣленность этихъ повинностей. А это самое тяжелое состояніе для крестьянина. Онъ считаетъ себя болѣе безопаснымъ, если точно и опредѣлительно знаетъ, что именно отъ него требуютъ, что именно долженъ онъ платить въ казну и чиновникамъ, когда и сколько времени долженъ онъ отнимать у себя для казенной работы. Ему легче пожертвовать двумя третями всего своего времени и своихъ доходовъ, только бы это было опредѣлено разъ навсегда, — чѣмъ не знать ни одного дня, который онъ могъ бы назвать своимъ, не имѣть ни одного пенязя въ кошелькѣ, который бы принадлежалъ ему и никому больше. Произволъ въ распредѣленіи повинностей видѣнъ въ каждой главѣ королевскихъ уставовъ; онъ выражался въ ужасныхъ для крестьянина словахъ: *маеть быти на бачьности враду и ревизоровъ нашихъ*, т. е. „какъ угодно будетъ чиновникамъ,“ какъ они признаютъ за лучшее. Конечно, крестьянинъ тяготился такой безурядицей въ своихъ отношеніяхъ къ казнѣ

([1]) Тамъ же, стр. 162—164.

и къ чиновникамъ: ибо онъ въ такомъ только случаѣ считаетъ себя вполнѣ обезпеченнымъ, когда знаетъ, сколько онъ обязанъ внести въ казну, и какой поклонъ дать чиновнику, и сколько дней работать не на своей пашнѣ.—За то порядокъ казенныхъ работъ, пеня и тѣлесное наказаніе за всякое упущеніе опредѣлены уставомъ съ точностью. По словамъ устава, работа крестьянамъ должна быть заказана въ воскресный день: съ чѣмъ и въ какой день волость должна прійти на работу. И войтъ въ тотъ же день назначаетъ людямъ занятіе, и если кто не выйдетъ по заказу, то за первый день платитъ за непослушаніе грошъ пени, а за другой — барана, а если и въ третій разъ поупрямится, или отъ пьянства не выйдетъ на работу, то его наказывали бичомъ на скамьѣ и заставляли отработывать пропущенные дни. А если бы, по какому нибудь случаю, крестьянинъ въ самомъ дѣлѣ не могъ выйти въ поле по заказу войта, то обязанъ былъ извѣстить о томъ урядъ чрезъ сосѣда или присяжнаго засѣдателя („лавника"), и урядъ, признавъ причину уважительною, не долженъ подвергать его ни одному изъ вышеозначенныхъ наказаній, а крестьянинъ обязанъ въ другой день отработать все, что пропустилъ. Отъ работы же не откупаться никому; являться на работу когда солнце всходитъ, и оканчивать ее, когда солнце заходитъ; а отдыхъ тѣмъ, которые скотомъ работаютъ, передъ обѣдомъ—часъ, передъ полдникомъ — часъ, подъ вечеръ — часъ; а которые работаютъ пѣшіе, тѣмъ давать только по получасу отдыха, и притомъ такой отдыхъ дается только лѣтомъ, въ большіе дни. А кто рано на работу не выйдетъ по упрямству, тотъ

на другой день долженъ отработать столько времени, сколько пропустилъ ([1]).

Надо замѣтить, что крестьянинъ не смѣлъ откупаться отъ работы; даже мѣстныя власти не имѣли права освобождать его отъ положенной работы, хотя бы то было за достаточное вознагражденіе въ пользу казны: въ случаѣ неисполненія этой статьи устава, самъ урядъ принималъ на себя отвѣтственность передъ закономъ. Надо полагать, что постановленіе это состоялось собственно по той причинѣ, чтобъ предотвратить злоупотребленія, могшія произойти отъ позволенія откупаться отъ работъ: по всей вѣроятности, статья эта направлена противъ взятокъ со стороны чиновниковъ уряда ([2]).

Но не въ этомъ одномъ заключались повинности крестьянъ въ отношеніи къ казнѣ; сверхъ исполненія различныхъ работъ, они платили въ казну поземельный оброкъ и довольно сложныя пошлины; жалованье чиновникамъ большею частью падало, хотя нѣкоторымъ образомъ косвенно, на тѣхъ же крестьянъ. Кромѣ того, что крестьяне платили поземельныя пошлины, они обязывались вносить въ казну еще слѣдующій оброкъ: съ дыма — два гроша, съ хлѣба и съ дерева бортнаго — три гроша отъ каждой бортной лѣстницы; кто же не имѣетъ ни того, ни другаго, и живетъ на огородѣ, тотъ долженъ дать отъ огорода одинъ грошъ, а кто не имѣетъ и огорода—долженъ дать полгроша съ дыма ([3]). Этого мало; кромѣ платы деньгами, поборы въ казну нату-

---

([1]) Пам. изд. Врем. Ком., т. II, отд. II, стр. 52—56.
([2]) Тамъ же, стр. 25—26.
([3]) Тамъ же, стр. 210.

рой существовали сами по себѣ, и нельзя сказать, чтобы очень легкіе: съ каждой волоки хорошей и посредственной земли давалось по двѣ бочки овса; а если овса было достаточно въ казенныхъ магазинахъ, то крестьяне обязаны были давать вмѣсто овса десять грошей. Овесъ этотъ они должны были отвозить въ Вильно, къ ловищамъ, пристанямъ и дворамъ казеннымъ, куда будетъ приказано, за 20 миль (1); крестьянинъ, не желавшій везти своего овса на собственной подводѣ въ назначенное мѣсто, платилъ 10 грошей (2). За тѣмъ, съ каждой волоки давался въ казну возъ сѣна (или три гроша) и отвозился въ назначенное мѣсто, не далѣе 15 миль. Или: каждая волока давала гуся или полтора гроша, пару куръ или 16 пенязей, 20 яицъ или 3 пенязя, на неводы—два гроша, на провіантъ—$2^1/_2$ гроша; если же на провіантъ не брались деньги, то этотъ провіантъ брался натурой: съ 30 волокъ въ годъ давали яловицу и двухъ барановъ, а съ каждой волоки по курицѣ и по 10 яицъ (3). Эти мелкіе поборы обходились крестьянину конечно не такъ дешево, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и почти безвыходно держали его въ нищетѣ, конца которой онъ не видѣлъ и на будущее время. Въ сущности, сумма тутъ не велика, особенно если мы станемъ мѣрить ее по своему, на основаніи цѣнъ настоящаго времени; но по тѣмъ временамъ такіе поборы были тяжелымъ ярмомъ для бѣднаго крестьянина, платившаго за все и отъ всего; для XVI-го вѣка это было тяжелѣе татарскаго набѣга и только не тяжеле развѣ

(1) Тамъ же, стр. 47.
(2) Тамъ же, стр. 41.
(3) Пам. изд. Врем. Ком., т. II, отд. II, стр. 42—43.

одного арендпаго состоянія. Въ самомъ дѣлѣ историческіе и юридическіе факты всѣ согласны въ томъ, что литовскому и малорусскому крестьянину не дешево обходилось его существованіе; что дорого покупалъ онъ себѣ право жить на землѣ, а еще дороже — воздѣлывать эту землю. Но приходилось ли ему пользоваться плодами тяжелыхъ трудовъ своихъ, вознаграждались ли сколько нибудь его лишенія и оставалась ли ему, въ возмездіе за трудъ, хоть часть того добра, которое добывалъ онъ потомъ и кровью: на это мы не отвѣтимъ утвердительно. Трудно думать, чтобъ крестьянинъ въ такомъ положеніи былъ обезпеченъ хотя самыми необходимыми предметами жизни. Оттого такъ часто въ законахъ литовскихъ встрѣчается фраза, ужаснѣе которой ничего нѣтъ для крестьянина, — *часы голодные*. Это голодное время, безхлѣбье, заставлявшее крестьянина бросать свою семью и родину и идти на сторону *кормитися*, какъ говоритъ уставъ, — идти не на заработки, не для денегъ, а для одного насущнаго пропитанія: и шелъ онъ на сторону потому, что въ своей волости, въ своемъ селѣ и между знакомыми, безъ сомнѣнія, и прокормиться не надѣялся.

Но этимъ сказано далеко не все. Положимъ что благодатная почва выручала крестьянина изъ нужды и дѣлала его безбѣднымъ, по крайней мѣрѣ, со стороны пищи; положимъ, что у него доставало времени собрать хлѣбъ съ своей волоки, заплатить въ казну натурой, сколько приходилось на его тягло; но вѣдь этого мало, онъ, какъ мы видимъ, долженъ былъ еще платить звонкой монетой — и за землю, и за огородъ, и съ дыма, и съ дерева бортнаго, если такое было на его волокѣ. Гдѣ же было достать литовскому и малорусскому крестьянину звонкой монеты, когда во всемъ

государствѣ обращалась она въ довольно ограниченномъ количествѣ? Оставалось продать часть снятаго хлѣба,—но кому? Странно: слова „кому продать хлѣбъ“ почти непонятны стали для крестьянина настоящаго времени, когда онъ знаетъ, что его хлѣбъ купитъ, если не всякій перекупщикъ, то другіе купятъ его на сторону, купятъ даже для того, чтобъ отправить за границу. Въ XVI-мъ вѣкѣ это было нѣсколько иначе: крестьянину можно было продать хлѣбъ только развѣ въ городѣ своего повѣта, для мѣстныхъ обывателей. Но городскіе обыватели того времени не чужды были крестьянскихъ занятій, сами владѣли извѣстными участками земли, получали съ нихъ хлѣбъ, и только рѣдкіе изъ нихъ нуждались въ крестьянскомъ. Оттого и не легко было крестьянину собрать какую-нибудь копу грошей, которая тотчасъ же переходила въ казну и въ карманы засѣдателей.

Для литовскаго и малорусскаго крестьянина чиновникъ былъ положительнымъ и неотразимымъ зломъ, всю тяжесть котораго несло на себѣ низшее сословіе: тамъ чиновникъ существовалъ мужикомъ и всякое столкновеніе этого послѣдняго съ закономъ въ лицѣ засѣдателя („лавника“) или другаго урядника, всякое дѣло,—будь оно въ высшей степени правое,—требовало извѣстной платы чиновнику—по закону. Издержки мужику обходились двойныя: платилъ онъ казнѣ—по закону, платилъ и чиновнику—по закону; и чѣмъ чаще мужикъ встрѣчался съ закономъ, т. е. съ чиновникомъ, тѣмъ больше боялся онъ и того и другаго, и тѣмъ больше желалъ этихъ встрѣчъ чиновникъ, имѣя въ нихъ все: „насущный хлѣбъ, и жалованье, и награду за лишнія хлопоты,—не говоря уже о „благодарностяхъ,“ о „поклонахъ,“ которые разумѣются сами собой. Оттого и въ законѣ является

статья противъ взятокъ, въ которой постановлено, чтобы войты, засѣдатели и прочіе чиновники не полагали лишняго за свои дѣла, не брали взятокъ, не выдумывали разныхъ своевольныхъ поборовъ. Но какъ непрочна была эта статья устава, видно изъ того, что за всѣ свои плутни надъ крестьянами, за всѣ грабежи при слѣдствіяхъ и сборѣ пошлинъ, чиновникъ отвѣчалъ передъ правосудіемъ однимъ только рублемъ (1), и, вѣроятно, оставался на прежней должности для выручки этого взятаго казной рубля.

Конечно, повинности крестьянина въ отношеніи къ казнѣ были почти постоянныя, тогда какъ повинности въ отношеніи къ исполнителямъ закона являлись большею частію въ тѣхъ только случаяхъ, когда крестьянинъ находился въ необходимости прибѣгнуть къ защитѣ правосудія. Впрочемъ, многое и въ этихъ случаяхъ обратилось въ непремѣнный законъ: такъ, напримѣръ, крестьяне неизбѣжно должны были платить чиновникамъ при отдачѣ въ казну своего овса; за вписаніе чего-либо въ реестръ, давать имъ подарокъ каждый новый годъ, и т. д., хотя къ это время были уже запрещены такъ называемыя „святочныя колядки“ или *поколеды великодныя* (2), за собираніемъ которыхъ чиновники обыкновенно ѣздили по селамъ и выдумывали при этомъ удобномъ случаѣ всякіе небывалые налоги. Смыслъ этого мѣста устава тотъ, что, до изданія его Сигизмундомъ Августомъ, чиновники въ Свѣтлое Христово Воскресеніе отправлялись по деревнямъ „славить Христа,“ поздравлять крестьянъ съ праздникомъ, и поздравленія ихъ, конечно, еще болѣе отягощали обывателей деревень.

---

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т, II, отд. II, стр. 23—25.
(2) Тамъ же, стр. 129—130.

Когда, по распоряженію правительства, производились въ казенныхъ мѣстахъ облавы и звѣриныя ловли, то на эти облавы сгоняли крестьянъ изъ всѣхъ сосѣднихъ волостей: они должны были являться туда на возахъ и пѣшкомъ, какъ того требовали обстоятельства, и обязаны были приходить всѣ безъ исключенія кромѣ дѣтей и стариковъ („хлопята и старые"), которымъ позволялось оставаться дома (1). — Изъ крестьянъ избирались особые охотники,, *осочники*, которые исполняли должность загонщиковъ на королевскихъ облавахъ, за что получали по двѣ волоки земли, свободной отъ поземельнаго оброка и другихъ повинностей (2). — За тѣмъ, крестьяне платили *дань медовую* съ тѣхъ бортей, которыя находились въ казенныхъ лѣсахъ. Они обязаны были ловить бобровъ, гдѣ бы они ни оказались, не только въ общихъ и казенныхъ лѣсахъ, но и въ своихъ собственныхъ, на своихъ волокахъ, и шкуру убитаго звѣря отдавали въ казну, оставляя себѣ за трудъ или пятаго бобра или подбрюшье каждаго пойманнаго. Что же касается до скота и всякихъ домашнихъ животныхъ, назначаемыхъ для убоя, то крестьянинъ не имѣлъ права продавать ихъ безъ особаго дозволенія уряда: такъ, если крестьянинъ желалъ продать въ торговый день мясо убитаго животнаго, то, привезши его въ городъ, обязанъ былъ выхлопотать прежде для этого разрѣшеніе начальства, заплативъ особую пошлину; да и предварительно, въ самомъ селѣ, ему нужно было показать мясо засѣдателю, заплативъ и ему пошлину, и привезти съ собой въ городъ шкуру убитаго скота, на случай

---

(1) Тамъ же, стр. 138—140.
(2) Тамъ же, стр. 18—19.

подозрѣнія въ воровствѣ (1). Естественно, что подобныя проволочки стоили крестьянину не дешево и совершенно отбивали у него охоту къ честному добыванію денегъ, хотя безъ нихъ онъ рѣшительно не могъ существовать, платя пошлину и оброкъ при всякомъ удобномъ случаѣ.

Всякое дѣло, какъ бы оно ни было маловажно, стоило крестьянину особыхъ издержекъ: онъ платилъ присяжному засѣдателю грошъ *огляднаго* за каждый судебный осмотръ, за каждое произведенное слѣдствіе (2); онъ платилъ войту четыре гроша по дѣлу о межахъ и 12 грошей уряду (3); крестьянинъ, неявившійся по какимъ-либо обстоятельствамъ па требованіе суда, платилъ „дѣтскому" грошъ *хоженаго* за каждую милю, пройденную дѣтскимъ къ нему и обратно (4); „возный" бралъ за все: и за каждую милю, которую онъ проѣдетъ, и за каждое дѣло, къ которому приступитъ, бралъ и съ отвѣтчика и съ истца (5), въ чемъ вполнѣ удостовѣряетъ насъ самый Статутъ Сигизмунда III.

Такъ брали отдѣльные чиновники; но и самому уряду положена была плата не меньше упомянутыхъ: за вписаніе крестьянина въ реестръ урядъ бралъ 14 пенязей съ волоки, съ бочки овса—пенязь, за судебный осмотръ—грошъ, отъ присяги—два гроша, за пересудъ—отъ копы три гроша, служителямъ за принесеніе и привозъ судебныхъ позвовъ—куницу, съ дѣвицы или вдовы, идущей замужъ въ

---

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т. II. отд. II, стр. 36—37.
(2) Тамъ же, стр. 29.
(3) Тамъ же, стр. 28.
(4) Тамъ же, стр. 22—23.
(5) Стат. Кор. Сигиз. III, стр. 99—100.

другую волость—12 грошей, подарокъ въ новый годъ—грошъ ([1]), и пр. Какъ разнообразны были повинности крестьянъ въ отношеніи къ чиновникамъ, видно изъ того, что самыхъ названій ихъ было безконечное множество: *хожеиное*, *вижованое*, *оглядное*, *потуремное*, *помильное*, *поланцужное*, *поколодное* и мн. др.

Изъ всего этого не трудно убѣдиться, что чиновникъ для малорусскаго крестьянина былъ тяжелымъ бременемъ, котораго не могли облегчить ни казаки, ратовавшіе почти только за свою личную свободу и рѣдко за посполитство, ни политическія бури, безпрестанно волновавшія Польшу, ни самое время: бури касались только верхнихъ слоевъ общества, оставляя въ сторонѣ крестьянъ — хлѣбопашцевъ, имя которыхъ весьма рѣдко слышалось на сеймахъ и то развѣ только въ тѣхъ случаяхъ, когда какая либо волость, доведенная до крайности и движимая лишь чувствомъ животнаго самосохраненія, вставала на защиту своего послѣдняго достоянія отъ произвола грабителей; тогда только поднимались „гречкосѣи,“ „голота“ и вся масса бездомовныхъ батраковъ, жившихъ изъ за куска хлѣба. Чаще являлись на политической аренѣ „винники,“ „пивовары“ и „хлѣбопеки,“ какъ населеніе преимущественно городское, имѣвшее болѣе средствъ располагать своимъ временемъ и своей жизнью. Сельское же населеніе, которое плугомъ и серпомъ поддерживало свое существованіе, безропотно, повидимому, работало на казну и на чиновниковъ. И нельзя сказать, чтобы эти послѣдніе были виноваты въ жалкой судьбѣ малорусскаго простолюдина: то была

([1]) Пам. изд. Врем. Ком., т. II, отд. II, стр. 129—130.

воля закона, вытекавшаго изъ гуманныхъ идей Рѣчи Посполитой; то было ослѣпленіе народа, проповѣдывавшаго свободу и высоко стоявшаго въ общественномъ развитіи, — народа, который хорошо понималъ и сочувствовалъ человѣчнымъ идеямъ Нѣмирича, хотя такимъ страннымъ образомъ примѣнялъ ихъ къ дѣйствительности. Какъ ни была развита польская шляхта, какъ ни славилась она образованіемъ и сочувствіемъ къ общечеловѣческимъ идеямъ, —но она съ трудомъ отличала хлопа отъ всякаго рабочаго животнаго; въ сердцѣ шляхтича, при всемъ его развитіи и живомъ стремленіи къ прогрессу, мало оставалось мѣста для жалости къ существу, которое природа поставила слишкомъ далеко отъ него и слишкомъ отдѣльно.

Намъ остается обозрѣть еще другія стороны въ положеніи коронныхъ крестьянъ югозападной Руси. Подати съ нихъ положено было собирать отъ дня св. Михаила до св. Мартына. Для этого наряжались отъ уряда особые чиновники. Они обязаны были принимать всѣ денежные сборы и другіе казенные доходы не иначе, какъ въ казенныхъ дворахъ, а гдѣ не было дворовъ, то въ городахъ и селахъ, на одномъ мѣстѣ, въ гостинницѣ, не разъѣзжая и не посылая войтовъ по селамъ, ни по домамъ, подъ угрозою королевской немилости, что дѣлалось, вѣроятно для предотвращенія взятокъ и своевольныхъ поборовъ, бывшихъ не послѣднимъ зломъ въ администраціи того времени. Кто не могъ заплатить подати въ назначенный срокъ, того сажали въ тюрьму и держали тамъ до тѣхъ поръ, пока подать не была уплачена. И за это бралъ еще дѣтскій грошъ „поколоднаго.“ Надо думать, что казенныхъ недоимокъ при такомъ порядкѣ вещей было

не мало. Впрочемъ, ни воловъ, ни лошадей не было велѣно отбирать у несостоятельныхъ ([1]).

Крестьянамъ не позволялось селиться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находился казенный лѣсъ и преимущественно около такихъ пущъ, въ которыхъ производились облавы и звѣриныя ловли. Если же въ казенныхъ лѣсахъ находились мѣста, годныя для сѣнокосовъ, то ихъ позволено было отдавать крестьянамъ *за плату*. Въ такомъ случаѣ крестьяне, закупивши сѣнные покосы, всѣ вмѣстѣ должны были ходить на сѣнокосъ, давъ знать о томъ лѣсничему, но не смѣли брать съ собой ни ружья, ни собаки, ни рогатины и ничего такого, чѣмъ можно убить звѣря. А гдѣ крестьяне имѣли бани въ казенныхъ лѣсахъ, тамъ при такихъ баняхъ отнюдь не должны были держать ни скота (который могъ портить деревья), ни собакъ. Впрочемъ, они имѣли право въѣзжать, хотя не глубоко, и въ главныя казенныя пущи—по дрова, по хворостъ для городьбы, по лыко, по строевой лѣсъ,—но только для своей надобности, а не на продажу. Ребятишкамъ и бабамъ позволялось ходить по всѣмъ лѣсамъ—за грибами, лѣсными овощами, ягодами и хмѣлемъ.— На своей волокѣ крестьянинъ могъ убить волка, лисицу, рысь, россомаху, зайца, бѣлку и всякаго другаго малаго звѣря, также всякую птицу и могъ продавать кому угодно, не объявляя уряду; но сернъ и другихъ большихъ звѣрей не смѣлъ убивать и на своихъ волокахъ, хоть бы у себя на дворѣ; особливо въ пущахъ и около пущъ крестьянамъ не дозволялось держать ружей и ловить звѣрей какихъ бы то

([1]) Стат. Сигиз. III, стр. 79—82.

ни было, *подъ опасеніемъ смертной казни* (1). Видно, что въ лѣсныхъ законахъ большее вниманіе обращено было на сбереженіе звѣрей, необходимыхъ для королевской забавы, чѣмъ на охраненіе самыхъ лѣсовъ.

Положеніе казеннаго крестьянина не можетъ дать ни малѣйшаго понятія объ участи другихъ несвободныхъ классовъ Рѣчи Посполитой: положеніе его должно было казаться рѣдкимъ благосостояніемъ въ глазахъ хлоповъ и *вольныхъ похожихъ*.

Вольные похожіе, не имѣя клочка собственной земли, которая вся находилась во владѣніи казны, или принадлежала шляхтѣ, рано или поздно, по неволѣ должны были сдѣлаться такимъ же достояніемъ пановъ, какъ и прочіе хлопы: если поселянинъ хотѣлъ оставаться вольнымъ, хотя по имени, онъ долженъ былъ скитаться съ мѣста на мѣсто и не имѣть своей собственной кровли. Въ этомъ случаѣ Статутъ заботился, кажется, о прикрѣпленіи крестьянъ къ землѣ. Если вольный человѣкъ прожилъ десять лѣтъ на одномъ мѣстѣ, платя всѣ требуемыя отъ него повинности и работая на господина, онъ дѣлался крѣпостнымъ владѣльца земли и могъ откупиться отъ него только десятью копами грошей. Онъ могъ избавиться отъ своего пана еще бѣгствомъ; но въ такомъ случаѣ панъ имѣлъ право отыскивать его до десяти лѣтъ. Если въ продолженіе этого срока бѣглецъ не былъ поймакъ, то на одиннадцатомъ году становился снова вольнымъ; въ противномъ случаѣ дѣлался такимъ же крѣпостнымъ, какъ и другіе хлопы владѣльца. А *хлопъ* принад-

---

(1) Стат. Сигиз. III, стр. 131—145.

лежалъ господину весь, какъ принадлежали ему волы и овцы съ приплодомъ и шерстью, борти съ пчелами и медомъ, садки съ рыбой, лѣса съ дикими звѣрями; хлопъ работалъ на него столько, сколько позволяли ему силы и время, и если работалъ и на себя, то лишь только для того, чтобы все выработанное отдать господину же. Коронный крестьянинъ имѣлъ мѣсто и защиту въ законѣ, хотя, въ сущности, законъ этотъ былъ для него глухъ и нѣмъ, существуя только на бумагѣ, какъ мертвая форма, какъ чиновничья рутина, и не мѣшая исполнителю закона толковать смыслъ его по своему уразумѣнію; хлопъ лишенъ былъ даже этого; онъ, если можно такъ выразиться, стоялъ внѣ закона, по крайней мѣрѣ, для своего владѣльца; всѣ артикулы, въ которыхъ, повидимому, защищались его человѣческія права, не существовали на дѣлѣ, уступая передъ силою обычая, вслѣдствіе котораго жизнь хлопа могъ отнять панъ или его довѣренный. Хлопъ былъ рабъ въ полномъ смыслѣ слова. Хотя Статутъ Сигизмунда III и заботился уже, чтобы хлопа не называли невольникомъ, для чего и подобранъ особый *артыкулъ* — „о новомъ назвиску челяди дворное, место того, *шшо ихъ передъ тымъ невольниками звано*“ (¹); но перемѣна имени не спасла жизнь этой челяди отъ произвола господъ; исчезло названіе, но идея осталась вѣрною старинѣ, и много лѣтъ спустя послѣ изданія этого артикула, всякій помѣщикъ не боялся передавать своихъ крестьянъ въ аренду жидамъ и писать условія, которыя утверждались въ судебныхъ мѣстахъ, передъ лицемъ закона, и

(¹) Стат. Сигиз. III, стр. 382, арт. 36. Ср. стр. 346, арт. 21.

въ которыхъ не считалась предосудительною фраза, что жидъ арендаторъ имѣлъ полное и неотъемлемое право судить и *горломъ карать* (т. е. лишать жизни, предавать казни) арендныхъ крестьянъ.

Чтобы показанія наши не были голословны, возьмемъ въ помощь современныя тому свидѣтельства: для этого слѣдуетъ взглянуть на устройство помѣщичьихъ имѣній того времени въ югозападной Россіи. Голыя цифры сильнѣе всего скажутъ намъ о тяжкомъ положеніи низшихъ классовъ въ Малороссіи и княжествѣ литовскомъ. Драгоцѣннымъ памятникомъ для того служатъ инвентари помѣщичьихъ имѣній, въ которыхъ ясно обозначилось незавидное положеніе обывателей югозападной Россіи.

Системы сельскаго хозяйства въ польской Руси XVI-го вѣка были довольно разнообразны; но, къ сожалѣнію, разнообразіе это нисколько не помогало сущности предмета и не дѣлало ни одной системы лучше другихъ. Развернемъ какой угодно инвентарь помѣщичьяго имѣнія, и намъ станетъ понятно, къ чему клонились всѣ хозяйственныя мѣры разныхъ системъ и экономическихъ тонкостей. Передъ нами инвентарь имѣнія Заборольскаго: въ немъ говорится немного и притомъ какъ будто вскользь, когда рѣчь идетъ о крестьянскихъ повинностяхъ; но и по немногимъ сказаннымъ словамъ можно судить о многомъ недосказанномъ.

Имѣніе это не велико. Людей, приписанныхъ къ нему, инвентарь насчитываетъ до 62 тяголъ. Всѣ крестьяне занесены въ инвентарь поименно; при каждомъ тяглѣ обозначено сколько кто имѣетъ рабочаго скота,—лошадей и воловъ. На 64 души (считая вмѣстѣ съ тѣмъ повара и плотника) приходится только 46 лошадей, изъ которыхъ только 16

названы конями, а остальныя 30—клячами; воловъ во всемъ имѣніи, на всѣ означенныя тягла, считалось 95 штукъ. Слѣдовательно, у рѣдкаго крестьянина можно было найти пару воловъ, а иногда не было и одного, и у рѣдкаго находилась во владѣніи своя лошадь; у шести же изъ нихъ не было ровно ничего: ни вола, ни лошади. Намъ кажется, что съ такимъ количествомъ скота воздѣлывать землю не совсѣмъ удобно. И какимъ способомъ могли обработывать свои и господскія поля крестьяне имѣнія Заборольскаго, когда въ плугъ они могли запрячь не иначе какъ по одной клячѣ и по волу?—Конечно должны были прибѣгать къ складчинѣ. Между тѣмъ эти 64 человѣка несли повинности довольно обременительныя: одно то, что барщина для нихъ не ограничивалась никакимъ срокомъ. *Они должны были работать на помѣщика каждый день* и сверхъ того ежегодно давали ему по мацѣ (до 5 четвериковъ) овса съ каждаго вола ([1]).

Но еще тягостнѣе было положеніе крестьянъ въ другихъ подобныхъ имѣніяхъ. Напримѣръ: въ одномъ изъ нихъ крестьяне платили помѣщику ежегодно съ каждаго дворища по копѣ грошей (около 3 руб. сер.) ([2]), давали по двѣ курицы, по гусю, по десяти мотковъ пряжи и *работали на барщинѣ каждый день;* въ другомъ они платили помѣщику по двѣнадцати грошей съ дворища, сверхъ того давали по четыре мацы (2 четверти) овса, по двѣ курицы и *работали на барщинѣ каждый день;* въ третьемъ крестьяне платили помѣщику до двадцати грошей, давали

([1]) Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд. II, стр. 16.
([2]) Тамъ же, предисловіе.

до осьми мацъ овса (4 четверти), давали подволу, куда требовалось помѣщику, и *работали каждый день на барщинѣ*; въ четвертомъ имѣніи платили помѣщику по 1 руб. 50 к. сер., давали по четверти овса, по пяти возовъ сѣна, по два ведра прѣснаго меду, по двѣ курицы, и *опять таки работали на барщинѣ каждый день* (1).

Натурально, что у такого народа могла сложиться грустная пѣсня, которая, находя сочувствіе въ угнетенной массѣ, пережила цѣлыя столѣтія и еще до сихъ поръ раздается на Волыни:

Ходить попокъ по церковцû,
У книжку читае:
— Ой, чомъ же васъ, добрû люди,
У церквû не мае.
— Ой, якъ же намъ, паноченьку,
До церквû ходити:
Одъ недûлû до недûлû
Маемъ молотити... (2).

Кромѣ полевыхъ работъ, на крестьянъ возложено было исполненіе другихъ разнообразныхъ повинностей, неразлучныхъ со всякимъ порядочнымъ хозяйствомъ: у рѣдкаго владѣльца не было мельницъ, прудовъ для рыбы, бобровыхъ гоновъ, садовъ, винокуренныхъ заводовъ,—поддерживаемыхъ тѣми же рабочими силами; во многихъ имѣніяхъ приготовляли въ большомъ количествѣ поташъ, гнали деготь, рубили и возили на продажу лѣсъ, и пр. Такъ и въ имѣніи Заборольскомъ находилась винокурня и, кромѣ того, нѣ-

---

(1) Тамъ же, предисловіе.

(2) Изъ Сборн. Волын. пѣсень, г. Костомарова. (Малорус. литератур. сборникъ, Д. Мордовцева. Саратовъ. 1859).

сколько господскихъ огородовъ, требовавшихъ довольно тщательнаго ухода и значительнаго количества рукъ.

Вообще надо сказать, что это былъ родъ такихъ имѣній, которыми помѣщики владѣли на правахъ полной и безусловной собственности и потому между владѣльцемъ и его крестьяниномъ не существовало никакихъ опредѣленныхъ правилъ и всѣ поминности послѣдняго зависѣли отъ произвола перваго.

Другой родъ помѣщичьихъ владѣній представляютъ такія помѣстья, въ которыхъ отношенія между господиномъ и крестьяниномъ являются уже болѣе опредѣленными и менѣе зависятъ отъ произвола и личной воли владѣльца. Къ числу такихъ имѣній принадлежатъ помѣстья Черногородскія, бывшія во владѣніи князя Романа Сангушка и обширныя имѣнія Полонныя, принадлежавшія князю Григорію Сангушку. Имѣнія Черногородскія составляли 14 селъ, которыя, однако, не всѣ пользовались одинаковыми правами. Крестьянамъ этихъ селъ розданы были опредѣленные участки земли, называвшіеся *дворищами*, достаточные для одного крестьянскаго хозяйства. Количество земли, занимаемой однимъ дворищемъ, не опредѣлено въ инвентарѣ, да оно, кажется, и никогда не обозначалось точно опредѣленною мѣрою; по крайней мѣрѣ, въ памятникахъ того времени ничего не говорится о количествѣ земли, назначаемой подъ каждое дворище. Вѣроятно, величина ихъ зависѣла отъ воли помѣщика и средствъ крестьянина, которому дворище предоставлялось въ пользованіе.—Не всякій хозяинъ владѣлъ полнымъ дворищемъ: иному давалось полдворища, иному жеребій (извѣстная часть дворища), третьему даже полжеребья. Жеребья земли, по

тогдашнему времени, было достаточно для одной ревизской души, или для небольшаго крестьянскаго семейства.

Инвентарь довольно отчетливо опредѣляетъ повинности каждаго крестьянина имѣній Черногородскихъ. Онѣ были слѣдующія: тяглый крестьянинъ, получившій въ удѣлъ дворище или жеребій, платилъ помѣщику поземельный оброкъ, сообразный съ качествомъ и величиной участка земли, который былъ данъ ему въ обработку. Самая большая плата состояла изъ 80 грошей или около 4-хъ нашихъ цѣлковыхъ; другіе платили 60 грошей (около 3 р. сер.); за меньшія дворищи взималось, большею частью, 30 и 29 грошей, что составляло почти нормальную цѣну посредственнаго дворища. Кромѣ поземельнаго оброка, крестьяне платили еще *дань медовую* и плата эта была различна: такъ, напримѣръ, крестьяне села Маневичей, которыхъ считалось только шесть дворищъ, платили медовой дани $112^1/_2$ ведеръ, кромѣ платы за землю, которая у нихъ равнялась 29-ти грошамъ съ дворища; крестьяне же села Рудникова, у которыхъ считалось 24 дворища, давали медовой дани только 24 ведра, и т. д. Относительно работъ тяглыхъ людей въ инвентарѣ сказано очень неопредѣленно, именно: *а повинность работы ихъ водлугъ давного звычаю*. Что это былъ за *старый обычай*—неизвѣстно. Можетъ быть это значитъ, что Черногородскіе крестьяне отбывали такую же барщину, какая была въ имѣніи Заборольскомъ, т. е. каждодневную.

Въ имѣніи Черногородскомъ не всѣ крестьяне состояли на правахъ тяглыхъ и не всѣ отбывали одинаковыя повинности. Въ этомъ имѣніи, какъ и во всѣхъ почти малороссійскихъ имѣніяхъ того времени, кромѣ тяглыхъ, находился особый классъ сельскихъ обывателей, такъ называемые *ого-*

родники, которые, не занимаясь земледѣліемъ, не имѣли и пахатныхъ полей, а содержали въ распоряженіи своемъ только дворовое мѣсто и небольшой клочекъ земли подъ огородомъ. Они платили поземельнаго оброка меньше: отъ 15 до 60 коп. сер. ежегодно. Но работы огородниковъ на барщинѣ уравнены были съ работами тяглыхъ людей. Третій родъ крестьянъ составляли въ этомъ имѣніи *подсусѣдки*, самые бѣдные изъ обывателей деревень, неимѣвшіе, что называется, ни кола, ни двора; они не пользовались ни особымъ дворовымъ мѣстомъ, ни пахатной землей, ни огородомъ; а за то, что имъ позволялось жить въ помѣщичьемъ селѣ, они платили вмѣстѣ съ прочими обывателями отъ 5 до 25 коп сер. въ годъ. Наконецъ, въ имѣніи Черногородскомъ проживали еще *вольники*—родъ новопоселенцевъ или вольныхъ пахатныхъ людей," которые, на первое время послѣ своего поселенія, пользовались нѣкоторыми льготами относительно поземельнаго оброка и освобожденіемъ отъ другихъ повинностей такъ въ селѣ Козлиничахъ вольники—Марко, Грицъ и др. платили поземельнаго оброка отъ 15 до 30 к. сер. съ дворища.

Обыватели же двухъ селъ—Карасина и Поворска, въ которыхъ временно проживалъ самъ панъ, князь Сангушко, или его довѣренный, находились на другихъ условіяхъ: они платили меньшій поземельный оброкъ; но другія повинности ихъ были значительны. Крестьяне села Карасина давали поземельнаго оброка до 1 р. 20 к. сер. и сверхъ того медовой дани болѣе 26 ведеръ. Натуральныя ихъ повинности были слѣдующія: они давали подводу, куда ни требовалъ помѣщикъ или его управляющій; пахали на барскомъ полѣ, сѣяли, собирали хлѣбъ, молотили его и отвозили зерно, куда

было приказано. Когда пріѣзжалъ къ нимъ князь или урядникъ, а также слуга княжій или урядничій, то крестьяне должны были давать все возможное продовольствіе какъ имъ и ихъ слугамъ, такъ и лошадямъ барскимъ.

Отъ крестьянъ села Поворска требовалось: поземельнаго оброка до 13 грошей, медовой дани 73 ведра и три возовицы меду. Барщина состояла въ слѣдующемъ: они строили дворовыя господскія зданія и дѣлали около барскаго двора городьбу; строили господскія конюшни, хлѣвы, оборы (т. е. скотные дворы) и всѣ хозяйственныя зданія. Они не пахали на барщинѣ, но, вмѣсто того, ежегодно давали по одной шестерной копѣ ржи, по копѣ овса, по копѣ гречихи; кромѣ того каждый годъ давали по два рѣшета всякой пашни, исключая огородниковъ. А повинность огородниковъ состояла въ слѣдующемъ: копать въ огородахъ и сѣять овощи, собирать и хранить все посѣянное и снятое въ огородахъ; они употреблялись также для посылокъ въ недальнія мѣста, обязаны были пасти лошадей, когда пріѣзжалъ князь, и съ каждаго огорода давали по шести грошей ежегодно.

Поворскіе же тяглые крестьяне обязаны были сжать всякую пашню, сколько бы ни было вспахано господскими сохами, убрать хлѣбъ, смолотить, отвезти на мельницу, куда приказано будетъ. Сѣно косить обязывались въ продолженіи двухъ недѣль; должны были также и убрать все скошенное сѣно, но не всѣмъ селомъ вдругъ, а только одной половиной въ одно лѣто, а въ слѣдующемъ году другою. По окончаніи сѣнокоса, обязаны были еще дать по грошу отъ косы надсмотрщику за работою. Въ недалекія мѣста должны были давать подводы, но дань отвозили, куда бы имъ ни было приказано. Когда пріѣзжалъ самъ князь или

бирчій, то давали стражу къ господскому двору и возили дрова, а въ другое время крестьяне стражи не давали, потому что, кромѣ всѣхъ повинностей, они платили еще *сторожевщину*—по два гроша съ дыма. Они должны были строить господскія мельницы, гатить гати, ходить на облаву въ округѣ Поворскомъ и на бобровые гоны, когда бы то ни приказывалось. Все село обязано было давать помѣщику двѣ яловицы; но яловицами у нихъ не брали, потому что ежегодно за двѣ яловицы, въ день св. Петра и Павла, они вносили 100 грошей. Ежегодно, о праздникѣ Успенія, давали по парѣ куръ на каплуненье, а осенью, вслѣдъ за медовой данью, по гусю. Если бы кто нашелъ гнѣздо соколиное, то обязанъ былъ отнести его на барскій дворъ и отдать всѣхъ соколовъ; а если кто находилъ гнѣздо ястребиное или кобчее (въ подлин. *гнѣздо рабчого*), то долдолженъ былъ дать помѣщику по одной птицѣ отъ каждаго гнѣзда. Отдавъ подати, они должны были еще дать исправный возъ для доставки этихъ податей. А *полуковщину* платили по грошу отъ лукна (гнѣзда) боброваго *по старому обычаю*, какъ сказано въ инвентарѣ ([1]).

Не смотря на отчетливость инвентаря въ описаніи крестьянскихъ повинностей, все-таки для насъ остается темнымъ выраженіе, что крестьяне имѣній Черногородскихъ (исключая обывателей Карасина и Поворска) отбывали барщину „по старому обычаю.“ Изъ инвентаря мы не видимъ также, какъ велики были участки земли, розданные крестьянамъ за плату, а потому не въ состояніи опредѣлить, какой

([1]) Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд. II, стр. 17—59.

вѣроятный процентъ дохода съ земли платили крестьяне помѣщику. Также неизвѣстно намъ и количество рогатаго скота, какимъ владѣлъ каждый крестьянинъ этого имѣнія.

Надо прибавить, что въ имѣніи Черногородскомъ, кромѣ тяглыхъ крестьянъ, огородниковъ, подсусѣдковъ и вольниковъ, жили еще *земляне*, которые занимали четыре селенія, принадлежавшія князю Сангушку: Вольку Ломачинскую, Шовтысову Руду, Васильки и Валку (1). Села эти назывались „селами землянскими.“ Земляне были шляхтичи, не имѣвшіе поземельной собственности, а водворенные на помѣщичьей землѣ, съ обязательствомъ исправлять военную службу по приказанію владѣльца земли. Шляхтичи, получавшіе на такихъ же условіяхъ королевскія земли, назывались „землянами королевскими.“

Обратимся теперь къ другому роду помѣщичьихъ имѣній, въ которыхъ еще яснѣе обозначены отношенія владѣльца къ крестьянину и болѣе яркими красками обрисованы повинности послѣдняго.

Инвентарь имѣнія Полонскаго составленъ превосходно. Разобравъ его, мы получимъ понятіе о состояніи хозяйства въ помѣщичьихъ имѣніяхъ югозападной Россіи XVI-го вѣка и, преимущественно, о состояніи малорусскаго крестьянина того времени.

Къ имѣнію Полонскому было приписано шесть селъ различной величины, съ отведенными для каждаго участками земли, которая и была роздана крестьянамъ за опредѣленную плату и на извѣстныхъ условіяхъ. Хозяйственная сис-

---

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд. II, стр. 44.

тема, введенная въ этомъ имѣніи, совершенно отлична отъ показанныхъ выше: здѣсь не назначалось особой усадебной земли, необходимой въ каждомъ селеніи, какъ бы ни было оно малонаселенно, и потому не было особой свободной земли, предназначенной для выгона; но вся земля разбита была на *волоки*, на извѣстные, одинакіе участки, которыми пользовались крестьяне, съ тѣмъ однако, чтобъ каждое семейство, получивъ участокъ земли, селилось на немъ со всѣмъ своимъ имѣніемъ и хозяйственными принадлежностями, составляя совсѣмъ отдѣльное отъ прочихъ хозяйство,—нѣчто въ родѣ хутора. Лучшая часть полей, луговъ и лѣсовъ отчислялась въ пользу помѣщика, для устройства *фольварковъ* и подъ господскія пашни и сѣнокосы; остальная земля дѣлилась между крестьянами. Фольварковыя пахатныя поля, предназначенныя собственно для помѣщика, иногда оставались въ его непосредственномъ владѣніи и воздѣлывались крестьянами посредствомъ барщины, а иногда, по примѣру прочей земли, дробились на волоки и раздавались крестьянамъ, по ихъ желанію, за условленную плату. Само собою разумѣется, что не всѣ были въ состояніи пользоваться этой землей, потому что поземельный оброкъ съ нея обходился очень дорого для крестьянина.

Я сказалъ, что вся земля Полонскихъ была раздѣлена на *волоки*. Волока заключала въ себѣ 19 русскихъ десятинъ и 2100 саженъ (1). На этихъ девятнадцати десятинахъ се-

(1) Мы разумѣемъ десятину „казенную,“ въ которой считается 2400 саж., а не «хозяйственную», имѣющую 3200 кв. саж. Волока имѣла 30 морговъ; моргъ равнялся 300 прентамъ (pret, прутъ, мѣра); прентъ содержалъ въ себѣ 10 шнуровъ, который

лилось иногда одно крестьянское семейство, если оно было довольно большое и могло обработывать 19 десятинъ; иногда—нѣсколько семействъ.—Повидимому, въ землѣ недостатка не было. По экономическимъ разсчетамъ тогдашнихъ хозяевъ, волока земли считалась вполнѣ достаточною для водворенія на ней со всѣми необходимыми принадлежностями полнаго крестьянскаго хозяйства, которымъ завѣдывали нѣсколько семействъ, потому что волока заключала въ себѣ довольно значительное количество земли и не могла быть хорошо обработана руками одной семьи. Обыкновенно помѣщикъ распредѣлялъ землю между своими крестьянами такимъ образомъ: нѣсколько семействъ, соединивъ свой рабочій скотъ и какой у кого водился земледѣльческій капиталъ, составляли нѣчто въ родѣ маленькой общины, товарищества, и брали у владѣльца въ пользованіе себѣ одну волоку; потомъ, съ общаго согласія, раздѣляли ее на мелкіе участки, сообразно съ силами и средствами каждаго хозяйства, и каждая семья воздѣлывала свой уголокъ отдѣльно, помогая, въ случаѣ надобности, своимъ товарищамъ и отбывая повинности сообща; поземельный оброкъ за свою волоку вносило все товарищество вмѣстѣ. Не соединивъ своихъ средствъ и рабочаго скота, конечно, не всѣ крестьяне могли бы воздѣлывать землю, потому что недостатокъ въ земледѣльческихъ орудіяхъ и рабочемъ скотѣ былъ такъ ощутителенъ, что на нѣсколько семействъ приходился только одинъ волъ: такъ семейство

и считался нормальной линейною мѣрою, бывшею въ употребленіи у Литовскихъ землемѣровъ. См. Opisanie powiatu Borysowskiego. Wilno. 1847, str. 220, въ Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд II, стр. 190.

Бартоломея Панасовича, имѣвшаго двухъ сыновей, пользовалось двумя третями волоки; остальная часть земли, т. е. одна треть волоки, была раздѣлена еще между тремя хозяйствами. Такимъ образомъ, шесть хозяйствъ были въ состояніи воздѣлывать одну только волоку, да и то, вѣроятно, съ большимъ трудомъ, потому что на всѣ эти шесть хозяйствъ приходился одинъ только волъ и ни у кого изъ нихъ не было лошадей (1). Или: Кузьма Тарасовичъ съ сыномъ получилъ треть волоки, Удодъ Ярмолъ, имѣвшій трехъ сыновей,—другую треть, и Сайвороснѣвичъ съ тремя братьями — остальную треть: и всѣ они, въ общей сложности, имѣли трехъ воловъ и одну только лошадь (2). Въ этомъ случаѣ на мужскую душу приходится около двухъ десятинъ земли. Нѣкоторыя семейства брали волоку и на такихъ условіяхъ, что вся земля оставалась въ общемъ и нераздѣльномъ пользованіи цѣлаго товарищества (3).

Такая хозяйственная система въ способѣ распредѣленія земли оказалась очень удобною для крестьянъ, особенно для такихъ, которые были довольно бѣдны и безъ посторонней помощи не могли отбывать своихъ повинностей. Крестьянинъ, неимѣвшій ни средствъ обзавестись порядочнымъ хозяйствомъ, ни довольно рабочаго скота, чтобы воздѣлывать самый маленькій клочокъ земли, вступивъ въ товарищество съ зажиточнымъ крестьяниномъ, становился и самъ, если не безбѣднымъ, то по крайней мѣрѣ не безполезнымъ для помѣщика

---

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд. II, стр. 86 и 87.

(2) Тамъ же, стр. 108.

(3) Тамъ же, стр. 74. См. Фамота Вереденко и Матвѣй Восколупъ.

и общества; между тѣмъ какъ зажиточный мужикъ, имѣя нѣкоторый излишекъ въ средствахъ и какого-нибудь гулячаго вола, не только обработывалъ свою собственную волоку на правахъ полнаго и самостоятельнаго хозяина, но съ другой частью капитала присоединялся еще къ товариществу и былъ снова полезенъ и помѣщику и себѣ. Такихъ случаевъ находимъ въ инвентарѣ довольно много. При иномъ положеніи дѣлъ, всѣ повинности, соединенныя съ довольно значительною поземельною платою, могли бы сдѣлаться очень обременительными для подданныхъ, между тѣмъ какъ здѣсь даже тѣ семейства не были вовсе безполезны, въ которыхъ не было ни одного взрослаго мужчины,—ни одного работника.—Характеръ малорусскаго поселянина, какъ извѣстно, проявляется въ томъ, что онъ не любитъ жить въ большомъ семействѣ и каждый взрослый сынъ просится въ отдѣлъ и заводитъ свое хозяйство (что у великороссіянина, издавна привязаннаго къ общинѣ,—къ міру, и почти незнающаго раздѣльности семейства, бываетъ наоборотъ): естественно послѣ этого, что вдовы, оставаясь послѣ мужей съ одними малолѣтними дѣтьми и не имѣя возможности присоединиться къ семейству мужа, отдѣлившагося отъ отца и братьевъ, не могутъ поддерживать своего хозяйства и впадаютъ въ нищету. При такомъ же порядкѣ, какой былъ заведенъ въ имѣніи Полонскомъ, зло это, почти неизбѣжное въ Малороссіи, могло быть устранено: вдова, у которой, при достаточности земледѣльческаго капитала, рабочаго скота и прочихъ необходимыхъ средствъ, недоставало рабочихъ рукъ и опытнаго распорядителя, моглъ поправить зло, присоединясь къ какому-либо товариществу или принявъ въ помощь къ себѣ другое семейство съ опытнымъ мужчиной: всякій хорошій, но бѣдный

работникъ могъ быть полезенъ въ этомъ случаѣ, вступивъ въ товарищество съ другой семьей не въ качествѣ наймита, а на правахъ такого же хозяина.

Но приступимъ къ обозрѣнію повинностей и работъ крестьянскихъ. Повинности были распредѣлены сообразно званію крестьянъ, потому что кромѣ тяглыхъ, огородниковъ и подсусѣдковъ, въ имѣніи Полонскомъ были еще *осадники*, *бояре путные* и *бояре конные*.

Въ селахъ: Городищѣ, Горкахъ, Полоннѣ и Оздовѣ повинности тяглыхъ крестьянъ были такого рода:

Чиншу, т. е. поземельнаго оброка каждый тяглый платилъ съ своей волоки 2 копы и 40 грошей, что составляло около 8-ми р. сер. Натурой крестьяне обязаны были давать: *жита дякольнаго*, для засѣва фольварковыхъ пашенъ, съ каждой волоки по полмацы луцкой мѣры, насыпая въ уровень съ краями; каждое село давало извѣстное количество овса; *стаціи*, т. е. съѣстныхъ припасовъ, на случай пріѣзда князя, давали одну яловицу и одного барана съ десяти волокъ; а съ каждой волоки особо—по одному гусю, по двѣ курицы, по 20 яицъ и по возу сѣна. *Барщина* состояла въ слѣдующемъ: крестьяне обязаны были пахать лѣтомъ одинъ день для господской озими и, въ назначенное управителемъ время, вывезти на господскую пашню рожь, собранную съ крестьянъ же по полмацы съ волоки, посѣять и въ одинъ день забороновать, наряжая по одной боронѣ съ каждой волоки. Сколько бы ни было посѣяно хлѣба на господской пашнѣ,—весь такой хлѣбъ обязаны четыре поименованныя села пожать сгономъ, свезти въ барское гумно и сложить въ скирды. Крестьяне обязаны съ каждой волоки, за которую платится чиншу 2 копы и 40 грошей, привезти на господскій

дворъ ежегодно по 4 воза дровъ изъ господскаго лѣса, а также и изъ чужихъ лѣсовъ, если это будетъ приказано управителемъ. Каждое село обязано заблаговременно скосить сгономъ назначенную ему долю господскихъ сѣнокосовъ, по оповѣщенію и приказанію управителя; высушивъ сѣно, каждое село обязано было сложить его въ скирды и потомъ доставить на барскій дворъ. Стражу для двора Полонскаго обязаны давать всѣ села поочередно, наряжая по два сторожа въ недѣлю; а когда пріѣзжалъ князь, то наряжали сторожей по мѣрѣ надобности. Также и подводу эти четыре села обязаны были давать поочередно, ежегодно наряжая по одной подводѣ съ волоки, не далѣе 20 миль. Если съ какой нибудь волоки уже наряжена была одинъ разъ подвода, то въ этомъ году крестьяне не обязывались давать другую подводу. Они должны были являться сгономъ для починки плотинъ (grobli), для загачиванія прорывовъ, насыпки отмелей, доставки хвороста и соломы, откуда прикажетъ управитель.— Всѣ эти работы они должны были отбывать во всякое время, когда требовала надобность.

Повинности эти были пояснены еще слѣдующими правилами; крестьяне не должны были нанимать земель у крестьянъ, принадлежавшихъ постороннимъ владѣльцамъ; въ противномъ случаѣ, они платили штрафъ въ пользу помѣщика и теряли весь хлѣбъ, посѣянный на нанятой землѣ. А если кому изъ нихъ надобилась земля, то они должны были брать волока на землѣ своего господина, за положенную плату, если только гдѣ имѣлись такія волоки.—Крестьяне обязаны были уплачивать чиншъ управителю—осенью, въ день св. Мартына и не позже св. Николая; а кто изъ нихъ не могъ отдать чиншу до св. Николая, то управитель наказывалъ такого тю-

ремнымъ заключеніемъ.—При отдачѣ *чиншовъ*, *бирчаго* и *писчаго*, управитель бралъ еще съ каждой волоки по 12-ти литовскихъ пенязей.—*Громады*, т. е. сельскія сходки, назначаемыя для господскихъ надобностей, должны были собираться не въ будничные, но въ праздничные дни; а если бы кто изъ крестьянъ не явился на сходку, то долженъ былъ заплатить управителю 2 гроша (1).

Въ нѣкоторыхъ селахъ были и большія повинности (2).

Другой классъ крестьянъ—*огородники* не имѣли особаго пахатнаго поля въ своемъ пользованіи, а получали только по 3 морга земли подъ огороды. За это они платили по 12 грошей чиншу и по два дня въ недѣлю работали на барщинѣ пѣшіе. Они менѣе другихъ были полезны помѣщику. У огородниковъ не было ни лошадей, ни другаго рабочаго скота, потому и на барщину выгонялись они пѣшіе. Что такихъ полуземледѣльцевъ было довольно въ въ каждомъ селѣ видно изъ того, что списокъ огородниковъ каждой волости очень значителенъ; а отсутствіе рабо-

(1) Пам. изд. Врем. Кіев. Ком., т. III, отд. II, стр. 97—101.

(2) Въ селѣ Баіовѣ, гдѣ крестьянамъ были отданы и господскія пашни, которыя отличались отъ прочихъ качествомъ земли, положено было платить съ волоки по 3 копы, т. есть до 9 р. сер., а съ такъ называемой боярской волоки—даже 3½ Литовскія копы, т. е. до 10 р. 50 к. сер.; такую же сумму платили крестьяне Коршевскіе, водворенные на лучшей землѣ и пользовавшіеся рыбною ловлею въ Коршевскомъ прудѣ.—За то, неся прочія повинности наравнѣ съ другими крестьянами, они давали большее количество продовольствія, во время пріѣзда князя. — Баіовскіе же крестьяне, сверхъ вышесказанной поземельной платы, обязывались только работать на прудахъ Баіовскихъ во всякое время, когда требовалось чинить гребли, насыпать отмели, для чего они доставляли хворостъ, навозъ и солому, откуда будетъ приказано. Пам. изд. Врем. Кіев., Ком., т. III, отд. II, стр. 110—111 и 121—123.

чаго скота и по этой причинѣ — занятіе огородничествомъ, требующимъ только заступа и рукъ, не совсѣмъ рекомендуетъ достаточность малорусскихъ крестьянъ того времени.—Огородники села Коршова, владѣя хорошей землей, платили не 12, а 30 грошей чиншу—плата довольно-тяжелая для огородника!—Самый печальный классъ сельскихъ обывателей составляли *подсусѣдки*—исключительное явленіе того смутнаго періода времени, когда не у всякаго крестьянина была соха и у рѣдкаго пара воловъ. И только подсусѣдки, жившіе почти за-христа-ради у другихъ крестьянъ и неимѣвшіе ничего кромѣ рукъ, способныхъ къ работѣ, а иногда лишенные и этого достоянія,—только подсусѣдки избавлялись отъ оброка, на томъ основаніи, что они ничего не могли заплатить за себя. Повинности ихъ состояли въ томъ, что они работали на барщинѣ по одному дню въ недѣлю.

Крестьяне же, называвшіеся *осадниками*, или „подданные осадные“ отличались отъ тяглыхъ крестьянъ тѣмъ, что за право пользоваться господской землей, платили 3 копы (до 9 р. сер.) съ волоки и были избавлены отъ барщины и другихъ крестьянскихъ повинностей, лежавшихъ на прочихъ тяглыхъ людяхъ, огородникахъ и подсусѣдкахъ.

Были и такіе крестьяне, которые въ одно и то же время состояли на правахъ тяглыхъ и несли всѣ крестьянскія повинности, а между тѣмъ, владѣя другой волокой и платя за нее 3 копы, считались осадниками и избавлялись отъ барщины и повинностей по той волокѣ, съ которой платили осаду ([1]).

([1]) Пам. изд. Врем. К. Ком., т. III, отд. II, стр. 80. См. Грицько Кондратовичъ.

На правахъ осадныхъ крестьянъ были и *бояре осадные*—собственно такіе сельскіе обыватели, которые обращены были изъ бояръ въ пахатныхъ крестьянъ. Вмѣсто отправленія барщины и взноса натуральныхъ повинностей, они платили помѣщику 3 копы осады.

Такъ какъ въ XVI вѣкѣ не существовало еще правильнаго устройства почтъ, то обязанность развозить письма и другія бумаги къ частнымъ лицамъ и въ разные уряды возлагалась помѣщиками на особый классъ крестьянъ, называвшихся *боярами путными*. Повинность эта называлась *листовною службою*. Кромѣ доставки бумагъ отъ помѣщика или управителя, бояре путные должны были провожать господскія подводы, отправлявшіяся куда-либо по надобности. Служба ихъ вознаграждалась участками земли въ половину волоки или въ цѣлую волоку, которые давались имъ отъ помѣщиковъ въ пользованіе (1).

Боярами конными были или безземельные шляхтичи, или и помѣщичьи крестьяне, получавшіе отъ помѣщика участокъ земли, съ обязанностію исполнять земскую военную службу. Такъ какъ, въ то время, каждый помѣщикъ несъ военную службу и былъ обязанъ снаряжать на свой счетъ опредѣленное число панцырниковъ, которое назначалъ сеймъ, соображаясь съ средствами помѣщика и величиной его поземельной собственности, то, чтобы, на всякій случай, воины эти были готовыи и могли выступить въ поле, по первому требованію сейма, помѣщикъ отбиралъ изъ своихъ крестьянъ нѣсколько семействъ или приглашалъ бѣдныхъ

---

(1) Тамъ же, стр. 96. См. Терчичъ и др.

шляхтичей, давалъ имъ въ пользованіе четыре волоки земли, свободной отъ обыкновенныхъ повинностей и возлагалъ на нихъ обязанности воинской службы. Люди эти назывались *боярами конными* или *панцырными*. Повинности обозначены въ инвентарѣ такъ: „Бояре конные Полонскіе должны имѣть добраго коня, ружье и рогатину, носить ливрею его княжеской милости и исправлять военную сеймовую и другія службы, въ пользу князя, по приказанію его милости. Они освобождены за это какъ отъ чиншовъ, такъ и отъ ѣзды съ листами“ (1).

Но не всѣ помѣщики были такъ милостивы къ панцырникамъ; не вездѣ эти бояре отбывали только, въ случаѣ надобности, военную службу.—Бояре селъ Воротнова и Романова, въ луцкомъ повѣтѣ, обязаны были кромѣ военной службы, пахать землю на помѣщика два дня осенью, одинъ день весною, косить сѣно одинъ день и исполнять все, что относилось къ обязанностямъ бояръ путныхъ, т. е. всю листовную службу; если они не отправлялись на войну, то платили поземельную плату по копѣ литовскихъ грошей съ каждаго полдворища; сверхъ того давали *поволовщину*—по 13-ти литовскихъ грошей съ каждаго вола (2).

Прибавимъ еще нѣсколько словъ о другомъ имѣніи князя Григорія Сангушка, находившемся въ волости полѣской. Земель, годныхъ для хлѣбопашества, тамъ было немного, а потому обитатели Полѣсья должны были поддерживать свое существованіе занятіями, соотвѣтствовавшими естественному положенію мѣстности, покрытой лѣсами. Прежде всѣ эти

---

(1) Пам. изд. Врем. К. Ком., т. III, отд. II, стр. 101.
(2) Тамъ же, стр. 191—192.

крестьяне ходили на барщину въ имѣніе Полонское; но какъ потомъ они были освобождены отъ этихъ повинностей, то въ замѣну барщины, платили *позлотовщину*, съ каждаго дыма по злотому. Эта дань называлась также *подымнымъ*, *подымовщиной*. Сверхъ того отъ каждаго дыма платили дань медовую, смотря по достатку и средствамъ,—отъ нѣсколькихъ грошей до $2^1/_2$ копъ и болѣе (1). Дымовъ въ этомъ имѣніи насчитывалось 113; на эти 113 дымовъ приходилось до 300 крестьянъ, считая и малолѣтнихъ мужескаго пола.—Въ инвентарѣ, какъ бы случайно, прибавлено, что крестьяне эти обязаны еще были ходить на бобровые гоны и ловить бобровъ для помѣщика, но только тогда, когда бобры появлялись въ ихъ озерахъ и рѣкахъ. Значитъ, эта барщина не была постоянною, слѣд. и не могла быть обременительною. Что же касается до другихъ господскихъ работъ, то этого ничего мы не находимъ въ инвентарѣ.

Для того, чтобы понять несоразмѣрность податей и другихъ, натуральныхъ повинностей съ повседневными доходами, надо многое принять во вниманіе. Не смотря на видимое однообразіе и ограниченность потребностей крестьянина, въ жизни его требуется довольно много издержекъ и во всѣхъ случаяхъ его существованія необходимъ расходъ, который съ трудомъ покрывается ежедневными заработками. Земля служитъ единственнымъ средствомъ его обезпеченія; поселянину болѣе чѣмъ кому-либо необходима поземельная собственность, особенно въ такой странѣ, гдѣ земледѣліе составляетъ главный источникъ производительности, гдѣ крестьянину не остает-

---

(1) Тамъ же, стр. 158—171.

ся другаго занятія, кромѣ хлѣбопашества. Въ странѣ торговой, развившей до высокой степени свои мануфактуры, низшія сословія могутъ еще существовать трудами рукъ своихъ помимо поземельной собственности; но въ странѣ, самой природой предназначенной быть земледѣльческою, въ странѣ съ обширными пахатными полями, какъ Малороссія и Литва, — только независимый клочокъ земли обезпечиваетъ благосостояніе низшихъ классовъ. Малорусское поспольство было лишено счастья назвать своимъ самый ничтожный уголокъ земли. Правда, иногда поселянинъ пользовался 10—20 десятинами (хотя это было рѣдко); но эта земля обложена была тяжелою податью и все-таки не принадлежала ему. Зато часто случалось, что цѣлая семья владѣла какими-нибудь двумя десятинами и несла повинности наравнѣ съ прочими. Вообще же ни одна семья не могла похвалиться избыткомъ земли. Одно семейство рѣдко владѣло цѣлой волокой; а если и бывали подобные случаи, то лишь тогда, когда три, четыре и даже пять женатыхъ сыновей не требовали еще у отца выдѣла своей части изъ имущества и жили съ нимъ вмѣстѣ. Чаще же всего волока дѣлилась между двумя, тремя и даже пятью и шестью семействами, и въ такомъ случаѣ на долю каждаго приходилось земли очень ничтожное количество. Въ семьѣ могло быть много женщинъ и дѣвицъ; но онѣ не считаются лицами, имѣющими права на землю (кромѣ вдовъ съ сыновьями, которыя жили отдѣльнымъ хозяйствомъ), и на долю ихъ земли не полагается. Такимъ образомъ, при видимомъ достаткѣ малорусскаго крестьянина въ поземельной собственности, — на самомъ дѣлѣ онъ былъ бѣденъ землею, да и за тотъ участокъ, которымъ владѣлъ, платилъ значительный оброкъ. Слѣдовательно, самый первый,

почти единственный источникъ его доходовъ былъ не вполнѣ благонадеженъ: трудно было разсчитывать на достатокъ.

Достатокъ въ быту поселянина выражается матеріальнымъ его состояніемъ: исправностью земледѣльческихъ орудій, бо́льшимъ или меньшимъ количествомъ рабочаго скота и другихъ необходимыхъ въ хозяйствѣ животныхъ. Это необходимое рѣдко имѣлъ у себя малорусскій крестьянинъ. Въ инвентаряхъ постоянно встрѣчаются слѣдующія извѣстія: на 250—260 *хозяйствъ* причитается 110 лошадей и 195 воловъ; на 113 хозяйствъ—47 лошадей и 74 вола, и т. д. Если въ этомъ числѣ были богатые крестьяне, имѣвшіе по двѣ пары воловъ, то были и цѣлыя семьи, неимѣвшія ни вола, ни лошади, или, часто, одна лошадь приходилась на два хозяйства. Естественнымъ слѣдствіемъ такого положенія дѣлъ было обѣдненіе крестьянъ, чего, повидимому, не предвидѣли или не хотѣли предвидѣть ихъ властители. Болѣе мягкія, болѣе человѣчныя требованія одного помѣщика касательно повинностей не были закономъ для другаго. Сеймъ не вступался въ семейныя дѣла господина и его подчиненныхъ. Произволъ пустилъ слишкомъ глубокіе корни и обычай старины казался священнымъ: обремененіе крестьянъ излишними налогами не считалось дѣломъ противозаконнымъ и не страшило помѣщика возможностью видѣть въ опекѣ свое имѣніе. Помѣщикъ зналъ, что произволъ его останется безнаказаннымъ и располагалъ судьбою своихъ рабовъ, какъ ему казалось удобнѣе; крестьянинъ также хорошо зналъ, что онъ отданъ головой пану, что для него не существуетъ гарантія и по неволѣ покорялся своей участи, хотя все болѣе и болѣе питалъ неудовольствіе на своего пана и становился къ нему все болѣе и болѣе во враждебныя отношенія. По-

мѣщики понимали это, но не хотѣли видѣть пагубныхъ слѣдствій такого положенія дѣлъ, имѣя на своей сторонѣ законъ и мнѣніе большинства, одинаково съ ними смотрѣвшаго на отношенія господъ къ своимъ хлопамъ. Между тѣмъ положеніе этихъ послѣднихъ не улучшалось. Напротивъ, можно даже хронологически показать, какъ возрастали съ каждымъ годомъ цифры, выражавшія поземельный оброкъ крестьянъ и ихъ натуральныя повинности. Эта возрастающая прогрессія началась съ половины XVI-го столѣтія. Чтобы видѣть это, стоитъ только сравнить инвентарь 1566 года съ инвентарями 1573 и 1598 годовъ ([1]). Инвентари годъ отъ году пишутся отчетливѣе, но отчетливѣе обозначаются въ нихъ и повинности крестьянъ, разнообразнѣе становятся подати. — Уничтоженіе въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ барщины повлекло за собой установленіе „порютовщины,“ „подымовщины“ и прочихъ налоговъ; сѣнокосы отданы крестьянамъ за плату, которая восходила до 8 грошей за одинъ моргъ или 40 коп. сер. за 1587 кв. саж., на которыхъ, по самой большой мѣрѣ, можно накосить три большіе воза сѣна; а возъ сѣна стоилъ тогда три гроша и даже грошъ! Видя, какъ дорого обходился мужику моргъ сѣнокоса, нельзя удивляться, что въ хозяйствѣ малорусскаго крестьянина находилось такъ мало рабочаго скота. Въ XVI вѣкѣ, въ Малороссіи считалось хорошею цѣною заплатить за добраго вола 2 или $2^1/_2$ руб. сер., за мужицкіе сани — грошъ или полтора, за четверикъ ржи — тоже грошъ или еще меньше: стало быть, въ то время, когда и трудъ человѣка и произведенія земли цѣ-

---

([1]) См. инвентари Заборольскаго, Черногородскаго и Полонскаго имѣній.

нились такъ неимовѣрно дешево, платить 3 р. сер. и довольно большую подать натурою, при ежедневной барщинѣ, было не легко.

Но не въ однѣхъ повинностяхъ заключалась вся тяжесть положенія малорусскихъ крестьянъ XVI-го вѣка: ужаснѣе всего была полная неограниченность правъ владѣльца и обычай отдавать имѣнія въ арендное содержаніе. Не будь никакихъ другихъ данныхъ для опредѣленія состоянія крестьянъ въ тогдашней югозападной Россіи кромѣ арендныхъ записей, мы и тогда имѣли бы право заключить, что состояніе это было самое безотрадное. Арендныя записи—это громко вопіющая несправедливость закона и общества противъ беззащитныхъ сословій, несправедливость, которой не могутъ прикрыть никакія историческія показанія.

Форма и содержаніе этихъ записей почти одинаковы. И эта-то одинаковость формы, фразъ и выраженій въ разныхъ записяхъ, сильнѣе всего убѣждаетъ въ томъ, что фразы эти вошли въ языкъ юридическій, что выраженія эти получили полное право гражданства въ законѣ того времени. Во всѣхъ записяхъ неизмѣннымъ арендаторомъ является жидъ.—Вотъ какъ писались почти всѣ арендные листы: „Я, Александръ Пронскій, кастелянъ Троцкій, и я, жена его милости, Ѳедора Сангушковна, княжна Пронская, кастелянша Троцкая, объявляемъ симъ арендным листомъ нашимъ, что мы отдали и нынѣшнимъ листомъ нашимъ отдаемъ въ аренду благородному пану Буркацкому и *славному пану Абраму Шмойловичу*, *жиду Турейскому*, и потомкамъ ихъ, наше наслѣдственное имѣніе въ повѣтѣ Владимірскомъ, именно: замокъ и городъ Локачи, съ огородниками въ предмѣстьѣ, на Старыхъ Локачахъ, село Уймъ съ укрѣпленіемъ,

два села Цевеличи съ фольваркомъ, село Крухиничи съ фольваркомъ, дворъ и село Павловичи съ фольваркомъ, село Уймица Павловицкая, село Холопичи съ фольваркомъ, съ землями, строеніями, людьми тяглыми и нетяглыми, съ боярами путными и панцырными, *съ жидами и получаемыми отъ нихъ доходами*, со всѣми иными людьми, въ тѣхъ имѣніяхъ нашихъ живущими, съ пашнями, работами, съ подводами, фурами, чиншами, данями, пѣнями малыми и великими, съ мельницами и получаемыми отъ нихъ доходами, съ прудами, озерами, садками и рыбною ловлею, съ корчмами и продажею всякихъ напитковъ, съ гаями, садами, огородами, съ пустошами, сѣнокосами, скотомъ и вообще со всѣмъ и всякимъ имуществомъ и доходами, въ городѣ и селахъ, на поляхъ и въ дубравахъ, такъ чтобы поименованное непоименованному, а непоименованное поименованному никакъ не вредило, ничего для себя не оставляя въ томъ имѣніи на все время аренды" (1). Перечисливъ всѣ имѣнія и доходы съ нихъ, всѣ обязанности крестьянъ и работы, арендная запись продолжаетъ: „Всѣ вышеупомянутыя имѣнія наши мы разомъ уступили и уступаемъ во владѣніе и пользованіе пановъ-арендаторовъ. *Имѣютъ они право брать себѣ всѣ доходы, судить крестьянъ, не допуская къ намъ апелляціи: они могутъ наказывать виновныхъ и непослушныхъ, по мѣрѣ вины, даже смертію*, если бы кто того заслужилъ; въ чемъ ни мы сами, ни потомки наши никакихъ препятствій дѣлать не будемъ" (2).

---

(1) Пам. изд. Врем. Комм., т. III, отд. II, стр. 68—70.
(2) Тамъ же, стр. 79—80.

Тотъ же самый тонъ, тѣ же выраженія встрѣчаемъ мы въ другой арендной записи: „Я, Григорій Сангушко-Кошерскій и я, Софія изъ Головчина Григорьевая Сангушковая-Кошерская, объявляемъ симъ нашимъ арендным листомъ, что мы отдали въ аренду имѣнія наши нижепоименованныя, ничего себѣ не оставляя, *славному пану Абраму Шмойловичу*, *женѣ его*, *Рыклѣ Юдиннѣ*, и его потомкамъ, а именно: мѣстечко Кошаръ, при Кошарѣ Кошуръ Старый, Кругелъ, Краснодубье, Городелецъ, дворъ и село Мезовъ и Мезову, селище Борзовую Черемшанку, съ чиншами денежными, мельницами, корчмами, шинками и продажею въ нихъ разныхъ напитковъ, съ данью медовою, съ обыкновеннымъ въ томъ мѣстѣ мытомъ, съ боярами, со всѣми людьми тяглыми и нетяглыми, живущими въ тѣхъ мѣстахъ и селахъ, съ ихъ пашнями, работами и подводами, съ дякломъ, деревомъ бортнымъ, съ прудами, мельницами, которыя теперь находятся въ вышеупомянутыхъ мѣстахъ и селахъ или послѣ будутъ устроены, съ ихъ доходами, съ озерами, бобровыми гонами, съ полями, сѣнокосами, борами, лѣсами, гаями, дубравами, фольварками, гумнами, съ хлѣбомъ всякимъ на полѣ сѣяннымъ, и вообще со всѣми и всякими доходами, поименованными и непоименованными, ничего себѣ не оставляя“ (1), и т. д. И опять къ концу записи входитъ въ условіе таже безчеловѣчная передача правъ помѣщика арендатору—правъ на жизнь и смерть арендныхъ крестьянъ: „По этому арендному листу, данному съ нашими печатями и за собственноручными подписями нашими, имѣетъ

(1) Пам. изд. Врем. Комм.

онъ право владѣть вышеупомянутыми имѣніями нашими, пользоваться ими, брать себѣ всякіе доходы, судить и рядить бояръ путныхъ, которые ѣздили съ листами, также всѣхъ крестьянъ нашихъ виновныхъ и непослушныхъ *наказывать денежною пенею* и *смертію*, по мѣрѣ проступковъ (винныхъ и непослушныхъ, ведлугъ выступковъ ихъ, винами и *горломъ карати*)" (1).

Жидъ Абрамко Шмойловичъ, названный въ записи „славнымъ паномъ," предъявивъ арендный листъ во Владимірскомъ урядѣ и записавъ его въ городскія книги, вступаетъ полнымъ и неограниченнымъ властлеиномъ въ обширныя владѣнія, отданныя его личному произволу. Онъ дѣлается почти такимъ же властелиномъ и самаго помѣщика, отдавшаго ему своихъ крестьянъ, потому что и въ отношеніи къ нему произволъ его неограниченъ. Въ самомъ дѣлѣ, власть жида становится выше всего, что можно себѣ представить; онъ не имѣетъ надъ собой ни закона, ни контроля. „А если бы," продолжаютъ эти арендные листы, „во время ихъ владѣнія были опустошены вышеупомянутые мѣстечки, фольварки, села, гумна и мельницы, или если бы пашни погорѣли, или крестьяне разошлись прочь: въ такомъ случаѣ мы сами и потомки наши, на нихъ самихъ и ихъ потомкахъ за то ничего искать не будемъ, *но еще повинны будемъ отыскивать бѣглыхъ на свой счетъ*. А если бы какіе доходы не были получены по причинѣ непріятельскаго опустошенія, или мороваго повѣтрія, или градобитія, или если бы отъ засухи и наводненія испортились мельницы: *то за*

---

(1) Тамъ же, стр. 88—89.

всѣ такіе убытки мы должны будемъ вознаградить ихъ, по оцѣнкѣ добрыхъ людей (1). А если бы въ чемъ нибудь нарушили мы эту запись, не исполнили бы чего нибудь, къ чему обязались этимъ листомъ нашимъ, въ такомъ случаѣ вольно будетъ пану арендатору позвать насъ въ судъ городской или земскій, или въ какой ему будетъ угодно,—и мы обязаны будемъ явиться, и тотчасъ, не выходя изъ суда, должны будемъ оправдаться, подъ закладомъ трехъ тысячъ злотыхъ польскихъ на урядъ и трехъ тысячъ злотыхъ польскихъ Абраму, его женѣ, или его потомкамъ; *также обязаны будемъ заплатить за убытки и издержки, по одному словесному объявленію, безъ всякихъ доводовъ и присяги*" (2).

Читая подобныя записи, съ трудомъ вѣришь, чтобъ законъ могъ допускать такъ варварски издѣваться надъ несчастнымъ человѣчествомъ; а между тѣмъ самыя вѣрныя и нелицепріятныя свидѣтельства исторіи—тѣ, которыя писались безъ задней мысли, безъ претензіи быть памятниками историческими. Здѣсь, въ этихъ записяхъ, мы застаемъ преступленіе, такъ сказать, съ поличнымъ и ни въ какихъ историческихъ данныхъ не можемъ найдти ему оправданія. Здѣсь дѣло слишкомъ громко говоритъ за себя и не даетъ повода сомнѣваться въ пристрастіи историческаго свидѣтельства.

И такъ мы видимъ, что славный панъ, жидъ Абрамко Шмойловичъ и жена его Рыкла, дочь Іуды, судятъ, наказываютъ смертью арендныхъ крестьянъ, руководствуясь произволомъ, не относясь къ пану,—„безъ апелляціи," какъ

(1) Пам. изд. Врем. К. Ком., т. III, отд. II, стр. 90—91.
(2) Тамъ же, стр. 91—92.

сказано въ записи; они берутъ съ нихъ все, что могутъ, и не страшатся ни пожаровъ, ни наводненій, ни градобитій, ни нашествія непріятеля, ни неурожая, потому что за всѣ убытки, можетъ быть даже мнимые, ихъ вознаграждаетъ помѣщикъ безпрекословно, по одному личному показанію арендатора, котораго самъ законъ уполномочивалъ на такое самоуправство. Подстароста Владимірскій, какъ предсѣдатель высшаго судебнаго мѣста, приказывалъ вносить эти записи въ городскія книги такъ: „Я, разсмотрѣвъ предъявленный листъ и находя его *составленнымъ законно* (смертная казнь по личному произволу — законна!), съ печатями и собственноручными подписями, принялъ его для внесенія въ книги, предъ собою приказалъ читать“ (1). Изъ этихъ-то городскихъ книгъ, сбереженныхъ временемъ, мы и почерпнули такія свидѣтельства о состояніи крестьянъ въ томъ варварскомъ вѣкѣ.

Другіе арендные листы не противорѣчатъ предыдущимъ. Только вмѣсто жида Абрамки Шмойловича является жидъ Песахъ или другой подобный и права его такъ же неограниченны, какъ и перваго; только въ записи Песаха прибавлено, что *въ аренду къ нему поступаютъ и церкви со всѣмъ тѣмъ, что дано имъ на содержаніе*. Жидъ Песахъ, какъ и Абрамко, имѣетъ право „судить крестьянъ и наказывать виновныхъ и преступныхъ пенями (по злотому съ провинившагося), *а если бы кто по праву заслужилъ смерть, то карать и смертію.*“ — И здѣсь, какъ тамъ, права арендатора выше всего

(1) Пам. изд. Врем. Ком., т. III, отд. II, стр. 38.

на свѣтѣ; и Песахъ, какъ Абрамко, не страшится никакихъ случайностей и не знаетъ отвѣтственности ни передъ паномъ, ни передъ закономъ.

Кажется, сдѣланныхъ нами выписокъ достаточно для того, чтобы отчетливѣе представить ту печальную картину бѣдной Малороссіи, которую изобразили намъ, въ своихъ очеркахъ, историки этой страны. Но еслибъ не было никакихъ историческихъ свидѣтельствъ объ этой смутной эпохѣ,— тогда народъ самъ сказалъ бы намъ о своихъ минувшихъ бѣдствіяхъ. Такую пору народъ нескоро забываетъ. Не забылъ онъ и объ этомъ долгомъ періодѣ своихъ страданій и самъ становится свидѣтелемъ давноминувшихъ событій. Вотъ какъ говоритъ онъ объ этихъ временахъ:

Якъ одъ Кумівщини да до Хмелнищини.
Якъ одъ Хмелнищини да до Брянщини,
Якъ отъ Брянщини да до сёго жъ то дня,
Якъ у землі Кралевскій да добра не було:
Якъ жиди-рандари
Всі шляхи козацьки зарандовали,
Що на одній милі
Да по три шинки становили.
Становили шинки по долинахъ,
Зводили щогли по высокихъ могилахъ.
Ище жъ то жиди-рандари
У тому не перестали:
На славній Украіні всі козацьки торги заорандовали
Да брали мито-промито:
Одъ возового
По півъ-золотого,
Одъ пішаго-пішеницы по три денежки мита брали,
Одъ неборака—старця
Брали кури да яйця,
Да ище питае:

«Ци не ма, котикъ, сце цого?»
Ище жъ жиди-рандари
У тому не перестали:
На славній Украіні всі козацьки церкви заорандовали,
Которому бъ то козаку, альбо мужику давъ Богъ дитину появити,
То не йди до попа благословитьця,
Да пійди до жида-рандара, да положъ шостакъ, щобъ позволивъ церкву одчинити,
Тую дитину охрестити.
Ище жъ то которому бъ то козаку, альбо мужику давъ Богъ дитину одружити,
То не йди до попа благословитьця,
Да пійди до жида-рандара, да положъ битий тарель, щобъ позволивъ церкву одчинити,
Тую дитину одружити.
Ище жъ то жиди-рандари
У тому не перестали:
На славній Украіні всі козацьки реки зарандовали.
Перва на Самарі,
Друга на Саксані,
Трейтя на Гнилій,
Четверта на Пробійній,
Пята на речці Кудесці.
Который бъ то козакъ, альбо мужикъ исхотівъ риби вловити
Жінку свою зъ дітьми покормити,
То не йди до пана благословитьця,
Да пійди до жида-рандара да поступи ёму часть оддать,
Щобъ позволивъ на річці риби вловити,
Жінку свою зъ дітьми покормити» и. т. д. (1)

Народная поэзія представляетъ довольно много такихъ краснорѣчивыхъ свидѣтельствъ о состояніи малорусскаго народа подъ польскимъ владычествомъ, и — къ сожалѣнію —

(1) Записи о южной Россіи, П. Кулиша, 1856 г., стр. 58 и слѣд.

смыслъ ихъ такой же, какъ и въ этой думѣ: всѣ эти живые памятники старины выражаютъ печальную истину, до которой мы дошли путемъ разбора свидѣтельствъ историческихъ,—ту истину, что *въ землѣ королевской добра не была...*

Подавленные всею тяжестью неволи, хлопы безропотно пахали на шляхетскихъ фольваркахъ, вносили чиншъ и день медовую, платили и „бирчее“ и „писчее“ и „позлотовщину“ и „поволовщину;“ всю жизнь свою,—отъ весны до весны—работали не на семью свою, а на беззаботнаго и, порой, жестокаго пана, отдававшаго ихъ, при первомъ удобномъ случаѣ, въ полное и неограниченное распоряженіе жиду или другому ростовщику, который, за свои деньги, бралъ въ залогъ божьи церкви и села съ крестьянами, не для того, чтобъ улучшать ихъ состояніе, а чтобъ имѣть возможность грабить ихъ безнаказанно, опираясь на силу закона, который словесное показаніе жида-арендатора велѣлъ признавать чѣмъ-то священнымъ, непогрѣшительнымъ, выше всякихъ доказательствъ. Разумѣется, жидъ бралъ крестьянъ не съ человѣколюбивой цѣлью, не съ гуманными разсчетами политико-экономиста и давалъ свои деньги промотавшемуся шляхтичу не изъ личнаго къ нему уваженія, не изъ желанія помочь пану, а съ простымъ, естественнымъ разсчетомъ всякаго ростовщика—получить нѣсколько лишнихъ тысячъ злотыхъ и получить какими бы то ни было средствами. Какъ ни нехорошъ шляхтичъ къ своимъ крестьянамъ, какъ ни тяжела рука пана,—но рука арендатора тяжеле: помѣщикъ еще жалѣетъ своихъ крестьянъ, потому что они его собственность, приданое его дочерей, наслѣдство сыновей; а для арендатора—это временной источникъ доходовъ, рогъ

изобилія, изъ котораго онъ постарается вытряхнуть все въ продолженіе срока аренды. И тяжко было бѣдному хлопу въ такой безграничной зависимости отъ жида; да врядъ ли было хорошо и пану; были же причины, вынуждавшія его давать такія огромныя права арендаторамъ. Завѣдываніе имѣніями, подобными малорусскимъ вотчинамъ той эпохи, едва ли было надежнымъ обезпеченіемъ для такого владѣльца, какъ польскій магнатъ, и тѣмъ болѣе—шляхтичъ; слѣдствіемъ хозяйственной системы, обращики которой привели мы выше,—были естественно недоимки на крестьянахъ, и помѣщикъ отдавалъ ихъ и самаго себя головою арендатору, вѣроятно, потому, что уже ничего не могъ болѣе пріобрѣсти отъ своихъ истощенныхъ хлоповъ и разсчитывалъ на экономическія способности жида. Не что иное, какъ нужда заставляла, конечно, помѣщика прибѣгать въ такимъ безразсуднымъ мѣрамъ.

И дѣйствительно, въ историческихъ памятникахъ того времени, мы съ удивленіемъ замѣчаемъ, что незавидна была и жизнь помѣщиковъ, такъ неограниченно располагавшихъ жизнью и имуществомъ множества подвластныхъ имъ существъ; что бѣдность проглядывала и въ ихъ обыденной жизни и во всемъ ихъ окружающемъ. — Вотъ, напримѣръ, изображеніе *двора Поворскаго*, въ которомъ часто жилъ самъ знаменитый князь Романъ Сангушко, воевода Брацлавскій, гетманъ дворный Великаго Княжества Литовскаго, староста Житомірскій, державца Речицкій, прославившійся побѣдами надъ войсками Іоанна Грознаго:

„Дворъ огороженъ заборомъ неновымъ; противъ воротъ домъ на столбахъ; крыльцо; изъ крыльца ходъ въ сѣни. Когда войдешь въ сѣни, то по правой сторонѣ свѣтлица,

а въ ней печка бѣлая; четыре старыя, оконныя стекла; двери на желѣзныхъ завѣсахъ. Изъ этой свѣтлицы ходъ въ другія сѣни, а изъ этихъ сѣней ходъ въ другую свѣтлицу, въ которой печь бѣлая, три оконныя стекла старыя; изъ свѣтлицы ходъ въ кладовую. А по лѣвой сторонѣ, когда войдешь въ сѣни, свѣтлица, въ которой бѣлая печь, четыре старыя, оконныя стекла, двери на желѣзныхъ завѣсахъ; изъ этой свѣтлицы ходъ въ кладовую, въ которой небольшое окно безъ стекла. Изъ тѣхъ же сѣней ходъ въ кладовую, въ ней окно безъ стекла. Домъ покрытъ дранью неновою. Подлѣ этого дома—пивница, крытая дранью неновою; по другой сторонѣ дома—конюшня, сдѣланная срубомъ, недавно покрытая дранью; не далеко отъ этой конюшни—старая кухня, подлѣ кухни—конюшня, безъ кровли и безъ дверей, недавно поставлено; гридня, сѣни, на противной сторонѣ кладовая неновая, избушка малая съ сѣнями, неновая, и пять старыхъ хлѣвовъ, сдѣланныхъ срубомъ и крытыхъ соломой“ (1).

А вотъ описаніе *двора Полонскаго*, къ которому принадлежало такое огромное количество земли и до десяти большихъ селеній. Дворъ этотъ принадлежалъ Григорію Сангушку:

„Домъ, обмазанный глиною; двѣ бѣлыя избы, одна противъ другой; одна изъ нихъ большая, построенная на каменномъ погребѣ. Въ этой избѣ пять оконъ, четыре оконныя стекла съ желѣзными прутьями и тремя ставнями на завѣсахъ; двери тоже на завѣсахъ; въ нихъ желѣзный за-

(1) Пам. изд. Врем. К. Ком., т. III, отд. II, стр. 49—50.

поръ въ видѣ скобы; скамьи въ достаточномъ количествѣ, печь изразцовая муравленая, подлѣ печки небольшой камелёкъ. Противъ означенной свѣтлицы находится другая свѣтлица, опочивальня, въ которой два окна съ двумя новыми стеклами, ставень одинъ, скамьи въ достаточномъ количествѣ, печь муравленая, а подлѣ нея камелёкъ муравленый. Изъ этой свѣтлицы входъ въ комнату, въ которой двери на завѣсахъ съ задвижкой; въ этой комнатѣ находится большой муравленый каминъ, окно съ ставнемъ на завѣсахъ, съ защепкою и скобою. Изъ этой комнаты входъ въ ретирадное мѣсто, *сдѣланное изъ хвороста*, *безъ кровли*, двери на завѣсахъ съ защепкою и скобою. *Между означенными избами находятся сѣни*, *плетенныя изъ хвороста* и *обмазанныя глиною*" (1).

А вотъ еще картина *дворца Черногородскаго*, принадлежавшаго князю Роману Сангушку: „Во первыхъ, когда войдешь въ дворъ, то на лѣвой сторонѣ находится свѣтличка съ сѣнями. Въ ней печь простая, окна заклеены бумагою. За этою свѣтличкою кухня; подлѣ этой кухни другая свѣтличка, въ которой печка простая, окна заклеены бумагою; напротивъ этой свѣтлички кладовая, въ которую ходъ изъ сѣней. Подлѣ этой кладовой—клѣть для храненія имущества, подлѣ клѣти—чорная изба съ сѣнями, подлѣ избы—двѣ конюшни подъ одною кровлею. Всѣ исчисленныя строенія покрыты дранью" (2).

Странно согласить такую жалкую дѣйствительность съ разсказами лѣтописцевъ и поэтовъ о той роскоши, о томъ уди-

---

(1) Тамъ же, стр. 61—62.
(2) Тамъ же, стр. 49—50·

вительномъ великолѣпіи, которое окружало шляхтича во всѣхъ случаяхъ жизни и на всякомъ мѣстѣ. Или панство не пользовалось такими огромными доходами, какими они являются на страницахъ инвентарей; или же не умѣло распоряжаться ими такъ, чтобы доставить и себѣ и своимъ подданнымъ матерьяльное благосостояніе и тратило ихъ болѣе на свои личныя, можетъ быть, по нашему времени—безумныя, удовольствія, чѣмъ на удобства жизни.—Какъ бы то ни было но ни изъ вышеприведенныхъ описаній домашней обстановки пановъ, ни изъ арендныхъ листовъ, въ которыхъ такъ рѣзко обнаруживаются тягостныя отношенія ихъ къ жидамъ арендаторамъ, мы не находимъ основанія считать положеніе ихъ слишкомъ блистательнымъ.

Блистательно оно было развѣ только въ сравненіи съ положеніемъ хлоповъ, которыхъ даже и самая жизнь зависѣла отъ произвола сильнаго, которые испытали все, что можетъ испытать человѣкъ среди общества, поставившаго себя слишкомъ отдѣльно и слишкомъ высоко надъ низшими классами; общества, которое не позаботилось даже обезопасить существованія этихъ послѣднихъ какими нибудь формами закона, но исключило ихъ изъ своей среды, даже, кажется, не подозрѣвая невозможности существовать кому бы то ни было внѣ правилъ закона.

Неудивительно же, что „не было добра въ королевской землѣ,“ — и рано или поздно существовавшій порядокъ вещей долженъ былъ сдѣлаться гибельнымъ для тѣхъ, кто былъ его причиной. Такъ и случилось.

Утѣсненный малорусскій крестьянинъ, хотя и не могъ помириться съ мыслью принадлежать пану-ляху по праву, однако, по неволѣ, покорялся своей участи. Но участь его понималъ,

бѣдствіямъ его сочувствовалъ поставленный въ другое положеніе и сознававшій свою независимость казакъ, и Польша поплатилась потерею самостоятельности за это угнетеніе малоруссовъ, за эту вопіющую несправедливость къ народу, связанному съ ней добровольнымъ рѣшеніемъ, вслѣдствіе котораго цѣлая страна, такая же свободная и независимая какъ и Польша, соединила свою судьбу съ судьбой Рѣчи Посполитой, не какъ побѣжденная нація, а „какъ равная съ равной, вольная съ вольной.“

Оттого такъ тяжело было малорусскому народу терпѣть все то униженіе, на которое обрекла его Польша; тяжело было этому, нѣкогда самостоятельному народу, стать въ рядъ несвободныхъ сословій, сносить всю муку рабскаго состоянія и не имѣть защиты даже въ законѣ.

Шляхтичъ сознавалъ, что законъ на его сторонѣ и безсовѣстно пользовался своимъ правомъ; онъ понималъ выгоды своего положенія, какъ понималъ бѣдный малоруссъ всю тяжесть своего, незаконность своихъ отношеній къ пану и несправедливость всегда угнетающаго его закона.

А тому, что онъ понималъ все это, — мы найдемъ доказательство въ самыхъ воспоминаніяхъ народа, сохранившихся въ немъ до сей поры. Старый бандуристъ настоящаго времени, зная о смутномъ концѣ XVI-го вѣка по разсказамъ отцовъ и дѣдовъ, самовидцевъ той эпохи, еще и теперь вспоминаетъ объ этой тяжелой порѣ.

„Базиляне, говорилъ г. Кулишу одинъ старый лирникъ, учать, було, по польскій, и который хлопчикъ, або дѣвочка скаже боже приказаніе (т. е. заповѣдь), то стросцина (жена старосты) дасть пятака, гривню, або хрестикъ. Сказано — манила. У одного хлопчика спытала: „На що тебе Богъ соз-

давъ"? — А винъ каже: „Щобъ панщину робивъ." — Тому дала срибного злотого" (1).

Результаты такого положенія южно-русскаго народа подъ польскимъ владычествомъ сказались въ двухъ важнѣйшихъ актахъ политической самодѣятельности этого народа: — во 1-хъ въ томъ, что народъ этотъ Гайдамачной и Уманской рѣзней нравственно какъ бы подготовилъ Польшу къ утратѣ ея государственной самобытности, а во 2-хъ тѣмъ, что отвернулся отъ Польши, когда она уже окончательно падала, и безучастно смотрѣлъ какъ сосѣднія государства дѣлили ее въ три пріема и стирали съ карты Европы.

---

(1) Записки о южной Руси. П. Кулишъ. Спб. 1856 года, стр. 101—102.

КОНЕЦЪ.

Содержаніе.

ТОМЪ I.

Стран.

Екатерининскіе дѣятели и пугачевцы 5
Пугачевскій полковникъ Ивановъ 264
Кто былъ усмиритель пугачевщины. 399

ТОМЪ II.

12432
1-30

Разбойничій атаманъ Беркутъ 1
Груня, атаманъ разбойниковъ 67
Одинъ изъ Лже-константиновъ 126
Типы современной понизовой вольницы 180
Безучастіе русскаго народа въ паденіи Польши . . 248
Южнорусскій народъ подъ польскимъ владычествомъ. 410

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
GRADUATE LIBRARY

DATE DUE

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05846 9241

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD